

НОВАЯ МИР

|| 3 ||

НОВАЯ МИР

|| 1981 ||

3



1981



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 3

Март, 1981 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ — Яблокопад, стихотворение	3
СЕРГЕЙ БОБКОВ — Судьба, стихи	6
ГЕОРГИЙ ПРЯХИН — Ивтернат, повесть в записках. Предисловие Чингиза Айтматова	7
МАРТОВСКАЯ ТЕТРАДЬ — Раиса Ахматова, Валентина Саакова, Татьяна Кузовлева, Галина Шергова, Евгения Славоросова, Корнелия Войткевич, Елена Муравина, стихи	72
МИХАИЛ КОЛОСОВ — Три круга войны, повесть. Окончание	77
ЛЕОНАРД ЛАВЛИНСКИЙ — Разия в посольстве (1658), стихотворение	171
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
ВЛ. ЛИДИН — Друзья мои — книги. Новые главы	173
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ВЛАДИМИР УСПЕНСКИЙ — В промышленной зоне БАМа. Окончание	183
ПУБЛИЦИСТИКА	
М. П. ЩЕТИНИН — Школа будущего рождается сегодня. Предисловие В. Н. Столетова	196
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
АЛЕКСАНДР ПУМПЯНСКИЙ — Возвращение к Голгофе. Немного об Америке американских писателей	219
СЕРГЕЙ БОНДАРЧУК: ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ. Беседу вела Елена Дангулова	236
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	246
Виталий Дончик. Духовность созидания. — И. Метгер. Наука расставанья. — Ирина Винокурова. Ладья на стремнине.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»

Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	256
Эраст Генри. Учиться полемике.— Р. Баландин. Наука, открытая молодежи.— А. Нуйкин. К абсолютам бесчеловечности.	
КОРОТКО О КНИГАХ: Михаил Синельников.— Александр Письменный. Фарт. Дневник, из записных книжек, письма, рассказы. ✦ Дм. Молдавский.— Вл. Санин. Одержимый. Повесть. ✦ Лев Фрухтман.— Николай Глазков. Избранные стихи. ✦ А. Бартошевич.— Михаил Морозов. Избранное. ✦ Эр. Ханпирра.— Русский язык. Энциклопедия. ✦ Ю. Михайлов.— Герберт Шиллер. Манипуляторы сознанием. ✦ Ю. Орфеев.— Л. И. Седов. Размышления о науке и об ученых	267
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

★

ЯБЛОКОПАД

Я посетил художника после кончины
вместе с попутной местной чертовкой.
Комнаты были пустынные, как рамы, что без картины.
Но из одной доносился Чайковский.

Припоминая пустые залы
с гостей высокой с крутой прической,
шел я, как с черным воздушным шаром.
Из-под дверей приближался Чайковский.

Женщина в кресле сидела за дверью.
Сорок портретов ее окружали.
Мысль, что предшествовала творенью,
сделала знак, чтобы мы не мешали.

Как напряженна работа натурщицы!
Мольберты трудились над ней на треногах.
Я узнавал в их все новых конструкциях
характер мятущийся и одинокий —

то гвоздь, то три глаза, то штык трофейный,
как он любил ее в это время!
Не находила удовлетворенья
мысль, что предшествовала творенью.

Над батареею отопленья
крутился Чайковский, трактуемый Геной
Рождественским. Шар умолял его в небо
выпустить. И в небе гроза набрякла.
Туча пахла, как мешок с яблоками.

Это уже ощущалось всеми —
будто проветривали помещенье —
мысль, что предшествовала творенью,
страсть, что предшествовала творенью,
тоска, предшествующая творенью,
шатала строения и деревья!

Мысль в виде женщины в кресле сидела.
Была улыбка — не было тела.
Мысль о собаке лизала колени.
Мыслью о море стояла аллея.
Мысль о стремянке, волнуя, белела —
в ней перекладина, что отсутствовала,
мыслью о ребре присутствовала.

Съезжалось общество потребления.
Мысль о яблоке катилась с тарелки.
Мысль о тебе стояла на тумбочке.
«Как он любил ее!» — я подумал.
«Да» — ответила из передней
недоуменная тьма творенья.

Вот предыстория их отношений.
Вышла студенткой. Лет было мало.
Верила — стало быть, понимала.
Как он ревнует ее, отошедши!
Попробуйте душ принять в его ванной —
душ принимает его очертанья.

Роман их длится не для посторонних.
Переворачивался двусторонний
Чайковский. В мелодии были стоны
антоновских яблонь. Как мысль о создателе
осень стояла. Дом конопатили.
Шар об известку терся щекою.
Мысль обо мне заводила Чайковского
по старой памяти над парниками.
Он ставил его в шестьдесят четвертом.
Гости в это не проникали.

«Все оправдалось, мэтр полуголый,
что вы сулили мне в стенах шершавых
гневым затмением лысого шара,
локтями черными треутольников».

Море сомнительное манило.
Сохла сомнительная малина.
Только одно не имело сомненья —
мысль о бессмысленности творенья.

Цвела на террасе мысль о терновнике.
Благодарю вас, мэтр современный!
Что же есть я? Оговорка мысли?
Грифель, который тряпкою смыли?
Я не просил, чтоб меня творили!
Но заглушал мою говорильню
смысл совершаемого творенья —
ссылка на бога была б трафаретной —
Материя. Сад. Чайковский, наверное.

Яблоки падали. Плакали лабухи.
Яблок было — гребни лопатой!
Я на коленях брал эти яблоки
яблокопада, яблокопада.
Я сбросил рубаху. По голым лопаткам
дубасили, как кулаки прохладные.
Я хохотал под яблокопадом.
Не было яблонь — яблоки падали.
Связал рукавами рубаху казнимую.
Набил плодами ее, как корзину.
Была тяжела, шевелилась, пахла.
Я ахнул —
сидела женщина в мужской рубахе.

Тебя я создал из падших яблок,
из праха — великую, беспризорную!
Под правым белком, косящим набок,
прилипла родинка темным зернышком.
Был я соавтором сотворенья.
Из снежных яблок так во дворе мы
бабу слепляем. Так на коленях
любимых лепим. Хозяйке дома
тебя представил я гостьей якобы.
Ты всем гостям раздавала яблоки.
И изъяснялась по-черноземному.

Стояла яблонная спасительница,
моя стеснительная сенсация.
Среди диванов глаза просили:
«Сенца бы!»
Откуда знать тебе, улыбавшейся,
в рубашке, словно в коротком платьице:
забывшись, влюбишься, сбросишь рубашку
и, как шары, по земле раскатишься!..

Над автобусной остановкой
туча пахла, как мешок с антоновкой.
Шар улетал. В мире было ветрено.
Прощай, нечаянное творенье!

Вы ночевали ли в даче создателя,
на холодине колких дерюжищ?
И проносилось в вашем сознании:
«Благодарю за то, что даруешь».

Благодарю тебя, автор творенья,
что я случился частью твоею,
моря и суши, сада в Тарусе,
благодарю за то, что даруешь,
что я не прожил мышкой-норушкой,
что не двурушничал с тобой, время,
даже когда ты мне даришь кукиш,
и за удары остервенелые,
даже за это стихотворенье,
даже за то, что завтра задуешь,—
благодарю тебя, что даруешь
краткими яблоками коленей!
За гениальность твоих натурщиц,
за безымянность твоей идеи...
И повторяли уже в сновиденьи:
«Боготворю за то, что даруешь».

В мир открывались ворота ночные.
Вы уезжали. Собаки вьли.
Не посещайте художника после кончины,
а навещайте, пока вы живы.



Сергей БОБКОВ

★

СУДЬБА

Ты существуешь наяву
В неуловимом, беспредметном
Явлении души уму
Как знаменье премногоцветном,

Ты обращаешься всему
Светлыню свежего дыханья,
Прозрачной простирая дланью
То ветер счастья, то чуму,—

И потому с тобой на «ты»
Любая тварь, любое слово,
Чертами образа земного
Сведенное до красоты.

В сумерках

Снег медленно идет к тебе.
А ты стоишь ему навстречу...
И женственно очеловечен
Свет,
предположенный судьбе.

ГЕОРГИЙ ПРЯХИН

★

ИНТЕРНАТ

Повесть в записках

Наше внимание избирательно. В собеседнике ищешь единомышленника, в книгах — созвучия собственным мыслям, чувствам. Всегда больше задевает то, чем сам мучился, о чем размышлял. Так случилось и с повестью «Интернат» Георгия Пряхина.

Тема сиротства... Чем привлекла она молодого прозаика? С одной стороны, понятно: Г. Пряхин сам бывший воспитанник интерната. Но с другой... Что это — еще одно свидетельство неблагополучия нашего мира? запоздалая жалоба на раннюю обездоленность? исповедь, в конце концов? Ни то, ни другое, ни третье. Повесть, хотя и имеет подзаголовок «Повесть в записках», хотя и написана как бы изнутри, с доскональным знанием интернатского быта и характеров, никак не является дневниковой: автор умеет отстраниться, отойти от пережитого, увидеть свою жизнь двойным зрением — глазами мальчишки и взрослого человека, для которого бесконечно дорого это нелегкое прошлое, но оно все-таки уже прошлое. В повести нет умиленности. Ни автор, ни его герои не ждут и не желают жалостливой чувствительности — само слово «сирота» решительно изгоняется из обихода обездоленных детей (а воспитанники интерната при всей заботе о них государства обездолены, ибо лишены нормального детства, родительского дома, и автор дает нам понять это на первых же страницах). Да, судьбы ребят драматичны, зачастую изломаны, и кто знает, как бы сложились они впоследствии, не будь рядом с ними Учителя, Кати и всех тех взрослых, кто не сдюкая, как равные равных ведут их в жизнь, «в люди» — с полной мерой взрослой ответственности, правдивости и доброты. Именно эти три категории станут затем главным в формировании личности героя повести, в его отношении к жизни, в том обновляющем чувстве социального оптимизма, которое испытываешь, прочитав эту повесть.

Чингиз АЙТМАТОВ.

В этот городок езжу до сих пор и, наверное, буду ездить еще долго, до конца дней, хотя любая дорога чем чаще повторяется, тем горше она в конце концов.

Городок настолько мал, что, откуда бы ни въехал, всякий раз проезжаешь мимо обнесенного штaketником трехэтажного кирпичного здания. Такие же здания с такими же заборами стоят в сотнях городков России. Это школы-интернаты. Обычные школы жмутся к домам, к теплу. Интернаты, как правило, на окраинах. В школах больше окон, стекла. В интернатах преобладает камень. Когда-то мы безоглядно гордились детскими домами и интернатами — они свидетельствовали о силе и здоровье молодой державы. Сейчас мы как-то стесняемся их как свидетелей еще случаемогося неблагополучия.

После каждого общественного потрясения в этих каменных домах оседают самые потрясенные — дети. В войну в них остались дети погибших, инвалидов и дети-инвалиды. Уже на моей памяти, после дагестанского землетрясения, интернат заговорил, залопотал, запла-

кал по-аварски, по-лажски, по-даргински. Беда ударила где-то далеко, даже из-под земли, но, начавшись там грозным гулом, докатилась до нашего дома плачем.

Он полон и сейчас. Когда бы ни проезжал, ни проходил мимо, двор за зеленым штакетником никогда не бывает пуст. И каждый раз меня, как, наверное, и любого взрослого человека, у этих ворот поджидает тревожный вопрос: что привело на казенный интернатский двор его неоперившихся постояльцев? И всякий раз вспоминаю самого себя, собственную дорогу сюда, товарищей, с которыми делил и двор, и хлеб, и крышу над головой. Всмотреться в них, рассказать о них не значит ли явственней увидеть и сегодняшних мальчишек и девчонок, собранных под заботливым и тем не менее слишком просторным для маленького человека государственным крылом?

Здравствуй, Учитель!

Март. Желтый глинистый грейдер как тыквенная каша. Машины пробираются по нему на брюхе, безголово плача, — так ползут большие изувеченные звери. Вокруг весенняя степь, чистая, стылая, порожняя, до горизонта застекленная блескучими, как у нас говорят, тальми водами. Еще неделя — и от моря до моря запретит, запыхтит, забродит она. И с ревом рухнут, отойдут воды, обнажив младенческую плоть зеленей.

Еще неделя... А пока мы с Екатериной Петровной толкаем грузовик (оказывается, машине недостает двух наших слабых человеческих сил) через немое стоячее половодье, и весеннее солнце, которое везде: в небе, в воде, в самом воздухе, — летит нам в глаза вместе с грязницей из-под колес.

Екатерина Петровна везет меня в интернат.

Екатерина Петровна — моя учительница, и таких учителей я больше никогда не встречал. Странная это была учительница. Хотя «странная» — что-то романтическое, туманное, а она понятная, простецкая. До странности понятная. Екатерина Петровна замужем за совхозным шофером Иваном Васильевичем, громадным цыганистым мужиком, он как раз и сидел за рулем грузовика. По-разному звали шоферов в нашем селе: и Ваньками, и Иванами, и по фамилиям, сокращая их при этом чуть ли не до междометий; моих дядек, тоже шоферов, звали, например, Гуси — с ударением на последнем слог. А вот Иван Васильевич вроде как Иваном Васильевичем и родился — для погодков, для стариков и для совхозного директора Туткина.

Иван Васильевич жену даже в мужском незатейливом разговоре называл Катей, без всяких прибавлений и эпитетов. Катя — и все, хорошо так, спокойно, и дети у них тоже шли спокойно, хорошо. Когда я у нее учился, их уже было трое: две девочки и мальчик. Вот только болели часто. В такие дни войдет в класс Екатерина Петровна, Катя то есть, пригнется к столу и грустно, без «здрасьте — садитесь» скажет: «Опять заболели. Прямо замучилась. Что же делать?» И мы, шестнадцать гавриков, тоже грустно думаем, что же делать, хотя этот квелый выводок нам вроде бы до лампочки.

Где-то в седьмом мы все повлюблялись, причем каким-то квадратно-гнездовым манером, потому что девочек было только шесть, а нас, мальчишек, десять. Дружеские связи в классе ослабели, каждый, может, впервые ощутил самого себя, прислушался к себе. Приложил ухо, а там — волны, туманы, гудки... Море! И наше шестнадцатидушное человечество заштормило. Отношения в классе стали взвинченными. Квадратно-гнездовая любовь росла болезненно и бодливо, как растут у телят молоденькие рожки.

И тогда она сказала нам, что мы дураки. Приткнулась к столу, поправила рыжий узел, из которого, как из литой, безукоризненно сработанной скирды, выбилась длинная, золотая, нежно блеснувшая на солнце соломинка. Я думаю, своей прической Катя наверняка кому-то подражала, пусть даже неосознанно — она как будто связывала ее молодую, сегодняшнюю с дальней родней: народоволки, Надежда Крупская, первые учительницы советской власти, чья смутьянствующая женственность была тщательно упрятана, заточена в такие же медоносные узлы. «Вы дураки,— сказала Катя.— Человек, который чересчур торопится к неминущей цели, многое пропускает в пути такого, что уже не воротится никогда. Что минует раз и навсегда нерассмотренным, неугаданным...»

Вряд ли мы тогда что-то поняли из ее слов. Она и сама почувствовала это и сразу, без перехода заговорила о другом — о своем детстве. «Тогда, в сорок пятом,— рассказывала она,— во всем нашем квартале не вернулся только мой отец, а уже в сорок шестом еще трое ребят схоронили отцов. Дел и горя неупорот, а мы все равно жили весело. Зимой — после войны стояли богатые зимы — ходили на речку и устраивали там кучу малу, катались с кручи. Не на санях — саней было мало. В корзинках. В две круглые плетеные корзины вмещался весь класс. Правда, чтобы не вылететь из нее, надо было держаться и руками и зубами...»

В корзинах? Вот это было понятно, хотя никто из нас в корзинах не катался. Это нас зацепило. В субботу приволокли в класс несколько плетеных корзин, Катя заставила облить их водой и выставить на мороз. Уроки закончились рано, и после них Катя пошла с нами на пруд.

Это было катанье! Корзины со свистом неслись по крутому обледеневшему склону, бешено крутились, и мы вылетали из них, словно это были не безобидные плетенки, а шипящие сковороды. Хочешь удержаться в полете — как можно крепче вцепись в товарища. Или в подругу.

Катя незаметно ушла, мы же бесились на гребле допоздна: свист, вопли, хохот. Мир был восстановлен.

В нашем классе было трудно болеть. Детские болезни Катя знала назубок, они были для нее одушевленными, персонифицированными, что помогал ей ненавидеть их как личных врагов. Если ты прихварывал, она через все село неслась к тебе с таким свирепым лицом, с каким Дон Кихот Ламанчский скакал на свой первый поединок. В этих гигиенических условиях трудно было подцепить воспаление хитрости. Село наше было длинным, две негустые, скорее даже пунктирные улицы протянулись в степи на десяток километров, а Катя жила на окраине, и только отпетый человек мог заставить ее без нужды делать столь длинные медобходы. Болели ее дети — и она болела. Болели мы — она тоже болела.

Когда в шестом классе весной мы с Федей Денишовым украли из военного кабинета малокалиберную винтовку и двести патронов к ней — хотели рвануть в далекие края и только ждали настоящего тепла, — то я был счастлив, что Катя в декретном отпуске. В школе был переполох, все искали винтовку, каждый день заседал военизированный, с привлечением участкового милиционера, педсовет, а уроки в классах начинались словами: «Ребята, может, кто знает, видел? Передайте: пусть подбросят винтовку, ничего не будет, пусть только подбросят...» Никакие мольбы нас не пронимали, мы с Федей ходили с честными лицами, пока винтовку не увидела на потолке (так у нас именуют чердаки) моя мать, и я, доставленный туда же, на потолок, за ухо, имел там, в виду винтовки, как щенок в виду собственной шкоды, такую трепку, которую до сих пор вспоминаю всякий раз, как приходится бывать на военных сборах и получать под расписку

автомат. Не знаю, сумели бы мы с Федей Денишовым так долго и равнодушно дурачить школу, если бы там нас каждый раз ждала Катя.

Однажды в классе подожгли серу. Химичка показывала опыты, после урока попросила отнести серу в физкабинет, отчего та воспламенилась. Ванька Мазняк проделал этот опыт с большим мастерством: через три минуты, как раз к началу следующего урока, в классе был ад кромешный. Вся школа сбежалась посмотреть и понюхать опыт. Вошедший было в класс хроменький учитель истории Михаил Александрович — следующим был его урок — тут же покинул его, ибо это был не класс, а Бородинское поле в шесть утра 26 августа 1812 года...

Потом в класс пришла Катя. Она отправила девчонок погулять во двор, а нас, мальчишек, заставила открыть окна и сама провела с нами урок истории — Михаил Александрович наотрез отказался. Катя ничего не рассказывала и не объясняла, она только спрашивала, сверяя ответы по книжке, и это было очень трудным делом: на ходу состряпать правдоподобную историю о том, почему не выучен урок. Катя спрашивала с таким буквализмом и пристрастием (со временем я убедился: самые жестокие экзаменаторы — дилетанты с учебниками в руках), что урок оказался не выученным никем.

Она оставила нас без обеда (тогда в школе еще бытовала эта мифическая формулировка, мифическая еще и потому, что учились мы во вторую смену и лишиться обеда нас можно было только с одновременным лишением жизни), выстроила в коридоре, сама расположилась в директорском кабинете и, как приказный дьяк, начала расследование. Вызывала по одному и спрашивала, кто поджег серу. «Не я», — коротко отвечал каждый и выходил к товарищам с явным торжеством и скрытым облегчением.

После она пригласила в кабинет всех. Поскольку ни у кого из нас не было большого желания вторично заходить в эту исповедальню, она заводила каждого сама за рукав, держась за него двумя пальцами, как будто мы были гриппозными. «Вы все доносчики, — сказала она без каких-либо победных ноток в голосе. — Вы все доносчики, и я не знаю, что с вами делать. Каждый из вас донес на каждого. Противно». Она встала, прошла мимо нас, сидевших с тем выражением на лицах, которое легко можно принять и за оскорбленную честность и за искреннее раскаяние, вышла из директорской. Потом вышла из школы — мы отчетливо слышали стук ее каблуков по деревянным ступенькам. Еще через минуту она пронесла свой скорбный курносый профиль мимо окна директорской и исчезла в светлых весенних сумерках. «Вот зараза», — тоскливо сказал Ванька Мазняк, потому что героем себя уже не чувствовал, как, впрочем, и каждый из нас.

У нее были свои вывихи, и, конечно, не от избытка ночных бдений над Макаренко или Ушинским. Сейчас я, например, понимаю, что допрос в директорской тоже вывих, но если она однажды назвала меня лицемером, то это я тоже запомнил на всю жизнь, как трепку на потолке, хотя меня не раз еще и по-разному называли и другие учителя.

В классе опять была какая-то заваруха, какой-то коллективный сговор, причем на Катином уроке. После урока я подошел к ней и что-то сказал, желая ее утешить, как-то облегчить ее вечное «что же делать?». Она подняла голову и медленно, тихо, чтобы слышал только я, произнесла: «Ты лицемер, Гусев». И я почувствовал гадливость к самому себе.

Хотя и ласковых слов слышал от нее больше, чем от кого-либо другого. И когда умерла мать, она единственная из всей школы, хотя школа вообще-то всегда помогла мне — то пальто справляла, то кирзовые сапоги, — пришла на похороны и, обхватив нас троих, материнских сыновей, из которых мне, старшему, исполнилось тринадцать, а самому младшему пять, плакала навзрыд, приговаривая с

делать, что же делать?». И когда везли мать на кладбище, я все время видел с машины, от гроба, учительницу, шедшую в поздней декабрьской грязи в толпе доярок и скотников, шоферов и разных других представителей неруководящих сельских профессий.

Спроси меня, как хорошо вела она свою математику, я и не отвечаю. Катя окончила педучилище, а в институте еще только училась — заочно. (Лет десять назад встретился со своим племянником, спросил у него, как там Екатерина Петровна. «Катя, что ли? — переспросил племянш.— Не было ее с месяц, потом приехала, приходит в класс и говорит: «Поздравьте, диплом получила. Слава богу, выучилась...» Она у нас классная руководительница».) Как она вела математику, не помню. Да она могла бы вести что угодно, хоть зоологию — провела же она урок истории.

Фамилия у нее была хорошая — Рябенюкая. Как раз по ней — небольшой, крепенькой, как просяное зернышко.

Когда умерла мать, меня и братьев приютили родственники, поскольку на отца никакой надежды не было: у него начался очередной запой. Все это были люди хорошие, добрые, но ни одна семья не могла взять сразу троих нахлебников, поэтому жить нам пришлось в трех разных семьях. Взяли нас временно, до нашего устройства. Поскольку людей по-настоящему грамотных среди родни не было, за устройство взялась Катя. Она куда-то писала, ездила, у нее что-то не выгорало, потому что ближайший детский дом был далеко от нашего села. Катя же хотела, чтобы мы жили поближе к селу, к родне, к ней. Поближе был интернат, но в интернаты сирот берут неохотно, потому что за интернат надо платить, немного, но платить. Сироты же ставятся на полное государственное обеспечение, и это усложняет интернатскую бухгалтерию.

Хотя сиротами мы в интернате друг друга не называли. Жалостливая терминология не признавалась, и тот, кто сказал бы о себе: «Я сирота», был бы незамедлительно осмеян. Казенные — такое добровольное прозвище гуляло по интернату.

Казенные — как беглые.

Кстати говоря, они и в самом деле убегают из интернатов чаще других, хотя бежать им, по существу, некуда. Казенных было немного, основной контингент составляли не они. У основного контингента был хотя бы один родитель — дома, в больнице, на худой конец в тюрьме. Была еще и третья категория воспитанников: приезжие. Они жили в городе, дома, а в интернат приходили только на уроки, как в обычную школу. Их было еще меньше, чем сирот.

Может, заметили: в детский сад, в школу детей отдают. В интернат — сдают. Так и говорят: сдали в интернат. Нашей матери, одной поднимавшей троих детей, не раз советовали сдать хотя бы меня, старшего. С тайным гневом, с обидой отказывалась. Отвергала. Помню, как горько разрыдалась, когда я сам попросился в суворовское училище. Теперь понимаю: и в этом расхожем мальчишеском мечтании усмотрела укор себе.

И вот теперь Катя везла меня в интернат, на казенный кошт. Ей действительно удалось наше устройство. Катя была в приподнятом настроении, потому что везла меня не просто в интернат, а в свой родной город. (Этот железнодорожный тупичок, который всю его жизнь старалась занести, зализать, как ранку, ветром и пылью степь, скутал у окрестных сел сало, муку, масло, яйца, мясо, а взамен исправно поставлял учительниц, докториц и аптекарей.) Она везла меня в свой город, в свое детство с кручей над речкой Кумой, где в обледенелых корзинах катались мальчишки и девчонки сорок пятого года, с мамой, по-прежнему проживающей все там же на Садовой, с педучилищем...

— Больше всех любили в училище преподавателя литературы Валентина Павловича Чернышова. Он тогда вернулся с фронта и учил

нас как студентов — по своим институтским конспектам. Молодой, сдержанный, мы и боялись его больше всех. Сейчас он работает в интернате завучем...

Иван Васильевич молчал, потому что вообще часто молчал, да и расквашенная дорога, за которой надо было смотреть в оба, не располагала к разговорам. Я молчал, потому что тринадцатилетние люди всегда молчат (если не плачут), когда их везут из родного дома. И лишь Катя, с двух сторон стиснутая нами в кабине «газона», щебетала и щебетала. Говорила, что как только приедем в интернат, она найдет Валентина Павловича, сведет меня к нему, расскажет, какой я хороший, как люблю литературу и как выразительно декламирую стихотворения. Все расскажет, и Валентин Павлович полюбит меня, и у меня в интернате будет содержательная жизнь.

У въезда в город мы остановились возле водоразборной колонки, умылись, вымыли сапоги, Екатерина Петровна причесалась, и через пять минут подъехали к интернату. За высоким, облезлым после зимовки штакетником была перемена. Она не помешалась во дворе, цевками била в ворота и в щели забора. Я входил в ее кутерьму, как в колючий весенний дождь. Екатерина Петровна и та стушеввалась. Она робко спрашивала, как пройти к завучу, а в это время мне со всех сторон кричали:

— Откуда? С какого хутора? Почему кирзачи?

В сапогах я тут был один.

Мы поднялись по лестнице на второй этаж, нашли кабинет завуча и шагнули за дверь.

В кабинете сидел сухощавый подобранный человек. Аккуратно уложенные, еще не совсем седые серые волосы. Тусклые, неживые, как амбарная паутина. Высокий выгнутый лоб и глаза — так глубоко, что к ним, наверное, не достучишься. Это и был Валентин Павлович.

— Говорите, были моей ученицей? В педучилище?

Под его пристальным взглядом Катина лицо пошло тихой зарей.

— А фамилия?

— Рябенская.

— Рябенская... Рябенская. Фамилию припоминаю, прекрасная фамилия, учительская. А вот вас... — Он улыбнулся, и его глаза на миг выглянули наружу. — Почему вы смеетесь?

Катя не смеялась. Катя хохотала, как частенько хохотала в нашем классе, как вообще смеялась только она — запрокинув голову, словно поющая птица. Пьющая! — в чутких глубинах выгнувшегося горла, сотрясая его, от каждой скользнувшей внутрь капли взлетает звонкое, колодезное эхо.

— Вот вы и тогда говорили мне: фамилия у вас, Катя, прекрасная, учительская, в народ надо... Потому и не сменила.

Валентин Павлович тоже засмеялся. Аккуратно, чисто, как деревенские старики хлеб едят: съел и крошки в ладошку.

Мне хотелось, чтобы они говорили подольше, потому что пока здесь была Катя, я еще был дома. Но Катя стала говорить обо мне, и это уже было хуже. Катя хотела подать меня повкуснее, с гарниром: про декламацию, сообразительность «и вообще у нас он был бы медалистом». Валентин Павлович, однажды взглянув на меня, увел разговор в сторону. Сказал, что тут все прекрасные, необыкновенные, «просто чрезвычайные», что он за мной присмотрит и мне будет хорошо, а тайные и явные таланты мой расцветут со страшной силой.

— Вы расскажите о себе. Как учительствуете, как живете?

Он спрашивал про нее, она рассказывала про меня. Я же сидел в углу на дерматиновом стуле и, не слушая их, горестно представлял, как Катя уйдет, отлучит резиновыми сапожками два шербрых лестничных марша — и останусь я совсем один.

...Мы шли по лестнице вместе. Шаг Катя, шаг я. Шаг Катя, шаг я. Я провожал ее к машине. Перемена кончилась, двор опустел. Подсыхал на солнце асфальт, и маленькие Катини сапоги оставляли на нем мокрые листья следов. Она плакала, закусив край лежавшего на плечах платка. Иван Васильевич сказал, чтоб я того, не забывал, что у меня есть свое село. Родина. Машина тронулась, я долго следил за нею, и у меня до сих пор остался в памяти ее номер, едва различимый на заляпанном грязью борту: 12-42 СТА.

Первые дни. Сезон линьки. Сначала слезли разбитые кирзовые сапоги. Затем штаны, потом вельветовая куртка — такие куртки в селе называли почему-то чирлистонками.

В течение трех-четырех дней меня по частям обмундировали, и стал я, как все: в ботинках и в школьной форме мышинного цвета. Последняя, как и чирлистонка, тоже имела иноземное наименование, но уже куда менее благодушно: гоминьдановка.

Чувствовал я себя подавленно, в классе приживался плохо: уж очень жестоким показался он мне после моей сельской школы. Да он и не мог быть другим: концентрат безотцовщины или, что еще хлестче, пьющего отцовства — педагогическое рукоделье детприемников и детских комнат. Интересы ко мне никто не проявлял (исчез вместе с сапогами), в том числе и Валентин Павлович. Войдя в класс, он бегло осматривал его, удовлетворенно наткнулся на меня — вот и все внимание. Но однажды, во вторую или третью мою интернатскую неделю, вызвал меня отвечать. Проходили Пушкина, Учитель велел выучить «Арион» и теперь, видимо, вспомнил Катини «гарниры».

— Прошу вас, товарищ Гусев, — пригласил он меня к доске.

Товарищ Гусев поволокся. Как и любой новичок, он шел к доске со скверным чувством, но когда встал, повернулся и увидел любопытно-колочий затихший класс, понял, что, наверное, именно сейчас решится, примут его или не примут, станет он здесь своим или останется чужим, а еще хуже — ничейным, и ему захотелось поразить и класс и Учителя. Он стал декламировать. Декламировал так — первую строку стихотворения выкрикивал во всю силу здоровых деревенских легких, вторую пел замирающим шепотом:

Нас было много на челне:
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
Вглубь мощны весла. В тишине...

Тишина была убийственной. Учитель сначала тоже опешил, потом развернулся на стуле лицом к товарищу Гусеву и наблюдал спектакль из партера.

Я подгробал к концу, тишина готова была разразиться издевательским хохотом, но Учитель пожалел меня. Когда я закончил, он задумчиво сказал, словно пораженный нечаянным открытием:

— Вы знаете, в этом что-то есть. Движенье волн — всплеск и замиранье... В этом что-то есть, — убежденнее повторил он и засмолил мне пятерку.

Против движения волн не попрешь, и класс, опростоволосившись, молчал: мальчишки пристыженно (темнота!), девчонки уже поощрительно. Что касается меня, то я разгадал Учителя и возвращался на свое место, не отрывая глаз от пола.

Еще пятерка. Теперь уже не у меня — у моего нового товарища (странно: когда-то он был новым) Володи Плугова. Плугов молчун. Пока скажет слово, уставившись в свои ботинки, отвернув предвзвешенно пару пуговиц на ваших носильных вещах, поклоните и станете говорить сами. Володя сразу успокоится, замурлычет, оставит в по-

кое ваше барахлишко, так что вы с чистой совестью будете думать, что говорите, изрекаете как раз то умное, бесценное, что хотел, но не сумел высказать, сфор-му-ли-ро-вать Плугов. Редкая птичка долетит до середины затеянной Володей фразы, и по этой причине он до сих пор ходит бобылем. Он и тогда был один. Поэтому, наверное, мы с ним и подружились: мне некуда было прибиться, в классе уже сложились замкнутые группировки, и я притулился к такому же одиночке, как сам. Разница была в том, что этот одиночка в отличие от меня ничего обществу и не искал. Сидел и сидел себе за партой, по сорок пять минут в урок рисовал чертей на промокашках, вполуха слушал преподавателей, а когда его самого вызывали к доске, начинал изда-лека, из глубины — с ботинок. И хотя уроки он знал, редкий педагог долетал до середины затеянной Володей фразы. Как только Плугов предпринимал опасное сближение с пуговицами наставника, его от-правляли на место: «Три!»

И вдруг — пять.

Мы писали сочинение «Мое отношение к Базарову». На следующий день Учитель вошел в класс с нашими размышлениями под мышкой и сказал, что сейчас зачитает лучшее сочинение. Мужская половина класса повернулась — не к Учителю, нет, к директорской дочке Ларочке-лапочке и замерла.

Вообще находящуюся Ларочку хотелось смотреть, и вокруг нее и на уроках и на переменах, стараясь не встречаться и не смешиваться, всегда плавало пять-шесть тайных мальчишеских взглядов. Когда она уходила домой, у интернатского забора совершенно случайно оказывались два-три воспитанника и смотрели ей вслед. Она шла на крепких ножках, размахивая портфельчиком — у нас портфелей не было, они были ни к чему, потому что книжки всегда лежали в классе в шкафу, — смотрелась, как в зеркальце, в весенний тротуар, в вымытые к маю окна, в выставленные под окнами на завалинках вечные лики городских старух...

А тут подвернулась роскошная оказия — смотреть не таясь!

Шестнадцать человек в классе (столько мальчишек было у нас) чувствовали себя счастливыми. Семнадцатой счастливой была сама принцесса крови. Она привыкла быть лучшей. Класс тоже привык к Ларочкиному первенству и теперь по инерции приготовился воз-дать ей должное.

— Сочинение небольшое, я отниму у вас полминуты, — предупредил Учитель и начал читать: — «Древний поэт сказал, что человеку дано высокое лицо для того, чтобы он подымал к созвездиям очи. К сожалению, Евгению Базарову звезды не нужны. Так человек ли он?»

Класс молчал. Смеяться было страшновато: как-никак Базаров. «Могучая фигура в галерее образов русской литературы» — так диктовал сам же Валентин Павлович. Ларочка смятенно ерзала за партой. Не могла она написать такое. Базаров. Новые люди. Реалисты.

— Да, забыл сказать: это сочинение написал товарищ Плугов.

Класс развернулся на девяносто градусов, удивленно рассматривая стыдливо поникшего Плугова. К нему подошел Учитель, тронул Плугова за локоть:

— Прошу вас подарить мне вашу работу, и лет через десять, если свидимся, мы с вами перечитаем ее заново.

Плугов пожал плечами. Учитель чуть заметно улыбнулся, повернулся к столу, бережно положил тетрадку в стороне от других, как будто это было не сочинение, а собрание сочинений, литературное наследие воспитанника политехнической школы-интерната № 2 Плугова Владимира Ивановича, которое надо читать и перечитывать заново.

Летом интернат разъезжался. Ехали к родителям, близким или дальним родственникам. Случалось, и очень часто, что один воспита-

ник вез к себе домой другого. Вез, подчас не спросив родителей, но я не помню ни одного случая, чтобы незванный гость возвращался в интернат досрочно или в дурном расположении духа. По книжкам знаю, что такое гостеванье практиковалось в лицах, гимназиях и других казенных заведениях. Отдавая должное дворянскому гостеприимству, надо сказать, что нашу интернатскую публику безропотно принимал далеко не самый обеспеченный народ.

В интернатских стенах на лето оставалось не больше четырех-пяти человек. Причем публика эта была неизменная, разве что по окончании школы кто-то уходил, но ему на смену обязательно прибывался другой. Ее, пожалуй, можно определить как еще одну, уже самую малочисленную группу — остающихся на лето в интернате. В то лето я составил им компанию: родственники взяли братьев, взяли бы, конечно, и меня, но я, видите ли, счел благородным остаться.

Компания была разношерстной: Колька Бесфамильный, самый старший из нас, сорок пятого года — в свидетельстве о рождении там, где у многих в графе «Отец» торчали стыдливые прочерки, у него решительно значилось «подкидыш»; гражданин Развозов, или просто Гражданин, — подробнее о нем впереди; Плугон, я и довеском Джек Свисток.

Довесок у нас был знаменитый. Несмотря на то, что учился он где-то в младших классах, его знал весь интернат. Известность Свистка зижделась на двух китах. Первым был его голос. Этот щедедушный, сутулый, как будто стоявший на вечном старте шкет обладал неожиданным, словно прикарманенным басом. На занятиях хора учительница пения Евгения Семеновна ставила Джека в самый последний ряд, к старшеклассникам. Джек начисто терялся среди них, и только его бас ломился из их гущи так, что все остальные басы интерната могли разевать рты вхолостую, что они и делали. Вторым китом Джека Свистка была его мать. Ее интернат знал еще лучше, чем самого Свистка, хотя та в интернате ни разу не появлялась. С кем бы ни заговаривал Свисток, разговор всегда в конце концов сводился к его матери. Какая она у него хорошая, красивая, как много у нее родинок, а это, знаете ли (тут Джек в свирепой непререкаемости задира указательный палец), верный признак счастья, и что в это воскресенье она за ним приедет и заберет его из этой паршивой конторы. Джек назначал дни приезда матери, сам верил в них и даже готовился к ним — каждое воскресенье собирал манатки: лобзик, школьную форму, банные тапочки.

Наряду с душевными и физическими совершенствами мать Джека Свистка обладала еще одной незаурядной способностью: исключительно быстро продвигалась по службе. Начинала она, помнится, с уборщицы в магазине «Морс». (О, этот клюквенный морс! Кто застал его в детстве, тот великодушно простит Джека, даже если он и соврал. А впрочем, может, и не соврал: из всех постов Джековой матери этот был самый реальный.) Потом последовало несколько промежуточных назначений, и наконец она была публично произведена в знатную ткачиху, обслуживающую одновременно пятьдесят станков. Публично потому, что Джек, выполняя добровольную общественную нагрузку, делал в классе доклад «Передовики семилетки — герои наших дней», который, конечно же, тоже свел к матери.

Таков был довесок...

Интернат ремонтировали, поэтому жили мы в пионерской комнате, среди знамен, барабанов и горнов. Поскольку пионером из нас пятерых был один Свисток, то он и стал бессменным дежурным по пионерской. Горны у него сияли, как самовары. Вообще-то Джек вовсе не был услужлив, скорее дерзок. Но когда его классная руководительница, к примеру, отчаявшись найти дежурного, спрашивала: «Кто же у нас сегодня уберет в классе?» — Джек поднимал руку: «Я». Он не любил обычного в таких случаях тягостного молчания.

Жизнь у нас была неплохой. Каждый день мы ездили в подсобное хозяйство и жали там сорго. Степь, свобода, астраханские арбузы с черным хлебом, вечерние поездки на пыльных горячих снопах с интернатским шофером дядей Федей — что может быть лучше этой жизни! Сорго кололо руки, солнце калоило спины, но мы наловчились орудовать серпами, как заправские жнецы прошлой эпохи, круто вязали снопы, ставили их в кулиги и вечером увозили в интернат. Осенью из наших снопов будут сделаны первосортные тугие венки, и интернатский завхоз Иван Гаврилович загонит их окрестным колхозам и превратит сорго в дополнительные, не предусмотренные сметой молоко, масло и яйца.

Джек входил в сорго с головой. Куда ему жать! Он помогал грузить снопы, бегал в шалаш за водой, делил сухой паек — у него была тысяча дел, у Джека Свистка, в том числе одно, справиться с которым не мог никто другой: каждый день раскалывать на пару арбузов сторожа колхозной бахчи. Джек уходил к этому деду, светому и легкому, как пустая камышинка, и тем не менее такому свирепому, что, сунувшись к арбузам в первый день, мы летели от его овчарки, не чуя под собою ног. «Турки! Супостаты! Белогвардейцы!» После таких обвинений выстрел был бы вполне логичен.

Джек уходил к деду, беседовал с ним, с его страдающей бессонницей овчаркой о жизни, о погоде — мало ли о чем беседует человек, когда ему нужна пара арбузов, — и возвращался-таки с добычей. Однажды вместе с ним пришла и собака. Смиренная, прямо переродившаяся. Представилась, повилила хвостом, села возле Джека и ревностно следила, чтобы мы не дай бог не обделили его за обедом. С этого дня овчарка Струна сторожила уже не арбузы — она охраняла Джека Свистка...

Одно было плохо: по ночам Джек тосковал и плакал. Плакал во сне тихо, по-щенячьи. Мы будили его, успокаивали. Случалось, в порядке внушения давали подзатыльник. Умиротворенный внушением, Джек засыпал и начинал скулить снова. Он скулил, а когда четверо длиннобудьных отроков, уже косившихся на невесту, мы сунувшиеся из-под форменных платиц коленки одноклассниц, притворялись спящими. Мы притворялись спящими, хотя еле слышное завыванье Свистка повергало нас в смятение. У каждого что-то ныло и ворочалось, каждому мерещились дом и мать, даже тем, кто никогда не знал ни того, ни другого.

И в одну из суббот он пропал.

Накануне ночью был дождь. Знаете, как бывает: пройдет ливень, а после еще долго, всю ночь, сочится мелкий, с ветром дождь.

Утром мы встали — Джека нет. Раскладушка заправлена, пол вымыт, горны блестят, а Джека нет. Вначале мы не удивились, потому что Джек часто вставал раньше нас. Умылись, сходили в столовую, где нас ждала тетя Шура, единственная повариха, согласившаяся за гроши все лето готовить нам завтраки и ужины. Она часто приносила нам из дома что-нибудь вкусное, никогда не говоря при этом: мол, это вам, ребята, от меня или что-то в таком роде, — а просто ставила принесенное на стол вместе с небогатыми интернатскими разносолами и молча, строго, подперев щеку рукой, смотрела из-за стойки, как мы едим. Крупная, статная, с волосами, побитыми проседью, разговорчивой ее никто не знал, да и не вязалось это как-то с нею. Мы слышали, что у тети Шуры двое детей и что в наш городок она попала девочкой в войну из Ленинграда...

В столовой Джека тоже не было.

Мы решили, что он ушел рыбачить (с утра после такого дождика хорошо клюет, к тому ж и наших удочек на месте не оказалось) и запоздал. Попросили тетю Шурю передать ему, что мы уехали в поле, а он пусть сидит дома и варганит к ужину уху.

День прошел тягостно, домой возвращались в тревоге.

Джека не было. Мы ужинали, уткнувшись в свои тарелки.

Джек сбежал — это было ясно, как дважды два. Джек сбежал — и мы должны были доложить об этом дежурному воспитателю.

За нами на лето закрепили нескольких воспитателей, которые раз-два в неделю появлялись в интернате и проводили с нами физзарядку. Мы должны были доложить о побеге дежурному воспитателю, но дежурным воспитателем на этой неделе был Петр Петрович, учитель математики, любивший подсчитывать у доски, во что обходится государству каждый из нас, воспитанников средней политехнической школы-интерната № 2 («Восемьсот рублей в год», — не уставал повторять он). И мы решили искать Джека сами.

Удрать он мог только к матери, а она, мы слышали, жила где-то на Кавминводах. Это часа три поездом от нашего городка.

Собрали наличность. Двенадцать рублей с копейками — только в один конец. Но мы были детьми своего интерната и к десяти вечера с помощью ведра и шпагата связали десяток отличных сорговых веников, с которыми можно было ехать к черту на кулички, так, по крайней мере, казалось нам.

..Сядишься на корточки, ставишь между коленями пустое ведро, подкладываешь под его дужку метелками вперед пучок сорго, одной рукой прижимаешь дужку, а другой протягиваешь пучок на себя. Готово. Мелкие, на пороховинки похожие зерна ссыпались в ведро, а у тебя в руках оставались голые метелки. Бери шпагат, складывай их, гни и вяжи, если, конечно, умеешь. Мануфактура!..

У одного из нас, Гражданина Развозова, были старинные карманные часы с боем, подаренные его бабкой. Бабка состояла в регулярной переписке с директором интерната, в которой внука своего, брошенного на ее попечение упорхнувшей в погоне за молодостью дочерью, именovala не иначе как «малолетний гражданин Развозов».

Поезд уходил в пять утра. Мы поставили часы на полчетвертого.

Во сне, конечно, забыли о своих приготовлениях и едва услышали их сдавленный звон.

— П-пора, — сказал Гражданин.

Пора.

Собрались, захватили провизию, навьючили на Плугова мешок с вениками. Гражданин нес бабкины карманные часы и общественные карманные деньги.

Улицы были безлюдны, и мы сами чувствовали себя беглецами.

Ночь шла на убыль, впереди рядом с элеватором проклюнулась заря. Она стремительно росла, застревала в окнах и лужах, нежно касалась наших лиц. Мы думали о Джеке, о том, как он вчера один, маленький и дохлый шел под дождем по этой враждебной к нему улице, и уже не злились на него...

Вокзал был еще пуст. Только на лавке в классической позе бродяг и мыслителей сидел небритый, угрюмый человек. На всякий случай мы расположились подальше от него. Если вчера наш маленький Джек тоже встретился с ним, то, значит, свой дальнейший путь он продолжает без копейки в кармане, а мы уже подозревали, что в столь незрелом возрасте без денег можно уехать гораздо дальше, нежели с деньгами.

Билеты покупал Гражданин.

Благополучно дождались поезда, благополучно разместились в полупустом вагоне, проследив предварительно, чтобы не напороться дуриком на кого-нибудь из работников интерната, и тронулись в путь. Гремели колеса, круто, по касательной уходил, отлетал и вообще скрывался с глаз нашу душный, пыльный городок, и каждым из нас овладевало прекрасное чувство побега.

Мы прилипли к окнам, растворились в окнах, за которыми, покачиваясь, проплывали поля и речки, грохотали костлявые мосты,

жили незнакомые села, спотыкаясь бежали за составом полустанки и ранние базары. Мы шатались по вагонам, болтали и, кажется, совсем забыли о Джеке Свистке. А когда на одной из станций в вагон вошла мороженщица, хранитель наличности Развозов лихо отхватил у нее четыре эскимо. Они были уничтожены на месте, и только Колька Бесфамильный, философ и тайный поэт, обращавшийся к каждому из нас на «вы» — наверняка подражая Учителю, — поинтересовался:

— Не слишком ли вы расточительны, товарищ Гражданин?

— Жить надо широко, — покровительственно ухмыльнулся тот.

Когда приканчивали третью партию мороженого, перед нами возникла контролерша — совершенно из ничего, что было удивительно при ее громоздких формах.

— Билетики!

— У него. — Три пальца уперлись в Гражданина.

Гражданин вынул из кармана билет. Единственный.

— П-постояте, гр-граждан-не, п-постояте... — Это он отбивался уже не от контролерши, а от нас. — Я вс-се об-бъясню... П-послушайте, — вновь повернулся он к контролерше, — п-послушайте, мам-маша, мы из спецшколы для недоразвитых.

— Чего-чего?

— Из спецшколы, говорю, — обрадовался он грозной и все же неслужебной интонации «чего-чего». И подхватил эту интонацию, как галантный кавалер, за талию, за плечики нежно и крепко и заплясал вокруг «чего» и забил копытами: — Для недоразвитых. Учимся круглый год, сами понимаете. Даже летом. Просто мученье, — перешел он на рубленый слог: лови момент, продувшийся поручик! — А тут на недельку отпустили, домой едем, в Минводы. К родным и близким...

— Брешете ж, брешете, паразиты, — растерянно говорила женщина.

— Н-никогда! Н-ни при каких обстоятельствах! Мы за честь родного интерната постояю в учебе и в труде. Р-развяжи! — неожиданно рявкнул Гражданин Вовке Плугову.

Волею догадался, путаясь в бечевках, развязал мешок, вытащил веник.

— П-пр-продукция! — пылил Гражданин. — В школе делаем. Знаете, физиотерапия. Поучился — потрудился. И так круглый год, даже летом. Просто мученье.

Плутов держал веник, как букет перед любимой. Букет отвергнут не был. Сунув его под мышку, контролерша миролюбиво проследовала дальше...

В восемь утра поезд был в Минеральных Водах. Мы кинулись к вокзалу, а вокзал ринулся на нас.

Кишащий, переполненный так, что даже голубиный помет не долетал до его перронов, он, как цыганский табор, жил страстями: хохотал и плакал, целовался и матерился, дарил и попрошайничал. Кипел под ногами асфальт, поезда, подходившие с юга, волнами гнали перед собой горячий пенящийся бриз двух морей. От их перелетных криков все внутри просило крыльев, и только курортники, распаренные, очумелые, изнывавшие за толстыми стеклами вагонных окон, не понимали, какое это чудо — дорога.

Нам трудно было искать Джека Свистка: слишком много было отвлекающих запахов.

Решили поделиться на две группы. Двое, Плуты и Бесфамильный, оставались на вокзале, чтобы еще раз осмотреть все залы и закоулки, обойти все перроны. Они же как наиболее представительные из нас должны были сходить в железнодорожный детский приемник, где в любое время года и суток непременно сидит на приколе пара-тройка Джеков — на выбор. Нам же с Гражданином выпало ехать на минераловодскую толкучку. Знаменитый толчок, на котором

умеючи можно было толкнуть союзки от ботинок, которые в девичестве сносила ваша бабушка.

Собственно, идея поехать на толчок принадлежала Гражданину. Его логика была проста и насмешлива: если человеку нужны деньги, а Джеку они наверняка нужны, он обязательно обнаружит у себя лишнее барахлишко, например штаны, даже если они единственные. К этой теории примешивались и практические соображения нашего финансиста: в конце концов нам тоже нужны деньги и не будем же мы продавать веники прямо на вокзале.

Вышли на привокзальную площадь, спросили, как проехать на толчок, сели в автобус. Жестяная колымага проковыляла несколько остановок, а мы уже на собственных боках почувствовали и силу спроса и ярость предложения минераловодского толчка. А едва прибыли на место, протиснулись в гущу барахолки, как в буйном шабаше сладкоголосых ее сирен различили и очень знакомый нам голос. Не различить его было невозможно, потому что профессиональную спевку спекулянтов он перекрывал с той же легкостью, с какой и наш любительский интернатский хор:

— Абсолютно новая школьная форма на мальчика высокого роста!

Оказывается, Свисток считал себя «мальчиком высокого роста».

Стали пробиваться на голос и вскоре увидели Джека. Плотно зажатый барахольщиками, он стоял со своей недавно полученной со склада формой, и его худое, напряженно вскинутое вверх лицо было печально.

— Абсолютно новая школьная...

Джек заметил нас на середине тирады, но с достоинством провопил ее до конца.

— Привет.

— Привет,— ответили мы.

Мы не успели соблюсти все приличия, потому что в эту минуту над нами громыхнуло так, что мы вздрогнули:

— А это что еще за падлы? И почему они мешают тебе продать твою собственную вещь?

Мы с Гражданином обернулись. Перед нами стояла растрепанная женщина и пьяно, зло смотрела то на Джека, то на нас.

— Что это за падлы, спрашиваю? — повторила она, и мы с Гражданином поняли, откуда у Джека его роскошный бас.

— Оставь их, мама. Они из интерната, за мной приехали,— хмуро перебил ее Джек.

— Из интерната? Ну вот и хорошо.— Она как-то сразу успокоилась.— А то пришлось бы сегодня одному ехать. Мне переживанье. А втроем не страшно, весело доедете. А форму давай, сама продам, оперы, слава богу, пиво пить ушились.

Она выхватила форму, зыркнула кругом, мазнула Джека по волосам.

— Счастливо, сынок, не скучай. Счастливо, детки.— Это уже нам, с поклоном.

И исчезла. Нырнула в толпу, как рыба в воду, только плавники блеснули.

Мы стояли возле Джека, переминаясь с ноги на ногу.

— Может, и венички заодно толкнешь? — не удержался Гражданин.

— Идите вы...

Свисток. Маленький, беззащитный Свисток. Не орет — плачет. Человек, чья мать с сегодняшнего дня уже никогда не будет обслуживать пятьдесят станков одновременно. Пенсия. Производственная травма.

Веники мы продали и без него быстро и выгодно: по два с половиной за штуку.

— Бить будете? — поинтересовался Джек за воротами толчка.

— У-учтем душевные терзания, — буркнул Гражданин, и мы поехали на вокзал.

Все так же кишели перроны, все так же кричали поезда, и августовские девчонки обдавали нас холодком своих платьев, и денег у нас куры не клевали, но мы скучно купили билеты, скучно дождались поезда и молча, отвернувшись друг от друга, двинулись той самой дорогой, вдоль которой еще утром проплывали, покачиваясь, поля и речки, грохотали костлявые мосты, жили незнакомые села, спотыкаясь бежали за составом полустанки и ранние базары.

Догоняли Свистка, а догнали себя.

К интернату подходили поздно вечером. В тесных улочках оседала темень. Зато на окраине, на пустыре, высокие фонари четко обозначали забор, безлюдный, ровно застланный светом двор, кирпичные здания, в которых не горело ни одно окно. В столовой тоже никого не было. В пионерской на столе стоял ужин и была записка: «Приходил Петр Петрович, я сказала, что вы в кино. Не обижайте Женю...»

Учитель

Учитель входил в класс, и начинался урок. Он начинался в тот самый миг, когда Учитель открывал дверь и в классе сначала появлялась его рука, сухая, желтая, жесткая, какая-то докторская рука, не рука — инструмент. Пинцет, ланцет, зажим, медоборудование, насквозь продезинфицированное табаком, — Учитель входил в класс, и наши курильщики судорожно ловили верхним чутьем запах «БТ».

— Запишем тему урока.

Мы записывали тему. Учитель отходил к окну, прислонялся спиной к подоконнику, левую руку подкладывал под поясницу, в правой держал одну из своих ветхих — студенческих! — тетрадей и ровным голосом читал:

— «Несмотря на то, что Татьяна Ларина и Катерина Кабанова — представительницы различных эпох и различных классов, жизнь в деревне, русская природа, близость к простому народу наложили общий отпечаток на их характеры...»

Учитель диктовал, мы записывали.

Менялись темы, менялись его тетради в старых дерматиновых обложках с вываливавшимися, осыпавшимися листами, менялась погода в окне за его спиной: весна, осень, зима.

Учитель диктовал, мы скрипели перьями.

Если он натыкался в своих тетрадях на истины, которые уже не были таковыми, во всяком случае для него, он останавливался, спрашивал:

— Записали? Теперь подумаем... «Вместе с тем Лев Толстой допустил историческую неточность, нарочито принизив значение вождя народной войны, его полководческого гения. В образе Кутузова уже ощущается ошибочная, утрированная идея растворения личности в массе, наиболее полным воплощением которой стал Платон Каратаев...» Записали? Теперь подумаем...

Мы думали, Учитель снисходительно слушал нас. А может, и не слушал. Заложив руки за спину, он смотрел в окно — весна, осень, зима — и время от времени вставлял что-либо в высказываемые нами мысли. И никогда не пускался с нами в споры — подозреваю, что ему было не так важно, как мы трактовали, исправляли, углубляли Льва Николаевича Толстого. Важнее было зафиксировать то хаотическое, магматическое движение, из которого родился когда-то праразум. Зафиксировать — и подстегнуть. Погонщик мулов, он экономил наше время и потому целыми уроками диктовал нам навыrost — или навывлет? — студенческие прописи — экстракт, выдержанный в пыльных погребках изношенных учительских портфелей, двухтумбовых столов,

вековых родительских чердаков, где в конце собственной жизни можно наткнуться на собственную, уплывшую сквозь пальцы (у нас говорят «скрозь»: всюду и неизвестно где) одаренность. Выжимки. Окаменелости. Он бросал их нам, как завалившуюся белую кость, чтоб только потекла слюна, чтоб только появилась голодная злость.

Хотя вполне возможно, что у него самого не было каких-то особенных, мудрых мыслей о Толстом. По крайней мере с нами он ими не делился. С нами он был снобом. И, как все снобы, сэкономил скорее даже не наше, а собственное время. Но снобы бывают разные. Есть снобы с биографиями ухоженными, подвитыми и расчерченными, как утешительные садики столичных крематориев. И есть снобы, которых когда-то здорово переехало в жизни и которым просто ничего не остается или ничего не удается, как быть снобами. Если первый тешится своим снобизмом, второй утешается им.

Мы знали, что Учитель был в плену, в концлагере. Он был тощ, бескровен и спокоен. Так тщательно, на все пуговицы спокоен, что когда, забывшись, обжигал пальцы (единственный из учителей курил открыто, в школьном коридоре), то не спохватывался, не тряс рукой, не выбрасывал окурочек наспех куда попало, а, зажав его двумя пальцами, брезгливо, как муху, нес до ближайшей урны и опускал его туда как в преисподнюю, откуда окурочек, правда, совершал обратный — стремительный! — путь раньше, чем урну успевала вытряхнуть уборщица тетя Мотя, поскольку желающих курнуть «БТ», хотя бы бычок, было слишком много и они следили за Учителем на отделении, но цепко и неусыпно.

У нас не было литературных вечеров, викторин, шарад и прочего. Учитель не распекал нас за двойки или за плохое поведение на перемене. Он сэкономил нервы. И все же время от времени срывался.

Начиналось с пустяка. Например, Учителю показалось, что кто-то не записывает. Он диктует, а кто-то, скажем Шевченко, не записывает, потому что в этот момент, увлеченная приговором Элен, Ларочка-лапочка низко склонилась над тетрадью и в отверстии ее блузочки (приходящая Ларочка не носила форменных платьев) разверзлась бездна, не заглянуть в которую нет сил. Учитель замечает, что Шевченко в отличие от Ларочки увлечен не социальными, а скорее анатомическими раскопками образа Элен, и изо всех сил хлопает тетрадочкой по подоконнику — так, что над конспектом взлетает облако многовековой, чердачно-портфельной пыли. Класс вздрагивает. Началось.

Были разносы, над которыми мы смеялись: например, когда нас разносила со слезами на глазах добрейшая немка Аннушка.

Были разносы, которые мы принимали как должное, помалкивая или играя в «морской бой». Это когда Петр Петрович в очередной раз потел у классной доски, подсчитывая, во что обходится государству очередной имярек, — он и ругаться предпочитал цифрами.

Когда нас разносил Учитель, в классе стояла мертвая тишина, в которой страдал и кровенился один-единственный голос, голос Учителя. Вместе с классом молчал и виноватый (или невиноватый), потому что оправдываться было нечестно: все равно что спорить с обреченным. Минут через десять Учитель выдыхался, поворачивался к окну (осень — зима — весна) и когда оборачивался вновь, был сер и спокоен.

Лишь однажды негласный закон молчания был нарушен.

Его нарушил Кузнецов.

Из-за какого пустяка вспыхнул разнос, не помню. Кофточка и то, что под кофточками, исключается. Вряд ли Кузнецов закричал бы из-за таких мелочей. А он закричал.

— Неправда! — закричал Кузнецов, и его жесткое лупатое лицо покрылось пятнами.

Они стояли друг против друга. Учитель — бескровное лицо, мятущиеся, вырвавшиеся из-под надбровий глаза, в которых злость мешалась с мольбой, и Кузнецов — сухощавый, от макушки до пяток одни кости, вытянувшийся в струну. Учитель кричал разные слова, Кузнецов лишь одно:

— Неправда!

Учителю не надо было трогать Кузнецова. Родителей у Кузи не было, жил он в деревне с большой бабкой, шпыняли его там, конечно, будь здоров, и защита стала для него изощренной формой нападения. В классе избегали драться с Кузнецовым: он мог садануть всем, что попадет под руку, мог, извернувшись, схватить тебя за горло, а разжать, разорвать его костлявые пальцы было непросто.

Класс растерянно молчал, слушая, как они кричат друг на друга. Каждый понимал: надо кому-то встать, взять Кузнецова за шиворот и вывести вон. И каждый, уверен, оттягивал минуту решительных действий: авось вот-вот уладится само собой. Авось встанет сосед.

Так никто и не встал. Духу не хватило.

Первым не выдержал Учитель.

— Выйдите вон,— сказал он надорвавшимся голосом, хотя никогда никого не выставлял из класса, ибо считал это преступлением против программы.

— Неправда! — не унимался Кузнецов.

Выручил звонок. Ушел, забыв на столе конспект, Учитель. Ушел с уроков Кузнецов. Когда мы после занятий пришли в общежитие, Кузя, заложив руки под голову, лежал в ботинках на кровати и плевал в потолок.

Пройдет много времени, мы уже разлетимся из интерната, до меня дойдет слух, что Кузя попал в тюрьму.

Но это будет потом. Пока же на следующий день Кузнецов, как обычно, явился в школу.

Учитель в школу не пришел.

Учитель заболел.

Сначала уроков литературы не было, потому что заменить Валентина Павловича оказалось некем. Через несколько дней Антон Сильвестрыч ввел в класс незнакомую женщину. Он придерживал ее за локоть и двигался рядом, выпятив грудь, развернув давно опустившиеся плечи, как будто под ногами у них в безветренном зное свечей таял воск холеного паркета. Антон Сильвестрыч подвел ее к столу, представил:

--- Нина Васильевна, жена Валентина Павловича. Пока он болен, будет преподавать литературу...

Женщина, вскинув голову, что придавало ее осанистой фигуре иллюзию стремительности, выжидающе смотрела на него, и директор, потоптавшись, решил, что вышло, пожалуй, куце.

— И, пожалуйста, без фокусов. Должен сказать вам, что Нина Васильевна — завуч вечерней школы, большая общественница, человек известный в нашем городе, и мне бы не хотелось, чтобы вы своим поведением опорочили в ее глазах родную школу. Свой родной дом.

Сообщив это, Антон Сильвестрыч привычной шаркающей походкой направился к двери.

Женщина спокойно и внимательно рассматривала нас. И ее красота, и то, что она была одета в черное платье, усугубляло нашу неловкость — как-никак мы чувствовали себя виноватыми.

Легкий, в парении взмах бровей, текучий абрис большого тела, мягкость и щемящая завершенность убывающей женственности... Она легко вошла в наши ничейные воды еще и потому, что вместе с обаянием в ней была сила. Напор. Попутный ветер гудел в ее напругшихся парусах.

Речь о Печорине — с всоудушевлением, с отступлениями, со вскинутым подбородком: все ее линии казались вычерченными по лекалу.

Речь об Ионыче.

Речь о Катюше Масловой.

Мы слушали их с удовольствием. Правда, она ждала речей и от нас и расстраивалась, когда таковые у нас не получались. Она потребовала от нас не только речей: диспуты, стихи, литературные вечера — словом, пошло-поехало. И докатилось до того, что она пригласила нас домой: Плугова, Гражданина и меня. По всем правилам педагогики.

Так мы попали в гости впервые за много лет...

Дверь распахнулась одновременно с нашим оглушительным звонком, и на порог выпорхнула изумленная девчонка, наша ровесница. Круглые глазищи — как два полушария, в которых ни островка суши, сплошные моря. С подчеркнутым любопытством она разглядывала нас, и поддавшийся панике Гражданин начал объяснять ей, что мы, стало быть, гости. Из школы-интерната № 2. Ах номер два! ну конечно же, я не сомневалась, мы вас так ждем, проходите! — смеялись глазищи.

Они нас ждут! Да если бы она однажды подождала хотя бы одного из нас — Плугова. Все торопилась, а Плугов все топтался на месте. Все примерялся, ходил по кругу, как колодезный конь. Так и живет до сих пор: все воротит голову, все косится в одну сторону — туда, в юность. А девчонка остается все дальше, и голова заламывается все круче, неудобнее.

— Таня, не мучай гостей! Веди их в комнату, — позвала из глубины квартиры Нина Васильевна, и мы, мешая друг другу, ринулись на этот спасительный голос.

Наспех, словно чувствуя за собой дыхание погони, поздоровались с Ниной Васильевной, с Учителем, который лежал в кровати на высоко взбитых подушках бледный, подтаявший и умиротворенный.

Нас приглашают к обеду. Плугов жметса, бормочет, что мы уже пообедали, однако Гражданин наступает ему на ботинок, как на язык, и заявляет, что пообедать — это неплохо. Это мы с удовольствием. И жрет, зараза, действительно с удовольствием. Я храбрюсь, поддерживая разговор с Учителем, который лежа пьет чай. Плугов чуть слышно скребется в дальнем углу стола...

В разгар трапезы раздался звонок в дверь, такой же оглушительный, как наш.

— Бабушка! — испуганно прошептала Нина Васильевна.

— Бабушка! — радостно завопила Татьяна и понеслась в прихожую.

Мы ее еще не видим, но слышим, как бабушка в прихожей объявила внучке, что к какой-то Варваре Евдокимовне ее посылали совершенно напрасно. Та жива-здорова и даже больше того — смылась в церковь послушать нового батюшку.

— «Батюшку, батюшку», — передразнивала она кого-то. — Смолоду за парнями бегала и теперь туда же...

Ну-ну.

Бабушка шагнула в комнату. Древняя старуха с неожиданно черными бровями и с двумя лунками блеклой дождевой водицы под ними. (Не пей, Иванушка, из копытца, козленочком станешь!) Увидев нас, она обрадованно замерла, сделав полную полевую стойку.

— Здравсьте. Я — бабушка. В этой семье меня называют бабкой Дарьей...

{«Мама!» — умоляет Нина Васильевна. «Мама!» — смеется Учитель.}

— В этом доме меня называют бабкой Дарьей, — невозмутимо констатировала бабка Дарья. — Приличный народ зовет меня Дарьей

Петровной. Как зовут вас, мне скажет Таня. Я тугоуха, и разговаривать со мной нужно погромче...

Бабка Дарья внимательно осмотрела застолье и сказала, что в доме, где есть девушка, молодых людей надо встречать с вином. Скрылась на миг в соседней комнате и возвратилась с двумя бутылками муската.

И был пир.

Как ни странно, рядом с бабушкой Дарьей даже Плугов вскоре почувствовал себя свободным человеком. Гражданином. Гражданин же вообще распоясался. Все вокруг пело, хохотало и плясало — я с Ниной Васильевной, Гражданин с Таней, Плугов, естественно, с бабушкой Дарьей. Опершись на локоть, Учитель наблюдал за нами с кровати и чистенько, по-стариковски смеялся.

Собственно говоря, пир начался со скандала. Притащив две бутылки вина и поставив их при общем напряженном молчании на стол, бабка Дарья неожиданно обрушилась на сына и Нину Васильевну:

— Чему вы их учите? Я спрашиваю, чему вы учите молодых людей? Чистописанию, чистосъеданию и чистомолчанию! А кто же научит их смеяться, любить жизнь, наконец — пить вино и ухаживать за женщинами? Или все это вы предоставляете улице? Я уверена: никто из них не сумеет красиво открыть бутылку вина и, скажем, пригласить Татьяну к вальсу.

Тут бабка Дарья дала промашку — не знала она способностей Гражданина. Бутылки были откупорены в мгновение ока, сама собой завелась радиолка, и Гражданин, одной рукой раздвигая стулья, другой уже придерживал за локоток Татьяну — чтоб не перехватили. У него перехватишь...

Так начался пир, так началось гражданство Плугова и анархия Гражданина.

Ах, бабка Дарья, бабка Дарья! Она сидела за столом и зорко следила, как ложится Учителю. Она плясала — и все равно следила, как там Учителю. И когда выходила из комнаты, тоже оставалась здесь, у кровати. Нина Васильевна, ухаживая за нами, ухаживала за Учителем. Да и гости, наверное, были приглашены для него.

В этом доме была болезнь. Многолетняя болезнь одного, ставшая болезнью многих. Она проглядывала даже сквозь здоровый — обожжешься! — румянец Татьяны: в том, как переглядывалась она с матерью, как по первому движению отца стремглав летела к кровати.

И пир был немножко с болезнью, хотя мы это поняли не сразу.

Подошел вечер. Нина Васильевна, попрощавшись с нами, заспешила в школу, у нее были уроки. Выждав дистанцию, порхнула за дверь Татьяна. Она передала нам с порога прощальный привет, и Плугов понял, что у нее свидание. У нее еще будет прорва свиданий, куча парней, два мужа, но Плугов их число так и не умножил: все кружит...

Мы тоже стали собираться домой, но Учитель удержал нас, попросил посидеть немножко с ним. Свет не включали, в комнате стояла полутьма, в полутьме шуршала бабка Дарья, присмирившая, бессловесная. На время болезни Учителю были отпущены на день две сигареты, не больше. Одну он выкурил угром, сейчас настал черед второй. Придвигаем к постели стул с пепельницей, бабка Дарья извлекает из шкафа пачку «БТ» и спички, Учитель прикуривает, и огонь резко освещает прикушенные щеки, смеженные глаза, чуть вздрагивающие пальцы. Затягивается, прислушивается к себе:

— А ведь знаете, на фронте не курил. Три года воевал и не курил. Потому и жив остался.

— Какая тут связь? — удивился я.

Учитель несколько раз затынулся, вновь с наслаждением прислушиваясь к себе, словно дым благодатно омывал ему самые дальние раны, и только затем повернулся к нам.

— Прямая. Положенную мне махорку отдавал товарищам по отделению. Те делили ее между собой и приговаривали: эх, учитель, выжить бы тебе и в этом бою, все лишним табачком побалуемся. В самом деле, убили б меня — и добавки у ребят не было бы, а курящему человеку на войне щепоть махорки бывает дороже куска хлеба. Куском хлеба сыт не будешь, щепоть махры — это, я вам скажу, праздник...

Учитель передохнул и вновь затынулся, вслушиваясь в свой празник.

— Табак перед боем давали, как водку. Так и выжил — на благословениях. Отделение, можно сказать, трижды сменилось, а я живой. А вот в плену и курить нечего было, и карали за курение, а все равно закурил.

— Ты бы что-нибудь повеселей, Валя, — сторожко отозвалась бабка Дарья, и Учитель замолчал, затынулся и протянул пачку Гражданину:

— Вы закурите, Развозов.

— Валентин Павлович...

— Да чего уж там. Я весь вечер слышу, как от вас «Севером» тянет. Когда вас не дай бог переведут на две сигареты в день, вы тоже за версту табак почувете. Думаете, за здорово живешь пехота мне бессмертье выпросила? Она знала, за что просила. Баш на баш... Тебя пугает слово «бессмертие», мама? — повернулся он к подернувшемуся темнотой углу, где опять тревожно завозилась бабка Дарья. — Я шучу, ты не волнуйся. А «бессмертье» — хорошее слово, только в нашем обиходе бесполезное...

Учитель затынулся, и Гражданин тоже важно запыхтел сигаретой. Цену табаку знал и он. Два бычка в день — здоровая, повседневная норма Гражданина.

Мы уходили из гостей, когда на улице совсем смерклося. На пороге бабка Дарья расцеловала каждого из нас, а Гражданину двобок сунула какой-то сверток — позже, на тротуаре, мы обнаружили, что это пирожки с капустой. Мы лениво брели по пустому асфальту, под тусклыми звездами, которые то пропадали, то вновь всплывали в черной осенней воде меж обломками плоских спрессованных туч, неудержимо двигавшихся по всему огромному, еще не схваченному ледоставом позднего ненастья небу. Элегия синих глаз, которая, что там скрывать, теплилась в каждом из нас, и очень реальный, здоровый вкус поглощаемых под звездами пирогов с капустой: хорошо возвращаться из гостей, когда тебе шестнадцать, а если точнее — когда ты вообще человек без возраста, а значит, и без заката, без старости, когда ты бессмертен. Тебе уже ведомо, что было до тебя, но из всего, что будет с тобою, твоя мудро наученная кем-то душа прозорлива только к добру.

Главное — она предчувствует всю протяженность предстоящей жизни и так внимательна, так жадна к ней, с такой любовью путается в ее мельчайших подробностях, что эта невеликая, как и все земное, тропа и впрямь кажется бесконечной.

Бабке Дарье было восемьдесят два года, и она была смертна. Легкая, почти бестелесная — одна душа. Горбоносая, синеглазая, озорно жизнелюбивая душа. Все восемьдесят два года, все войны, пьянство покойного мужа-аптекаря и чрезмерная трезвость единственного сына и даже сама смерть не смогли вытоптать этого весеннего озорства.

Умерла она просто. Не встала утром, и все. Семья проснулась в семь, как обычно, а завтрака на столе нет, и свежих газет нет, и

бабки Дарьи тоже нет. Осталась бабка в постели — маленькая, ко-
стявая, отболевшая душа...

Бабка Дарья составила завещание. Там был, между прочим, аб-
зац и про нас. Она просила, чтобы похоронили ее не пьяные, неоп-
рятные мужики, а мы. То есть выкопали бы могилку, гроб опусти-
ли, ком земли бросили. «И чтоб могилку копали весело, с песней, и
вообще хороните меня без горя, я свое отжила...» В благодарность
бабка Дарья отписывала нам самое ценное в своем имуществе — зо-
лотой нательный крестик, оставленный позже в одном из москов-
ских ломбардов.

Бабкину просьбу мы исполнили в лучшем виде.

Был февраль, зима выдалась бесснежная, но мороз давил вовсю
и земля была как чугунная: тукнешь по ней ломом, а она только
прогудит в ответ. Кладбище (уютное, маленькое, настолько сжив-
шееся с городком, что стало как бы его естественным продолжени-
ем, его тупичком, даже автобусный маршрут и тот был назван с уче-
том их диалектического единства: «Рынок — кладбище») было пу-
стынным.

Копать мы начали с утра, часов в семь. Сначала обильно по-
лили отведенное нам, вернее бабке Дарье, место керосином, подо-
жгли его и часа полтора прогревали землю. Потом стали долбить ее
ломами. Мы с Гражданином долбили, Плугов подчищал мерзлую гли-
ну шуфельной лопатой. Валентин Павлович, смятенный, подавлен-
ный, боялся, что мы не успеем к двум, к выносу, через каждый час
прибегал к нам — а может, убежал из дома? — робко спрашивал: «Мо-
жет, все-таки позовем подмогу?» Мы от подмоги отказывались, нам
хотелось сделать все по бабки-Дарьиной инструкции. Поскольку петь
в такой мороз было сложновато — с погодой бабка Дарья не подга-
дала, — мы приволокли с собой патефон. Он стоял на краю могилы
рядом с бутылкой водки и незамерзающей закуской — салом (и то
и другое принес Учитель), и популярные певицы и певцы начала ше-
стидесятых, ежась от собачьего холода, выходили к могильной черте
отпевать бабку Дарью. «В болотных сапогах не по ноге девочка из
геологоразведки шагает по нехоженной тайге». Или: «Быть может, до
счастья осталось немного, быть может, один поворот...» Это было
настолько кощунственно, что кладбищенская служительница, та са-
мая, что отмеряла место для бабки Дарьи, приковыляла к нам и, стоя
на краю могилы в блистательном обществе Эдиты Пьехи и Майи
Кристинской, яростно трясла над нашими головами своей тутовой
клюкой.

Снизу, из заглубившейся наконец могилы, мы объяснили старухе,
что являемся не богохульниками, а добросовестными исполните-
лями воли усопшей. Старая нам не поверила. Она ширяла палкой в
патефон, произносила непотребные слова, и ей пришлось налить сто
граммов для успокоения уязвленной богобоязненной души.

— Бог с вами, — сказала тогда старуха, отирая бескровные уста
суковатой, как и ее палка, ладонью, перекрестила могилу и нас в
ней и потащилась назад.

Порывистый ветер мел между оградами сухую, как металли-
ческие опилки, порошу и старье, ржавые листья.

Учитель волновался зря. Мы успели, и бабку Дарью схоронили
вовремя. Несколько учителей, а в основном старухи, соседки бабки
Дарьи по дому, а в скором времени и по кладбищу, стояли вокруг
могилы, закрываясь от ветра тощенькими, выношенными, как осен-
ний лист, пальтецами, тулились друг к дружке, привычно, обреченно
плакали, и их тихий размеренный плач нарушали только надрывные
рыдания бабки-Дарьиной внучки.

Смерть стара, как жизнь, и даже в малой группе людей всегда
найдется человек, точно знающий, когда надо заколотить крышку
гроба, когда и как его нужно опустить в могилу и когда самое вре-

мя бросить в нее первый ком. Старушки плакали и между делом вершили привычный ритуал (после, на поминках, Учитель скажет нам: «Сколько там хоронил, а хоронить так и не научился»), по возможности укорачивая его из-за скверной погоды.

И ком бросили и засыпали. И стало у нас, остающихся на лето в интернате, — у Гражданина, у Плугова, у меня, — еще одним покойником больше. Прости, бабка Дарья, что так и не смогли схоронить тебя весело.

Плугов вел Таню — первый и, пожалуй, последний раз в жизни. Она судорожно всхлипывала, ветер сек ее опухшее от слез лицо. Володя держал ее под руку робко и бережно, как невесту. Так бабка Дарья и после смерти делала нам добро...

Он стоял, опершись на подоконник, держал в правой руке ветхий свод студенческих прописей и диктовал. Класс молча писал. Плугов молча рисовал. Он рисовал на всех уроках, в том числе на тех, которых не было. Самые прекрасные уроки — которых нет, которые отменяются по болезням учителей или по высочайшему вмешательству школьных завхозов, в чьем лице, как правило, выступают непреклонные силы природы: осень, лето, зима. Уборка урожая, уборка территории и так далее. Мы с Плуговым сидели на первой парте, перед глазами учителей, и они уже привыкли к такой форме послушания: сидит человек, не вертится, не разговаривает, внимает учительствующему и конспектирует, конспектирует. Дорогая сердцу картина. Каждый из учителей, наверное, считал ее личной собственностью: забрать бы в багетную рамку, повесить на кухне и, выйдя на пенсию, вспоминать — как же меня слушали, как же меня конспектировали! Учителя не подозревали о широте души воспитанника Плугова, который сварганил столько копий с этого педагогического шедевра, что их с лихвой хватило бы на всех интернатских педагогов.

Учитель к шедевр у тоже привык. Но на сей раз он вдруг отклеился от подоконника и, не прерывая диктовки, направился к Плугову. Думаю, что его интерес в данном случае был подогрет недавним Володиным сочинением «Человек ли Евгений Базаров?». Я не успел как следует растормошить Плугова, Учитель был уже подле него. Оставив свой конспект, Учитель с любопытством заглядывал в Володин. Потом вдруг нахмурился (как хорошо знали мы эту мгновенную химическую реакцию грозы: легкая хмарь, летучая молния боли, неузнаваемо искажавшая все лицо, и сразу же за нею, в глубине ее — сухой, с сукровицей раскат) и попросил:

— Позвольте на минуту ваш конспект.

Плугов, красный как рак, позволил.

Учитель держал конспект в вытянутой руке и пристально всматривался в него. В тетради во всю страницу был изображен он сам — Учитель. Учитель в ярости: искаженное болью лицо, мятущиеся, вырвавшиеся из-под надбровий глаза, в которых злость мешается с мольбой.

И гроза вдруг заглохла. Задохнулась. Лицо Учителя возвратилось к изначальному, почти безликому спокойствию. Он молча отдал Плугову его тетрадь, вернулся к окну, вновь устало приткнулся к подоконнику.

— «В романах Тургенева удивительно точно схвачено сложное, не всегда поступательное движение общественной мысли в России...» Класс облегченно вздохнул.

Тем не менее эта история имела продолжение, причем самое неожиданное.

..В интернате на третьем этаже была маленькая угловая комнатка, в которой хранились географические карты, всевозможные схемы, словом — наглядные пособия. Учитель распорядился подсе-

лить туда Плугова. Преподаватели глухо роптали, но Учитель был настойчив, и в конце концов Плугов со своим мольбертиком, красками и карандашами пролез-таки в угловую комнату и зажил там среди полушарий и двухтактных двигателей в разрезе тихой, укромной жизнью наглядного пособия.

Формальный повод для вселения был такой: Учитель сказал, что Плугов будет оформлять школьные стенные газеты и нарисует серию портретов великих русских писателей, которая поднимет идейный уровень интернатского коридора. Если же говорить по сути, без формальностей, то Учитель бросил Плугову круг. Выплывешь — хорошо, не выплывешь — пеняй на себя. Он даже не смотрел в ту сторону, куда кинул эту пробковую штуковину: никогда не заходил в комнату, не интересовался плуговскими делами, в том числе великими писателями. Вовремя щелкнуть кнутом...

А что он мог больше? Кропотливо и самоуверенно проедать плешь воспитаннику? Изучайте анатомию, Владимир. Учитесь у больших художников. Вот, скажем, «Бурлаки на Волге». Или, например, «Опять двойка». Какая гамма чувств!.. Из всего, что нужно было Плугову: краски, кисти, советы, — сухая докторская рука Учителя с ястребиной зоркостью выхватила главное: одиночество.

Само собой разумеется, что вслед за Плуговым в угловую комнатушку просочились и мы: Гражданин, Бесфамильный и я. Она была так узка, что напоминала ружейный ствол. После полудня в нее плотно, как латунный патрон, входило солнце. В такое время находиться в комнате было невозможно. Зато как хорошо здесь вечером, на закате. Сидишь на стуле лицом к окну (сидеть тут можно либо лицом к окну, либо лицом к двери), читаешь, а солнце, зависшее над близким, прямо к забору подступившим горизонтом, нежарко, по-собачьи лижет тебе руки, щеки... Поднимаешь глаза от книги и видишь степь, что начинается сразу за городской окраиной. Она видна и днем, но днем ее краски блеклы, сухи, мертвы, в закатную же минуту ее живой водой заливают теплый, сочащийся с горизонта свет, и она, ожившая, подступает близко-близко, ближе заборов — к самой душе.

Закроешь глаза и видишь дом. Летом в доме я вставал рано: надо было гнать в стадо корову. Поднимешься, пройдешь через комнаты в сенцы, сядешь, сложившись, как озябший кузнечик, на пороге, где в ранний час было самое теплое местечко во всем доме, и досыпаешь. Восходящее солнце ласково брызжет в лицо, от его теплых брызг еще слаще смежаются веки, алые, теплые сны проплывают перед глазами, но они уже озвучены самой что ни на есть будничной реальностью: сквозь дрему мне слышно, как мать доит Ночку. В пустую доенку молоко бьет резко, певуче, затем его струи становятся глуше и уже не поют, а хрипят коротко и сдавленно: хр, хр. Так еще взлетает из хлебов молоденькие куропатки: хр — и нет их.

Мать вполголоса разговаривает с Ночкой, а закончив дойку, она, как слепого, тронет меня за плечо, я выпью кружку парного молока, и мы с Ночкой подадимся в стадо. Ночка и сама прекрасно знает дорогу, могла бы дойти без меня, мое сопровождение даже уязвляет ее, и она держится намного впереди меня, сохраняя некоторую независимость. Задымленная росой трава холодна, обжигает босые ноги, и они становятся красными, как с мороза. За нами с Ночкой остается теплый след, и когда я, проводив корову до стада, возвращаюсь этой тропинкой назад, она больше не жжется, мы с Ночкой сбили росу, и трава подсохла и прогрелась, бежать по ней одно удовольствие. Гудит над головою солнце, неуверенно поднимаемая ввысь, круто тягивая за собой и без того истончившееся небо, и вслед за ним, за восходящим солнцем, цепко устремляется, увеличиваясь в росте, все живое вокруг: и птицы, и травы, и я — птица, травинка, росинка этой

степи, бегущий по ней без всяких усилий, с той легкостью и естественностью, с какой люди летают во сне. Летают, когда растут...

По воскресеньям Плугов ходил «на этюды», и я частенько увязывался за ним. Чаще всего мы ходили на речку.

Плугов устанавливал на высоком обрывистом берегу этюдник и рисовал купоросно зеленеющие на противоположной низинной стороне реки виноградники. Я купался или лежал на круче, подперев голову руками, и смотрел, как глубоко внизу, тускло вспыхивая под солнцем, плавится и ропщет чуждая мне, степняку, стихия.

Иногда с нами приходил Гражданин, и это было чревато последствиями. Он был слишком деятелен, чтобы вот так, уставившись в воду, лежать на берегу. Плугову он не мешал (мы крепко досаждали Володе в житейских делах, но тушевались, когда он брал в руки кисть или карандаш, и это негласное почтение к его ремеслу сохранилось по сей день), а меня непременно втягивал в какую-нибудь авантюру. Если это было в конце лета или в начале осени, то мы главным образом переплывали на другой берег, пробирались ползком в прогретые, обдававшие сухим мускатным духом виноградники, наспех набивали лопавшимися гроздьями майку, завязанную с одного конца, по ложбинке между кустами возвращались с нею к реке и, рискуя получить в зад заряд соли первого помола, плыли к Плугову.

Все время, пока свершалась кража, Володя увековечивал прикумские виноградники и между делом наблюдал обстановку в хорошо просматривавшемся сверху шалаше сторожа.

Говорят, краденое — самое вкусное. Кисти винограда были желты, как вспоившая их речная вода. Плугов рисовал, а Гражданин, ценя время и заслуги мастера, кормил его, как аиста, с руки, и поднятая им гроздь загоралась на солнце маслянистым лампадным светом.

Мы успешно обживали комнату. Снесли в нее свои немногочисленные книжки, выпросили у завхоза покалеченный стол и, отремонтировав, тоже втащили сюда. Приходили в углушку после ужина и частенько засиживались до отбоя. Читали, спорили до молодого петушиного хрипа по самым животрепещущим вопросам: например, о смысле жизни. Самым здоровомыслящим был Плугов: он спокойно наблюдал петушиный бой.

Мы драли горло, не могли найти общий язык, потому что каждый слушал себя, удивлялся себе и аплодировал себе. Такой возраст: самовыражение, самонаряжение в чужие обноски. Какая же каша должна была пыхтеть в единственной слушающей голове — голове Плугова! Котел в разрезе — так можно было бы назвать это необычное пособие.

Присутствие Гражданина вносило некоторое разнообразие и в жизнь наглядных пособий. Никакой спор не мог занять его непоседливую натуру целиком, с руками и ногами, и в ходе петушиных баталий он развлекался еще тем, что подрисовывал на географических картах несуществующие морские пути и целые города. С его легкой руки в центре Аравийской пустыни возник город Парнокопытск, уютный, зеленый, с тенистыми садами и парками, с обильным урожаем пенсионеров на крашенных садовых скамейках, и существует, по-ди, до сих пор, несмотря на все ближневосточные катаклизмы...

Однако когда Плугов действительно оформлял интернатскую стенновку «За прочные знания», мы скопом придумали какую-то удачную подпись, и на следующий день, рассматривая газету, Учитель сказал нам, стоявшим тут же, у своего детища:

— Почему бы вам не написать в районную газету про безобразия с нашими мастерскими? Думаю, получится бы и польза была б.

Местные строители лет пять строили интернату мастерские для политехнического образования и никак не могли соорудить их. Безо-

бразие, конечно, но такое привычное, родимое, что оно не трогало зрелых районных публицистов. Но мы были незрелы, наивны и в тот же вечер приступили к делу. В каждом из нас клубились неясные, хотя, без сомнения, выдающиеся, полные убийственного сарказма мысли и выражения, но малейшие реальные проявления их встречались соавторами не менее убийственным смехом. Гражданина тянуло к изысканной иронии: «Говорят, Коллизей построили за два года...» Бесфамильного тянуло к философским глубинам: «Надо учесть, что эта бесхозяйственность творится на глазах у подрастающего поколения...» Плугова тянуло спать.

Мы ушли из комнаты поздно вечером измученные и разругавшиеся. На полу остался ворох истерзанной бумаги. И ни одной мысли, ни одного слова. Коллективом равноправных сочинять невозможно, зато очень легко отвергать — таков урок злополучной ночи.

Наутро, в воскресенье, я поднялся в комнату один, написал как бог на душу положил заметку за четырьмя подписями и с названием «Памятник бесхозяйственности», показал ее в спальне сибаритствующим соавторам. Был жестоко осмеян ими за банальность, вложил заметку в конверт и отправил в редакцию.

Через неделю «Памятник бесхозяйственности» был опубликован районной газетой.

Еще недели через две бессменная почтальонша, знавшая весь интернат в лицо, вручила нам по желтенькому квитку денежного перевода. В квитках значилась приличная сумма — девяносто копеек. Мы взяли свои новенькие, недавно полученные паспорта, отпросились у воспитателей и отправились на почту.

Представьте, как хмыкнула молоденькая, почти наших лет почтовая служащая, когда четверо лоботрясов предъявили ей к оплате желтенькие листки с одинаковой суммой — девяносто копеек. Она писала, склонившись и покусывая губки, а мы, облокотившись на стертую, с залысинами стойку, торчали перед нею, и ее крашенная, стриженная, похожая на цветок верблюжьей колючки головка чуть-чуть кружила голову. Деньги, женщины...

Никто из нас денежных переводов еще не получал.

— На кино, — прыснула она, выложив на стойку четыре стопки мелочи, но в кино с нами идти отказалась.

Не беда! Были бы деньги.

Деньги мы просадили в ближайшей кондитерской — как раз по четыре пирожных. Мы находились тогда в возрасте, когда деньги на сласти уже не тратят, но, думаю, то был почти необходимый, неминуемый рецидив детства. Корь в шестнадцать лет.

Кончалась осень, на улицах жгли листья, и воздух в городе чуть-чуть горчил. Мы были сыты, в столовую торопиться было незачем, и лениво брели от костра к костру.

В интернат вошли со стороны мастерских. Памятник бесхозяйственности стоял как ни в чем не бывало. Никаких изменений...

В комнату с наглядными пособиями Учитель не заходил, но его влияние здесь было несомненно. Да и его присутствие тоже. Плугов собрал по интернату негодный, заклекий пластилин — этих отходов было навалом, особенно в младших классах, выудил у завхоза двадцать пачек нового, смешал все это, перемесил, как тесто, и из получившегося небообразимо пестрого материала стал лепить голову Учителя. Работа ему нравилась, он часами топтался возле нее, мурлыча что-то под нос. Увлечшись ею, Плугов задерживался в комнате допоздна, иногда до рассвета.

Воспитатели не одобряли причуду Учителя, выделившего подростку служебную комнату, считая, что любое отгораживание в таком сложном детском коллективе, каким является интернат, вредит делу воспитания. Большинство из них были уверены, что из этой затеи ни-

чего путного не выйдет, что это пустая и даже сомнительная трата полезной площади, но с Учителем предпочитали не связываться — и директор Антон Сильвестрыч в первую очередь. По этой причине Плугова оставляли в покое, даже если он злостно нарушал режим.

Тем не менее однажды, когда Петр Петрович во время своего дежурства в третьем часу ночи заметил свет в одном из интернатских окон, он пришел из дежурной комнаты, располагавшейся в спальном корпусе, к школьному подъезду, разбудил сторожиху, та отворила ему парадную дверь, и Петр Петрович поднялся впотьмах на третий этаж, вошел к Плугову и сделал ему, безответному, порядочную выволочку. Что это, мол, за безобразие, оборзели, мол, до последних пределов, третий час ночи, мол, а они все дурью мучаются. Не сомневаюсь, что Петр Петрович употреблял множественное число, присовокупляя к Плугову и нас и, возможно, Учителя.

На следующий день Петр Петрович начал урок с подсчета, какой ущерб нанес в минувшую ночь воспитанник Плугов родному государству. Речь шла о потерях электроэнергии, благо по физике мы как раз изучали электричество. По своему обыкновению Петр Петрович производил расчеты на доске. Плугов сидел, уткнувшись в тетрадь. Класс угрюмо молчал. Скрипел и крошился мел в толстых, не для мелков предназначенных пальцах Петра Петровича. Петр Петрович был сосредоточен, как канатоходец. Сейчас он поставит точку, с торжествующим видом обернется к публике и, удовлетворенно отряхивая белые от мела ладони, спросит: «Видели?»

Но на сей раз на подходе к точке Петр Петрович вдруг заколебался, и концовка получилась смазанной: не было классической четкости и грации. Он отошел в сторону, и мы поняли, в чем дело. Итогом нагромождения цифр и формул оказалась смехотворная сумма — что-то вроде тридцати копеек. Гора родила мышь.

— Тридцать копеек тоже деньги, — не совсем уверенно говорил Петр Петрович, с чрезмерной тщательностью вытирая тряпкой белые натруженные руки.

Никто не смеялся.

В школе Петра Петровича не любили. Был он крупен, крепок, даже немного сутулился, как часто сутулятся очень сильные люди. Мощные, прогнувшиеся под собственной тяжестью плечи всей фигуре придавали угрюмость. Добавьте к этому огромные, сороковых годов часы на черном ремешке (не ремешок, а целый ремень!), которые он, казалось, не снимал и во сне. Во время контрольных часы стучали на весь класс. Трах... тарах... тах... Первенец паровозостроения. Кроме часов, Петр Петрович носил еще одно украшение — круглые, совиные, тоже сороковых или пятидесятих годов, очки с металлическими дужками, намертво, по-кавалерийски обхватывавшие уши своими гнутыми оконечностями. Такие очки способны в два счета лишить человека его природной основательности. В них даже кадровые слесари выглядят начетчиками. Противоестественное сочетание мощи и траченности, узости; все начетки близоруки, даже когда очки носят от дальнорукости.

Я тоже не любил Петра Петровича. Правда, однажды мое отношение к Петру Петровичу было поколеблено, обогащено, размыто — и то, и другое, и третье, пожалуй, будет верно.

Случилось это уже в десятом классе, когда я на выходные приехал к одной из своих двоюродных бабок, жившей в пойменном прикумском селе, километрах в двадцати от города. Бабка жила с дедом, сухоньким мастеровитым Мефистофелем. Старики были бездетны, скуповаты, но у них имелся большой, тоже отживающий сад, и раз два в год, в благословенную пору созревания плодов, я наезжал к ним и хорошо, надолго отъедался. Они даже хотели забрать меня совсем, но у меня было еще два брата, троих они взять не могли, а один я ид-

ти к ним отказался — не думаю, что от этого жизнь братьев стала сытнее, скорее наоборот.

По вечерам мы втроем сидели на лавочке перед домом под огромными, невнятно шелестевшими в безветрии акациями. Дед по привычке язвил, а бабуся в непринужденной обстановке читала мне нравоучения. Это она считала своим вкладом в воспитание сирот и делала его добросовестно. В один из таких вечеров мне была изложена нравоучительная история про мальчика Петю Астахова. Когда-то бабуся жила в одном доме с семьей этого пацана. Семья была многодетной, рано осталась без отца, поэтому и жила в доме на паях с моей бабусей.

— Мать у них тоже прибалывала, так Пете приходилось делать в доме и мужскую работу и бабью. И он все успевал: и печку растопит, и со скотиной управится, и детей обиходит. И учился еще на четыре и пять. Закончил десять классов, и его взяли в школу. Учителей не хватало, а Петя и раньше всем как пример был. Потом и институт кончил, сестер и братьев на ноги поставил и сам в город уехал. Так что и без отца-матери можно в люди выйти, если иметь голову на плечах да к голове еще руки, — закончила бабуся и торжественно смолкла.

Я был в ласковой власти настигающей дремы, и мысль о том, что Петя Астахов и наш Петр Петрович — одно и то же лицо, пробивалась ко мне с трудом, она подтачивала согласие души, погруженной в теплый перегонной деревенских сумерек, а когда наконец укрепились во мне, я с беспощадной ясностью увидел и убогий, на паях дом, и неухоженных детей, и прибалывающую мать, и подростка в очках, разрывающегося между школой и домом...

И эта же ясность обнаружила тонкий, как волосок, досадно дарапающий изъян в моем доселе цельном восприятии Петра Петровича, что-то ярче высветила в нем — траченость, наверное. Я жалел его, а жалость богаче нелюбви хотя бы потому, что требует большей душевной работы.

Если рассказывать по порядку, то сейчас надо сказать о ярком весеннем дне, когда к нам в угловую комнату неожиданно явился Учитель. Мы остолбенели — своим правилам, даже странным, он не изменял. Войдя, Учитель коротко взглянул на нас четверых, по-солдатски вскочивших при его появлении, и сказал:

— Ну что, братцы, я уезжаю, прощайте. Впрочем, вот адрес, вдруг пригодится.

И, выкроив уголок стола, не присаживаясь, стремительно написал на клочке газеты: «Калининская обл., Белореченский р-н, с. Изборье». Хотя он и назвал нас братцами, и тут впервые отступив от им же заведенного официоза, лицо его было отчужденнее, чем когда-либо, и адрес на газете он писал так, как будто дело было в классе: вот вот прозвонит звонок и Учитель, не надеясь на нашу скоропись, отрывается от подоконника, от своего конспекта, со взрослой неуклюжестью склоняется над первой попавшейся партией и сам своей скорострельной рукой дописывает собственную мысль в чьей-то чужой тетради. Сейчас, со звоном, он выйдет, и класс спишет ее у забалдевшего однокашника... Мы же пока поняли одно: расспрашивать Учителя ни о чем не стоит.

Поняли правильно, потому что уже на следующий день интернат и весь городок знал: Учитель уехал не один, а с поварихой тетей Шурой.

Мы тогда учились в десятом классе. Предстоял еще один, одиннадцатый, но нам суждено было закончить его в вечерней школе — старшие классы в интернате расформировали, сделав его восьмилетним. Дело понятное: это обычные школы с чадолюбивым родительским кошелеком могли содержать одиннадцатилеток, без пяти минут

рекрутов, интернаты же первыми поняли, что такой «запас» не просто трет, а прямо-таки дырявит их тощей государственный карман и поторопились проводить нас «в жизнь». Остающиеся на лето в интернате практически в полном составе переместились в школы рабочей молодежи. Вся разница в том, что Плугов и Бесфамильный, скажем, учились в таких же школах в больших городах — Плугов в Воронеже, где обнаружили его дальние родственники, Бесфамильный в Ставрополе (тут на выбор повлиял размер выходного пособия — выданных интернатом денег хватило как раз на дорогу до краевого центра). Мы же с Гражданином оставались в своем городке, учились у Нины Васильевны, но прежней близости уже не было. Она была по-старому приветлива, мы же сторонились, стыдились ее, словно чувствовали себя соучастниками побега.

В городе о ней говорили чаще и, пожалуй, прицельнее, чем об Учителе. Ее жалели жалостью, от которой сбежал бы куда глаза глядят. Но она была молодцом.

Речь о Печорине.

Речь об Ионыче.

Речь о Катюше Масловой.

Нелегко, наверное, давались ей эти речи, тем более в такой аудитории, как вечерняя школа (мы называли ее школой вечерней молодежи), но лишь иногда, на самой крутой волне, она вдруг поскальзывалась, теряла голос и потом суетливо, по-старушечьи искала равновесие. В такие минуты мы с Гражданином, сидевшие на последней парте, старались не смотреть на нее, не смущать, да нам и смотреть было совестно.

По той же причине не хотели встречаться с Таней. Честнее — она сама не искала с нами встреч. Было ей неудобно после случившегося, или ей в самом деле чудилась какая-то связь между уходом отца и нами, нами и тетей Шурой? Кто знает. А городок маленький, и если мы где-то stalkивались, например на танцплощадке, она насмешливо кивала нам и, подхватив под руку своего очередного или, наоборот, внеочередного кавалера, демонстрировала нам его в фас, в профиль и, естественно, в спину. «Видели Таню. С человеком, — писали мы в письмах Плугову. — Видели Таню. С другим человеком».

Но Плугов на доносы не реагировал. Он писал о том, какие в городе Воронеже прекрасные музеи.

А может, останься он в нашем городке, где не то что музея — приличного общественного сортира не было, и Таня иначе смотрела б на нас с Гражданином?

После интерната мы встретились с Ниной Васильевной в Москве. Приехали штурмовать высшие науки, но экзамены еще не начинались и нас не приняло ни одно институтское общежитие. В более широком смысле нас не принимала и Москва. Мы так старались ступить на заветный круг, на котором уже и без нас неистово кружились во семь миллионов душ, но центробежная сила яростно и в то же время небрежно отшвыривала нас. Отшвыривала, как правило, к вокзалам. Намек прозрачен: валите, откуда пришли. Но мы, переночевав на вокзале, наутро снова слепо пытали судьбу. В один из заходов и столкнулись с Ниной Васильевной — прямо на эскалаторе. Оказывается, она привезла на подготовительные курсы Таню.

Что уж такого прочитала Нина Васильевна на наших физиономиях, но факт остается фактом: она тут же без долгих слов велела следовать за нею. Мы повиновались и через какое-то время оказались в одном из домов на Ленинском проспекте, в прихожей чьей-то, по всей видимости, очень приличной квартиры. Пока разувались — благоуханье измученных вокзалами ног повергло нас в панику, — Нина Васильевна быстренько проследовала с высунувшейся было хозяйкой на кухню. Не знаю, как она объяснила той наше появление, но когда

они минут через пять вышли из кухни, хозяйка была приветлива и проста, поздоровалась с каждым за руку и таким способом поодиночке выгудила нас из прихожей в комнату. Мы неуверенно ступали по синтетическим лугам. Вдобавок ко всему из смежной комнаты выпорхнула Таня и, опустившись в кресло-качалку, самое яркое растение на всем полихлорвиниловом выгоне, протянула:

— Господи, кого я вижу...

Это относилось, конечно же, к Плугову. Плугов пошел пятнами.

Она рассматривала его из кресла как из засады. Тонкий, под горло свитер, в синие глаза капнули черным, еще не потерявшие колючести колени отважно выставлены наружу. Стрельба с колена в прериях.

Плугов сидел, сцепив руки. Худой, вечно растрепанный, с вечно вымазанными краской ушами: имеет обыкновение во время работы засовывать за уши кисти—точно так столяры засовывают за уши огрызки карандашей,—и цвет плуговских ушей меняется в зависимости от времени года: осень, лето, зима...

— В ванную!

Мы втиснулись в ванную, и здесь под шумовым прикрытием душа и под председательством Гражданина состоялся беглый совет, на котором было решено:

а) переночевать,

б) а там видно будет.

Мы уже чинно сидели вокруг матового, как брусок льда, журнального столика вымытые и причесанные, когда в квартиру вошел хозяин, высокий, ухоженный, отглаженный человек с долгим тяжелым лицом. Есть такие лица — своей масштабностью, своей законченностью они кажутся автономными, существующими независимо от остального тела. В детстве, когда у меня начиналась ангина, мать водила меня к соседке бабке Куликовой. Та подводила к темному щелястому голому столу, мягкими, почти тряпичными пальцами укладывала мою голову на край столешницы так, чтобы я упирался в нее подбородком, и, творя молитву, начинала «давить шишки» — так именовалась эта тягостная для меня операция. И вследствие того, что голова моя была задрана, а угол бабка всегда выбирала один и тот же, перед моими глазами в сумрачном простенке всякий раз оказывалась то ли икона такая же черная, как стол, то ли картина, приспособленная бабкой Куликовой под икону: серебряное блюдо и чья-то отрезанная голова на нем. Голова была значительна, отчужденно осуждающая. Однако несмотря на свое жутковатое отрезанное состояние, она не так уж пугала меня, по крайней мере меньше, чем сама бабка Куликова. Ее отрезанность казалась естественной, она логически вытекала из выражения ее лица, из ее значительности, хотя на самом деле все было наоборот: это тонкая, уже не кровотокающая, подвядшая произвольная линия среза продиктовала все остальные линии лица.

Я думаю, если бы Иоанн Креститель вдруг открыл свои набрякшие от крови веки, он увидел бы в чем-то сходную картину. Голова мальчишки на голом щелястом столе. И только гримаса боли, наверное, говорила бы, что, несмотря на старания бабки Куликовой, эта голова еще жива.

С появлением хозяина повторилась та же процедура, что и при нашем вторжении. Только теперь на кухню с ним проследовала не Нина Васильевна, а его жена.

Не скажу, что с кухни Игорь Игнатьевич возвратился с сияющим лицом. Но он тоже поздоровался с каждым за руку — рукопожатие было плотным (не таким: сунул палец, как в холодную воду, и скорее вон), испытующе осмотрел шайку.

— Значит, в люди собрались?

Мы как-то не нашлись с ответом, даже Гражданин замешкался, молчание затягивалось, и, почуяв неладное из кухни на минуту вывернулась Нина Васильевна.

— Ты сам говорил, что Россия сильна провинцией...

Игорь Игнатьевич никак не ответил на подсказку Нины Васильевны, но по легкому движению бровей стало заметно, что она ему приятна.

Когда с кухни наконец, шпаря дальнобойным, щекочущим ноздри ароматом выплыл ужин и празднично утвердился на столе, Игорь Игнатьевич вновь и вновь честно, не отлынивая заговаривал с нами. Но мы были неловки, отвечали невпопад, попытки Нины Васильевны спасти положение успеха не имели. Мы были голодны, и так же, как есть, нам хотелось спать. Наше замешательство усугублялось и тем, что мы узнали: Игорь Игнатьевич — известный ученый-биолог, биология тогда ворвалась в моду, у всех на устах были имена Вавилова, Дубинина, а слово «генетика», сбросив уздечки кавычек, вообще засакало, взбрыкивая, голопом. Говорить о биологии мы были не в силах (да и что мы знали о ней!), а житейского разговора не получалось. Будь Игорь Игнатьевич поверхностнее в своих расспросах, разговор, может, и сложился бы, но он спрашивал без дураков: зачем в Москву, куда в Москву, почему именно в Москву (кто б нам самим ответил на эти вопросы!)? Узнав, что Володя увлекается живописью (в спасательных работах Нина Васильевна использовала каждый шанс), Игорь Игнатьевич спросил его мнение о нескольких этюдах, развешанных на стенах. Володя с явной неохотой отодвинул тарелку, положил вилку, сцепил по привычке пальцы, потом разжал их, неуклюже встал из-за стола, подошел к этюдам, уткнулся в них, принюхался, возвратился на свое место, опять сцепил пальцы и, положив на них приглаженную, приструганную по случаю ванны голову, виновато взглядывая на Игоря Игнатьевича зелеными, распустившимися от винца глазами, начал:

— Ну... как вам сказать, Игорь Игнатьевич... Мне трудно судить...

Опустим для краткости вводные предложения, междометия и многоточия и сразу выйдем к финишу. Плугов сказал, что этюды, на его взгляд, так... баловство. Игорь Игнатьевич был оскорблен — оказалось, их написал он сам.

Довершил разрыв Гражданин.

Когда ужин был закончен скомканно и безмолвно и Игорь Игнатьевич, успокоившийся, без пиджака и галстука, в белоснежной, цинковой от крахмала рубашке с расстегнутой верхней пуговицей, с сигаретой в руке сидел в кресле, Гражданин, на которого дымок чужого «БТ» всегда действовал возбуждающе, спросил его из полутьмы (верхний свет в комнате не включали):

— А что, Игорь Игнатьевич, труден путь из человека в люди?

Умник! Балбес! То-то он целый вечер молчал — оказывается, придумывал ответ на первый, случайный вопрос Игоря Игнатьевича. Не мог смириться с тем, что он, Гражданин, не нашелся с ответом. Нашелся! — лучше б вообще без вести пропал.

Игорь Игнатьевич принял дубоватую иронию на свой счет.

— Боюсь, что вы, молодые люди, приехали в Москву за песнями,— резко сказал он, смял в лепельнице сигарету и ушел куда-то в темные хладные глубины кабинета.

В последующие дни, точнее вечера, он проходил в кабинет прямо с порога, широко, молча — лишь короткой кивок нам,— почти демонстративно. На нас он больше времени не тратил. Мы видели, как терзается Нина Васильевна, чувствовали неловкость в жене Игоря Игнатьевича — сестре Нины Васильевны. Да он и сам был хорошим человеком. Вспомните: почему-то именно с хорошими людьми, а не с подлецами у нас чаще всего и ломаются отношения. По пустякам, по

недоразумению. Может, злополучные этюды были действительной и даже болезненной страстью Игоря Игнатьевича и, привыкнув к непрекаемому положению в биологии, он хотел быть значительным во всех проявлениях? Может, просто мы ему не показались — неосновательны, неинтересны? Петушиный возраст, отягощенный к прочему инкубаторской наследственностью, в которой чего только не намешано: и самоуничтожения и безудержной фанаберии.

Дело кончилось тем, что на очередном совете было решено возвратиться на вокзалы. Нине Васильевне и ее сестре соврали, что нас в порядке исключения приняли в общежитие досрочно (иначе бы нас не отпустили), поблагодарили растрогавшуюся хозяйку — и привет, Комсомольская площадь. Три вокзала, как три сообщающихся сосуда: выгонит ночью милиционер с одного — переливаешься с массами в другой...

Спальня

Детей общества, нас и воспитывали исключительно общественные институты: класс, общежитие, баня, туалет, сидя в котором чувствуешь локоть друга. Братский локоть встречал тебя везде. У нас не говорили «общежитие». С каких-то давних, видно, очень деликатных времен в подобных заведениях бытует слово «спальня». Спальня — как сентиментальный атавизм дома. В нашей спальне стояло шестнадцать кроватей. В этом алькове господствовала такая степень обобщественности, что ты мог пользоваться не только чужими штанами, но и чужими снами. Тем более что они были почти одинаковыми и у тебя и у соседа. В урочный час шестнадцать сновидений выстраивалось в ряд, как шестнадцать пар казенных местпромовских ботинок. Шестнадцать снов про дом. Когда Олег Шевченко вскидывался во сне и мычал немым голосом, все знали: отец приснился, алкаш. Весьма распространенный сон.

Переступить закон обобществления не дано было никому. Любые попытки пресекались в корне.

Помню Юру Фомичева из Томузловки. Он был длинный, костлявый, весь как на шарнирах. И рот у него был такой же — в вечном движении вширь. Юра улыбался всем: учителям, одноклассникам и даже самому себе — на всякий случай. Он всем улыбался, но у него была тайная мечта, вполне простительная в его положении, да и в положении каждого из нас, однако воспринимавшаяся в спальне как греховная. Мечта иметь деньги. Причем иметь деньги не для того, чтобы иметь барахло, а для того, чтобы через два-три года из Юры, который всем улыбается, превратиться в Юрия Тимофеевича, которому все улыбаются.

Денежки чувствовали в нем хозяина и потихоньку ластились к нему. То он привозил что-то из села от матери — «на пряники». (Какие, к черту, пряники! Юра с удовольствием продал бы и то печенье, которое нам по воскресеньям давали в интернате.) То подторговывал всякой писчебумажной ерундой. Сломаешь перышко, спросишь: «Юра, выручи». «Счас посмотрим, — улыбается Юра, открывая баночку из-под «лампасет». — Тебе «звездочку»?» «Ага». «Ну бери». Перышко из баночки возьмешь, медяк в баночку бросишь. Неловко не бросить. Если б не было среди перьев монет, тогда б, может, и не бросил, а так неловко. Другое дело, когда их у тебя нет, медяков. Тогда не бросаешь. Юра все равно улыбается. Прощает, значит. Каждое лето вкалывал на полях и фермах родного колхоза: тоже во имя будущего.

Нельзя сказать, что Юру не любили или тем более ненавидели. Им походя пренебрегали — когда перышки были не нужны. Им походя пользовались — когда перышки были нужны. Кто знает, может, именно в этом — в «походя» — и завелись корешки Юриной мечты? И все же однажды над ним надругались.

Свои миллионы Юра носил при себе. И даже на себе — к тряпочке с деньгами привязывал длинный шнурок, обматывал его вокруг пояса, а тряпочку заправлял в трусы. Надежно, как в сберкассе. Не то что в тумбочке — она на двоих — или в кармане штанов, которыми всегда мог воспользоваться сосед. Штанами, включая карманы.

Секрета из денег Юра не делал, но и говорить о них не любил. Еще больше не любил одалживать их кому-либо. Да у него и не занимали. В самом деле, кто попросит займы у человека, который так обстоятельно хранит денежки? Тут кощунственна сама мысль занять, растратить. И денежки жили-поживали себе спокойно на теплом впадлом животе хозяина, дожидаясь своего часа.

Но Юра был начинающим накопителем и еще очень хорошо спал. Стоило ему коснуться головой подушки, как он уже дрых, посапывая и причмокивая, наслаждаясь видениями той жизни, в которой ему, Юрию Тимофеевичу, все улыбались. Спальня еще пережевывала в темноте события минувшего дня, рассказывала вполголоса были и небылицы, и только Юра спал без задних ног. Бог с ним, пускай бы спал на здоровье. Но Юра имел обыкновение не только посапывать и причмокивать, но в кульминационные моменты еще и крепко, по-деревенски всхрапывать, напоминая всем о своем существовании. В тот вечер он тоже напомнил, и очень некстати — у спальни было лирическое настроение. Она отходила ко сну, сопровождаемая апокрифами главного спаленного фантазера Толи Голубенко. Когда Юра очень уж грубо, с сапогами, вклинился в колыбельную, Голубенко вскочил с кровати, вынул из тумбочки нож, подошел к Юре, и через пару минут тряпочка с деньгами оказалась в его руках. Юра по-прежнему безмятежно спал, не подозревая, что в результате бескровной хирургической операции лишился важнейшего органа своего тела. Голубенко развязал тряпочку и проделал в полутьме вторую операцию, валютную: все деньги в строгом порядке, по достоинству, разложил цепочкой от Юриной кровати до умывальника. Спальня давилась хохотом. Впервые в жизни Юрина наличность ночевала не на живом человеческом теле, а на холодном полу.

Как у нас хватило терпения — или жестокости — дожидаться утра, не разбудить Юру раньше?

Утром спальня с воодушевлением ждала развития событий.

Проснувшись, Юра обнаружил пропажу и растерянно прижух, не решаясь вылезти из-под одеяла, как не решается вылезти из воды человек, у которого лопнули плавки. Потом молча сел на кровати и тут увидел деньги. Он понял, что мы все, все пятнадцать человек, — сообщники. Все против одного. Не говоря ни слова, Юра, обычно такой улыбчивый и словоохотливый, встал с постели и стал собирать продрогшие миллионы. Худой — все кости наружу, — нелепый, в одних трусах. Он подбирал с пола деньги и ронял на пол слезы, такие злые, что смотреть на них было страшно. Юра собирал деньги — поза пасущегося скелета, — а Толя Голубенко вышагивал перед ним и душевно наставлял:

— Нельзя быть жадным, Юра. Необходимо быть щедрым, Юра. Надо любить свое отечество...

Спальня была в восторге. Она хохотала, подбадривала Юру, пыталась похлопывать его по заднице, но Голубенко ревностно оберегал свою жертву.

— Прошу не мешать, — огрызался он. — Прошу не мешать процессу. У нас воспитательный процесс!

От такой защиты жертва потихоньку подвывала, но завывать в полный голос опасалась — и не без основания. Голубенко вошел в раж, его лицо горело, в походке появилась угрожающая изысканность.

Все это могло плохо кончиться...

Наши кровати стояли рядом, и я, пожалуй, чаще, чем кто-либо другой, сталкивался с перепадами души Толи Голубенко.

— Пойдем, покажу что-то,— разбудил он меня однажды ночью.

Идти куда не хотелось, но в кошачьих глазах Голубенко путевой звездой сияла тайна.

Я оделся, мы спустились по освещенной лестнице на первый этаж, проскользнули мимо дремавшей на посту сторожихи и выбрались на улицу. Скрипел снег, уныло раскачивались на ветру интернатские фонари. Голубенко потащил меня к кочегарке. Мы вошли внутрь этой пристройки, откуда пахло углем и угаром. Гудели печи, кочегар дядя Петя похрапывал, положив голову на колченогий стол. Я неосторожно стукнул дверь, и старик попытался проснуться, но, увидев Голубенко, опять прикрыл глаза. Толя провел меня в дальний угол кочегарки. Там на соломенной подстилке лежала собака. Обыкновенная дворняга с обвислыми, в репьях ушами. На появление Голубенко она отреагировала примерно так же, как дядя Петя. Под боком у нее спали пять или шесть слепых щенков. В кочегарке было тепло, но время от времени то один, то другой из них начинал суесться и, подрагивая шерсткой от ненависти к незримым братьям и сестрам, пытался отвоевать у них как можно большую территорию материнского живота, чтобы погреться возле него, как возле солнышка,— носом, хвостиком, животом. Еще вчера они, наверное, так хорошо, беззлобно помещались там, внутри. Началась жизнь — начались житейские неудобства.

Толя вытащил из кармана сверток с едой, развернул и положил перед собакой:

— Ешь, Пальма.

Пальма открыла на запах глаза и стала есть — чисто, без жадности и без заискиванья. Иногда она поворачивала голову и поглядывала на нас — не так, как смотрят на подавших и могущих отнять, а как поглядывают на сотрапезников. В этот час дворняга Пальма была с человеком на равных, как и все живородящие. Рожаящие с кровью. Достоинство, купленное кровью и явленной миру жизнью.

Мы еще долго сидели подле нее. Со стороны могло показаться, что мы греемся. Сидим на корточках и греемся, протянув руки к огню.

У Голубенко была еще одна причуда: в восьмом классе он решил, что женится на четверокласснице Шуре Показеевой. Своего решения ни от кого не скрывал, в том числе и от Шуры. Сначала над ним посмеивались, потом привыкли. Шура ничем не выделялась из интернатских девчонок. Лицо круглое, в веснушках, как подсолнух. Шура, на которой женится Голубенко,— вот и все отличие. Подсолнух рос, окруженный заботами своего огородника. Толя водил невесту в кино, кормил мороженым, помогал делать уроки и жестоко расправлялся с ее обидчиками. В конце концов она и сама уверовала, что все так и будет: выйдет она за Голубенко замуж, нарожает ему детей — и будет у детей хорошая жизнь. Толя очень хотел, чтобы у его детей была хорошая жизнь. Он с этим прицелом и жену намечал. Главное — чтоб веселая.

Чего-чего, а веселости у Шуры Показеевой было через край. Благодаря ей Толя с ней и познакомился. Петр Петрович частенько выставлял Толю за дверь, потому как любил, чтобы его слушали: положит учебник перед собой, отметит ногтем от и до и шпарит с листа. Петр Петрович музицирует, а Голубенко дополняет его жестами. Дирижирует: до, ре, ми и так далее. Особенно лихо выходила у них нота «до» — организм Петра Петровича был для нее хорошо приспособлен. Однажды они такое «до» изобразили, что класс полез под парты. Не вовремя полез: Петр Петрович оторвался от учебника, смотрит, а в помещении один Голубенко возвышается: глаза навывкате,

щеки — как два парашюта и руки вразброс. С тех пор нередко случилось, что, прежде чем приступить к объяснению нового материала, Петр Петрович предусмотрительно выпроваживал Голубенко за дверь. «Слушай меня внимательно, — говорил он ему вдогонку. — На перемене спрошу, о чем шла речь».

Наш класс находился на одном этаже с тем, в котором училась Шура. Однажды Толя видит: стоит у двери девчонка-подсолнух. Это было странно — он владел пустым коридором один. Подошел.

— Ты чего здесь?

— Останавливаться не умею.

— Как это — останавливаться?

— А так: засмеюсь и не могу остановиться.

И девчонка показала, как она не умеет останавливаться. Она улыбнулась — оторопевший восьмиклассник показался ей смешным, — и от этой искры занялось все ее лицо вплоть до рыженьких легковоспламеняющихся косичек.

— Ну ты даешь! — сказал ей Голубенко и расхохотался вместе с нею.

— Что случилось? — высовывались из дверей учителя.

А ничего. Два выставленных человека хохочут в гулком пустом коридоре.

Толе нужна была веселая жена, потому что у него была печальная мать. Худая, неразговорчивая и печальная. У нее было двое детей и муж — инвалид войны. По вечерам дети делали уроки, а она, наспех справив домашние дела, садилась в углу и о чем-то печалилась. Инвалид войны тихо сапожничал, сидя за низким столиком под голый электрической лампочкой. Он держал во рту гвоздики и шпильки, и это избавляло его от необходимости говорить. Пожалуй, он даже слишком часто обращался к гвоздям и шпилькам. Но избавляя человека от необходимости говорить, они навязывают еще более тяжкую необходимость — думать. Мать о чем-то молчала, отец о чем-то думал. Дети делали уроки, вполголоса переговариваясь между собой. А однажды мать пошла на работу и не вернулась. Ее привезли через два дня — в гробу. Привезли под вечер, чтоб не так заметно, как ворованное. Соседка увела детей из дома, а отец всю ночь сидел перед гробом на сапожном табурете с сиденьем из сыромятных ремешков, и странно было видеть его без молотка и шила в руках, без гвоздей и березовых шпилек во рту. В кои веки человек сидел вот так, без дела, без молотка и без гвоздей, которые раньше избавляли его от необходимости говорить.

О чем же он говорил с нею в ту ночь?

На следующий день мать похоронили. Похоронили поспешно, неловко. Больше всех суетился отец. Он, с потными, слипшимися волосами, безногий, путался в ногах у соседей и родственников, молча смотрел на них снизу, из колодца своего горя, напряженно задраным лицом. К вечеру он все-таки напился и, скрипя зубами, кричал, что их под Киевом предали.

Толина мать бросилась под поезд, под единственный пассажирский поезд, приходивший в город раз в сутки...

Иногда Толин отец приезжал на своей коляске в интернат. Ему хотелось встретиться с воспитателями, узнать, как дети учатся, каково их поведение, но Толя его приезды не любил и старался увести отца подальше от чужих глаз, например к кочегарке. Там они и беседовали. К беседам частенько присоединялся кочегар дядя Петя, и тогда они заканчивались поздно, ибо дядю Петю тоже, оказывается, где-то предали. В интернате все давно уже спали, а Толик через весь город провожал нетрезвого, бормочущего отца домой, к родне.

И он все-таки женился на Шуре Показеевой!

После расформирования старших классов Толя уехал в Донбасс, забрал отца, учился в вечерней школе и работал в шахте — ему, как

и Юре Фомичеву, тоже нужны были деньги. Шура уехала доучиваться в свое село, оно было в десяти километрах от нашего города. Я в то время тоже учился в вечерней школе и жил на квартире у своего однокашника по интернату Вити Фролова.

В один из летних вечеров появляется в нашей хатке Толя Голубенко. Пиджак через плечо, кошачьи, с искрой глаза, заметно потяжелевшие руки. Хохочем, мутузим друг друга. Но не успели распить вторую бутылку вина, как Голубенко заявляет, что ему пора.

— Куда?

— В Покойное.

Так называлось село, в котором жила Шура Показеева.

Село, несмотря на свое название, было буйное, жизнелюбивое— у каждого во дворе свой виноградник. Городских там лупили нещадно, и мы вызвались проводить Толю. Предложение было принято. Условились: Толя встречается за селом с подругой, а мы ждем его неподалеку. Если что неладно, он нам крикнет — и мы придем на помощь. Если же все в порядке — дождемся его и вместе возвращаемся назад.

Бедный Витин велосипед! Он только жалобно поскрипывал под нами. Витя сидел за рулем, я на багажнике, мы вместе крутили педали, Витины босые ноги упирались в мои, а новоявленный жених опасно примостился на жесткой железной раме. Мы пересекли город, помахали на выезде темным интернатским окнам и двинулись по старому шоссе. Был поздний воскресный вечер, машин на дороге было мало, и наш драндулет несся под горку, как пьяная цыганская гарба. Мы смеялись, и пустая остывающая степь, на дальних горизонтах которой нежно оседала дневная пыль, подхватывала наш смех, он катил впереди нас и вместе с пылью затухал, оседал где-то далеко-далеко. Мы горланили песни, и они тоже обгоняли нас, высоко летели над степью, уже вроде и не имея к нам никакого отношения.

Степь да степь круто-ом,
Путь далек лежи-ит...

Ветер в лицо, чье-то счастье в лицо...

Приехали, нашли укромную ложбинку с хорошей густой травой. Толик пошел в село, светившееся метрах в двухстах от нас, мы с Витей расположились в траве.

Мало-помалу село угасало, черной и прохладной становилась земля и, наоборот, ярким и жарким от звезд — небо. Мы с Витей допили захваченную бутылку и лежали на спинах, положив руки под головы, и разговаривали на целомудренные, приличествующие моменту темы.

Правда, момент затягивался...

Проснулись от хохота, как от холодной воды. Над нами стояла Шура Показеева и, подбоченясь, смеялась. Платье у нее было в росе и смех у нее был как роса: искрился, обдавал веселыми брызгами.

— Ну и телохранители! Суслики...

Останавливаться она не умела, это точно. Да она и не хотела останавливаться! Над нею сияло туго, до звона натянутое небо, первая заря полоскала ее пролившиеся волосы, первая роса выступила у нее в глазах. Чего ей останавливаться — она знала, как она хороша в эту минуту, эта чертовски рано выросшая Шура. Надо было иметь зоркий глаз, чтобы в «Шуре, которая выйдет замуж за Голубенко», рассмотреть сегодняшнюю красавицу.

Счастливчик Голубенко!

Мы собрались, Толик и Шура стали прощаться. Она целовала его и что-то быстро-быстро шептала, пока мы с Витей, отвернувшись от них, налаживали драндулет.

Назад ехали иначе. Я спал на багажнике, Витя на раме, Голубенко в одиночку крутил педали и орал песни.

Спальня умела мстить. И ни один педсовет не мог поколебать ее негласное решение. Так было с Женей Орловым, сыном директора сельской школы. Он обучался музыке и был, наверное, одаренным парнем. В селе музыкальной школы не было, и отец устроил его в город. Всем было ясно, что в интернате Женя птица залетная, временная. Три раза в неделю после обеда Женя уходил в музыкальную школу и возвращался только к вечеру. Вероятно, эта свобода — не надо сидеть на самоподготовке, когда весь класс под надзором классной руководительницы корпит над домашним заданием, — и стала первопричиной нашей неприязни к нему. Да и отец слишком часто приезжал за ним. Каждую субботу ровно в три часа перед интернатом останавливалась легковушка и давала три протяжных сигнала. Даже если бы Женя не расслышал их, его все равно бы разыскали, оповестили, донесли бы до его ушей эти длительные призывы, током пробежавшие по всем закоулкам интерната. Дразнили не сами приезды, сколько их регулярность, обязательность: каждую субботу. При этом что отцы в интернат почти не ездили. Даже имевшиеся в наличии...

Сам Женя тоже не искал наших привязанностей. Крепкий, широкий парень, запросто крутивший «солнце» и отходивший от турника, не глядя на толпившихся болельщиков, он был снисходительно молчалив, его маленькая птичья голова с влажными глазами всегда чуть склонялась набок, как будто Женя во что-то цепко целился. Каждый вечер перед отбоем вытаскивал из чехла баян, разворачивал ноты и принимался играть. Вначале играл прямо в спальне. Сидит на табуретке, уткнувшись носом в баян, с отрешенным, немым лицом — я давно заметил, что у всех баянистов немые лица — и поигрывает. Тут жизнь идет, тут гам и топот, тут ссоры и драки случаются, а он играет как ни в чем не бывало.

Рипел он так, рипел (это мы говорили «рипит», хотя играл он, наверное, неплохо и, пожалуй, вся загвоздка в том и состояла, что хорошо играл), пока однажды Кузнецов не заявил ему, что в спальне играть противопоказано. Обоняние портится.

Орлов поднял глаза, хотел что-то возразить, но улыбавшееся, с побелевшими скулами лицо Кузнецова было выразительнее слов.

И спальня молчала — тоже выразительно.

Женя встал, взял в одну руку баян, в другую табуретку и ушел в умывальник. Сидел, как и в спальне, в уголке и ноль внимания на сырость, брызги, на здоровое жеребачество отходивших ко сну воспитанников.

Не знаю, какие уж органы портились от игры в бетонном умывальнике, разве что уши самого музыканта, но вскоре кому-то пришла идея спрятать орловский баян. Массам идея понравилась. Баян вытащили из-под Жениной кровати, как выволакивают нарушителей общественного спокойствия, и привязали к крышке огромного круглого «семейного» стола, стоявшего в центре спальни. Привязали, разумеется, к нижней стороне столешницы. Даже не будь на столе зеленой захватанной скатерти с замусоленными махрами, не заглянув под него, баян увидеть было невозможно.

После ужина Женя полез под кровать за музыкой. Музыки под кроватью не было. Заглянул под другие кровати — тоже нет. Порылся в шкафах — не нашел. Тогда встал посредине спальни, возле стола, и спросил, ни на кого в отдельности не глядя:

— Где мой баян?

Спальня занималась своими делами.

Женя сразу успокоился, не раздеваясь лег в постель. Впервые за долгое время мы чистили зубы без музыкального сопровождения.

Наутро первым уроком была физика. Вела ее наша классная руководительница Зинаида Абрамовна, рослая, с правильными чертами, несколько анемичная молодая женщина.

— Здравствуйте,— как обычно, поздоровалась она с нами.

— Здра,— как обычно, ответили мы.

— Садитесь.

Собственно говоря, особого приглашения мы и не ждали. Не сел один Орлов.

— Что у тебя, Евгений?

— Вопрос у меня, Зинаида Абрамовна.

— Какой? Что-нибудь неясно?

— У меня украли баян.

Не скажи он «украли», все наверняка обошлось бы и в мире одним баянистом стало бы больше. Но он сказал «украли».

— Как украли? — растерялась Зинаида.

— Сначала ручками, а потом ножками,— пояснил Кузнецов.

— Может, ты забыл его в музыкальной школе?

Наша Зинаида была еще тем Шерлоком Холмсом.

— Да ты вспомни, Женя,— советовал Голубенко, развернувшись корпусом к Орлову.— Шел, шел ты вчера из богадельни, потом тебе этот гроб надоел, ты зашел на почту и отправил его папаше. Наложным платежом. На деревню папе. Так ведь?

Орлов молчал. Класс хохотал.

— У человека горе, а вы зубоскалите,— вяло урезонивала нас Зинаида.

Горе началось позже, когда баян нашелся. Именно нашелся. Сам в тот же день. Все только пришли из класса, переодевались и ждали обеда. Как нетерпеливо ждали мы тогда свои обеды! Мы росли, наши кости требовали мяса, и к урочному часу нас, как волчат, била голодная дрожь. Из спальни в столовую то и дело отправлялись гонцы: посмотреть, накрыли дежурные столы для класса или все еще чешутся. Если дежурные чесались, им приходили на помощь два-три человека (воспитателями, дежурившими в столовой, это не поощрялось, но и не запрещалось слишком строго). Были даже любители помогать, помощники-профессионалы, среди которых встречались и бескорыстнейшие альтруисты и, мягко говоря, не совсем таковые...

Наконец в спальню врывается очередной гонец и с порога кричит:

— На рубон!

Шестнадцать пар местпромовских ботинок, в основном сорок второго размера, громыхали по лестничным пролетам. Перед входом в столовую мы, как правило, ждали девчонок. Девчонки переодевались дольше нас, им надо было причесаться и сделать всякие другие дела, о которых мы имели смутное представление, но каждый раз орали: «Почистили перышки?» Бог с ними!

То ли пшпагат, которым привязывали баян, оказался гнилым, то ли баян поддался общей суете и спешке, но когда раздался вопль «на рубон!» и все вокруг пошло вразнос, музыкальный инструмент с протяжным пшиком рухнул на пол.

Женя Орлов на обед не пошел. Сидел, сгорбившись, наедине с больным баяном.

А после обеда, на самоподготовке, он и в классе очутился в одиночестве: его сосед Володя Смирнов ушел на другую парту.

На следующий день была физкультура, никто не хотел играть с Орловым в одной команде, и он, отличный волейболист, все сорок пять минут просидел на скамейке запасных. Дежурить с ним тоже никто не хотел, и когда подходила его очередь, Жене приходилось одному ворочать парты и кровати, таскать воду и мыть полы. Он делал эту работу с ожесточением, с лихостью, за двоих — только тырса летела.

Поначалу он даже обрадовался такому повороту дела. На его губах играла высокомерная улыбка: не хотите со мной разговаривать — черт с вами, не хотите играть в волейбол — тем хуже для вас.

Он считал, что все в нем с головы до пят принадлежит только ему. Он ошибался: что-то все же принадлежало и нам.

Так или иначе, но месяца через два Женя сломался. Только что закончилась зима, и в один из дней наш класс прямо с уроков отправили убирать территорию. Первое солнышко, теплый, обдувающий сердце ветер... Мы кубарем вылетели в коридор, прогромыхали по ступенькам и рванули на склад за инвентарем. Первым бежал Женя Орлов.

...Если правда, что общее горе сближает людей, то не меньше сближает и радость, даже такая почти беспричинная, нечаянная, какая была у нас. А может, это и есть самая радостная радость — когда ее не ждешь?..

Он первым получил инвентарь, первым прибежал на площадку, где нам предстояло работать, первым с горой навалил на носилки битый кирпич и клам, оставшийся после зимы, нагнулся, взялся за ручки носилок, и...

Человек стоял в нечеловеческой позе, в такой неудобной, такой некрасивой, а другие люди спокойно мели метлами дорожки, собирали мусор и не торопились вызволить его из этого унижительного состояния. Почуввав неладное, металась между грешным человеком и праведным человечеством Зинаида Абрамовна:

— Мальчики, помогите Жене... Развозов, возьми носилки.

Гражданин был увлечен сбором макулатуры.

В первую минуту, держась за ручки нагруженных им носилок, Женя невольно улыбался, он еще был во власти общей нечаянной радости. Улыбался и ждал подмоги. Понимание, что подмоги не будет, пришло к нему не сразу, вероятно, потому что он сам сопротивлялся ему. И так же не сразу отступила, сошла на нет его улыбка.

Он зло, рывком опрокинул носилки, так, что у них обломилась одна ручка, и, засунув руки в карманы, пошел прочь.

Дня через два прибыл его отец, забрал Женю вместе со всеми его пожитками. Больше в интернате он не появлялся.

Кому как, а лично мне казалось, что моя жизнь на один звук стала беднее. Печальнее. Не уверен, относилась ли печаль к Жениной музыке, но к протяжным родительским призывам машины, приезжавшей за ним, относилась наверняка.

И баянист Женя Орлов и Плугов с его мольбертиком были исключением из массы. Но один был изгоем, а другой, имевший к тому же отдельную комнату (справедливости ради скажу, что это была единственная в его жизни отдельная комната, с тех пор вот уже пятнадцать лет Плугов живет в зиловском общежитии, в комнате с ежегодно меняющимися постояльцами), — другой изгоем не был. Его даже любили — как чудика, что ли. Молчит, малюет... Рисование опять же на обояние не действует: не хочешь — не смотри, не то что музыка... Все равно это плохо, когда нас любят как чудиков. Попробуй разберись, где здесь любовь, а где — пренебрежение.

Однажды довелось побывать мне у передового чабана нашего района Алеши Аютина. Хорошо помню его: мягкий, застенчивый парень со светлыми волосами, которые спереди чуть-чуть волнились, оставляя на лбу легкий, пушистый подлесок, как бывает у девочек или очень молодых девушек. Сидели мы с Алексеем в его недостроенном доме, беседовали, подсчитывали настриг шерсти, ее себестоимость. Ближе к вечеру он вдруг засуетился и смущенно объявил мне:

— Вы знаете, мне в клуб надо. Жена у меня там в хоре поет, а она ж видите какая... Проводить надо.

Жена у Алеши была беременная, от ее живота в недостроенном доме становилось еще теснее. Домашние ходят, остерегаясь задеть

ее, а она все потихонечку улыбается, как будто разговаривает с кем-то, только ей видимым и слышимым.

Провожать так провожать, я тоже пошел с ними. В клубе уже был кой-какой народ. За нами подходили еще и еще. Люди неторопливо переговаривались, счищали щепками у порожков холодную осеннюю грязь с сапог и ботинок. Когда хор собрался, в клубе появился молодой, цепкий, быстрый человек, почти подросток, в две минуты расставил людей на сцене, одному велел снять кепку, другой поправить платок, прошелся вдоль хора, что-то где-то подладил, приглядел собственный вихор и громко скомандовал:

— Начинаем!

Как же они пели! Я сидел в полутемном зале не один, здесь были еще люди, видать, такие же безголосые, как я, но большие любители пения, и в те минуты даже мы, случайные слушатели, примостившиеся в разных концах неудобного зала, чувствовали свою слитность, свое родство, как будто тоже были хором. А что уж говорить о самом хоре! Сцена была освещена поярче, и я хорошо видел, как разгорались лица, как развиднялись глаза деревенских старух, как тонкая печаль, та печаль, что является тенью высоких дум, трогала щеки молодых. Мой Алексей, оказывается, тоже пел — постеснялся сказать! — стоял в мужском ряду. Жена его была впереди, в основании хора, и ее живот вносил на сцену такую же тесноту, как и в их с Алексеем недостроенное, но уже обозначившееся гнездо. Живот был центром, сердцевинной хора, и она пела, ласково придерживая его полными руками.

Песни были народные, и одну из них явственно слышу сейчас: про женщину, чей милый в неволе, и она просит то ли ласточку, то ли ветер передать ему подарочек — пяток яблочек. Пяток яблочек в белом платке... Эту песню пела когда-то и моя покойная мать. Сидит на пороге, солнце уже сошло, делает какую-нибудь женскую работу и поет. Пяток яблочек...

В хоре было непривычно много стариков и старух. Но еще удивительнее казалось то, как дерзко командовал ими этот молодой, еще не оперившийся человек! Строго, почти зло кричал: «Стоп!», «Сначала!», «Перевирает!», «Чище, чище!». И хор умно, легко повиновался ему.

Я видел его в спину. Он был так худ, что когда полы его пиджака разлетались, мне казалось, что под ними вот-вот блеснут его ребра. Пиджак, вихор, который в конце концов снова пророс у него на макушке, да еще растопыренные, вырывающиеся из рукавов руки — вот и все, что рассматривал в нем. Когда он подпевал, его мальчишеский голос не смешивался с хором, он тек отдельно, по самому краешку, мелкими стежками обметывая крепкий полотняный плат старинной песни. И все равно осталось ощущение его силы и власти. И живой связи, пуповины между ним и подчинявшимися ему людьми...

Мы возвращались из клуба поздно вечером. Алексей придерживал под руку жену и светил ей фонариком. Мы что-то пели. И те, кто уходил из клуба в другие стороны, тоже пели. Теперь отверженных не было, пели все.

Позже Алешина жена рассказала мне про этого парня. Его пригласили в село год назад после культпросветучилища. Он повесил объявление о хоре, но никто не пришел. Тогда он пошел по дворам сам. Пошел днем, в самое рабочее время. Его встречали деды да бабки: «Вы к кому? наших нет, они на работе...». «А я к вам». И, не дожидаясь приглашения, проходил в калитку. Тем льстило, что к ним: в кои-то веки официально колхозное лицо, да еще такое молодое, приходило не к их детям, а к ним, старикам. Его поили чаем, парень чай гонять был не дурак — училищная закалка! — и за чайком истодволь уламывал стариков насчет хора. Потом на спевки стали по од-

ному, парами приходите и молодые: любопытство брало, что там их старики выкамаривают. Так по одному, парами и оставались...

Вижу этого парня, птенца, пробирающегося в своих городских ботиночках от двора к двору по осенней, затонувшей в грязи улице, вижу его дипломатические (а может, и не только дипломатические) чай — и вдруг эта твердость, и власть, и взметающая душу согласная мольба: «Передай ему подарок — пяток яблочек...»

Да пусть нас любят так!

...Спрашиваю себя: почему мы ни разу не пригласили в угловую комнату Орлова? Возможно, ему она была нужна не меньше, чем нам. Но стоит ли корить себя? На сцене я его представить могу — злого, умного, властного. А вот пробирающимся по затонувшей в грязи сельской улице, гоняющим чай со старухами — нет. Такого Женю я представить не могу.

Женя Орлов чай гонять не умел, за что и поплатился.

Мы стояли перед нею, а она стояла против нас. Всем существом — против. Раскинула руки, уперлась ими в притолоку и намертво застряла в дверном проеме. Глаза злые, запавшие, кожа под ними уже посекалась и пожухла. Но руки у нее были еще молодые, еще красивые и, по всей видимости, еще жадные.

— Какого черта вы сюда приперлись? Сыщики нашлись, сопляки несчастные. А ну канайте отсюда!

Она, можно сказать, гнала нас взашей, а мы словно приросли к порогу. Слишком молодая оказалась у Коли Миронова мать.

— Кому сказала: поворачивайте оглобли! Ну-ка...

Мы сопели, как впервые запряженные бычки, и оглобель не поворачивали. Женщина начала новую яростную атаку, но на полуслове остановилась и деловито осведомилась:

— Вы сами или вас милиция прислала?

— Сами, — сказал Гражданин и шагнул на порог.

— Ну и черт с вами, — махнула она обмякшей, постаревшей рукой и посторонилась. — Проходите.

Маячивший за ее спиной Коля мгновенно прилип к стене и растопырил руки, приготовившись к обыску, равно как и к распятию.

Обыскивать его мы не стали. Гуськом прошли в комнаты, и здесь с нас слетела вся наша решимость. Прямо на нас двинулась огромная никелированная кровать, царившая в комнате, как алтарь, с архитектурными излишествами бесчисленных сияющих загогулин и по-жабы рассеявшихся подушками. За нею шел ковер во всю стену, изображавший что-то сельское. Прямо на нас, позванивая своими хрустальными сопельками, пикировала дорогая люстра. Шестеро оборотов подозрительно осматривали нас из смежной комнаты. Они были растеряны, и это помогло нам узнать в них самих себя. Оказывается, мы прошли в ту комнату сквозь триумфальную арку трехстворчатого зеркала.

Что там было еще, не помню. И вообще с высоты сегодняшнего благополучия надо признать: вещи в доме были заурядными и не такими уж дорогими. Расхожий, почти умильный стандарт приличной жизни: люстра, трельяж, ковер ну и никелированная кровать — уже тогда в моду входили деревянные кровати, но представления о приличной жизни меняются помедленнее, чем мода, к тому же, вероятно, Колиной матери сверкающее чудо досталось не так легко, чтобы отказаться от него по первому поветрию. Скорее всего с этого никелированного пупка, уже отставшего от других частей благополучного, раздобревшего тела, и завязывалось довольство в доме. Приличная кровать долго была мечтой, а с мечтами мы, к счастью, расстаемся пока труднее, чем с вещами.

Обычный дом обычной продавщицы. Но интернат с его спальней на шестнадцать клиентов не привил нам вкуса к приличной

жизни. И потому мы в первую же минуту растерялись под наглым натиском барахла, всех этих салфеток, ковриков и дорожек, а главное, под грозным, презрительным взглядом домашнего покоя, уюта и чистоты. Невероятной чистоты! Столбу света, лившемуся из окна, не за что было зацепиться в воздухе — ни пылинки! — и он тяжело, с размаху падал на пол, высвечивая под тонким слоем охры живое, с прожилками дерево.

И мы дрогнули. Мы побежали.

Торопливо, стараясь не встречаться глазами, осмотрели первую комнату. Я еще с порога заметил на этажерке под расшитой маками салфеткой свою книжку «Час космоса» и, пройдя вперед на семь дуэльных шагов, вытащил ее из слежавшейся стопки. Зачем, спрашивается? Что я помню из нее, кроме названия?

Кто-то обнаружил в сенях свою шапку — а стояло лето, — тоже молча забрал ее как украл, и мы, подталкивая друг друга, потные и подавленные вывалились во двор. Как после разбоя.

— Инкубаторские, — сказала в сенях мать Коли Миронова, протяжно оглядывая нас.

Этот взгляд мы почувствовали затылками, взмокшими, напряженными, еще раздвоенными и не окостеневшими у основания затылками, не переросшими пока в дубовые мужские загривки, на которых хоть колья теши.

Многие подробности этого события стерлись в памяти. Как, при каких обстоятельствах белобрысенький Коля Миронов был уличен в кражах? Кому пришла мысль пойти к нему домой с самочинным обыском? Наконец, кто был в сыскной группе, кроме меня и Гражданина? Все это ушло из памяти, впиталось в сухой и сыпучий песок. Осталось ощущение мрачной решимости, с которой стояли мы у порога злобно противостоявшей нам женщины. И вместе с тем ощущение женщины — подвядшей, с надкусом и при всей своей крикливости беззащитной перед нами: сквозь ее злость и суетный страх мы впервые расслышали влекущий зов женской плоти.

Будь Колина мать не так молода, вряд ли мы вошли бы к ним в дом...

Несколько дней спустя в классе состоялось собрание. Его проводила Зинаида Абрамовна. Она же сформулировала повестку: «Единодушное осуждение поступка учащегося Н. Миронова».

— Слушаем сначала тебя, Николай, — сказала она, и все приготовились слушать.

И Коля запел: про тяготы жизни, про мать-одиночку, про то, что у нас в спальне всегда некоторый беспорядок и, ликвидируя его, он кое-что из вещей по ошибке занес домой. Коля пел с вдохновением.

— Кто выступит? — спросила классная, когда Миронов покаянно исполнил заключительную фразу: «Больше не буду».

Класс изучал Колю любопытствующими, даже несколько удивленными глазами, но выступать никто не рвался. После обыска интерес к этой истории пропал, страсти улеглись.

— Что же вы молчите? — беспокоилась классная. — Неужели вам нечего сказать товарищу, который совершил скверный поступок?

Товарищ сел на свое место, склонил голову набок, подпер ее ладошкой и терпеливо ждал, готовый внести посильный вклад в развитие отечественной педагогики.

— Повторяю: кто хочет выступить?

— А чего тут выступать? — мрачно отозвался с последней парты Кузнецов. — Прикончить его, и все тут.

Головка у товарища испуганно дернулась, торжественное, значительное выражение на лице сменилось неуверенной улыбкой: к такому педагогическому эксперименту он не был готов. Зинаида Абрамовна, чувствовалось, тоже: лицо ее вспыхнуло, она с непривычным проворством покинула стул.

— Тебе бы все шутки шутить, Кузнецов. А здесь речь идет о судьбе товарища...

Собрание не удалось.

В дальнейшем судьба Миронова сложилась вполне прилично, да она и не могла сложиться иначе, а вот Кузнецов угодил в тюрьму — за кражу, говорят. Жизнь коварно поменяла их местами...

Иногда, бывая в городе, я заходил в магазин, в котором торговала Колина мать. Магазин находился на городском базаре, который, как диковинный цветок, по утрам распускался, горел всеми красками цыганских одежд, босаяцкой наготы, сельских полушалков и искрометных диалогов, увенчивая все это тяжким, уже оплодотворенным, кишашим мухами и осами, благовонным соцветием всего сущего, всего съедобного в родном степняцком краю, а к полудню сворачивался, тускнел и гас, превращаясь в пыльный придорожный сорняк. Я любил бывать на базаре, любил пробовать, причем так навострился в этом, что после моих проб даже широкие душой и скорые на язык (да и на руку) степнячки минуто-другую пребывали в недоумении: проба это или грабеж? В больших городах базары не те: злее, скучнее, скупее — сунься я со своей пробой на Центральный московский рынок!

Магазин стоял в унылом ряду типичных районных коммерческих сараюшек, нутро его было затхло, тесно и полутемно. В нем торговали удешевленными товарами, и покупатель здесь тоже был как бы с уценкой: многодетные матери и бабки в плюшевых жакетах, какие-то линялые завхозы, больше похожие на меня. Кстати, наши интернатские «скороходы» тоже были отсюда. Я входил в магазин, привыкал к его толкотне и полутьме и, стоя в сторонке, насколько это было возможно в такой тесноте, наблюдал, как Колина мамаша ведет торговлю.

Вела она ее с позиции силы:

— Гражданин, вы тут не на базаре. Вы тут в государственном магазине. Так что не прицепляйтесь. Мамаша! Если ботиночек с дефектом, это не значит, что его надо разодрать окончательно. Не хочешь брать — нечего над вещью издеваться, найдутся, которые возьмут. С твоими запросами, бабушка, надо ехать в ГУМ. А, что тебе объяснять, ты все равно туда не доедешь...

В душевной полутьме ее руки взлетали сильно, молодо. Гребок, еще гребок. И меркнувшее лицо решительно вскидывалось над старушечьими жакетами — так вскидывают голову пловцы, чтобы набрать воздуха. Глоток — и вперед. Пловец-одиночка. Коля зря пел про тяготы жизни — с такой не пропадешь.

Меня она, конечно, не узнавала.

Много лет спустя встретился я и с Колей. В нашем городке, на автобусной станции. Наши автобусы отправлялись в разные стороны, но в одно время, и мы повстречались при посадке. Коля смутился и неловко, я бы сказал — жалостно, улыбнулся. Что можно узнать за пять минут, да еще в дорожной суете? Окончил пединститут, преподает в райцентре физкультуру. Но это все ерунда, вот два сына растут — это да. Приезжай посмотреть сыновей, а? Два сына, понимаешь...

Что можно узнать за пять минут? Улыбка да все приглашал домой — сыновей посмотреть, с сыновьями познакомиться. Может, время и в самом деле способно что-то менять и ему под силу не только простейшая разновидность обмена — перестановка, подтасовка (поменять Кузю и Мирона местами), — но и нечто посложнее: изменить человека? В таком случае уверен: он так настойчиво, с жаром звал меня, потому что однажды я в его доме уже был.

А вот с Саней больше не свидеться. Совсем недавно проезжал мимо его родного села. Большое зеленое, посередине школа. Ее

красное, раскаленное от солнца кровельное железо, отороченное померкшей июльской листвой, ярко мелькнуло за поворотом — будто спичкой по стеклу чиркнули. В этой школе я когда-то был. Нас, горожан, прислали в совхоз на помощь в заготовке кормов. С утра, пока начальство, как водится, выясняло в совхозной конторе целесообразность городского десанта, я отпросился на минуту в школу: знал, что Саня заканчивает здесь одиннадцатый класс. Нашел ее, чинно поднялся по щербатым, стершимся ступенькам. В школе шли уроки. Разыскал дверь с табличкой «11» — какой-то грамотей (одиннадцатый класс!) развернул единицы носиками внутрь, и из двух благородных цифр получилась согласная предельно краткого туалетного алфавита, — открыл ее и прямо в лицо недовольно обернувшейся ко мне учительницы произнес:

— Извините, Климова к директору.

В ту же минуту в классе раздался вопль «Сере-ега!» и топот вспугнутого конокрадами табуна, прикрытая мною дверь с треском распахнулась, и в ее пробоину вывалился Саня. Мы колотили друг друга по спинам, и старый школьный коридор, в котором хорошо, подомашнему сквозило вымытыми полами, вздрагивал, будто мы выколачивали пыль из его поношенных стен. Глаза у Саньки сияли, его рябая, притрушенная отрубями физиономия расплылась.

— Серега, Серега, — повторял он.

«С войны не виделись» — вот, пожалуй, мерка, эквивалентная счастью, пылавшему на его лице...

Однажды в интернате мы были свидетелями встречи Учителя и его фронтового товарища — то ли воевали вместе, то ли вместе сидели в концлагере. Встретились они на интернатском дворе весной. Двор был пуст, потому что в интернате шли уроки. Учитель оказался во дворе случайно: шел из общежития в школу. А в это время навстречу ему в калитку входил его товарищ, приехавший, как мы потом узнали, откуда-то из-под Рязани. Они увидели друг друга одновременно и одновременно кинулись вперед, схлестнувшись в твердом мужском объятии. Стояли, прижавшись друг к другу, оба худые, с торчащими из-под рубах лопатками и молча раскачивались из стороны в сторону. Ни слова пока не было произнесено, никакого шума не доносилось со двора к нашим окнам, но интернат каким-то чудом почуял, что там, внизу, что-то происходит. И прильнул к стеклам — малыши, старшеклассники, учителя...

Мы с Саней никогда не были закадычными друзьями, но сейчас, перебирая в памяти весь наш класс, я думаю: ну кто еще мог вот так, до слез, порадоваться встрече? Только Саня.

Сын многодетной сельской библиотечарши, которая рано осталась вдовой, он был невысок, весь очень хорошо, без зазоров прилаженный к земле, но голова его парила в небесах: Саня был отчаянным книжником. Учителя не боролись уже с тем, что на уроках Саня сидел, вперив очи в очередной том, а на перемене мог вскочить на подоконник и ликующим голосом проповитть в прибор интернатского двора:

Принц Конде убит,
Вечным сном он спит.
Но врагам на страх
Адмирал — в боях.
С ним Ларошфуко
Гонит далеко,
Гонит вон папашек
Всех до одного.

Чокнулся на Мериме: доставал, выменивал его сборники.

Этот книгочий не был схимником. Он был жизнелюбив, как подрастающий щенок. Широкая выпуклая грудь, кривоватые ноги, в глазах вечное добродушие и вечное любопытство — в точности щенок переходного возраста.

Саня был одним из самых постоянных помощников в столовой и наверняка самым бескорыстным. Сам он был не жаден, но жалел нас, жадных. Посмотрит, как мы маемся в ожидании обеда, усмехнется: господа, мол, на одно государство сразу пятнадцать Гаргантюа, это ж никакое народное хозяйство не выдержит,— и отправится в столовую помогать дежурным. Его там все знали и пропускали беспрепятственно.

По ночам в один и тот же час, когда в интернат привозили хлеб, Саня ходил помогать выгружать его. Встанет, оденется — и на улицу, где его уже ждет хлебторговый шофер, с которым Саня сумел познакомиться. Уходил он бесшумно, но кто-нибудь из нас все равно просыпался, толкал соседа и, показав на дверь, в которой тенью исчез Саня, говорил: «Пошел». «Пошел» — знала через минуту спальня и, переговариваясь, ждала его. Возвращался он так же тихо, как уходил. В руках у него белели три-четыре буханки. Он совал их соседу, и пахучий горячий хлеб шел по кроватям, а Саня, сделав свое дело, нырял под одеяло, сворачивался калачиком и дрых как убитый.

В армии я был свидетелем точно такой ситуации. Правда, в Санькиной роли выступал парень, совсем не похожий на него. Коля Нехорошев, рослый, широкоплечий, с белыми, как у мельника, бровями и ресницами. Куда ни глянь, сплошные мослы, огромные и белые, как на скотомогильниках, скрепленные между собой самой необходимой толстой мясы. Рабочая кость в самом прямом смысле. Долгим какую-нибудь траншею в двадцатиградусный мороз, а Коля, северный житель, дознает меня расспросами о том, как растет виноград. Другие клянут уже не единожды клятый мерзлый грунт, а Коля виноградом интересуется. И складывалось впечатление, что главное для него виноград, а траншея — это так, это как лаз к винограднику.

Никаким книголюбом Коля, конечно, не был. И если Санькина доброта, пожалуй, во многом произрастала из книжек, то Колина, что называется, из земли. На первых порах ему, наверное, просто не хватало армейской еды, такое со многими бывает, поэтому он и подрядился по ночам разгружать машину с хлебом. Но есть хлеб в одиночку, скрытно считал постыдным и делил «трудодень» («трудоночь») со всем отделением. После этот приварок стал ему ни к чему, он втянулся в паек, но по-прежнему ходил на свою добровольную ночную работу и потом совал каждому из нас по ломтю прекрасного, по сей день не забытого хлеба.

В тот день в класс Саня больше не вернулся. Он пошел со мною в степь на сеноуборку, чтобы побыть вместе весь день. Мы с ним грузили на тракторную тележку тюки люцерны. Саня стоял на тележке, а я, поскольку был повыше его, подавал тюки вилами снизу. Работа вшору матерым мужикам.

Небо затянуло густой белесой мглой, солнце, казалось, растопилось, растеклось в нем до самых краев, пропитав каждый сантиметр этой вытоптанной, вытрепанной ветрами синевы. Сладко пахло привядшей люцерной. Зной съедал звуки, и мы с Саней двигались вдоль длинющего неровного ряда тюков как в немом кино. Вонзил вилы в тюк, через колено поднял его, сдунув попутно пот со лба и с ресниц, и снова всаживаешь вилы в тюк. Тут не до разговора. Так натюковались, что вечером, когда жара уже схлынула, обнажив, как гальку, июньские звуки и краски, еле доплелись до Санькиного дома.

Там мы всласть помылись, поливая друг друга из ведра. Ужинали во дворе, под деревьями. «Надо же: прямо совсем мужики», — добродушно пробурчала его мать, полная, аккуратная, когда увидела на столе принесенный Саней из погребца графинчик с бледным невесомым домашним винцом. Огурцы, помидоры, гусиные шеи зеленого лука, ранние вишни, называемые в здешних местах майками, — скорую летнюю снедь освещала электрическая лампочка, подвешенная к дереву,

и вокруг нее, как вскруг самого сладкого плода, толкалась прожорливая мошकारа.

После ужина Саня еще кое-что делал по хозяйству, помогал матери укладывать младших братьев и сестер, убежавшихся за день и засыпавших прямо на лету. Вспоминая, как ловко он со всем этим управлялся, я думаю теперь, что сама жизнь, не спрашивая его согласия, вместо траурной и соблазнительной, в общем-то, шапочки книжничья-схимника нахлобучила на него оставшийся бесхозным соленый от пота отцовский картуз. Два начала жили в Сане как два крыла.

Тогда я лежал на железной кровати под вишней с поредевшей, до срока сброшенной от жары листвой, сквозь которую пробивалось загустевшее небо, и мое уже городское тело отходило от работы так же медленно, как отходила от зноя прогретая за день земля. Ко мне тоже возвращались краски, звуки, мысли.

Спать мы с Саней легли на той же кровати вдвоем. Сначала нам досаждали комары, потом ветерок посвежел, издалека по одной, как усталые путницы, проступили звезды.

Утром я проснулся оттого, что Саня совал мне под одеяло — а зори в июне холодные — кружку с молоком:

— Пей, парное. Мать корову подсила...

Эта встреча была первой и последней после интерната — через пять лет он умер. Первым из нашего класса. Погиб. Поступил почему-то в военное училище, окончил его, начал службу в Сибири, в тайге. Случилась какая-то беда, и Сани не стало.

Где-то случилась беда, и Саня оказался в самом сердце ее. Как на том субботнике, на который его никто не звал и на котором он так славно, до упора трудился.

Теплый Алексей

Первое, что вижу, вспоминая Алексея Васильевича, это морщины на его лице, глубокие, густые, цветом и формой напоминавшие складки мешковины. Очки вспоминаю, роговые, старенькие, в нескольких местах перебинтованные изолентой. Работа у Алексея Васильевича была стоячая, все время на ногах, с опущенной головой, потому к дужкам очков, чтоб на нос не сползали, он приматывал еще резинку. Черт знает где он ее выкапывал, эту черную, в рубчик резинку, которую во времена нашего глубокого детства вместе с глиняными свистками и другим богатством возили по степным селам старики тряпичники на своих облезлых кобылах и которая держала наши трусы, круто укорачиваясь к легу по причине ее употребления на рогатки. Высокий, худой, с характерной стариковской пустотой в штанах пониже пояса (как рукав у фронтовика), он крепко сутулился.

Согнула Алексея Васильевича работа. В нашем городке был, да он есть и сейчас, небольшой ремзавод, на котором для всей округи ремонтируют автомашины. На этом заводе Алексей Васильевич лет тридцать занимался одним и тем же: прикручивал к коленчатым валам маховики. Работа нехитрая: берешь коленвал автомобильного двигателя, ставишь его стоймя, фиксируешь скобой, чтоб не свалился, с помощью простейшего прибора — индикатора — проверяешь, насколько гладко обработан его фланец, потом берешь маховик, поднимаешь, ставишь на фланец, скрепляешь их болтами, проверяешь индикатором, нет ли перекоса, — и готово, можешь снимать коленвал, уже оснащенный маховым колесом. Пол в цехе, как и на всем заводе, был земляной, и продукцию просто сбрасывали на землю, не боясь, что это повредит ее качеству, как и качеству полов. Алексей Васильевич один обеспечивал коленвалами целый завод. И споровка сказывалась и конституция: сам Маслоук тоже был не просто гнут, а гнут под огнем, как старое, с окаленной железом, и оно угадывалось в его больших, выпирающих со дна костях.

При слове «сноровка» представляются лихорадочные, как в старой кинохронике, движения, но это не так. Маслюк работал сдержанно, без пыла, он въедался в работу.

Написал «въедался» и вспомнил, как давным-давно, еще до интерната, в своем селе любил наблюдать с мальчишками за работой двух немых мужиков, молдаван, нанимавшихся копать колодцы. День — колодец. Что-то коловское было в их размеренной, ни на минуту не прекращавшейся работе. Может, потому что она была бессловесной? Из нее изъяли слово, и она стала слитной, как тяжелая, устремившаяся вдаль река. Немые действительно въедались в работу: по пояс, по грудь, с головой. Потом один из них оставался там, в земле, другой принимал от него на веревке тяжеленную бадью с глиной. Мы как замороженные сидели на корточках на берегу этой реки, следя за ее глухим неостановимым бегом, и если кто-то из землекопов, подняв голову, прикладывал ладонь к сухим губам, были счастливы сорваться с места и наперегонки лететь в хату за кружкой холодной воды.

Немые были худы, горбаты, длинноруки и серы от глины, как стелные кузнечики. Немые вообще страшно работоспособны. Взгляните на их руки — это руки могильщиков.

Маслюк, работая, тоже молчал...

В девятом классе у нас началось производственное обучение. Надо сказать, что в интернатах в отличие от обычных школ отношение к нему серьезное, всамделишное, что ли: тут не только воспитатель, но и сами воспитанники понимают, что ремесло за плечами не носить. Оно само себя несет, как хлеб. Девчонок определили учиться на местную ткацкую фабрику, нас на ремзавод.

Ходили мы туда два раза в неделю. Ходили весело, шумно, этакими бурлацкими артелями: производственное обучение внесло желанное разнообразие в строго разграфленную интернатскую жизнь. Когда пришли на завод впервые, нас собрали в кабинете по технике безопасности, перед нами выступил кто-то из заводского начальства, сказал о значении связей с жизнью, о революционных традициях форпоста местной промышленности, потом сюда же, в кабинет, пригласили группу рабочих:

— Выбирайте.

Алексей Васильевич выбрал меня. Позже, когда мы сошлись поближе, я как-то спросил, почему он взял учеником именно меня.

— Потому что сильно худой, — хмуро ответил Маслюк.

«Тоже мне, толстый нашелся!» — подумал я тогда.

Мое обучение приносило Маслюку немало хлопот, потому что, во-первых, вынуждало его говорить — «не так», «вот так», «держи крепче». Набор слов, как набор слесарных инструментов. А все равно беседа, отвлечение от дела.

Была и другая сложность. Давно замечено: подростков, росших без родителей, особенно без отцов, нелегко научить более или менее тонкому физическому труду. Сужу по себе. Что я умею? Таскать мешки, рыть траншеи... Да вот еще, слава богу, вязать коленчатые валы — спасибо Алексею Васильевичу: может быть, самое тонкое и самое надежное из всех моих ремесел. А заставь копешку сена свершить — и она развалится. Помню, мать не выдержит, выхватит молоток: «Да куда ж у тебя руки приставлены, смотреть тошно!» А у самой тоже не туда приставлены, смотреть горько, как она с этим молотком, как с перебитым крылом...

Интеллект можно развить по книжкам. Управлять же своим телом — а что есть тонкий физический труд, как не совершеннейшее управление собственным телом? — можно научиться только так: ладонь в ладонь. Как учатся ходить. А тут — ладонь повисла, уперлась в пустоту, как у слепого...

Может, потому и из девчонок-детдомовок не получают искусные, добродетельные хозяйки, хранительницы домашнего очага — они зачастую нервные, неровные и неумелые...

Никто, конечно, ничего путного в первый день не сделал: один гаечный ключ подержал, другой ветошью поработал, третий за пивом для бригады сбегал. Я же сделал. Собрал коленвал! Показав мне первые приемы, Маслюк сказал, что ему надо к дефектовщику. И ушел. Я ждал его пять минут, десять — Маслюка не было. Что делать мне, он не сказал. Сидеть вот так на верстаке? Уйти? На свой страх и риск взял первый попавшийся коленвал, с горем пополам установил его, проверил индикатором фланец, поднял с пола маховик — моя спина пусть на минуту, но очень явственно повторила ожостеневшие контуры Маслюка... Когда дед вернулся, я, вытирая рукавом разом вспотевший лоб, сбрасывал готовый вал на пол. Маслюк толкнул его ногой к общей груди, сказал:

— Так, значит, Гусев?

— Гусев, — ответил я, еще не зная, что последует за этим: нагоняй или похвала.

— Ну-ну, — последовало.

Стало быть, похвала, понял я по Маслюковым глазам. Глаза Маслюк спрятать не мог: стекла очков собирали в фокус их рассеянный свет и, как бы угрюмо ни разговаривал Маслюк, по лицу у тебя все равно гуляли теплые солнечные блики.

С дефектовщиком он меня, конечно же, надул. И кто знает, не вытурил ли бы он меня в первый же день ученичества, просиди я этот час сложа руки.

В обеденный перерыв вновь собрались в кабинете по технике безопасности. Распределили захваченную из интерната провизию — банка кабачковой икры и буханка на четверых — и принялись обедать. Сколько этой икры съели мы за интернатские годы! — нам отпускали ее сухим пайком, когда мы ехали в подсобное хозяйство, подавали на завтрак или ужин и вот теперь на обед, в кабинете по технике безопасности. И все равно она так и не надоела нам. Как и тот хлеб... Надоедает, когда тебе достается больше, поровну не надоеет.

Мы обедали, обмениваясь мнениями о своих новоиспеченных учителях, когда дверь кабинета открылась и вошел Алексей Васильевич. Мы сидели на полу — так нам было удобнее, — а Маслюк стоял в дверях длинный, нахохлившийся, загнутый сверху в целях совершенствования технологии ремонта коленчатых валов... Поискал глазами меня.

— Ты мне нужен, пойдём...

Мы спустились в цех по железной, залитой соляжкой лестнице. Маслюк шел впереди, его сторбленная стариковская фигура спокойно, по-своему двигалась среди станков, тельферов, среди всего этого нагромождения железа — так в старости ходят по саду.

Пришли к нашему рабочему месту, он вытащил из тумбочки резинтовую, несгую все следы нестерильного производства сумку, разложил на железном, грубо сваренном столе, который предназначался для работы с металлом, а не для еды, яйца, хлеб, лук, сало, поставил бутылку молока. Впредь он будет ставить на стол не одну, а две бутылки — с молоком или кефиром, смотря по времени года. Если лето — с кефиром, потому что молоко до обеденного перерыва не выдерживало, скисало. Я выдерживал, хотя, каюсь, меня подмывало заглянуть в сумку пораньше: Маслюкова старуха взяла за обыкновение подкладывать в нее что-нибудь сладкое, дразнящее, чего, думаю, не делала лет тридцать. Железный Маслюк, по-моему, всю жизнь ел, как и пил, что покрепче, понадежнее, пожелезнее: сало, хлеб, лук... Набор слесарных инструментов. А тут — потакал. Недовольно бурчал под нос, но потакал.

Плата нам не полагалась, но Маслюк в день аванса или зарплаты серьезно отсчитывал пять-шесть рублей и буквально всучивал их мне. Двумя жесткими, костлявыми пальцами всунет в нагрудный карман моей сорочки эти денежки — как насквозь проткнет.

— Заработал, Гусев.

Делал он это прилюдно, но что-то последователей у него я не видел. Никто из других учителей никаких всучиваний ученикам не производил — не думаю, что из-за чрезмерного сопротивления последних. Пожалуй, я влетал Маслюку в копеечку не только из-за этих трат. Без меня он работал бы молча. А значит, и сделал бы больше и лучше бы заработал.

Когда заговорили о расформировании старших классов, я был на перепутье: в детский дом идти не хотелось (в семнадцать-то лет!), к родственникам тоже. Заикнулся об этом Маслюку. Тот подумал, подумал и сказал:

— Иди на завод, в тепле работать будешь.

Сколько неудобств было в Маслюковой работе — и грязно, и тяжело, и осанка портится, — но он определил самое верное, самое надежное достоинство: в тепле! А разве не так? Разве не помню я, как моя мать после работы на так называемом открытом воздухе тащилась домой с вязанкой соломы для нашей Ночки (подъехать было нельзя, солому заставили бы скинуть — это же откровенное воровство, — поэтому женщины уходили со степи самотеком с вязанками, а положенная им бричка тащилась пустой, разве что ездовой охапку сенца «под задницу» бросит), как она остервенело швыряла солому у порога и, войдя в хату, молча кидалась к ведру с холодной водой. Опускала в него красные, распухшие, ошпаренные морозным ветром руки, повторяя: «В зашпоры зашли... В зашпоры зашли...» — и по ее лицу, такому же ошпаренному, катились светлые, как в детстве, слезы.

Мои одноклассники еще учились, доучивались последние дни предпоследнего учебного года, после которого нас и расформировали, а я уже работал. По личному ходатайству Маслюка, явившегося однажды в приемную нашего директора — я остолбенел, нечаянно увидев его в этом тщательно избегаемом нами предбаннике торжественного, в костюме с ватными плечами и с оттопыривавшейся на груди медалью «За боевые заслуги», — мне разрешили определиться на завод недели за три до конца учебного года. Да и какая учеба в эти последние дни, когда уже ничего не исправить, когда припекает солнце и старшеклассники ходят в школу с двумя тетрадками под мышкой — скорее для записок, чем для записей.

Тем более перед расформированием.

Я же жил энергичной жизнью. Вставал раньше всех, раньше всех завтракал и торопился на завод. Мне нравилось обгонять прохожих, нравился, как это часто бывает в юности, сам механизм быстрой ходьбы: упругое сопротивление асфальта, воздух, идущий по старичкам дыхательных путей гулким, холодящим током весенних половодий. Узкие тротуары нашего городка казались еще теснее от вишневого цвета, стоявшего над каждым деревом, как его колеблющееся дыхание. Затронешь ветку плечом — и ощутишь его на шее, на волосах. Ты уже далеко, а ветка все сыплет и сыплет белым.

Благодаря Маслюку, к которому, естественно, меня и приставили на первых порах, я не был обременен производственными неудачами и скакал на работу с легким сердцем. Как же часто не хватало Маслюка потом, позже!

Теплое местечко было у Алексея Васильевича, моего заводского учителя. И рядом с ним тоже. Чиркнул человек по горизонту, а след все теплится...

Когда-то в селе у нас был такой весенний праздник: теплый Алексей.

Лена

Когда я впервые увидел ее? Наверное, в тот мартовский день, когда Катя привезла меня в интернат. Увидел всех и среди всех — ее. Какой она была в тот первый день? А бог ее знает — понадобилось несколько месяцев, чтобы она выделилась, выкристаллизовалась из всех.

Человек всю жизнь в кого-то влюблен. Всю жизнь в сердце сладкий ноющий груз. Вот только с годами он как-то легчает, подсыхает, выветривается, как выветривается и само тело — руки, шея, грудь. В интернате мне потребовалось не больше трех дней, чтобы влюбиться в Аню Арнаутову, тихую, монашеского склада, с лицом, занавешенным гнутыми ресницами. Полгода ходил за ней, не подозревая, что здесь же, в классе, выкристаллизовывается девочка Лена...

Мы купались в озере. Это озеро со странным названием Буйвола лежало рядом с интернатом. Махнешь через забор, спустишься метров на триста в низинку — и вот оно, плещется у ног. Мутно-зеленое, волокнистое, особенно в ветреную погоду, проросшее в степи, как занесенный ветром знак. Оно было здесь неожиданным и начиналось так, как начинаются в пустыне все озера и моря: никаких переходов: идешь, идешь по полыни — и сразу в воду. Такую же горькую, как полынь, такую же теплую и, как полынь, похожую на пепел. Но для меня эта голая выпуклая вода в степи таинственнее, чем какая-нибудь гнилая прорва в лесной глухомани.

Каким-то образом мы оказались на озере классом — наверное, заболел кто-то из учителей и не было последнего урока. Плескались, дурачились. Рядом с нами купались городские (с городом у нас всегда были довольно сложные отношения, оптимистично выраженные в интернатской присказке «погнажи наши городских»). Купаясь, я оторвался от своих и заметил, что рядом со мною городской парень забивает брызгами заплывшую сюда, далеко от берега, интернатскую девочку Лену Нечаеву. Она вертела головой, закрывалась руками, но парень старался бить по воде так, чтобы жесткий густой пучок брызг непременно попадал ей в лицо, в глаза. Выражение его собственного лица было не шутливым, а злым, хищным. Он клевал ее, как кобчик, почуявший кровь.

— Остынь, остынь, — сказал я, тронув его за плечо.

Он обернулся с тем же ястребиным выражением на лице, хотел что-то ответить, но я показал ему на своих одноклассников, которые резвились у берега и, без сомнения, порадовались бы неожиданной возможности почесать кулаки, и парень молча поплыл восвояси. Преимущества коллективной жизни...

Девчонка отняла руки от лица. Она могла бы и не отнимать их — я уже любил ее. Любил в ней собственную смелость: не так часто удавалось проявлять ее.

Девчонка отняла ладони, влажно блеснули ее круглые карие глаза. Первый и, пожалуй, последний раз я открыто рассматривал их — в дальнейшем это придется делать украдкой, подстергать их на всех перекрестках, стараясь не столкнуться с ними.

— А ведь ты, Гусев, меня не догонишь...

Господи, лучшей благодарности нельзя было придумать!

Плавала она намного лучше меня, позже я узнал, что она выросла на Кавминводах, возле речки. Ее цельное, еще сеголетковое тело ловко ускользало от меня, неуклюжего, членистоногого. Иногда она подпускала меня вплотную и начинала в упор обстреливать брызгами точно так, как несколькими минутами раньше ее обстреливал городской парень. Она делала это со смехом, он звонко рикошетил по воде, но через его завесу тоже проступал, проклеивался маленький тупой клюв степного кобчика...

В интернате был зональный смотр самодеятельности специальных детских заведений. На смотр приехало много народу из других интернатов и детских домов, и среди приехавших оказалась ее младшая сестра. Я увидел их во дворе на асфальтированной дорожке, обсаженной смородиной. Они шли мне навстречу. Маленькая девочка держалась за ее руку, ластилась к ней плечом, затылком — ее лицо было повернуто в сторону смородины, а свободная рука беззаботно порхала над недавно стриженными макушками кустов. Лицо у девчонки было круглым, молочно-белым, с крупными редкими конопушками, как еще непропекшийся оладушек. Никакого сходства. Я бы, может, и не догадался, что они сестры — ну держатся девчонки за руки и держатся, — если б не видел, как она, Лена, ее вела. Если б не видел ее, Лены, лицо. В отличие от беззаботной рожицы сестры оно было напряженным, как у немой. Как будто она хотела что-то сказать — и не могла.

Несколькими минутами позже я видел, как Лена кормила сестру в столовой. Посадила ее за свой стол и караулила каждое ее движение. Как мать. А ведь она была, в сущности, такая же девчонка, как та, только года на четыре старше. Это несоответствие бросалось в глаза, красноречивее всего говорило, что они сестры. Я даже замер — такая жалость захлестнула меня и к этой маленькой блаженствующей девочке, и к ее сестре, из девических, еще подростковых недр которой до времени выворачивалось болезненное, несчастливое материнство.

Впервые мне было стыдно подсматривать за нею, как будто она кормила грудью.

Я знал, что ни отца, ни матери у них не было.

Кузнецов, который иногда ездил на выходные к своей бабке под Минеральные Воды, рассказывал, как они ехали на каникулах в поезде, он и еще несколько интернатских, и Ленка Нечаева съела свой билет. Очень просто: сидела-сидела и за три часа весь билет слопала. Девчонки ж щиплют билеты, как траву, по-телячьи, и в кино, и в трамвае. Даже номера не осталось. Контролерша подходит, а билет — тю-тю.

— Сидит красная и слова сказать не может. Как будто и язык вместе с билетом проглотила.

У меня у самого, наверное, кровь на щеках выступила. Так живо представилось: сидит Ленка, головой затравленно вертит, а вокруг смеющихся, хоть и сочувствующие рожи. Как там, на озере...

Краснела она страшно: и щеки и лоб, а нос, так тот становился багровым и, казалось, светился насквозь. Некрасивой становилась и беспомощной. Я ненавидел себя, когда она становилась некрасивой.

Чем закончился разговор с Кузнецовым? Где он проходил? Одно осталось: жгучий, запекшийся стыд, бессильная злоба.

И вообще, чего больше было в той любви: жалости, томленья плоти, побужденья духа?

Иногда по субботам в интернате устраивали танцы. Они проходили в школьном здании на первом этаже, в вестибюле с холодным кафельным полом. В центре вестибюля, возле одной из четырехугольных колонн ставили на конторский стол огромный, тяжелый, как единорог времен Ивана Грозного, магнитофон, его окружала многочисленная прислуга во главе с первым номером — Колей Гребенюком. Коля был интернатским технарем. Это он по утрам деловито стучал по микрофону в нашем радиоузле, чтобы тотчас за этим постукиванием в спальнях зазвучал бодрый голос старшей воспитательницы: «Доброе утро, дорогие ребята!» Если где-то перегорали пробки (чаще их просто выкручивали), звали Колю. Надо было утюг в гладильне починить — снова приходил Коля, сутулый и озабочен-

ный, как скворец на пашне. Он и на танцах сидел, уставившись в текущий зеленый глазок магнитофона, словно собирался склонуть его.

А вокруг кипели страсти.

Интернатские денди домашними мазурками, на которых даже поцеловаться было невозможно, пренебрегали: они тщательно надраивались с вечера и уходили на городскую танцплощадку, откуда частенько возвращались раньше времени: «погнали наши городских». В таких случаях доплясывать им приходилось дома — синяки делали их неотразимыми. Но это денди, сливки. Основная масса старшеклассников принимала мазурки на ура. Девчонки радовались им открыто, не чинясь и приходили в вестибюль задолго до начала плясок, когда там был только Коля со своим единорогом.

Парни приходили позже, вразвалку, с печатью скуки на челе — вроде как только посмотреть. Правда, после как раз они больше всего сопротивлялись требованиям дежурного воспитателя прекратить танцульки в связи с истечением отпущенного срока: одиннадцать часов, отбой!

Ревел, захлебываясь, единорог, сражалась в чарльстоне пары. Дежурный воспитатель нес боевое дежурство у выключателя, чтобы никто не вырубил свет.

Я танцевать не умел, стоять в кучке спесивых военных наблюдателей стеснялся. У меня был свой маневр.

В разгар танцев я демонстративно, толкаясь, проходил через вестибюль и поднимался на третий этаж в свой класс. Глаза мои были озабоченно, почти как у Коли, опущены вниз, но даже в те несколько секунд, когда я, петляя, пересекал ярко освещенный вестибюль, я черт знает как успевал отыскать глазами Лену, определить, в каком она настроении, кто трется возле нее, как она одета. Как только я замечал ее, меня словно подхлестывали: сердце, сосуды, вегетативная система — все, о чем я узнал лет пятнадцать спустя, перескакивало в другой, более высокий режим работы, когда топливо сгорает, как порох, оставляя в голове синеватый чад.

Я входил в класс и, не зажигая света, садился за свою парту. Сидел, подперев голову ладонями, прислушивался к тому, что делалось внизу: до меня докатывались привядшие, опадающие в пути волны музыки и смеха; прислушивался к тому, что творилось внутри меня самого, откуда с еще больших глубин, чем музыка и смех, шли глухие, отдававшиеся в висках толчки. Иногда мне казалось, что и музыка, и смех поднимаются вместе с ними из одного развороченного источника, как сопутствующие выбросы: дым, пепел, пар. Я представлял, как она танцует, смеется, представлял ее лицо с двумя крошечными черными родинками, увязшими в нежном соцветии щек, и время для меня летело еще стремительнее, чем для танцевавших. Мне тоже хотелось, чтобы танцы продолжались как можно дольше. Но гасла музыка, смех, во мне все успокаивалось, перегорало, только горло першило — от дыма, от пепла, от пара. Я дождался, пока внизу окончательно стихнет, спускался в вестибюль — Коля с прислугой эвакуировал пушку — и выходил на улицу. Иногда впереди себя слышал в темноте ее удаляющийся голос.

Я сидел вечерами в классе не без корысти. Втайне ждал: откроется дверь — и войдет она. Однажды так и случилось. Открылась дверь — я так раз мечтался, что не расслышал шаги в коридоре или их заглушала музыка, — и вошла она.

— Ты здесь? — осторожно спросила она в потемках.

— Да, — ответил я и с колотящимся сердцем пошел ей навстречу.

Мы стояли так близко друг к другу, что я уже различал и ее глаза, нечеткие, размытые темнотой, как затравеневшие степные колодцы с торстью черной воды на дне, и ее щеки — темнота скрадывала и их, и от этого они казались еще более нежными, завечеревшими, — и две

пряди волос, поникших с висков к подбородку; ее дыхание уже чутко касалось меня.

Был май, окно в классе, как раз напротив нас, было открыто, оттуда тянуло прохладой, синее, легкое небо застеклило его, и мне захотелось вдруг встать на подоконник и ухнуть вниз, в колодец, черт знает зачем.

— Слушай, я сейчас такое сделаю...— сказал я.

— А я закричу.

Только теперь мне ясно, что она поняла меня совсем иначе. Решила, что я ее поцелую.

Да могла ли хоть чем-то разрешиться эта болезнь, если во мне, шестнадцатилетнем, еще сидела слюнявая дурь, а она, шестнадцатилетняя, шла в класс совсем не для того, чтобы наблюдать телячьи прыжки с подоконника.

Одно лето я провел у родственников в селе. Сначала работал на току — вместе с другими подростками сгружал с машин деревянной лопатой обмолоченное зерно. Год был урожайный, по всему току лежали сухие, тяжелые, тускло посвечивавшие на изломах вороха пшеницы. От них сам воздух над током, несмотря на поднимаемую грузовиками пыль, был легким, хлебным.

У нас, когда было много помидоров или огурцов, говорили: как грязи.

Хлеба, как грязи,— такого я не слышал.

Кстати, и помидоры и огурцы у нас родили плохо, да за ними и ухаживали абы как, без рвения, характерного для огородных, пойменных торговых сел. Посадят — и то не в каждом дворе — и ждут: уродит — хорошо, не уродит — бог с нею, с зеленью.

«Семь лет мак не родил, и голоду не было».

В хлеб же, родил он, не родил, вкладывали всю силу. Он и в засуху и в урожайные годы давался тяжело, потом. Так что, пожалуй, это не к хлебу особое отношение, а к своему труду: человек во всем ценит прежде всего собственный труд как сердцевину вещей и явлений...

Уборка уже шла вовсю, когда меня позвал к себе в копнильщики комбайнер Петька Мищенко. Огромный — кулак что навильник — и несообразно, не по росту болтливый.

В соответствии с его характером и телосложением Петру достался единственный в совхозе прицепной комбайн «РСМ-8». В ряду самоходных комбайнов он выделялся размерами, мостиками, переходами с гнутыми железными поручнями — в самом деле корабль, только старый, проржавевший, с птичьим посвистом ветра в разболтанных снастях. Другие уже убирали хлеб, а Петро со штурвальным еще ремонтировались. Когда комбайн был готов и его надо было выволакивать на поле для пробного прокоса, Петро и предложил мне пойти копнильщиком: никто из мужиков на эту собачью должность — вся пыль твоя! — не согласился.

Я предложение принял: как бы там ни было, а все лучше, чем ковыряться в зерне, тем более что на току я был самым старшим (мои ровесники потихоньку пристроились к технике: кто с отцом, кто с дядькой или старшим братом) и немного стеснялся и своей компании и своей лопаты.

Поскольку прицепной комбайн в совхозе был единственным, то и я стал единственным копнильщиком (на самоходных комбайнах копнитель механизирован), вкусив все прелести исключительности.

Самое время вразумительно объяснить, что такое копнитель. Нечто вроде глубокой железной брички, которая цепляется к комбайну, и он бросает в нее транспортером вымолоченную солому. Надо было следить за его наполнением, за тем, чтобы не забился транспортер, в нужный момент нажимать на рычаг — и копнитель опрокидывался, оставляя на поле высокую грузную (если ты умелый коп-

нильщик) копну. Копны должны быть как можно больше и стоять в линеечку, тогда их легче будет сволакивать и скирдовать — простейшее подтверждение простейшей мысли: все разумное красиво и все красивое разумно. Если рычаг заедало и копнитель не опрокидывался, ты, став на край, сам прыгал в него на солому, и от толчка твоего тела копнитель, точнее его подвижная часть, переворачивался, и ты вываливался вместе с соломой на колючую стерню и, выбравшись из копны, догонял комбайн, на ходу взбирался на свой, увы, не капитанский мостик.

Я исполнял вымирающую должность, но подростки все равно завидовали мне. Может, потому и завидовали, что вымирающую.

Ни меня, ни штурвального, ни тракториста, который таскал комбайн на гусеничном тракторе — вон сколько нас было на палубе! — комбайнер Петро не понукал, как и себя, и работали мы, как работалось. Если комбайн ломался — ремонтировались, если ходил — косили до глубокой ночи, пока не падала предутренняя роса.

Дождь собрался внезапно. В пустом, давно пересохшем небе что-то заклобуилось, потянуло зловеще синим дымом степных пожарищ, как будто где-то действительно пыхнуло, и по-змеиному двоившиеся жала уже прорезались сквозь клубы летящего пепла и дыма.

Мы еле успели выгрузить зерно из бункера, как хлынул ливень. Петро, тракторист и штурвальный втиснулись в кабину к шоферу, возившему на ток хлеб от нашего комбайна, я влез в кузов на зерно, и машина понеслась под дождем на культстан. Ехать надо было километров семь.

К концу лета степные дороги разбиты в пыль. Мягким, от малейшего ветерка колеблющимся облаком укутала она их, большие и малые, но первые капли прошли ее, простегали, как одеяло, пристрочили к земле, и она уже не вьется столбом под колесами грузовика.

Я лежал ничком на зерне, и та его часть, что была укрыта моим телом, вогнутое отражение моего тела, ласково, ответно грела меня, в то время как по моей спине, по затылку хлестко лупили холодные капли. Пшеницы в кузове было много, железная крыша кабины находилась на уровне моих глаз, и я видел, как, разбиваясь о нее, такие же капли, тугие, как бутоны, мгновенно распускались белыми холодными цветами.

Не так много в нашей жизни мгновений осознанного счастья. Мне кажется, то было одно из них. Ощущение живого, почти телесного тепла, дышавшего подо мной, скорости, от которой свистело в ушах, капель, отплясывавших на моей вытаивающей из-под грязи спине и убиравших облупленную кабину невестинными цветами, наконец, имени, которое я держал на губах, радостно выкрикивая в степь: — Лена! Лена-а-а!..

Какая связь была между именем и грозой, что бушевала вокруг?

Я был на родной земле, мои ноги утопали в зерне, к которому я был причастен, праздник сотворения мира слышался в яростной вольнице ливня, и мне хотелось, наверное, продолжения жизни.

Жить, и жить, и жить...

В то же лето я получил письмо от Учителя. Совершенно неожиданное и единственное в моей жизни письмо от него. Никаких других канicularных переписок с интернатскими учителями или воспитателями я не припоминаю: скорее всего стороны, ко взаимному удовольствию, молча отдыхали друг от друга. А тут приезжаю в село после того памятного ливня — хлеба отошли и меньше чем через сутки трогать их было нельзя, — а тетка Полина протягивает мне за ужином конверт:

— Чуть не забыла. Нинка Алешкина прибежала, письмо принесла. Оно уже с неделю по селу ходит. Сначала, говорит, Ивану его принесли, потом Петру, потом Алексею и вот теперь нам. Все не могли понять, кому ж оно...

Кусок застрял у меня в горле. Кому ж, кому ж как не мне! — готов был крикнуть я, и сердце мое забилось в сладком предчувствии. Я буквально выхватил письмо из рук опешившей от такой прыти тетки и выскочил из-за стола, из летней мазаной кухни во двор, где с деревьев медленно, как во сне, еще скатывались перезревшие капли, а расчистившееся небо еще подсвечивалось из-за горизонта только-только севшим солнцем, и от этого небесного света на земле тоже было светло и покойно, как в хате при вкрученной керосиновой лампе. С полной уверенностью поднес конверт к глазам и... оторопел. Внизу на конверте была выведена сотни раз виденная мной в собственном дневнике подпись: В. Чернышов.

Письмо было тем более странным, что из нашей компании Учитель меня не выделял, был со мною даже суше, чем с Гражданином или с Плуговым, как бы считая, что я свое уже получил — от Кати, так горячо нахваливавшей когда-то меня. А может, он давно и забыл ее похвалы...

Я надорвал конверт, развернул — что лукавить, без давешнего трепета — вчетверо сложенный листок, и Катино имя-отчество бросилось мне в глаза.

«Сергей! — писал мне Учитель. — Насколько я знаю, каникулы Вы проводите в родном селе. Не думаю, что Вы бездельничаете, поэтому не стану досаждать Вам расспросами и советами. (Насчет расспросов он, пожалуй, просто страховался, не надеясь на прилежный ответ.) Но об одном настоятельно прошу. Найдите время и непременно зайдите к учительнице, которая привозила Вас в интернат. К Рябенковой Екатерине Петровне. Непременно. Можете ей при этом передать привет от меня. Вот, пожалуй, и все. Счастливо. В. Чернышов».

Но это было не все. Еще как не все! Ниже стоял значок PS, и Валентин Павлович мимоходом сообщал, что, «будучи на лечении в Пятигорске, видел случайно Ваш предмет. Жива и здорова, и, по моему, весьма очаровательна. Живет она, как помните, в станице Константиновской под Пятигорском».

«Ваш предмет...» — когда я дошел до этого чудного выражения, меня бросило в краску: и оттого что Учитель, оказывается, знал мою тайну (откуда?) и бог знает еще отчего. Последнюю же строчку письма я воспринял как сигнал к действию. Станица Константиновская под Пятигорском — в тот же вечер по этому хоть и неточному адресу улетело длинное, пыльное, несуразное письмо, единственным оправданием которому может служить лишь тот факт, что оно оказалось без ответа.

Правда, сам Учитель, как я теперь понимаю, предпочел бы более решительные действия. В следующую весну он, кстати говоря, и уехал.

Дом

Наша часть шефствовала над детским домом для малолетних, и нас, нескольких солдат, прислали сюда ремонтировать забор.

Стояла весна, колотое солнце сияло в лужах, первые тропинки пропекались в роскошных, сдобных грязях районного городка. Придя к зданию детдома, мы расположились вдоль забора, на подсыхающем взгорке, намереваясь после перекура приняться за дело. Но к нам, смешно форсируя лужи, бежала директриса, заполошная полнеющая женщина, и частила, кудахтала:

— Нет, нет, это подождет. Сначала надо побывать у наших детей, они будут рады.

И мы, побросав топоры, молотки и гвозди, притушив раскуренные сигареты, гуськом неуклюже пошли за нею.

Разделись в коридоре, побросав шинели прямо на залитый солнцем пол, отчего они сразу же закурились: по весне солдатская шинель парит, как мать сыра земля. Был час игр, дети были в большой общей комнате, и директриса повела нас туда.

«Они будут рады»... Да они вцепились в нас, как волчата, с той лишь разницей, что волчата что-то отнимают, а эти волокли нам свои дары, требуя непременно принять их: одноногую куклу, бесколесный автомобиль или просто пару восторженно протянутых ладошек — бери! Мы растерянно остановились — мелкое, насквозь прогретое солнышком море любви и ликованья билось у наших сапог и страшно было шаг ступить.

Одежки одинаковые, игрушки одинаковые, глаза только разные: черные, синие, карие — яркие в отличие от линялых одежд... Где засветится их сознание? Что выхватит оно впервые, что захватит с собой в дальнюю дорогу: вот эти стены, куклы, соблезнующую улыбку нянечки?

Они не лишены крова, но они лишены дома. Корня. И это самое горькое. Лицо матери мы припоминаем по родинке. Лицо земли мы узнаем и помним по крохотной, непрочной точке в пространстве и времени — дому. Она как почка, которой мы прирастаем к земле, и к тем, кто в земле, и к тем, кто рядом.

Дом — родинка родины.

Почти у всех, кто жил в интернате, он был. И, значит, существовал вместе с нами, даже если давным-давно развалился. В снах, наяву, в обиде, в беде.

И рассказ об интернате был бы неполон без рассказа о доме.

Домой я ездил каждые каникулы. Сначала ехал по асфальту, потом куковал на проселочной дороге, робко отбивавшейся от безжизненного ствола шоссе в сторону нашего села. Не всегда хватало терпения дожидаться попутной машины, и тогда я отправлялся в село пешком. Чаще всего меня кто-либо догонял на полпути и, признавая Настиного, брал в кузов или в кабину.

Но случалось и так, что все двенадцать километров я преодолевал на своих двоих. Грейдер, по которому меня когда-то везла Катя, полово поднимался в гору, а возле самого села круто обрывался вниз. Как только я достигал этого водораздела, родное село открывалось передо мной как на ладони. Редкая, пересыхающая череда хат, протекающая по дну степной балки...

Я без труда отыскивал взглядом свой одинокий, уже тронутый степью дом, и чувство щемящей радости охватывало меня. Каким бы усталым ни был, я всякий раз переходил на бег и летел к нему стремглав ласточкой, безошибочно из поднебесья прицелившейся в родное гнездо.

Так же тревожно и радостно замирало сердце, когда, еще в отрочестве, выйдя однажды на порог, я понимал, что кончилось лето. Мать в фуфайке с подвернутыми рукавами уже не беседовала с Ночкой, а покрикивала на нее: «Стой, стой, комолая!» — для нее дыхание зимы было суровым дыханием новых трудов и неженских забот.

И молоко в подойнике пело глуше, пойманной.

И какое-то перелетное беспокойство жило в природе: по зеленому, уже предснежному небу, сорвавшись с насиженных мест, выворачиваясь исподним пухом, летели — почти с птичьим криком — облака. Это беспокойство передавалось и матери, частице природы (без матери природа неполна), как отставшей от стаи. Остающейся наедине с зимой.

От матери, от облаков, от первой изморози, севшей на травы тонкой, но уже смертельной паутиной, оно передавалось мне. И, разбуженный, объятый этим беспокойством, я нырком срывался с порога, выбегал со двора в степь, что начиналась тут же, у нашей ничем не огороженной хаты, и она подхватывала меня. Но я был зелен, и зима не страшила меня (что мне зима — игра!), и я меньше, чем мать, жалел уходящее лето — сколько их будет впереди! Меня захватывал сам процесс перемены, и застревавший в горле крик был скорее криком сеголетка, впервые вставшего на крыло, впервые — самонадеянно — покидающего родное гнездовье.

Я улетаю, мать оставалась.

Теперь я бежал к дому с тем же чувством, с каким когда-то убежал от него. Горечь утраты, радость перемены, ощущение крыльев — как же независим был я теперь от него и как же мне хотелось показать ему, насколько перерос я его зарубежи!

Я бежал к нему выгоном, а не улицей, чтобы меня до срока не перехватили родичи или знакомые. Пробравшись к дому, несколько раз обходил его кругом. С каждым приездом дом все больше оседал, подтаивал, как почерневший мартовский сугроб. Степь брала его и с воздуха — на его крутой, с провалами крыше зеленела та же трава, что росла вокруг: тонконог, кукушатник. Ни дверей, ни окон уже не было — в наших степных краях щепке пропасть не дадут, особенно той, что плохо лежит, — и сквозь открывшиеся проемы, слышно подтачивая их, как сквозь старые, осыпающиеся проливы, в дом, не смешиваясь и не разбавляя его погребного холода и сумрака, текли гольфстримы солнца. Увлеченные, обманутые этими потоками, в хату, сверкнув крыльями, влетали стрекозы и бабочки и, ослепленные темнотой, находили здесь смерть. Я садился на свое старое излюбленное место — на подгнившие и покосившиеся порожки — и с наслаждением вытягивал ноги. Как хорошо мне там отдыхалось — и от того пути, что был позади, и для всего того, что еще ждало меня. Я приваливался к хате, как к старой скирде, и за моей спиной, как в старой скирде, гудели шмели и возились последние мыши.

Когда-то здесь была целая улица, порядок, как у нас говорят. Но я этого уже не застал. Я был совсем малым, а от порядка уже оставался только наш дом. Да еще три голые, выветривавшиеся стены напротив через вялую, забиваемую травой дорогу. Эти стены были пристанищем наших мальчишеских игр и наших же драк. Когда я спрашивал мать о происхождении стен или пологих глинистых курганов, тянувшихся с двух сторон вдоль дороги и выглядывавших из травы, как лысые маковки, она отвечала односложно:

— Голод.

Жив человек — и живо все вокруг: стены, потолки, деревья (от нашего сада в первое же лето после смерти матери остались пеньки). Гибнет или, гонимый чем-то, срывается с родового места человек — и все, что стояло века, каждодневно поддерживаемое им («Не ковыряй двор! — ругала меня мать. — Корова ногу сломает» — великое, как галактика, сцепление мельчайших целесообразностей), одухотворенное им, рушится в два-три года. Для всего, созданного человеком, смерть человека равносильна угасанию солнца.

Значит, дома умирают от того же, что и люди, от раны, от болезни. От голода.

Наш дом умирал от рака печени.

Мать увезли в больницу, и по воскресеньям мы ездили к ней в районный центр. Встречались в осеннем больничном саду, под огромными дотлевающими кленами. Она выходила в халате, дважды обернутом вокруг ее выболевшего тела, с банками и булками, навезенными за неделю родственниками, и, как мы ни сопротивлялись, скармливала их нам прямо в саду. Младшего из нас троих она брала на руки, об-

летающая, дотлевающая, едва удерживавшая на обескровленных ветвях своих последний зазимовавший плод.

А однажды, уже глубокой осенью, мы увидели ее на своих порогах.

Было раннее, с морозцем утро. Я вставал первым, потому что на мне лежали и дом и двор: надо было выгнать в стадо корову, посылать птице. Вышел на порог, а здесь мать в фуфайке, с узелком сидит, привалившись к притолоке, греясь на последнем солнце, как любил греться и я. В своей колготной жизни она, пожалуй, и забыла, что можно вот так, без дела греться... Оказалось, она не хотела нас будить и ждала, пока мы проснемся.

Нам она сказала, что выздоровела, и мы были счастливы, как весенние воробьи.

Много позже я узнал, что в больнице ей сказали — нужна операция, но надежды мало, почти нет. Без операции она протянет с месяц. Мать выбрала месяц.

С этих же порошков ее и понесли. Исхудавшая, похожая на пустой продавившийся кокон, она вся утонула в гробу. И лишь руки, две вложенные одна в другую ладони, выделялись, вознесенные над скорбной пустотой. Непомерно большие, несоразмерные с вернувшимся в детство телом, раздавленные, разношенные тяжелой работой, с искривлениями и надолбами, луженные серым, непромывавшимся оловом мозолей, они лежали, как чьи-то (чужие!) голые большие ступни.

Ее несли к машине, а видны были только они, и со стороны могло показаться, что хоронят руки.

Так оно и было. Хоронили безотказные руки. Руки доярки, свинарки, птичницы, арбички, ударницы пятидесятых, копальщицы оборонительных рубежей родины. И — матери.

Только мать могла из бездны сомнительных шансов выбрать один, несомненный.

Руки, бывшие живительным солнцем для многого-многого вокруг. В том числе для меня...

А вот у этого проема, бывшего окном, меня караулил Орел. Слепым щенком подарила его мне Катя, а через полгода он вырос в мощную, мускулистую, как кусок серого пламени, овчарку. Мы с ним ходили в степь, и он играючи давил зайчишек. От него бегали волки. Однажды его самого чуть не застрелили, приняв за бирючину. Я выскочил из лесополосы и, растопырив руки, бежал к уже целившимся в него мужикам: «Собака! Не видите — собака!» Он провожал меня в школу и, гоня кошек, тоскливо отирался вокруг нее, пока я сидел в классе. Домой мы возвращались вместе. Учились во вторую смену, и в зимнюю непогоду искали свой дом по слабому огоньку в степи: чтобы мы не заблудились в шургане, мать ставила на подоконник керосиновую лампу. Под этим же подоконником стояла моя кровать. Я ложился в нее, а Орел устраивался на улице под окном. Стоило мне отогнуть занавеску, как он поворачивал голову и его глаза, похожие на две переспелые виноградины, преданно смотрели на меня...

Я сидел на порогах, привалившись спиной к дому, как к старой скирде, и он по капле, до дна отдавал мне свое выстывающее тепло.

В них было что-то общее — в моем доме и в старом моем Учителие...

Сколько же лет мы к нему собирались — с той самой весны, как он ушел из интерната. Собирались каждое лето, и всякий раз что-то мешало. Мешало через год, через два, через пять... Даже как-то забывать о нем стали — мало ль учителей видели мы за свою жизнь. А тут нечаянно собрались в Москве, в гостинице: Гражданин приехал

из тьмутаракани что-то просить для своей больницы; Бесфамильный, офицер, заявился по военным делам; мы с Плуговым тоже оказались под рукой. Выпили, вспомнили, отругали самих себя.

— Едем! — воспламенился в третьем часу ночи Бесфамильный.

Соберись мы у кого-нибудь дома, хотя бы при одной жене, или додержись до утра, до рассвета, до головной боли, когда стыдно и тошно даже вспоминать о нетрезвых вчерашних помыслах, не то что исполнять их — точно не поехали бы.

Но такое утро, мутное и муторное, покаянное, застало нас уже в Калининe. Мы сидели в промороженном, почти пустом вокзале продрогшие и невыспавшиеся, и доктор Развозов старался вдохнуть в нас если не жизнь, то хотя бы любовь к ней. Он то свирепо тормозил нас и погонял разнообразными словами, то умолял дожить до буфета.

Потом был такой же холодный, всеми суставами визжавший на тридцатиградусном морозе автобус, в котором всю дорогу стояла глухая канонада от валенок и сапог: пассажиры грелись, пассажиры, можно сказать, на своих двоих топали до самого Белореченска. Правда, нам мороз был уже не так страшен: мы дожили и до буфета, и до ресторана, и захватили кое-что с собой, и теперь ехали тепло и уже вновь не видели ничего предосудительного в том, что вот так, с бухты-барахты, сорвались к Учителю. Бог знает зачем. У нас у самих уже дети-ученики, у меня и Гражданина по двое, причем у Гражданина от разных жен. Тонко седеет холостяк Плугов, пошло лысеет мы с Гражданином, у которого вдобавок ко всему вылупился продолговатый земский животик.

Был и районный городок Белореченск со старинным, выделанным снегом, какого давно нет в больших городах. По причине заносов автобус в тот день на Изборье не пошел, но нам повезло: на автостанцию завернул шофер изборской техпомощи.

— Изборские есть? — спрашивал он, оглушительно хлопая меховыми, колом взявшимися рукавицами.

— Есть, есть! — обрадованно вскочили мы.

Мужичок с сомнением осмотрел нас.

— Мало вас, — бросил он и снова пошел по смерзшимся рядам. — На Изборье, на Изборье...

Мужичок-левачок знал, что автобус в его деревню не пошел, и потому выкликал пассажиров громко, не таясь, не стесняясь станционного начальства. Человек делал благородное дело.

Позже, когда выехали за город — желающих воспользоваться оказией больше не нашлось, — мы поняли, что повезло не столько нам, сколько шоферу. Отъехали три-четыре километра — и начались завалы, заносы, пришлось без конца толкать и подсаживать машину, попеременно шуровать лопатой в легком, сыпучем, как пыль, снегу. Километра полтора мы оттаивали в теплой будке, потом снова соскакивали на снег. Мерзли ноги, потом и паром вышел хмель, кругом уже занималась темнота. Она проступала на снегу откуда-то изнутри, как болезнь, и, тлея, расплзалась вокруг, добираясь до самого дальнего угла, где остывало до черноты заветренное солнце.

Толкая плечом обжигающий, забранный жестью борт, я думал о странном совпадении: второй раз еду к Учителю и второй раз точно так, как тогда с Катей.

Залаяли собаки, и мы поняли, что въехали в деревню. Машина остановилась. Шофер открыл дверцу будки, заглянул внутрь:

— А вы к кому едете?

— К Чернышову Валентину Павловичу. Учителем он у вас.

— К Учителю? — удивился шофер. — Так его уже нет, Учителя. Осенью помер.

Мы вылезли из своей конуры трезвые, промерзшие. Нас друже-

любно обнюхали собаки: в маленьких деревнях они скучают, как люди. Шофер тоже деликатно топтался рядом.

— Ну, жена его тут. Вон — третья изба светится. Заночуйте у нее, она баба хорошая, а утром я вас могу отвезти обратно, мне все равно завтра в город надо. Опять запчасти в Сельхозтехнике просить, мать их за ногу. — Ему было неловко, что он эксплуатировал нас за здорово живешь. — А вы кто ему будете? Родня или просто?

— Просто, — буркнул Гражданин.

— Ясно, ясно, — с готовностью подхватил мужичок. — Мы тут все его хоронили, ограду сварили, чтоб коровы не затоптали. Три месяца пришлось возить детей в другую деревню в интернат, учителя не было. Потом прислали. Сейчас же как? Школы нема — и деревня сразу вразбежную. Пахать-сеять некому, земля пропадает. Да чего тут стоять, давайте я провожу вас к Тимофеевне.

Мы бы нашли дорогу и без него, и кто-кто, а уж тетя Шура наверняка бы признала нас, но оставаться сейчас вчетвером — все равно что остаться одному, и мы послушно пошли за шофером по узенькой, жавшейся к избам дорожке среди сугробов и безавших над ними огней. Избы, ворота скрадывались темнотой, и казалось, что освещенные окна висят над снегами — неярко и неровно. Две короткие ныряющие цепочки окон, две узкие, след в след дорожки. За нами верно плелись попутные дворняги.

Шофер постучал в занавешенное окно. Занавеска отодвинулась, и в окне показалось лицо тети Шуры.

Она не видела нас в темноте, зато мы ее видели до мельчайших морщин. Мы видели ее и, пожалуй, самих себя — тех, которых давно нет. Это продолжалось минуту, от силы две, но если глаза в глаза, то минута — много, можно не выдержать. Мы потушились, хотя знали, что эти высветленные удивленные глаза нас не видят, просто не могут видеть.

— Это я, Лутовинов. Гостей привез, Тимофеевна.

— Гостей? — Ее глаза стали еще удивленнее. — Проходите, калитка не заперта.

— Ну вот. Если чего, то завтра я подъеду, — говорил нам шофер повеселевшим голосом, как человек, оплативший за добро добром. Он попрощался с каждым за руку и той же стежкой пошел назад к машине.

Мы вошли в калитку, на ощупь под смирным контролем беспривязной легавой пересекли двор, взошли на крыльцо.

На крыльце стояла тетя Шура.

Она вглядывалась в нас и не узнавала, узнала только в комнате, на свету. Растерялась, стояла между нами — теперь она была меньше любого из нас, — не зная, как совладать с собой.

— Господи, так это вы? Вы к нему?

Она поворачивалась то к одному, то к другому простоволосая, потерянная и говорила, словно прощенья просила:

— Так нету его, нету.

Она заплакала — не в голос, а так, на ходу, как испокон веку плачут на Руси вдовы, которым просто некогда поплакать всласть, и, плача, раздевала, усаживала, согревала нас.

— Вот вам и государственные харчи. Я уж и до плеча вам не дотянусь.

Руки у нее были теплые, легкие, тысячу лет никого из нас не раздевали и не согревали с дороги такие руки.

— Мы помянуть, тетя Шура, — сказал Гражданин.

— Вот и хорошо, вот и молодцы, — плакала она.

Она не спросила, почему же мы не приезжали раньше, и даже наоборот — сказала, что так и знала, так и чувствовала, что мы обязательно приедем.

— Рано или поздно, рано или поздно, — говорила она, успокаиваясь.

Видно, Учитель тоже так думал и ждал.

Рано или поздно...

В комнате стало тесно — не часто, наверное, собиралось здесь столько народу. Она была небольшой, ухоженной, с вышитыми занавесками, с цветами на подоконниках. Стопка дров у горячей, окованной жестью печи, ковер на стене, на ковре ружье, шестнадцатый калибр: оказывается, Учитель был (или стал) охотником. На другой стене струганые доски с книгами и увеличенная в рамке фотография Учителя. Учитель улыбался, что было, в общем-то, непривычно.

— Женя, выйди к нам, познакомься с гостями.

Из передней, отделенной от комнаты цветастой ситцевой занавеской, вышла девушка, почти девочка, — джинсики, свитерок, волосы, которых, можно сказать, не было, одна мягонькая шерстка на голове. С первого раза и не поймешь, то ли Женя, то ли самый настоящий Женька. Джек. Но когда она подала нам руку — так не подают, а просят, — мы убедились: Женя.

— Это наша новая учительница, — сказала тетя Шура, и Женя покраснела до самых ушей. — Никто не хотел к нам, так я ездила прямо в педучилище, там и нашла ее, уговорила.

Во сколько же лет выходят из педучилища? В шестнадцать?

Горела печка: красный командир Бесфамильный оказался исправным истопником. Время от времени он садился перед ее устьем на корточки, открывал дверцу, чтобы уложить дрова, и горячее зарево обдавало и его лицо, и всех нас, и всю комнату. Терлась у ног легавая Розка. Тишина, давно не слышанная нами тишина липла к окнам. Мы поминали Учителя. Кое-что привезли с собой, а тут еще тетя Шура сбегала через дорогу к продавщице домой, слава богу, в деревне они пока безотказны, как «скорая помощь». На столе царствовала картошка с мясом, вокруг нее ярусами шли грибочки, огурчики, помидорчики, моченые яблоки, моченая брусника. Мы поминали Учителя. Выпили за него, потом еще раз за него, потом за тетю Шуру, потом за девушку Женю, потом за все хорошее. Затем тетя Шура снова всплакнула, а заплакав, принесла из другой комнаты фотографию. Учитель в гробу, а вокруг — Таня, Нина Васильевна, чуть поодаль тетя Шура, а еще дальше незнакомые нам люди.

Учитель лежал с закрытыми глазами, а человека с закрытыми глазами понять невозможно. Этого еще не знает мальчишка, на чьих квелых плечах лежат долгие Танины руки (почему-то детей ставят ближе всех к покойникам, ими словно отгораживаются от смерти). Я представил, как его везли сюда по осенним лесам, по пустым полям, с короткими слезами и с долгим молчанием и как он сам не понимал, куда едет, и как наконец понял здесь, на последней черте. Мать подталкивает его руками к деду, а он отталкивается от него глазами, как изо всех сил — руками, ногами, глазами — отталкиваются от утопающего...

Печальны глаза Татьяны. Печальны глаза Нины Васильевны. Печальны глаза тети Шуры.

Учителя понять невозможно.

— Сюда мы приехали потому, что здесь у меня сестра, помогла нам дом купить. Подправили его, зажили. Меня учетчицей взяли, он в школе. Дети мои вскорости в Ленинград уехали учиться, да так и остались там на заводах. Несколько раз его в район приглашали, но он не хотел, тут ему вольней жилось: к охоте прилип, к рыбалке. Дети здешние понравились, говорит: талантливая деревня. Ремонт любил. Каждый год у него ремонт. Людей в колхозе не хватает, так стариков да детей соберет, и возятся в школе: пилят, красят, байки мелют. Деды тут речистые, особенно если по сто грамм перепадет. До сих пор горюют за ним. Вчера зашел дед Нестеров, говорит: Пав-

ловича нет, так хоть с тобой потолковать. Скучно старику, много ли с ними сейчас разговаривают. А он любил со стариками разговаривать. Затронет, а деды и рады стараться. Вон дед Нестеров так даже про Анну Керн ему рассказывал. Хоронил он ее, яму копать был нанят, она ж у нас недалеко, в Торжке, лежит... А помер, можно сказать, нечаянно, как иголку нашел. Простыл где-то или так, заморился, прилег и говорит: «Ну все, Шура, шли телеграммы». Я ему говорю: «Глупости». Врача ему из района привезла, и врач говорит тоже: «Глупости, мелочи». А он заладил: «Шли телеграммы». Я до последнего не слала — при живом-то. Лежит спокойный, грустный только. В общем, опоздала я с телеграммами. Может, он теперь обижается на меня. Да и семья его, наверное, обижается.

Себя тетя Шура его семьей не считала. Так, бедная родственница...

Проснулись мы поздно. В доме тихо. Ни тети Шуры, ни Жени. Изба убранная, никаких следов вчерашнего застолья. Правда, на столе, укрытое двумя полотенцами, рельефно громоздилось что-то съедобное и опохмеляющее. Поверх всего лежала записка: «Доброе утро. Часов до десяти пробуду в бригаде, потом отпрошусь. Подождите меня. Это завтрак».

Мы валялись в своей постели на полу, на двух матрасах, и Гражданин читал нам записку вслух. Прочитал, сложил, невесело добавил от себя:

— П-приходил Петр Петрович, я сказала, что вы ушли в кино.

От ломившегося в окна снега в комнате стоял нестерпимо белый, как в грозу, свет. От этого неживого света, от увеличенной карточки на стене было не по себе.

Наспех позавтракав, вышли на улицу. Все тот же яркий, как электросварка, свет, источавшийся снегом, не давал покоя глазам. Мы топтались без дела перед домом. На ясном снегу нас было видно со всех концов деревни, и она с любопытством наблюдала за нами сквозь толстые примороженные стекла. Чувство неловкости не оставляло нас. Мы сами себе напоминали не ко времени явившихся дачников. Кому-то пришла мысль сходить в школу, все с облегчением приняли ее: все не мозолить глаза людям.

Школу нашли быстро: все протоптанные в сугробах стежки сбегались на пригорке у приземистого, вросшего в снега деревянного особняка. О эти российские особняки, черные, изъязвленные вечностью, как кресты на погосте! Как истово отмаливают они эксплуататорские грехи своих давних обитателей — до самого последнего часа, когда уже не то что под школу или зернохранилище, даже под клуб невозможно приспособить отживший, отслуживший скелет дворянского гнезда. Только на дрова!.. Мы поднялись по ее ступенькам, вошли в коридор. Дверь в класс была открыта, и оттуда слышался голос Жени:

— Диктую: «В нашем классе живет ежик...»

Мы осторожно постучали в притолоку и вошли в класс, в котором, оказывается, живет ежик.

— Здравствуйте.

— Дети, поздороваемся с гостями.

Дети поздоровались так, что усохший особнячок трянуло. Детей было человек пятнадцать, и в глаза бросалась их разнокалиберность. Побольше, поменьше и совсем маленькие: в таком порядке они были расфасованы по рядам. С краю первый класс, в середине второй, потом третий — поняли мы. Три класса и одна Женя, тонкая, легкая, максимум восьмиклассница. Подсвеченная зимним солнышком, спокойно стояла она у подоконника, сложив руки на животе, как любят складывать их многодетные деревенские бабы.

Дети с веселым любопытством рассматривали гостей, а гости не знали, какого черта сунулись они в класс.

— Ребята, эти дяди были когда-то учениками Валентина Павловича,— пришла нам на помощь многодетная Женя.

Что-то в них переменялось. Или в нас? Участие появилось там, где еще минуту назад резвилось ничем не обремененное любопытство. Мы стали для них почти свои, если не из их, то из соседней деревни, и они сочувствовали нам. Судя по этой перемене, они любили Учителя—их любви хватило и на нас. Мы улыбнулись друг другу, словно поздоровались еще раз. Учителя уже полгода не было, а мы вот встретились и улыбнулись. Свиделись. И еще, улыбнувшись, решили, что многодетную Женю тоже можно принять в наш класс. И в тот давний, с угрюмыми черными партами, и в этот, пропитанный зимним солнышком, с портретами великих писателей, с тремя шкафами книг, многие из которых мы видели когда-то в доме Учителя, с потрескавшейся печкой в углу—после перемен она расцветает осенними листьями озябших ребячьих ладошек,— с ведром воды на подоконнике.

Вряд ли он учил их по студенческим конспектам.

Мы попрощались, и Женя проводила нас до ступенек.

Она осталась на крыльце, а мы по одной из тропинок, сбегавших с пригорка, на котором стояла школа, как первые, прорезавшиеся в снегу ручьи—а именно здесь, по этим ребячьим разметкам, они и потекут весной,—шли в деревню, к домам. Тропинка была так узка, что даже остановиться, обернуться всем сразу было невозможно. Так, не оборачиваясь, друг за другом мы и шли. Оглянулись уже у первого дома: Женя все еще стояла на крыльце. Зябко, по-мальчишески сведены и без того узенькие плечи, а руки, повинувшись неведомому материнскому инстинкту, тепло и защитно уложены на животе...

Дома давно нет, а до сих пор—закрою глаза и прохожу по всем его комнатам и закоулкам. По тем немногим годам, которые мне довелось прожить в своем доме. О них тоже можно судить по дому. По годовым кольцам многочисленных пристроек, притулившихся к дому с разных концов. Год был удачный—и рядом с домом появилась глубокий подвал. Выход—называют их в наших краях. Была война—и в доме прорубили второй вход: на другой половине стала жить беженка с двумя детишками. Долго жили, лет десять. Уезжали уже при мне, и мать, при всей доброте все же втайне побаивавшаяся, как бы не отписали у нее полхаты в пользу беженки, расплакалась и все подсовывала в бричку то оклунок с мукой, то ведерную кастрюлю: «Возьми, Мария, вместе наживали...»

Мария уехала, на ее половине стала жить Ночка. По ночам она шумно вздыхала, жевала объедья, и мать чутко прислушивалась к ней, а когда Ночка собиралась тельиться, то и дело бегала на ее половину с фонарем «летучая мышь».

Еще в доме, в одной из его комнат, был огороженный невысокой саманной стеночкой закуток—закром. Туда мы ссыпали полученный натурой хлеб. Выпадал удачный год—и в закроме выросал тугой, лоснящийся, как у верблюда в августе, горб пшеницы. Год был плохой—и по его немазаному дну мрачно ошивались голодные долгоносики. С тех пор, когда слышу выражение «закрома Родины», сразу представляю этот заветный закуток...

Пришли послевоенные сельхозналоги, и на месте старых кистичек выросли пеньки, отрада моего детства. Выжили только два жилистых, как необычайной толщины металлические тросы, карагача да огромная, ровесница дома, тутина. На ее коротком, отеком от старости стволе громоздилось множество литых, прямо в корни всасывавшихся ветвей и пропавших сучьев, в мощном хаосе которых угадывалась та же закономерность, что и в пристройках дома: хороший год—ветвь, плохой—засыхающий сук. Ветвистый, разбегавшийся периметр дома, повторенный периметром кроны...

Мать вела дом одна. Дважды выходила замуж, и все неудачно. Первый не вернулся с восстановления шахт Донбасса. Второй, прибившийся к ней бездомный сапожник, фронтовик, бронебойщик, как только напивался, а напивался-таки часто, так возвращался под Кенигсберг. «Кенисберх» — медленно произносил он трудное нерусское слово и по-бычьему мотал головой.

Тоже беженец...

Сколько мать ни обдирала ее лопатой, по-сельски говоря — ни шаровала, и ни обмазывала новой глиной, глухая стена хаты всегда оставалась слегка подкопченной. Возле нее, в затишке, ставили на зиму скирду соломы. В одну из зим младший братишка влез в солому и чиркнул спичкой. Сам остался жив, а над скирдой выше дома взмахнуло пламя. Я как раз был в школе, когда кто-то влетел в класс и крикнул: «Гусев, хата горит!» Задыхаясь, бежал я к дому вслед за тоскливо поскуливавшим Орлом. Кинулись напрямик, а снег был глубокий. ноги проваливались и разъезжались, как во сне. Прибежали — хата цела, а скирду как слизнуло. Одна черная зола остывает на дымящейся проталине. Запомнилось, впечаталось: солнечный день, сиянье снегов — и черная, едко курящаяся бездна правильной четырехугольной формы, над которой рыдает, ломая руки, мать.

Той осенью мы с нею навозили и заскирдовали пять возов ядреной ячменной соломы — по тем временам первый корм. Бригадир дал нам на день лошадей, и мы с раннего утра и до темной осенней ночи ездили со двора в степь к огромной совхозной скирде да со степи к дому с тяжелым, рясно поскрипывавшим возом. Зато так сыто, спокойно Ночка никогда не зимовала. Да и у матери душа как никогда была на месте. И тут — пожар. Не судьба. Хотя что за дом в России, который не горел?

В последний раз после долгого перерыва я ездил домой прошлым летом. Машина въехала на водораздел, а дом, как я ни искал его глазами, не выскочил, не встретил. И уже не ласточкой спускался я вниз. Чувство полета ушло, осталось лишь чувство утраты. Незаметно с годами из всего разноцветья ощущений, сопутствующих возвращению домой, выбилось, а теперь вот и разрослось, заглушив сопредельные травы, одно — полынное, саднящее.

Полынь.

Лето было дождливым, и по выгону, как по холке матерого зверя, прошла ее сивая рябь. Полынь была жирной, дурной и душила полезные травы, словно мстя за то, что ее, исконную жительницу здешних мест, когда-то согнали с них. На месте нашего порядка, как и на любом пепелище или заброшенном кладбище, она вообще стояла сплошным грозovým облаком, отягощенная своей паразитической тучностью и своим источаемым во влажный воздух запахом.

Я ходил по своему двору — туфли в пепле, брюки в пепле, — и не находил даже пеньков. Там, где стояла хата, осталась лишь малая аккуратная припухлость. На самой макушке чуть-чуть, пяточком, светлела глина. Как затянущаяся ранка.

Зажило. Отболело.

Ни наших стен. Ни трех стен напротив, через дорогу. Ни самой дороги.

Вплоть до лесополосы — стальная, цвета крашенных серебрянкой кладбищенских оград полынь. И запах сладкой горечи — то ли смерти, то ли зачинающейся жизни.

Жизни?..

Одно время мне казалось, что наше село не выживет, рассыпется, как рассыпалось в последние годы немало в прошлом крепких сел. Приедешь — нет еще одного порядка. Рушится еще один саманный дом, просачиваясь прахом в землю. Еще немного — и пересохнет и без того еле сочащийся ручей жилья на дне степной балки

Курунты. И вдруг наметилось колеблющееся равновесие. Точнее — тоже копилось с годами, исподволь, но заметно стало однажды.

Рушится дом на окраине — растет дом в центре. Село длинное, нескладное, и люди переезжают поближе к центру, к магазинам, к совхозной конторе. Здесь, в центре, появилось даже что-то вроде городка или микрорайона: порядок казенных двух-трехквартирных домов. Домики — зовут их село. Домики — это, конечно, и за их одинаковость, безликость. Как кубики небогатого детства. Три окна тебе, три соседу. Веранда тебе, веранда соседу. И так далее вплоть до сортира. И все же есть тут и ласковая, пусть снисходительная нотка: домики. Село будто собирает, перестраивает свои по разным причинам растрясшиеся жизненные силы. Готовится к жизни.

Подтверждение этой мысли я нашел еще в одном, очень неожиданном месте. На кладбище.

Когда-то оно, как село, было большим, густонаселенным: с пришлыми нищими на пасху, подчепуренной в чистый четверг пацанвой, катаньем яиц и плачами, переходящими в песни. Теперь ограда — неглубокий, время от времени подчищаемый ров — осталась прежней, а само кладбище в ней сохлось в детский кулачок. И лежит не в центре огороженной местности — земли-то когда-то были вольные, и под кладбище отхватили с размахом, не скупясь, — а ближе к краю: там, где хоронят. Старые могилы заброшены, погребены польнью: родственники разъехались, ухаживать некому. Зато новые, появившиеся в последние пять-шесть лет, как средневековые крепости: копьевидные металлические ограды, железные кресты, дорогие надгробья с оставленными на них для птиц или прохожего человека конфетами (и стаканом) и даже кусты сирени и яблоньки — в ногайской-то степи!

Так хоронят, когда собираются жить.

Так хоронят, когда живут: в два-три месяца подобный замок не соорудишь.

Хотя меня это в первую минуту испугало. Я понял, что не найду могилу матери: она наверняка осталась за незримой чертой, отделяющей этот кулачок, а может, как ни странно, сердце, от того, что отболело, зажило.

И ошибся. Она, подправленная, со сменным, тоже железным, крестом, оказалась вовлеченной в этот неширокий круг.

У матери было много подруг: по ферме, по птичнику, по полю. Время от времени они хоронили кого-то из родственников и заодно, между делом подправляли Настю.

Это как горсть земли в могилу бросить.

Прожить так, чтобы и после твоей смерти село, собирая расстроенные жизненные силы, не забыло про тебя. Взяло тебя в кулак, в сердце — не важно.

В жизнь.

Живо, плодоносно то, что способно болеть.

Так, наверное, и с каждым отдельным человеком. То, что с самого начала было живым, болящим, идет в рост, ветвится и плодоносит, горчит и окрыляет, хотя, казалось бы, давным-давно отжито. Выработано.

Ну что такое интернат? Три года, оставшихся далеко-далеко, на стыке, на чутком сращенье отрочества и юности. На их горизонте, где — только на горизонте — земля соприкасается с зарей, а корни с небом, из взаимопроникновения которых рождается первый, несущий лист.

Когда-то, много лет назад, я не выполнил совета, который давал мне в письме сюда, в село, где я работал на каникулах в степи, Учитель. Не ходил к Кате, то есть Екатерине Петровне, сельской

учительнице, которая когда-то устраивала и везла меня в интернат. То ли с работой замыкался, то ли просто забыл добрый совет, уютный коротенькой припиской, в которой Учитель деликатно сообщал мне адрес Лены. К тому же было лето, веселая круговерть мажоресных забав — к Кате я не попал.

И вот теперь с кладбища, а находится оно как раз в том конце села, где стоит Катин дом, я пошел к ней. Перешел балку, поднялся в гору — и без труда нашел Катин дом. Правда, время и его коснулось своим дыханием. Дом, как и все в нашем селе, строился из самана, но снаружи Иван Васильевич, Катин муж, облицевал его жженым кирпичом, что для села тогда было ново, и он, как свадебный пирог, сиял яркими боками в тусклом ряду хат. Теперь сиянье из кирпича ушло, он посерел, как будто воды набрался, да и саманных хат вокруг уже не было. На их месте красовались крепкие, прямо с пылу, с жару дома. Никакие палисадники, никакая приусадебная зелень не могла скрыть их здоровый румянец. И Катин домик потускнел — и колер не тот и масштаб.

Калитка была раскрыта, и я без стука вошел в нее. Во дворе под абрикосами стоял грубо сколоченный, длинный, как бы сказала моя мать — бригадный, стол. На одном его конце Катя, погруженная, с поблекшими, как под осень, волосами, закручивала на зиму банки с маринованными огурцами и помидорами. Щекочущий ноздри запах укропа, чеснока, смородинового листа, крепкого рассола стоял над всем двором. На другом конце стола сидела черноволосая девушка в безрукавной кофте, в пропыленных вельветовых брюках и — что было совсем уж неожиданно — в таких же пропыленных кирзовых сапогах. Девушка, видать, только-только умылась, вымыла голову, в ее непокрытых волосах, как в сияках, билось полуденное солнце. Оно вспыхивало и в большой каменной тарелке, которая стояла перед девушкой на столе, на сочных боках крупно нарезанных, лоснящихся от подсолнечного (тоже солнце) масла и обильно посыпанных луком огурцов и помидоров. Девушка ловко выхватывала вилкой то один, то другой сочащийся солнцем и соком обрубок и отправляла его в рот, без умолку щебеча при этом и умудряясь еще запивать салат компотом из стеклянной поллитровой банки. По выражению Катиного лица я понял, что это ее дочка. С таким простодушным благоговением мы внимаем только своим старшим детям...

Катя сразу узнала меня, пошла навстречу, вытирая о фартук влажные руки.

— Сергей! Наконец-то. Я уж думала, никогда больше и не завишься...

Все-таки обиды в ее голосе было меньше, чем радости.

Я был усажен за тот же стол и подвергнут потчеванью всеми наличными блюдами Катиной кухни, из которых — опять же привилегия старших детей — ее дочь своенравно выбрала только салат и сладкий, душистый компот из яблок, абрикосов и вишен. Вишни всему содержимому дали свой цвет, и даже резаные яблоки плавали в кастрюле кверху вспоротым и потому нежно зарозовевшим брюхом.

Катя расспрашивала меня о моей послеинтернатской жизни, о семье, но отвечать я ей практически не мог, потому что одновременно с этим и даже с еще большим пристрастием она требовала, чтобы я как следует ел. Ситуация была смешная, и Катина дочка, сплевывая в кулак вишневые косточки, с веселым любопытством наблюдала за ее развитием.

Появление Ивана Васильевича — он приехал домой на обед — заметно облегчило мою задачу. Сперва он молча сгреб меня в охапку, потом сплоснул под умывальником руки, сел рядом за стол. Некоторое время мы ели втроем: я, Иван Васильевич и дочка. Катя, считалось, тоже обедала. Но весь ее обед заключался в челночном дви-

жении между столом и летней кухней, в ласковых и неназойливых хлопотах вокруг каждого из нас и в особенности вокруг меня, в беспрестанной колготе ее пропахших укропом рук, в мимолетном довольстве, которое вспыхивало на ее лице, когда кто-то из нас, действительно обедавших, что-либо хвалил или просил добавки.

Потом дочка снялась из-за стола, чмокнула мать в щеку, махнула нам с Иваном Васильевичем рукой и побежала, насколько ей позволяли кирзачи, к калитке, за которой рядом с грузовиком Ивана Васильевича приткнулся пыльный, приморенный, на кузнечика похожий мотоцикл «ковровец». Мотоцикл чихнул, застрекотал, облако пыли поднялось за калиткой и, подхватив девчонку, понесло ее по улице. Гидромелиоратор. Сегодня она принимает первый орошаемый участок — о нем и рассказывала матери. Отвоюет ли она село у засух, а значит, у смерти? — во всяком случае, в драку кинулась очертя голову. Как будто сивка-бурка, Росинант под нею, а не это казенное насекомое.

Уже обед наш переходил в ужин, уже Катя рассказала мне о других своих детях — и кто где учится, и кто где работает, — а я все никак не мог улучить минуту, чтобы сообщить ей о смерти Учителя. Не поворачивался язык, хотя как раз на переходных этапах — от обеда к ужину, от трезвости к противоположному состоянию — языки-то и развязываются больше всего. Вон даже Иван Васильевич разговорился: мол, ты все-таки того, не забывай, что у тебя есть свое село. Родина... А когда наконец сказал, руки у Кати остановились и медленно, удивленно пошли к глазам. Вспомнилось ее давнее-давнее, из детства: «Что же делать?..»

Слов этих она уже не сказала. Она просто села наконец-то за стол — как будто на бегу остановилась, как будто дыханье перевела — и, подперев щеку, слушала все, что я мог рассказать ей о его смерти. О нем. А значит, и о нас, его учениках.

Что же делать?

Жить.



МАРТОВСКАЯ ТЕТРАДЬ

★

РАИСА АХМАТОВА

Огонь

Гори, очаг мой, веселей,
Гори в несчетных красках —
Его когда-то Прометей
Зажег в горах Кавказских.
Лязг нержавеющей цепи,
Стервятник, рвущий печень...
Гори и вдохновляй людей,
Огонь, который вечен.
Мир понимания ценя,
Не зажигай пожара.

Часть Прометеева огня
И я в руках держала.
И что бы ни изобрели,
Что светит добрым людям,
Мы, сыновья своей земли,
Титана не забудем.
Его порыв — в любом из нас,
И я, поверив чуду,
В тот день, когда пробьет мой час,
Огонь земле добуду.

* *

Какая нынче синева
На куполе небес!
Сегодня кругом голова,
Сегодня ждешь чудес.
А если не пришла пора
Свершиться чудесам,
Я завтра с самого утра
Всю душу им отдам.
Вам очень честно говорю,
Хоть не колдунья я:

Все чудеса я раздарю
Для доброго житья.
Заставлю землякам служить,
Как незаметный быт,
Не важно мне, что может быть
Поступок мой забыт.
Нам не страшна ночная тьма,
«Да будет свет», — скажу
И на заре пойму сама,
Что людям я служу.

* *

Кто назовет мне ту звезду,
Что в жизни путеводной стала?
Так много было звезд. Так мало...
И лишь одной я не найду.
Но я поэт — не звездочет,
Да есть ли звездочет на свете,
Который лишь одну найдет
Средь тысяч и тысячелетий?
Быть может, мамин добрый взгляд?
Быть может, первый взгляд влюбленный?
Ведь это целый звездопад,
И я рискую быть сожженной.
В моем окне всего одна
Во всех краях звезда блистала.
Я знаю, что была она
Счастливой, потому что алой.

Перевела с чеченского И. ОЗЕРОВА.

Валентина СААКОВА

Очаг

Так искони: мужья шли на врагов,
За мир земли подымля грозный меч,
И оставляли жен у очагов
Тепло жилья родимого беречь.

И жены — от крестьянок до княгинь —
Хранили дом наперекор врагу...
Я из породы этих берегинь —
Я свой огонь очажный берегу.
Как негасимо должен он гореть,
Чтоб на семи ветрах не выстыл дом.
Чтобы тебя с дороги обогреть
Родным, как добрый хлебный дух, теплом!
Все, что грозит ему, рассыпья, стигнь,
Как ночи тьма при зоревых лучах.
Детей качать да мужа привечать
Завещано от первых берегинь...
Открою дверь, снять куртку помогу.
Щекой прижмусь к обветренной щеке.
— Устал? Садись поближе к очагу.
Гляди, как пламя пляшет в камельке. —
Огонь легко касается лица,
Стирая острый холодок снегов.
И жертвенные женские сердца
Горят в огне домашних очагов.

ТАТЬЯНА КУЗОВЛЕВА

Слово

Сегодня на нашей планете
С январской пургой заодно
Гремел обезумевший ветер
И рвался в ночное окно.
Средь этого грохота злого
Я слышала словно во сне:
Негромкое доброе слово
Слетело в ладони ко мне.

Кричала пурга мне: «Послушай,
Проси дорогие дары,
Но толькопусти меня в душу —
Я гибну от тех, что добры!..»
Но я ничего не просила.
Мне слово превыше даров:
Такая таится в нем сила —
Властнее и громче ветров!

Соня

Посреди затишья и покоя,
В маленьком губернском городке,
В некрасивом доме над Окою
Жили вы от шума вдалеке.
Вы ходили с длинной косою,
Выбивался локон на висок.
Кто-то вывел на березе «Соня»
Так, что брызнул по березе сок.
И, в судьбу и веря и не веря,
Вы мечтали, барышня, о ком:
Об улане, горном инженере
Или о студенте молодом?
Жизнь текла, на миг не остывая,
Тополиной заматью полна.
Будет еще — скоро — мировая,
Будет и гражданская война.
Разорвется вдаль по переулкам
Гулкая смертельная пальба.
Город перевернутой шкатулкой
Бросит торопливая судьба.
И в ладонях жизни быстротечной

(То ль насмешка, то ли божий
дар) —
Только бирюзовое колечко
Да отцовский старый портсигар.
Да в луче пронзительном и узком,
Память рассекающем клинком,
Вы идете снова в белой блузке
Мимо церкви под руку с отцом.
Вы идете тихо по России,
Чтобы с нею неразлучной быть,
По двадцатым, вглубь,
в сороковые,
По войне, которой не забыть.
Смутный образ, нереальный некто
Не тревожит больше ваши сны.
Служащая Моссоблтроекта.
Платье общепринятой длины.
Кашель. Едкий запах
папиросный.
Кружка чая. Узкая рука.
Я за вами девочкой серьезной

Грустно наблюдаю с сундука.	Над годами,
Ваши плечи пред оконной рамой	Надо мной бессонно
Вздрагивают испуганно, когда	В ясном дне и беспокойном дне
Я вас робко называю мамой...	Проступает нежно
Мама, мама...	Имя «Соня»
Давние года.	В звонкой белоснежной тишине.

* * *

И вновь дурман цветущей липы,	И снова липа, нависая,
Птиц то ли вскрики, то ли всхлипы,	Глядит, как я иду босая,
Конец июня, царство дня.	По зыбкой грани бытия
И в окнах слишком много света.	Туда, где все мои заботы,
И посреди большой планеты	Все будни, праздники, субботы,
Тебе не миновать меня.	Дни отдыха и суеты,
Не отступить, не оступиться.	Удачи все и все печали,
Я здесь, едва сомкнешь ресницы.	И слезы днем и смех ночами —
Проснешься — рядом снова я.	Все совместилось в слове «ты».

ГАЛИНА ШЕРГОВА

* * *

Вот здесь зима спасалась, впопыхах
 В лесу роняя вещи, мебель, платья...
 Их облики в лишайниках и мхах
 Еще могу невнятно угадать я.
 Здесь громоздились елей купола
 В покровской белизне — почти святые.
 Я призываю память в понятия:
 Была зима, ну правда ведь была!
 Вот здесь сосна светилась изнутри,
 Сквозь иней отливая рыжим телом...
 Так что ж ты мне не прокричал: «Смотри!
 Вот — ели! Вот — зима! Вот все — как ты хотела!»
 Ты зиму с рук не промедля сбыл
 Обновкой, что мила, да не по росту.
 Но ты ведь тоже, ты ведь тоже — был
 Как ели, как зима, вещественно и просто.
 И я была. Была. Была. Была —
 Мгновения божественного лепта...
 Что ж я от созерцанья не ослепла?
 Как осязаньем рук не обожгла?
 Не для того ль, чтоб суетно теперь
 Искать невоплощенного приметы?
 Лепить любовь, по облакам потерь,
 По отпечаткам формовать предметы
 И заклинать: должны же были быть
 Зима, и ты, и ели — все блаженно...
 Но лишь несовершенство
 совершенна.

Так слава богу.
 Все иное — быт.

* * *

Я окликаю не тебя:	Я окликаю не тебя,
Зову кого-то безымянно.	Я окликаю те мгновенья,
Хоть нету в оклике обмана,	Что обещают откровенье,
Я окликаю не тебя.	Я их зову, а не тебя,

Я окликаю не тебя,
Я окликаю только почерк
И ритмы нерожденных строчек,
Себя зову, а не тебя.

Я окликаю не тебя,
Но прежде, чем не оглянуться —
Хочу тебя строкой коснуться,
Хоть окликаю не тебя.

ЕВГЕНИЯ СЛАВОРОСОВА

Март

1

Три птицы на ветке застыли на миг,
Как тушью рисунок на выцветшем шелке.
И я, обо всем забывая, на них
Влюбленно и жадно смотрю из-под челки.
Три птицы на ветке — извечный мотив —
Недвижны на фоне разбавленной синьки.
И память, нацелив на них объектив,
Торопится сделать мгновенные снимки.
Каким тайникам сопричастны они?
О чем мне сегодня поведать хотели?
О, будь осторожен и их не спугни,
Покамест и сами они не взлетели.
Три птицы на ветке — весенний триптих.
Секунда отчаянья и вдохновенья.
И мир изумаенный застыл и притих
Не в силах продлить это чудо мгновенья.

2

Март поднимает весеннее знамя.
В наших глазах синева небосвода.
Стая грачей пролетает над нами
С радостным криком: «Свобода! Свобода!»
Хижины птичьи (отнюдь не гробницы),
Мир вам! Разрушим хоромы и храмы!
Реки сегодня взрывают темницы,
И в первый раз открываются рамы.
Март. Просыпается спящее поле,
Сбросив свой снежный покров в одночасье.
И отступают на Северный полюс
Армии белой разбитые части.

КОРНЕЛИЯ ВОЙТКЕВИЧ

Начало осени

Как сделать, чтобы облако мое
повисло бы медлительней метели
в затеках этой влажной акварели,
в стране бумаги крупного зерна?
Как сделать мне, чтобы внизу была
стеклянная запутанность домов,
и отсыревших чернота деревьев,
пронизанная узкими ветвями,
сгустилась глухо, эта тишина
в пространственном начале переулков
и на каналах с нежною водой
и набережных в свежести дождливой
проистекала?

Сделать так
и высветлить нечаянно пятно,
в отмытых контурах означенное ликом,
и бликами граненых глаз рассеять.
И чтобы узнаваема была
застывшая земля у горизонта,
там, где возникнет рано и ранимо
начало осени — начало акварели.

ЕЛЕНА МУРАВИНА

Последнее свиданье

С наступленьем весны становлюсь веселей и бледней,
веселей и бледней, каблуками стучу по асфальту.
Кто меня остановит в прощальной прогулке моей?
Захочу — на руках, захочу — через голову сальто.
Я смеюсь на прощанье, дышу на прощанье, живу...
Каждый дом — до свиданья и дерево, боже мой, липа!
Как открыта для плача душа, для последнего всхлипа.
Я прощаюсь во сне с этим городом, а наяву
становлюсь веселее и злей, каблуками стучу
по знакомым бульварам — как тебя я здесь горько любила!
Позабыла.
Любила другого — теперь улечу.
Я прощаюсь во сне с этим городом, плачу в ночи и кричу,
я прощенья прошу и простить ничего не желаю.
Ты не бойся, столица, я все до конца заплачу.
А быть может, уже расплатилась я этой весною. Не знаю.

* * *

И строчек беспокойная возня.
Одна какая-то нахально верховодит,
и оправданья странные находит,
и требует вниманья у меня.
Я у нее иду на поводу:
включаю свет, за карандаш хватаюсь —
и я уже в саду и на пруду,
помилуй бог, да я уже купаюсь!
Уже вокруг зеленая вода,
густая тень и на деревьях блики.
Любимый мой! Скорей тебя сюда!
И дела нет, что за окошком — крики.
И дела нет, что долгого труда
мне стоило добыть свою свободу,
а ты опять глядишь из-за угла
любой строки, которую смогла
я запихнуть в торжественную оду.
А за окном случайная струна
поет надрывным школьным тенорочком
о том, как нынче коротают ночки
те, чья вина...

МИХАИЛ КОЛОСОВ

★

ТРИ КРУГА ВОЙНЫ*

Повесть

Дорогами войны

Солнце пригревало, и солдаты один за другим снимали шинели, перекидывали их через руку или забрасывали на плечи, шли вольготной толпой.

Вел их лейтенант по фамилии Бородулин — человек замкнутый, угрюмый, с усталым обветренным лицом. Помощником у него был старшина Парыгин — разбитной парень, любивший порядок, однако особыми строгостями солдат не мучил. Утром он выстраивал их, пересчитывал, докладывал по всей форме лейтенанту, тот кивал и молча направлялся в голову колонны. Старшина командовал: «Шагом арш!» — и колонна трогалась вслед за лейтенантом.

Солдаты шли дорогами, которыми совсем недавно прокатилась война. Они видели разрушенные города, пепелища на месте сел, изрытые снарядами и окопами поля. И там, где война не катилась, а ползла, цеплялась железными когтями за землю, там следы ее были ощутимее. А цеплялась она за каждый дом, за каждый бугорок, за каждую речку, овражек, камень. Дороги и поля были усеяны продырявленными «тиграми» и «пантерами» с развороченными жерлами, скособоченными орудиями, обгоревшими машинами, обломками повозок. Вдоль железнодорожных насыпей валялись вверх колесами паровозы и черные скелеты вагонов. А ближе к фронту — и не убранные еще трупы неприятельских солдат и раздувшихся лошадей.

Солдаты смотрели на все это с откровенным торжеством и гордостью, будто это они сами, своими руками устроили немцам такой разгром.

Пыль, пыль под сапогами, пыль от машин, от танков, солнце печет, а счастливчики, сидящие в кузовах, в бронированных башнях, кричат, издеваются:

— Пехота, не пыли!

Несмотря на усталость, у них хватало духу отшучиваться:

— Зато мы царица полей! Главный род войск!

— Ну топай, топай, царица!..

Впереди показался долгожданный город Николаев. Старшина догнал лейтенанта, о чем-то поговорил с ним и, остановив колонну, объявил привал. Все сразу побросали на землю шинели, повалились на них, задрали ноги кверху — отдыхали.

— Отставить! — скомандовал Парыгин. — Всем почистить сапоги. Шинели скатать в скатки. Умыться. Одним словом — привести себя в порядок.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

Нехотя поднялись, встали на четвереньки, принялись раскладывать шинели, помогать друг другу крутить их в тугие скатки, делиться веревочками, чтобы связать концы. Потом, словно мухи мед, облепили небольшое озерцо в кювете, оставшееся от вешнего половодья.

Умылись, почистились, приосанились. Построил их старшина, осмотрел, остался доволен:

— Ну вот, на солдат стали похожи. Гимнастерки оправьте, застегнитесь. Через город будем идти — держите строй.

А город встретил их мрачной картиной: развалины, пыль, пепел, обгорелые дома.

Колонна шла мимо знаменитого Николаевского кораблестроительного завода, он был весь разрушен, весь в развалинах. Железные прутья, двутавровые балки погнуты, перекручены, чуть ли не завязаны в узлы. Какую злобу надо иметь, чтобы столько силы затратить на разрушение!

Гурин не мог отвести глаз от этого зрелища. Они уже прошли завод, а он все оглядывался и думал, каким же образом все это разобрать, растащить, распрямить. «Нет, — решил он, — не воскресить его теперь, наверное, во веки веков. Заново придется строить...»

Спустились к Бугу и там у переправы сделали остановку. Лейтенант пошел куда-то уточнять маршрут и искать продпункт, а солдаты, как всегда, повалились на землю. Но Гурин слишком мало городов знал, слишком мало рек настоящих видел, чтобы лежать и дремать, когда рядом такая река. Оставив шинель и вещмешок, он с неразлучной полевой сумкой побежал к воде.

Южный Буг спокойно, неторопливо катил свои воды к морю, мирно плескался у берега, качал настеленную прямо на воде переправу из желтых новых бревен. По переправе сплошным потоком осторожно, на ощупь шли машины — тяжелые, с прицепами, — мост прогибался под ними, поскрипывал, но держал. Движением на переправе руководила девушка с флажками в руках. Вот она подняла флажок, и машины остановились, мост на какое-то время облегченно вздохнул, выгнулся, поднялся над водой. Но не успела последняя машина сойти на берег, как потянулся поток в обратную сторону — «студебеккеры», «форды», «ЗИСы».

Гурин подошел к самой воде, набежавшая волна лизнула носки его сапог и откатилась. За ней плеснулась вторая — не достала, будто смелости не хватило. Зато третья, осмелев, обдала сапоги до самых голенищ. Он нагнулся и попробовал воду руками — теплая, приятная. Недолго думая снял сапоги, ступил голыми ногами в воду — ух, как хорошо, какая приятная прохлада, даже дух захватывает! Помыл ноги, а потом снял гимнастерку, умылся до пояса — легко стало, хорошо. Сел на берегу, смотрит на воду — бежит, бежит она...

Стихи откуда-то наплыли, достал тетрадь, стал быстро записывать — про ласковый Буг, про девушку-регулировщицу, про чудесный солнечный день — и не слышал, как его стали звать. Только когда уже старшина появился над ним и раздраженно прокричал его фамилию, он вскочил.

— Рисуешь, что ли? Ушел, понимаешь, и никому не сказал. И не отзывается. Быстро! Продукты кто за тебя будет получать?

Прибежал Гурин к биваку — там на плащ-палатке только его паек остался, все уже свои разобрали. Он быстренько спрятал его в вещевой мешок, завязал, закинул за спину.

Обочиной подошли к переправе, регулировщица претрадила флажком дорогу машине, пропустила солдат на мост. Равняясь с девушкой, остряки бросали разные шуточки, но она не обращала внимания — стояла строгой, неприступной, невозмутимой.

Перебрались на другой берег, вышли на тракт, и пошла опять пылить дорога...

— Эй, пехота! Сто верст прошел — еще охота!

Охота не охота, но они шли, спешили, догоняли фронт. А Гурина было даже интересно, любопытно. Он всему удивлялся, хотелось все запомнить, чтобы потом рассказать дома. Его поражали реки — он их никогда раньше не видел; его приводили в изумление огромные села — станицы, раскинувшиеся на много верст и вширь и вдаль; удивляло знакомое: так далеко, а похоже на родное; тем более удивляло все новое, необычное. А сейчас вот пошли черноморские лиманы. Разве можно их представить по песням, по книгам, по карте? Нет... Вон они какие — большие, огромные морские заливы, и в этих заливах, оказывается, своя жизнь, не похожая на морскую: тут мельче, вода теплее... А вот и само море! Черное море! Ни конца, ни края! Гурин встал на высоком обрывистом берегу, а внизу, у самой воды, люди ходят — маленькие, как куколки. А там, вдали, на самом горизонте, силуэты настоящих кораблей... Черное море! Но почему Черное? Оно ведь голубовато-зеленое. И какое... безбрежное! У Гурина не хватает не то что слов, а просто воображения определить его, какое оно, море, по своей сути. Как небо — огромное и таинственное.

Одесса тоже в развалинах, особенно окраина, промышленные предприятия — все повержено, превращено в груды обломков. В центре разрушений меньше, солдаты gazeют по сторонам, задирают головы на многоэтажные красивые дома.

В центре города в сквере их расположили на отдых, а лейтенант снова, как и в Николаеве, ушел уточнять маршрут.

В Одессе как раз цвели каштаны — дерево, Гурина незнакомое. Он лежит на спине и удивляется этой необыкновенной красоте — ведь это и не дерево вовсе, а богатая люстра наподобие той, что он видел когда-то в церкви. А их, этих люстр, здесь вон сколько, и представляется ему сквер этот большим зеленым храмом с зажженными светильниками...

— Кончай ночевать! В колонну по четыре — становись! Р-равняйся! Смир-рно! Шагом арш!

Четко все разом, даже сами удивились, шаркнули каблуками по гулкому асфальту, прошли несколько метров в ногу, потом зачистили, задробили, перешли на вольный шаг. Прощай, Одесса! Впереди опять дорога — желтая, пыльная. куда-то она их приведет...

К вечеру дорога привела солдат в очередную деревню на ночлег, а утром они уже шли по земле другой республики, где жил другой народ, который разговаривал на незнакомом языке, и одеты люди были необычно: в высоких бараньих шапках, в длинных вышитых белых сорочках, поверх которых надеты были жилеты; на ногах то ли белые носки, то ли онучи, намотанные на манер солдатских обмоток, самодельные постолы из сырой кожи с длинными ременными шнурками, завязанными повывше щиколоток. Молдаване...

Пересыльно-распределительный пункт располагался в большом молдавском селе с немецким названием Бердорф. Они увидели его, присевшее в глубокой балке, только когда взошли на гребень очередного холма. Окутанное садами, с тремя ровными улицами белых домиков, с виноградниками по склонам холмов, село это показалось Гурину каким-то ненастоящим, игрушечным, картинным.

К селу солдаты спускались прямо по целине. Сочная трава была скользкой, и они катились по ней, как по ледяной горке, — с гиком, хохотом, толкали друг друга, подставляли подножки, кувыркались. Старшина попытался утихомирить их, но только рукой махнул и побежал вперед, чтобы внизу остановить эту озорную ораву.

— Мальчишки... Эй-бо, мальчишки... — И уже поостроже прикрикнул: — Побыстрее, побыстрее!

— Не торопи, старшина. Ведь уже пришли. А там неизвестно, встанем ли еще хоть раз в полный рост, — заметил кто-то. — Вон, слышишь, гремит?

И все сразу притихли, улыбки послетали с лиц, прислушались: действительно, впереди погромыхивало глухо, словно землю толкли огромные паровые молоты. Знакомые звуки...

Узкой дорогой между виноградниками они вышли на улицу села. Лейтенант спросил у встречного солдата, где размещается пересыльный пункт. Тот указал на дом. Приведя строй в порядок, старшина повел солдат вслед за лейтенантом. Вошли в просторный двор, совсем не похожий на дворы наших деревень, остановились. Лейтенант вошел в дом, а старшина остался с солдатами.

— Смотри,— толкнул Бубнов Гурина,— сразу видно — тыловики.

Гурин взглянул, куда указывал Бубнов: на крыльце стоял офицер, картинно подбоченясь, выставив ногу вперед. Обмундирование на нем ладно пригнано, темно-зеленая гимнастерка и галифе отутюжены, хромовые сапоги зеркально блестят, голова в аккуратной фуражечке гордо запрокинута. Густые черные брови и чуть прищуренные против солнца глаза. И все это ему показалось очень знакомым.

— Лейтенант Исаев! — узнал Гурин своего командира и обрадованно бросился к нему: — Здравствуйте!

Исаев взглянул на Гурина, улыбнулся приветливо:

— Ох ты! Гурин? — Он подал ему руку. — Откуда, Жора?

— Из госпиталя. А вы?

— Тоже.

— И куда?

— А куда?.. — В голосе его послышалось недовольство: наверное, это «куда?» его чем-то беспокоило.

Из канцелярии выскочил связной:

— Товарищ лейтенант, вас зовут.

— Слушаюсь, товарищ рядовой! — Исаев козырнул связному. Тот сначала опешил, но, поняв шутку, улыбнулся. — Видал? — Он ударил Гурина по плечу. — Ну, пока. Может, еще встретимся. — И он скрылся за дверью вслед за солдатом.

На крыльцо вышел лейтенант Бородулин, объявил:

— Располагайтесь на траве, садитесь. Будут вызывать по одному. Старшина, вы останетесь с ними до конца. — Вскинул небрежно руку к фуражке, сказал, ни на кого не глядя: — До свидания. — И, сбегав с крыльечка, пошел куда-то со двора, больше его Гурин никогда не видел...

Вызывали быстро. Спрашивали данные — возраст, образование и прочее, — записывали и вручали каждому клочки бумажки с цифрами — 17,2 и разные другие. У Гурина было написано — 45.

Теперь они стали группироваться по номерам, справлялись, у кого какой номер, гадали, что он значит, и, не узнав, все равно радовались, если попадали двое-трое сдружившихся за это время под один номер.

— У тебя какой? — спросил у Гурина Бубнов.

— Сорок пятый. А у тебя?

— Тоже. — Он заглянул в гуринский квиток. — Какой сорок пятый! По-моему, у тебя УБ, а не сорок пять.

— Ошибки не будет, что УБ, что сорок пять, — сказал появившийся на крыльце маленький лейтенант в фуражке с большим козырьком. Он был горд и еле сдерживал улыбку, наверное, оттого, что знал тайну цифр. Чтобы сохранить серьезность на лице, он даже выпятил вперед губы, отчего был немного смешон в своей надменной позе. Просторная фуражка, надвинутая низко на брови, казалось, придавливала его к земле.

— А вот и еще один мой знакомец, — сказал Гурин Бубнову. — Лейтенант Максимов. — И он, напустив на себя серьезность, подошел к нему, козырнул: — Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?

— Да. — Он вздернул голову, и вдруг узкие глазки его стали медленно разлипаться, лицо озарилось такой неподдельной радостной

улыбкой, что Гурин невольно растрогался.— Гурин! — И шатнул к нему, обнял, как брата родного.— Живой? А я вот все в запасном.— Он указал глазами на свою левую руку, которая, как и прежде, неловко держалась за ремень большим пальцем.— Куда тебя распределили? — Он выхватил из рук Гурина номерок, посмотрел и обрадованно похлопал его по плечу.— Нормально! Я тебя возьму к себе во взвод.— Он вернул номерок и радостный, быстро вскочив опять на крылечко, скрылся в проеме двери.

Минут через пять Максимов выбежал со списком в руках, крикнул:

— Команда сорок пять, ко мне! — Сделав переключку (всего набралось семнадцать человек), лейтенант сошел с крыльца, скомандовал: — В колонну по два — становись! Р-равняйся! Смирно! Шаго-ом арш! — И побежал вперед.

Возле канцелярии роты к ним вышел старший лейтенант — белобрысый, нос картошкой, глаза широко поставлены, в фуражке с матерчатым козырьком. Максимов кинулся было доложить по всей форме — одернул гимнастерку, выкинул руку к козырьку, — но комроты остановил его жестом, стал внимательно смотреть на солдат. Одни в потонах, другие без погон, кто в ботинках и без обмоток или в обмотках, но небрежно завязанных, кто в сапогах, некоторые в пилотках, большинство в шапках. Комроты остановил взгляд на Гурине, спросил у лейтенанта:

— А этот что, сержант?

— Нет.

— А почему с полевой сумкой?.. Ну хорошо. Веди в канцелярию, пусть оформляют.

— Придется тебе, брат, проститься с сумочкой, — шепнул Гурину Бубнов.— Зря ты ее не спрятал.

— Теперь уже поздно, — вздохнул Василий.

Когда в канцелярии всех их переписали и они снова оказались на улице, ожидая новых распоряжений, Бубнов принялся подтрунивать над Гуриным:

— Слушай, ух как смотрел на твою сумку старшина! Так и думал, что ты выйдешь из канцелярии без нее.

— Да пусть, — сказал Гурин.— Хочешь, я тебе ее подарю?

И тут вышел связной, позвал:

— Который с планшеткой — зайди в канцелярию.

В канцелярии старшина — плотный, широкоплечий, стриженный высокой стрижкой, под бокс, — спросил:

— Полевая сумка за вами числится?

— Нет.

— Она вам нужна?

Взвинченный насмешками ефрейтора, Гурин хмуро ответил:

— Да.— И добавил: — Для украшения я ее не носил бы.

Старшина взглянул на него, сказал писарю:

— Запиши.— И потом Гурину: — Хорошо. Идите.

Прямо от канцелярии лейтенант повел их в баню. Тут было холодно, скользко, пахло сыростью и хозяйственным мылом. Надо было самим натопить ее, наносить воды и нагреть. Лейтенант показал, где вода, где дрова, назначил Гурина старшим, а сам ушел.

В бане возились долго. Наверное, и до ночи не вылезли, если бы не пришел Максимов и не поторопил на ужин.

А после ужина случилось совсем удивительное: лейтенант построил их и повел в клуб — в кино.

— Ребята, куда мы попали? — не переставал удивляться Бубнов.— А может, мы уже в раю?

Клуб размещался в немецком молитвенном доме. Здесь на высоком крыльце стоял толстенький солидный майор с палочкой в руке. На

плечах у него была плащ-накидка, так как к ночи похолодало и вроде собирался пойти дождь.

— Это замполит батальона майор Кирьянов, — сказал лейтенант солдатам.

Майор щурил хитро глаза, смотрел внимательно на пришедших, делал вид, будто увидел небывалую диковину.

— А это что за лихая-штурмовая? — спросил он густым хрипловатым басом.

— Новички, товарищ майор, — доложил лейтенант. — Не успели обмундироваться.

— А-а-а, — прохрипел майор, не переставая хитро щуриться и улыбаться. — Ну веди, веди, рассказывай.

Когда они расселись, у экрана, сшитого из белых простынь, снова появился майор.

— Ну как? — И он пытливо зашарил глазами по лицам новичков. — Будем учиться?

— Чему? — удивились они.

— Как чему? На младших командиров, на сержантов.

— Всю жизнь мечтал! — сказал Бубнов.

— Вот оно что, — протянул кто-то разочарованно.

— Гонять нас будут? — спросил третий.

— Куда гонять? — Майор сделал наивное лицо.

— Перебежками, по-пластунски?

— О-о! — пробасил майор. — Нет, у нас не гоняют, у нас — учат.

— И строевая тоже, наверное, есть?

— А как же! — радостно подтвердил майор. — И строевая есть!

— Конечно, ведь без строевой на фронте, как без патронов, — сказал Бубнов.

— А ты как думал? — Майор посмотрел на Бубнова и погрозил ему палкой. — Шустер! — И уже ко всем: — Вижу, вы народ стреляный, из вас получатся хорошие младшие командиры. А сержанты армии вот как нужны. — Он резанул ребром ладони себя по горлу. — Сержант — это, если хотите, самая главная личность на войне: он рядом с солдатом, он ведет его в бой. Поэтому самые большие потери мы несем в сержантском составе, — говорил майор уже сурово, без улыбки. — Вы попали в сержантскую кузницу, и мы сделаем из вас настоящих командиров: знающих, умеющих воевать. У нас хорошо. — Он снова улыбнулся.

Свет погас, затрещал аппарат, на экране замельтешило, появилась надпись «Сердца четырех», и полилась совсем мирная мелодия:

Все стало вокруг голубым и зеленым,
В ручьях зашумела, запела вода.
Вся жизнь потекла по весенним законам,
Теперь от любви не уйти никуда...

Через минуту солдаты уже были во власти чарующей музыки и мирного времени, где люди катаются на лодках, шутят, влюбляются, страдают, смеются, женятся — все как в настоящей жизни, которая казалась им такой далекой и невозвратной...

Дня через два Гурин снова встретил лейтенанта Исаева. Он вел группу солдат, видать, такого же, как и они, «сброда» — после госпиталей и батальона выздоравливающих.

У канцелярии Гурин подошел к Исаеву, поздоровался.

— А, агитатор Жора! Привет! Ты где?

— В первом взводе, на сержанта буду учиться. А вы?

— А я вот архаровцев этих должен уму-разуму учить, разведчиков из них делать.

— Разведчиков! Вот здорово! — Его так и подмывало попросить лейтенанта, чтобы он взял его к себе во взвод — так хотелось Гурину.

быть разведчиком, даже в горле запершило. Но почему-то не решился попросить, оробел. Подумал: «Наверное, туда все-таки отбирают особенных, как в летчики». Он смотрел на лейтенанта по-собачьи преданными глазами и ждал, что тот скажет ему: «Давай ко мне во взвод».

— Чего ж здорово? — бросил лейтенант недовольно. — Не нравится мне эта педагогическая деятельность, сбегу я, пожалуй, из этой богадельни. — И он направился в канцелярию.

А Гурин стоял и с грустью смотрел ему вслед, и было до слез обидно, что тот не позвал его к себе во взвод...

Учебный батальон

Три дня, пока шла укомплектовка батальона, новички жили более или менее вольготно. Батальон набирался внушительный: было сформировано четыре роты по три взвода в каждой да плюс еще отдельный взвод разведчиков. Старшина Богаткин приводил к единообразию обмундирование курсантов (они наконец расстались с зимними шапками и ватными брюками), вооружил их ручными пулеметами, автоматами, карабинами — все как полагается по уставу. А когда комплектация закончилась, их увели из деревни в лес. Здесь они построили для себя шалаши-землянки — по две на взвод, землянки для офицеров, для штаба, каптерку старшине, — оборудовали летнюю столовую, перед землянками расчистили и присыпали песком линейку, у въезда в лагерь соорудили арку, дорогу перегородили шлагбаумом и поставили часового. Рядом с этим батальоном разместился и другой, тоже учебный батальон пулеметчиков, за ним третий — минометчиков, так что за короткое время лес наполнился военными.

...Сквозь сон слышит Гурин протяжные звуки трубы, он еще не знает, что это за звуки, но какое-то чутье подсказывает ему, что это играют подъем. «Неужели так рано? А может, это случайно где-то?..» И он натягивает шинель на голову, чтобы не слышать этой тягучей трубы. Вчера так наломались с землянками, кончили уже поздно вечером, настелили на земляной пол веток, потом соломы, повалились и сразу же захрапели: свежий лесной воздух, духмяный запах соломы, смешанный с ароматом увядающих листьев на крыше землянки, мигом сморили солдат.

— Подъем! Первый взвод, подъем! — Это голос взводного лейтенанта Максимова. Вот он сунул голову в землянку. — Ну-ка быстро! Что же вы? Быстро, быстро! — В голосе у него и приказ и просьба одновременно. — Выходи строиться на зарядку!

В землянке тесно, солдаты спросонья толкаются, мешают друг другу одеваться, ворчат недовольно.

— Становись! Без гимнастерок!

— Фу ты, не могли сразу сказать, — огрызаются успевшие натянуть гимнастерки.

Старшина торопит. За подъемом наблюдают одетые, будто они и спать не ложились, Максимов и командир роты старший лейтенант Коваленков. Комроты держит в руках часы, говорит сурово:

— Старшина, ведите роту на зарядку. Кто не успел, с теми я сам займусь.

Новички не знают, что это значит, но по тону чувствуют, что лучше успеть вместе со всеми.

— Рота! За мной — бегом арш!

Тяжелый на вид старшина Богаткин сноровистой рысью направляется к дороге и быстро отрывается от роты на порядочное расстояние. Десятки ног, топоча не в лад, бьют твердую, как асфальт, землю. Утренняя прохлада, зыбко пробежавшая по теплым со сна телам, быстро проходит. С непривычки солдаты тяжело дышат, ворчат: «Куда он нас тащит, не в деревню ли?» Нет, добежав до арки, Богаткин

повернул обратно. Рота растянулась, и солдаты идут на хитрость: на повороте они сильно срезают угол и оказываются впереди.

На живописной полянке старшина остановился, дождался всех.

— На вытянутые руки — разомкнись! — Он быстро расстегнул ремень, сбросил на траву гимнастерку — наверное, не думал, что ему прикажут вести роту на зарядку. — Первое упражнение делай! Раз-два... Раз-два...

Старшина провел полный комплекс зарядки, не сократив его ни на одно движение — все от «а» до «я». Сам вспотел и подчиненных изрядно утомил. Наконец скомандовал:

— Полчаса на утренний туалет — и строиться на завтрак. Раз-з-зойдись!

Табуном кинулись солдаты врассыпную, наперегонки побежали к землянкам — за мылом, полотенцами, в туалет, к умывальнику. А минуты летят будто подстегнутые — уже слышится команда:

— Первая рота, выходи строиться на завтрак!

И где-то, как эхо, откликается:

— Вторая рота, выходи строиться на завтрак!

— Третья рота!..

— Становись! Р-равняйся! Смир-рно! Шаго-ом арш! Запевай!

Молчат солдаты, поглядывая друг на друга, улыбаются — такой команды они еще отродясь не слышали.

— Запевай! — настойчиво требует Богаткин.

Потупясь, рота продолжает молчать.

— Р-рота, на месте! Запевай!

— Да мы не умеем...

— Разговорчики в строю! Запевай! Бегом — арш!

Побежали, гремя котелками, мимо столовой, за пределы лагеря, куда-то в поле.

— Рота, стой! Ну, будем петь? Вы что, ни одной песни не знаете? Смир-рно! С места с песней — шагом арш!

Вспотел старшина, по всему видно: пока не добьется своего, не отстанет. И солдаты начинают друг друга увещевать:

— Ну, запойте кто-нибудь! Кто умеет — запевайте.

И вот кто-то затянул:

Как-то Софушка упала,
Не могли поднять...
Целой ротой поднимали,
Не могли поднять.

Несколько голосов подхватили припев:

Софушка! София Павловна, София Павловна,
Где вы теперь?

— Отставить! — закричал старшина. — Вы что? Другую.

— Коля, запой, — толкает Гурин Николая Хованского, своего нового дружка. Они с первого дня как-то хорошо сошлись. Хованский красивый парень: прямой нос, волосы белые, шелковистые, пилоточка набекрень. Аккуратист. Не обидчивый, добрый, но в обиду себя не даст. — Можешь же? — Гурин по глазам видит, что тот может петь, но стесняется. — Давай, Коля, выручи роту.

— Запевай! — не унимается старшина.

— Неудобно, — говорит Хованский Гурину.

— Плюнь!

Хованский откашливается, затягивает:

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля...

Голос у Хованского оказывается чистый, приятный, наверняка он в певцы себя готовил.

• Подхватили песню, запели. Сначала нестройно, но потом приладились и к столовой подходили уже совсем спевшись, другие даже с завистью поглядывали на первую роту.

После завтрака новое распоряжение: привести себя в порядок, будет общее построение батальона. Смотр. Это значит: всем подшить подворотнички, пришить пуговицы, крючки, почистить обувь — и все это опять же быстро, в темпе.

Построение идет со всей серьезностью. Старшина придирчиво осматривает каждого солдата, вслед за ним командир взвода идет и тоже находит, к чему придаться: тому пряжку ремня перекрутит — подтяни, тому гимнастерку одернет, тому на пуговицу кивнет — застегни, тому — пилотку поправь.

Вдали показалось батальонное начальство, засуетились, забегали командиры взводов, рот.

— Р-равняйся! Смирно!

И крупно чеканя шаг, с рукой у козырька, пошагал Максимов к командиру роты, доложил о своем взводе.

— Вольно!

Вслед за ним заторопились с докладами другие командиры взводов, и вот наконец общая команда «смирно» — это уже Коваленков поспешил докладывать комбату.

Комбат — майор Дорошенко, — высокий, худощавый, пышные брови взлет, стоит хмурый, немного плечом поводит, словно у него там что-то покалывает. После узнали — ранение все время его беспокоит. Выслушав доклады командиров рот, комбат сделал несколько шагов вперед, поздоровался:

— Здравствуйте, товарищи курсанты!

— Здрав... желаю... товарищ гвардии майор! — прокричали одни.

— Здравствуйте, товарищ майор! — ответили другие.

Майор чуть заметно улыбнулся, широкие подвижные ноздри его расширились, и он вполголоса сказал:

— Вольно. — Нагнув голову, минуту подумал о чем-то, потом поднял глаза. — Здороваетесь вы плохо. Но ничего, научитесь. Будем учить вас на младших командиров. Учить всерьез, по-настоящему. Программа большая, сложная, и нужно ее за короткий срок усвоить. Поэтому дисциплина будет строгая. Настоящая, военная. Жизнь предстоит нелегкая, но зато на передовой, в бою вам будет легче, своих командиров вспомните с благодарностью.

Голос у майора глухой, шел он откуда-то из глубины груди, и поэтому казалось, что говорить ему тяжело. Постепенно к нему приблизилась его «свита»: замполит Кирьянов; капитан Землин с чапаевскими усами — начальник штаба; маленький, толстенький, светлый капитан Бутенко — парторг; худощавый, узколицый, с застывшей на лице подозрительной улыбкой старший лейтенант Шульгин — из «Смерща»; угрюмый, с мясистыми губами, рыжеволосый младший лейтенант Лукин — комсорг батальона. Они слушали комбата и всем своим видом давали понять курсантам, что согласны с каждым его словом. Один майор Кирьянов лишь взглядывал в сторону солдат и улыбался, будто был их союзником. Но, как оказалось, к дисциплине он был требовательнее, пожалуй, чем сам комбат.

После завтрака курсантов поротно развели на политзанятия. И с этого момента началась учеба — тяжелая, изматывающая. К концу дня гимнастерки у курсантов становились мокрыми от пота, они избегали и исползали по-пластунски все окрестные холмы и виноградники, они учились стрелять из всех видов стрелкового оружия, учились командовать. Их часто поднимали среди ночи по тревоге и после многокилометрового марша-броска снова возвращали в лагерь лишь под утро.

Лейтенант Максимов, «наш Максимка», как его прозвали, не щадил ни себя, ни курсантов, старался сделать из них настоящих командиров за отведенные для этого два месяца учебы.

Все так уставали, что ночи для отдыха не хватало, поэтому на политзанятиях дремали. Своеобразной передышкой было время, когда взвод назначался в наряд: тут со второй половины дня занятия прекращались, курсанты готовились к наряду — отдыхали, чистились, учили устав караульной службы.

Взвод Максимова был назначен в наряд на второй или третий день лагерной жизни. Гурина выпало быть связным при штабе батальона, «должность» знакомая — куда пошлют. Но разве сравнить с тем, когда он был им на передовой? Тут пусть гоняют как хотят — справится: пули над головой не свистят.

Пришел Гури́н в штаб — там один писарь Кузьмин сидит, чертит что-то. Длинноносый, голова дыней, стриженная наголо, пилотка сидит поперек головы. Чертит усердно, языком помогает делу — высунул кончик в левом уголке рта. На груди у Кузьмина медаль «За боевые заслуги».

— Товарищ старший сержант, курсант Гури́н прибыл в качестве связного! — отрапортовал Василий больше из озорства, чем всерьез.

— Хорошо, — сказал тот, не поднимая головы, — садитесь вон там. — Кузьмин указал на скамейку у двери. Кончил чертить, взглянул на связного. — Товарищ Гури́н, скажите, зачем вам нужна полевая сумка? — Кузьмин немного шепелявил, будто горячую картошку гонял языком во рту, когда говорил.

— А тебе что за дело? — вспыхнул Василий.

— Не положено.

— Да тебе-то что за дело? Тебе приказали записать? Записал и молчи. Чего совать свой нос, куда тебя не просят?

— Нет, это и меня касается, — продолжал Кузьмин невозмутимо. — Я составляю отчетность. И вдруг у одного рядового, у курсанта, полевая сумка. Спросят: почему?

— Тебя спросят? Может, это память о моем командире. А ты «почему, почему». Почему у тебя на носу бородавка, а у других нет?

— У меня нет на носу бородавки, — сказал тот спокойно.

— Ну, за ухом.

— И за ухом нет. Что вы выдумываете?

— У него знаешь на чем бородавка? — крикнул с улицы Хованский — он стоял часовым у штаба.

— А вы, товарищ часовой, почему на посту разговариваете? — возмутился Кузьмин. — Я вот доложу дежурному по батальону товарищу лейтенанту Максиму.

Прихрамывая, в штаб вошел майор Кирьянов. Гури́н с Кузьминым вскочили. Майор посмотрел на одного, на другого, спросил:

— О чем спор? Что не поделили?

— Да, — Кузьмин поправил пилотку, — вот у товарища курсанта имеется полевая сумка, товарищ старшина приказал записать ее за ним. А не положено.

— У тебя полевая сумка есть? Где взял?

— Младший лейтенант, комсорг батальона выздоравливающих дал.

— Как твоя фамилия?

— Гури́н. Курсант Гури́н.

Майор сложил губы трубочкой, подобрел.

— Это о тебе мне Максимов говорил? Ты стихи пишешь? А почитать их можно? Или, может, это секрет?

— Можно... — обрадовался Гури́н. — Принести?

И он побежал в свою землянку, схватил тетрадь, пустился обратно. Майор взял ее, полистал, скрутил в трубку.

— Завтра верну, хорошо? — И ушел.

Кузьмин больше не заговаривал с Гуриным, дулся. Убрал все свои бумаги в железный ящик, запер на замок, приказал

— Смотрите тут. На телефон отвечайте.— И ушел сердитый.

На другой день в роту пришел комсорг батальона младший лейтенант Лукин. Он был одет в теплую гимнастерку из толстого сукна; на груди была привинчена Красная Звезда. Лукин попросил Максимова, чтобы тот отпустил на несколько минут комсомольцев, и увел их на лужайку. Там он проверил у всех комсомольские билеты, переписал к себе в тетрадь фамилии и некоторые данные о них — год рождения, национальность, образование. С десятью классами оказались только двое — Гурин и Хованский. Лукин спрятал бумаги в полевую сумку, спросил у Василия:

— Гурин, ты, кажется, был агитатором в батальоне выздоравливающих?

— Да. И в роте автоматчиков,— с готовностью добавил тот в надежде, что и здесь ему доверят такое же дело: уж больно нравилась ему эта работа — у него всегда будут газеты, журналы, брошюры, книги и вообще разная бумага. Удивительно — откуда у него такое пристрастие к этим вещам, как она появилась в нем, вот такая «бумажная душа»? Отец был паровозным слесарем, мать — домохозяйка, потом, после смерти отца, работала сиделкой в больнице, первой книгой в их доме был его собственный букварь. И вдруг такая жадность к книгам, бумаге...

— Есть предложение назначить Гурина комсоргом роты,— сказал Лукин.— Как вы? Уже узнали друг друга?

Курсанты прогудели что-то одобрительное.

— Ну вот и хорошо,— облегченно вздохнул младший лейтенант.— Ты сам-то как, Гурин? Согласен?

Это было для него такой радостной неожиданностью, что он сначала растерялся — не знал, как ему и быть: наверное, надо было хоть для виду поартачиться, но он был так ошарашен, что тут же выпалил:

— Согласен, конечно!

Младший лейтенант улыбнулся такому искреннему признанию и тут же снова полез в полевую сумку.

— Вот тебе тетрадь — составишь список и в ней же будешь вести дневник работы комсомольской организации роты. Вот брошюры о комсомольской работе в боевых условиях. Газеты будешь брать у меня или у парторга. Выпуск «Боевого листка» надо наладить. Работы хватит. На раскачку времени нет.

Вечером Гурин побежал в землянку, где жили политработники — замполит, парторг и комсорг. Майор Кирьянов возвратил ему тетрадь со стихами, сказал уважительно.

— Содержание правильное.

— Главное — содержание,— подхватил капитан Бутенко.— Молодец, Гурин! Я тоже прочитал. Здорово! — И обернулся к Кирьянову: — Во, майор, какие у нас таланты! Земляк мой! Из Донбасса.

— «Земляк мой, из Донбасса»,— передразнил его майор.— Ты должен знать, что хорошо тогда, когда и форма и содержание соответствуют друг другу. А? — И майор вытянул трубочкой губы: что, мол, здорово я тебя уел? — Вот так-то! — И обратился к Гурину: — Постарайся, чтобы комсомольцы были отличниками боевой и политической подготовки. Агитационно-массовую работу наладь в роте. Ваша рота, кстати, самая молодежная. Там один старший лейтенант Коваленков член партии. Так что вся политическая работа будет осуществляться через комсомольскую организацию. Понимаешь, какая ответственность ложится на тебя? Справишься?

— Постараюсь. Я люблю это дело,— признался Гурин.

— Это хорошо. Без любви к делу лучше не браться.

В роту Гурин возвратился нагруженный газетами, журналами, плакатами, «Боевыми листками», брошюрами. Закрутилась работа: каждую свободную минуту теперь он либо протоколы оформлял, либо к беседе готовился, либо с Хованским «Боевой листок» выпускал —

Коля оказался рисовальщиком хорошим. Иногда для комсомольских дел лейтенант Максимов освобождал Гурина от занятий, и это было для Василия большим облегчением.

А вскоре после таких радостных событий Гурина вызвал к себе Шульгин и надолго испортил ему настроение.

У Шульгина была отдельная землянка, на отшибе от остальных, в которых обитали офицеры: эти были построены под линейку и составляли прямую улицу. Его же землянка никакому такому общему порядку не подчинялась и стояла в сторонке, отвернувшись от них даже входом.

— Курсант Гурин по вашему приказанию...

— А... Гурин,— перебил его Шульгин.— Проходи, садись, Гурин. Поговорим.— Смуглое узенькое лицо его искривилось в улыбке. Улыбался он странно — только правым уголком рта, и эта улыбка почти никогда не сходила с его лица, она лишь то увеличивалась, морщина правую щеку, то была еле заметна.— Как служба идет?

— Хорошо.

— Тебе нравится здесь?

— Да.

— Ну еще бы! — сказал он как бы про себя и хмыкнул.

Василий взглянул на него, хотел спросить, что тот имеет в виду, но, встретив пристальный взгляд, промолчал.

— Курсанты довольны?

— Довольны.

— Ни на что не жалуются?

— Да нет...

Он опять хмыкнул недоверчиво.

— Слушай, ты был в оккупации?

— Был.

— Где?

Гурин сказал.

— Ну и как?

Не зная, что сказать, Василий только пожал плечами: мол, обыкновенно.

— И немцев видел?

— Видел.

Старший лейтенант хмыкнул, на этот раз удивленно.

— Вот так, как меня?

— Конечно. Они раза два ночевали у нас в хате.

— Ну и как? — Он остановился напротив Гурина и все с той же улыбочкой вперил в него свои круглые острые глазки.

— Что «как»? Нас выгнали на кухню, а сами там орали. Один все к матери приходил: то «матка, глянс» — стаканы просил, то «матка, тарелька». А утром они уехали.

— А ты?

— А что я? Я вообще старался на глаза им не показываться.

Шульгин улыбнулся ехидно. Чтобы до конца удовлетворить его любопытство, Гурин похвастался:

— Я видел итальянцев, румын, словаков, казаков, потом еще каких-то — у них на рукавах была нашивка: пальма и полукрутом написано «Turcistan».

Шульгин сморщил подбородок, выпятил нижнюю губу.

— Интересно...— Склонив голову набок, спросил:— Слушай, а как же ты живым остался?

— Не знаю...

— А чем ты занимался в оккупации?

Гурин подробно рассказал ему. Шульгин то хмыкал, то склонял голову набок — удивлялся, то кривил рот — не верил.

— Стихи писал, листовки... И живой остался? И тебя ни разу не вызывали ни в полицию, ни в гестапо?

- Нет, не вызывали.
- Но ты же комсомолец? И даже комсомольский билет, говоришь, сохранил. И не вызывали?
- Нет, не вызывали.
- Слушай, а ведь немцы многих завербовали, кто был в оккупации.
- Не знаю. Меня не вербовали.
- Может быть. Но многих, это я тебе говорю. Нам надо их выловить. Вот ты и поможешь. Ты был в оккупации, и с тобой они будут искать общий язык.
- Какой общий язык?
- С тобой они будут откровеннее. А ты будешь сообщать мне о таких разговорах. О всяких, понимаешь? А уж мы разберемся.
- Ну, скажите, какой шпион будет откровенничать с комсоргом?
- Каким комсоргом?
- Я ведь комсорг роты,— сказал Гурин и прямо посмотрел на Шульгина: ну, мол, что теперь ты скажешь?
- Ты комсорг роты? Кто же тебя назначил? Ну политики! Ну дурачье! Нашли комсорга... Ладно. На, подпиши вот это — о том, что о нашем разговоре ты никому не будешь говорить.
- Но Гурин уже был взбешен, его терпение лопнуло, он скомкал бумажку и швырнул ее в угол.
- Не буду ничего подписывать! И расскажу, все расскажу майору Кирьянову!
- Шульгин смотрел на Гурина, плотно сжав губы, отчего стал похож на беззубую старуху, ждал, когда Гурин выговорится. Наконец правый уголок рта пополз в сторону — лицо приняло прежнее равнодушное выражение, будто ничего не случилось.
- Слушай, Гурин...
- Не буду ничего слушать! — И выскочил из землянки.
- Стой! — крикнул Шульгин резко, будто выстрелил ему вдогонку.
- Но Гурин не остановился, направился прямо в землянку майора. Василий долго не мог успокоиться. Майор спрашивал, что случилось, а он не мог говорить — кусал губы. Наконец сказал:
- Я не буду... комсоргом... Мне нельзя... доверять...
- В чем дело? — нахмурился майор. — Что случилось?
- Мне... нельзя... доверять... Я был... в оккупации... а вам не сказал... Младшему лейтенанту тоже тогда не сказал... Но я думал... Я не знал...
- Что за чушь! Откуда ты это взял?
- Старший лейтенант Шульгин сказал...
- Майор почесал себе щеку, помолчал.
- Успокойся. Успокойся и слушай теперь меня. Быть тебе комсоргом или не быть — это не его дело. Ты, наверное, не так его понял.
- Так. Но почему мне нельзя доверять? Почему? Я думал...
- Правильно думал. Разговор со старшим лейтенантом Шульгиным забудь — у него работа такая. Забудь и никому об этом больше не говори. А комсоргом иди и работай как ни в чем не бывало. За это отвечаю я. Понял?
- Но почему мне нельзя доверять? Почему? Неужели так всю жизнь и будет?
- Не будет. Это война. — Он положил руку на плечо Гурина. — Успокойся. Потерпи. Уцелеем до победы — все образуется.
- Гурин кивнул, взял газеты, пошел, вытирая глаза, чтобы в роте не заметили его слез. И вдруг видит на дороге тень, поднял глаза — перед ним стоит старший лейтенант Шульгин.
- Слушай, Гурин,— сказал он строго,— ты с этим делом не шути. Держи язык за зубами.
- Знак,— глядя в сторону, проговорил Василий сердито.

И стоят молча. Шульгин на Гурина смотрит, а тот бычком — вниз и в сторону. Наконец Гурин спросил:

— Разрешите идти?

— Иди, — разрешил Шульгин, а сам ни с места.

Василий обошел его и не спеша направился в расположение. В шалаше никого не было, все ушли на занятия, Гурин упал на свою постель вниз лицом и расплакался.

Перед рассветом, когда еще, как говаривала гуринская бабушка, и черти на кулачки не бились, то есть в самую раннюю рань, в самый сон, вдруг как выстрел:

— Подъем! Тревога! — И еще более нетерпеливо: — В ружье!

Тут уж не до сна — командой «в ружье» не шутят, хотя несколько раз их и поднимали среди ночи в учебных целях. Тогда они делали марш-бросок в несколько километров. Их проверяли, кто как собрался, за какое время, и возвращали в лагерь. Думал Гурин: опять такая же тревога — учебная. Да и другие после тех тревог не очень всерьез принимали и эту, ворчали:

— Не спится кому-то... Зачастили тревоги...

Но на этот раз было что-то новое. Выстроили курсантов, командиры доложили — все как всегда, и вдруг комбату Дорошенко докладывают о готовности комбат пулеметного учебного батальона, а за ним и минометного. Обычно они вели свою жизнь совершенно самостоятельно, а тут зачем-то объединили всех под единое командование одного комбата.

Шли недолго, в полдень остановились в странном лесу: везде стояли макеты пушек, повозок. Вроде и замаскированы, а на самом деле просматриваются. Издали посмотришь — настоящая пушка ветвями заброшена. Колодец с журавлем оборудован. По всему лесу курились костерки, и дымок поднимался над деревьями.

Курсанты распознали по полю и стали на открытой местности заниматься строевой подготовкой. Маршировали, перестраивались на ходу, на месте, словно готовились к параду. А когда в небе появилась «рама» и наблюдатель крикнул: «Воздух!» — лейтенант приказал:

— Отставить! Продолжать занятия.

«Рама» покружилась-покружилась и уплыла, а курсантов тут же собрали и скрытно, балочками увели в направлении своего лагеря. Когда они уже были почти на полпути к дому, в той стороне, где остался лес, появились немецкие самолеты и принялись бомбить его.

После этого батальоны проделали еще несколько общих маршей в сторону фронта. Туда шли днем, открыто, а обратно возвращались скрытно, ночью.

— Дурачим немцев; — говорили курсанты.

А вскоре после этих походов стали быстро готовить курсантов к выпуску. И хотя все знали, что день выпуска не за горами, все равно он наступил как-то неожиданно. Ребята уже привыкли друг к другу, сдружились, жили одной семьей, а выпуск означал — расставанье, новые заботы... И волнения, как на всяких выпускных экзаменах. Ведь знали, что звания все равно присвоят, не старшего, так младшего сержанта, потому что учились они всерьез, сачков особых среди них не было, а все равно волновались. Гурин с Хованским тоже отличники, а улыбки у них кислые, какие-то неестественные, ждут с нетерпением, какие лычки им нашьют.

...Застыли в строю курсанты — слушают приказ о присвоении званий. Фамилии идут по алфавиту, гуринская буква близкая, а ему кажется — прошла целая вечность, пока дошли до его фамилии. Как сквозь сон услышал — присвоено звание старшего сержанта. Ему вручают красноармейскую книжку и новые погоны с широкой лычкой...

Когда кончилась эта церемония, курсантов распустили пришить новые погоны. С какой радостью они это делали! Первое воинское звание! Шутка ли!

Потом снова построение. Максимов, сияющий, будто это его повысили в звании, ходил, подпрыгивая, вдоль своего взвода, поправлял каждому погоны, говорил какие-то приятные слова, будто и не было у него ни с кем ни стычек, ни конфликтов. А в глазах — грусть.

Комбат Дорошенко, сутулясь и все время подергивая плечом, обошел строй, приветливая улыбка не сходила с его лица. Вслед за ним майор Кирьянов с палочкой, прихрамывая, рокоча своим хрипатым басом:

— Ух красавцы какие! Да как им идут, понимаешь, эти погоны! — И он подмигивал весело.

Комбат не спеша прошел на центр, остановился, свесив голову на грудь, задумался. Потом поднял глаза.

— Ну что, товарищи сержанты?.. Настала пора расставанья... Я должен вам сказать от имени всех офицеров, что мы вами довольны. Хороший был набор, отличный подобрался состав. Мы надеемся, что и вы довольны нами, своими учителями. Может быть, мы были иногда чрезмерно строги, придирчивы, но вы сами понимаете, что это делалось для вашей же пользы: за короткий срок мы должны были вас многому научить, и наши офицеры старались это сделать, работали с вами, не жалея сил. Нашей армии, фронту нужны умелые, знающие младшие командиры. Думаю, что вы вполне отвечаете этим требованиям. Сейчас вы разъедетесь по частям, примете под свое начало отделения, а кто-то, может быть, и взвод, и от вас, от ваших знаний будет зависеть их судьба. Желаю вам, товарищи сержанты, только победы в трудных боях! Пусть вам сопутствует удача. До свидания, товарищи!

А позади майора уже толпились «покупатели». После речи комбата они стали вызывать по списку «своих» сержантов и уводить в сторону. Народу становилось на площадке все меньше и меньше. Наконец остались всего человек пятнадцать, они поглядывали друг на друга, ждали своей судьбы. Из первой роты «невостребованными» оказались четверо: Гурин, Хованский и еще двое старших сержантов — стоят, ждут, поглядывают друг на друга. И вдруг команда:

— Остальным разойтись по подразделениям.

Что-то непонятное творится. А может, за ними придут позднее? Хованский подскочил к Максиму, умоляющим голосом спросил:

— Товарищ лейтенант, вы наверняка знаете, скажите нам по секрету: куда нас определили?

— Как куда? — охотно и весело откликнулся лейтенант. — Остаетесь в батальоне, будете учить новичков. Завтра пойдем за новым набором.

Хованский оглянулся на Гурина, присвистнул. Это было для них и неожиданным и ошарашивающим сообщением. Гурин невольно посмотрел в ту сторону, куда увели их товарищей.

— Но ведь это неудобно, товарищ лейтенант, — сказал он Максиму. — Ребята ушли на фронт, а мы остались...

— Неудобно? — пропел Максимов, и улыбка слетела с его лица, глаза сузились, губы обидчиво выпятились. — Неудобно? А нам, офицерам, удобно? Мы находимся в армии и делаем то, что прикажут. «Неудобно», понимаете...

— О чем спор? — подошел к ним комроты Коваленков.

— Им неудобно, — с издевкой сказал Максимов, указывая головой на Гурина и Хованского.

Но Коваленков против ожидания не принял всерьез это «неудобно», улыбнулся:

— Идите отдыхайте и готовьтесь к приему очередного набора.

Будете работать помкомвзводами: Гурин в первом взводе, Хованский во втором.

Все, задача ясна и их ближайшее будущее определено.

На другой день группа офицеров и сержантов была снаряжена за новым пополнением в тот же Бердорф, где еще с весны стоял армейский пересыльный пункт. Фронт на Днестре застрял, наши держали оборону и готовились к новому наступлению, поэтому все тыловые службы оставались без движения...

На подходе к Бердорфу Максимов проинструктировал своих помощников:

— С новичками обращайтесь строго. Без придирок, но строго, никакого панибратства, а то трудно будет работать. Чуть вожжи распустить — потом не совладать. Не робейте.

И вот перед Гуриным тридцать с лишним человек — разболтанных, расхлыстанных, стриженных и чубатых, бывалых и не очень бывалых фронтовиков. И он для них, это Гурин видит по их глазам, — хитрая тыловая крыса, сумевшая прижиться в запасном полку. Это же им видно по всему: по чистенькому обмундированию, по выправке, по аккуратно пришитому подворотничку, по новеньким погонам. Разве фронтовики такие? Фронтовики — это вот они: настоящие, без подмеса! На них еще окопная грязь видна, и гимнастерки еще в крови, и раны еще не совсем зажили...

— Первый взвод, становись! Равняйся! — Гурин делает паузу гораздо большую, чем положено, дает возможность солдатам выровняться. — Смирно!

— Ой как страшно! — раздается в ответ, но Василий сделал вид, будто не услышал, а про себя отметил: «Так, один хохмач есть».

— Вольно! — И начал переключку по списку, который ему вручил Максимов. — Антипов...

— Есть!

— Отвечать следует «я», — поправляет его Гурин и продолжает: — Бобров...

— Я!

— Семенов.

— Я!

До Харламова шло все нормально. Этот ответил:

— Здесь!

Гурин повторил его фамилию, он вызывающе бросил:

— Я же сказал: здесь.

Гурин узнал голос, которым была брошена реплика: «Ой как страшно!»

— А я предупредил: надо отвечать «я». Слышали?

— Какая разница? Что ж..., что задница.

Солдаты засмеялись.

— Разница та, — спокойно объяснил Гурин, — что вы не дома, а в армии. А в армии все делается по уставу. Вы, наверное, недавно служите? Не знаете еще этого?

— С меня хватит. — И добавил: — Побольше твоего.

— Может быть, — сказал Гурин и сделал вид, что разговор с ним окончен, продолжал переключку. Кончил, спросил: — У кого какие жалобы?

Молчат.

— Нам предстоит небольшой марш. Больные есть?

— Идти далеко?

— Нет, не очень. К вечеру будем на месте.

— А что это за учебный? Чему там будут учить?

— Учить будут на младших командиров.

— А каких? Пехотинцев или артиллеристов готовят? — подал голос Харламов.

— Пехотинцев.

— А на кой мне это? Я артиллерист, на кой мне пехота? — Харламов, здоровенный, с короткой сильной шеей парень, плечом раздвинул строй, вышел наперед. Намотал на руку лямки вещмешка, словно собирался им бить кого-то, направился в дом. На крыльце столкнулся с Максимовым. Тот взглянул на Гурина и без слов понял, в чем дело, насупил брови, вытянул губы трубочкой:

— Это что такое?

— Я артиллерист...

— А я вас не спрашиваю, кто вы! Безобразие, понимаете! Шагом марш в строй! Артиллерист, понимаете...

Харламов не послушался, оттеснил Максимова и скрылся в доме. Лейтенант поспешил вслед за ним. Вскоре на крыльцо вышел Харламов — злой, разъяренный, — не спеша встал на левый фланг. Потом появился Максимов — строгий, насупленный, весь вид его говорил: а ну, кто еще тут из артиллеристов?

В лагерь они пришли засветло, поужинали — и отбой. А утром началась обычная жизнь учебного батальона. Обычная для Гурина — очень все похоже было на прошлое начало: так же не хотели вставать по сигналу, так же ворчали от постоянных «становись», «равняйся», «смирно». Но было и отличие — Харламов. Лейтенанта он, правда, побаивался, ему он лишь изредка дерзил, а Гурина буквально изводил.

Однажды Гурин вывел взвод в поле на очередное занятие. Они отработывали тему — скрытный выход на огневой рубеж. Надо было научить курсантов ползать по-пластунски, коротким перебежкам, использовать естественные укрытия на местности. Было жарко, и, конечно, каждому больше хотелось поваляться в холодке, чем ползать на животе под палящим солнцем. Но все выполняли команды, и только Харламов заартачился. Он не стал ползать, а прошел вялой походкой до куста, залег там в тенечке и закурил. На замечание Гурина спокойно возразил:

— И чего ты стараешься? Чего ты выслуживаешься? Зарабатываешь себе характеристику, чтобы подольше продержаться здесь? Боишься попасть на передовую? А ты не бойся, мы же вот побывали там — и ничего, целы остались. Пороху ты, брат, не нюхал. А пластуница твоя мне ни к чему, и отстань от меня: я артиллерист и все равно уйду в артиллерию. Дал бы ребятам отдохнуть, полежали бы в холодочке. Думаешь, выдадут? Не бойся.

— Я ничего не боюсь, — сказал Гурин.

— Боишься. Передовой боишься. Трус ты все-таки, Гурин.

Этого Василий вынести не мог и, прекратив занятия, собрал взвод, построил и попросил Харламова выйти из строя.

— Я хочу поговорить с Харламовым при всех. Он только что назвал меня трусом за то, что я вместо того, чтобы поваляться с вами в тенечке, гоняю вас по-пластунски, что я это делаю из боязни попасть на передовую, что я не нюхал пороха и все такое в этом роде.

— Ну, а что, неправда? — развел руками Харламов.

— Да, неправда. К вашему сведению, на фронте я был и знаю, что если я вас сейчас положу загорать, то вы вместе с вашими солдатами на передовой очень быстро уляжетесь навсегда. Это я знаю по собственному опыту. И вы, кому пришлось участвовать в боях, тоже это знаете.

— Может, хватит морали? — поморщился Харламов.

— Нет, не хватит, подонок ты эдакий! — закричал Гурин, не сдержавшись. — Не хватит! Я хочу сказать тебе еще, что трус ты, а не я. Ты боишься пехоты и рвешься в артиллерию, потому что трусишь. А какой ты артиллерист? Ты две недели подносил снаряды, и было это в километре от передовой. Но ты не ходил в атаку, ты не выскакивал из окопов под пулеметным огнем, ты не бегал под снайперскими пулями, не врвался в немецкие траншеи, не штурмовал высоты, не

ходил в разведку боем — ничего этого ты не делал и боишься этого как огня. Ты хвастаешься своим ранением, а у меня их два, и оба при наступлении, одно пулевое, навывлет, а не от случайного осколка, как у тебя, и в грудь, вот сюда, в грудь, понимаешь, в грудь, а не в задницу, как это случилось с тобой. Наверное, поэтому ты и любишь щеголять этим словом.

Харламов машинально почесал то место, в которое был ранен, сказал:

— Зря ты раскричался... Шутки не понимаешь...

— Хорошенькие шутки!.. А теперь, артиллерист, я тебя от занятый освобождаю и разрешаю идти к командиру роты и подать ему рапорт, чтобы тебя отчислили в артиллерию. Идите! Взвод! Десять минут перекур — и продолжим занятия. Разойдись!

Гурин отвернулся и пошел в сторону, подальше от курсантов, словно искал место для нужды. Нервы его были на пределе. «Гад... Попадетя один такой, как паршивая овца в стаде, всех перебаламутит». Гурин искося посмотрел в сторону взвода — курсанты толпились кучей и что-то бурно обсуждали. Обычно в перекур они разбредались по полю или валялись на траву, а тут стояли и о чем-то спорили. Наверное, всех задело.

Гурин подошел как ни в чем не бывало, спросил:

— Ну, накурились? Продолжим занятия. Взвод! В две шеренги становись!

Загасили окурки, затоптали, заспешили на свои места.

Видит Гурин: Харламов тоже становится, в роту не пошел. Угрюмый, носом подергивает, молчит. «Пусть, я его не замечаю», — решает для себя Гурин и подает команду:

— Равняйся!

— Товарищ сержант, кто-то бежит к нам.

Гурин оглянулся — связной, запыхавшийся, машет рукой, показывает в сторону лагеря. Не поймет Гурин, что это значит. Наконец тот приблизился, сказал:

— Все в лагерь! Быстро, по тревоге.

В лагере было необычно оживленно: все суетились, бегали, куда-то собирались. Запыхавшийся старшина Богаткин побежал из штаба батальона к себе в взвод. Вслед за старшиной из штаба повалили офицеры, в том числе комбаты пулеметного и минометного. Значит, опять объединяются для выполнения какой-то задачи. Максимов издали махнул Гурину:

— Ко мне! Привел взвод?

— Да. А что случилось?

— На передовую выступаем. Нам поручено занять оборону в излучине Днестра. Сейчас привезут боепитание, получим и вечером форсированным маршем двинем. Готовься сам и ребят предупреди, чтобы никто никуда ни на шаг.

К ним подошел комсорт батальона.

— Гурин, надо срочно провести в роте комсомольское собрание. Короткое, но четкое: комсомолец в бою.

— Но я же никаких подробностей не знаю.

— Какие тут подробности? Уходим на передовую. Задача одна: быть храбрым, бить немцев без промаха.

— Я помогу, — сказал Максимов. — Сделаю доклад. Пошли.

Заглянул Гурин в свою землянку, курсанты беззаботно валялись на соломе — рады были отдыху.

— Что там, товарищ старший сержант?

— Вечером выступаем на передовую. Будьте готовы.

Гурин взглянул на Харламова. Он сидел, жевал что-то, усиленно работая могучими челюстями. Услышав, перестал жевать, рот так и остался раскрытым.

— Комсомольцы, на собрание. Срочно.

Гурин вышел из землянки. У ротной канцелярии столкнулся с Хованским. Идет — шинель на руке, в другой автомат, за спиной вещмешок.

— Ты куда? Сейчас комсомольское собрание.

— Не могу. Уезжаю. В штаб дивизии связным от батальона. Желаю тебе, Вася...

— И тебе, Коля... Будь! — Гурин пожал Хованскому руку, долго смотрел ему вслед.

В ночь все три учебных батальона выступили на передовую, навсегда покинув лагерь, вместе с ними покинул и Гурин свою первую военную академию.

В излуцине

Передовая встретила курсантов нервно: немцы то и дело палили в небо ракетами, освещая нейтральную полосу, непрерывно простреливали из пулеметов, через каждые час-полтора накрывали минометным огнем наш передний край.

Излучина Днестра... Эти два слова вот уже несколько месяцев не исчезали ни со страниц фронтовых газет, ни из разговоров солдат и офицеров — здесь все время шли бои местного значения. При наступлении наши войска вышибли немцев с левого берега реки почти на всем ее протяжении, в том числе и из излуцины. Но эта излуцина, а попросту большая петля Днестра, глубоко вдавалась в сторону противника и немцы не преминули воспользоваться этим — ударили с флангов и петлю эту отрезали. Отрезали и вцепились в нее мертвой хваткой. Еще бы! Ведь это был их плацдарм на левой стороне Днестра. И конечно же, этот их плацдарм был для нас, как прыщ на неприятном месте. И вот сюда привели курсантов. Они тихо сменили какую-то крупную часть и заняли оборону.

Готовилось большое наступление, которое закончится разгромом яско-кишиневской группировки противника, и наше командование делало все, чтобы немцы думали, что наступление начнется именно со штурма плацдарма. Поэтому здесь всячески демонстрировалось передвижение войск и скопление техники. В канун наступления все части были скрытно и быстро переброшены в зону главного наступления, а оборону в излуцине против немецкого плацдарма занял учебный батальон.

Весь этот хитроумный план курсанты узнали лишь много времени спустя, а тогда стратегия высшего начальства для них была за семью печатями. Для солдата передовая — всегда только передовая, наступление — всегда наступление, то ли это разведка боем, то ли это штурм в рамках большого прорыва. И сейчас им было приказано занять оборону — они заняли. Правда, необычно разреженно, один солдат за троих, но бывает и такое.

Гурин расставил ребят более или менее равномерно, приказал наблюдать. Максимов, запыхавшийся и насуспенный до предела, пробежал траншею из конца в конец, сделал кое-какие коррективы, сказал Гурину:

— Я останусь на правом фланге взвода, а ты иди на левый. Следи, чтобы не спали.

Вскоре пришел командир роты Коваленков — накануне его повысили в звании, капитаном стал, — как всегда несуетливый, спокойный и с какой-то доброй, домашней улыбкой. При вспльшке ракеты узнал Гурина, кивнул по-простецки:

— Ну как? Все в порядке?

Потом пришли капитан Бутенко и младший лейтенант Лукин — парторг и комсорг.

— А, земляк! — узнал Гурина парторг. — Как комсомолия? Дух боевой?

— Боевой, товарищ капитан.

Где-то за полночь, оставив за себя командира первого отделения Зайцева, Гурин пошел по траншее. Курсанты бодрствовали, слышав шаги, оглядывались, узнавали, оживлялись. У одной из ячеек Гурин увидел Харламова — он сидел на дне окопа и корчился от боли в животе.

— Что с тобой? — нагнулся над ним Гурин.

— В санчасть надо меня отправить, — простонал он.

— Ранило, что ли?

— Нет... Живот болит... Расстроился...

— Это бывает, — сказал Гурин спокойно. — От нервного потрясения. Ты возьми себя в руки и успокойся. А сейчас беги вон в воронку...

Харламов смотрел на Гурина сердито — думал, издевается.

— Правда, правда, это от нервов. — Гурин старался не говорить ему таких слов, как «испугался», «струсил». — У моей матери такая же болезнь — бывало, как увидит немца или полицая, так сразу хватается за живот: «Ой! Ой!» Шок нервный. Так что беги в воронку.

Оставив его одного, Гурин помчался на НП роты. Часовой, слышав шаги, вскинул автомат, но тут же узнав комсорга роты, опустил его и пошагал лениво в другую сторону.

— Комроты здесь?

— Там, — сказал часовой.

По голосу Гурин узнал курсанта Шаповалова из второго взвода. Комсомолец. Художник. Ротную стенгазету разрисовывал. Глаз у него зоркий. На привале не сидит. Если в лесу — бродит меж деревьев, шуршит палочкой, шевелит, будто грибник, старую листву. Найдет какую-нибудь корягу, ковырнет раза два ножичком — смотришь, зверь какой-то получился. Если на берегу реки, камешки собирает. И опять то зверя найдет, то человека. Однажды поднял плоский гольш с разводьями жилок, крутнул кончиком своего складничка, и камень ожил — превратился в глаз. Подарил Гурину, тот и сейчас носит его в кармане как талисмане.

Откинув полог, Гурин заглянул в блиндаж. Увидев там майора Кирьянова, он почему-то не решился войти, опустил полог. Но майор заметил его, закричал:

— Стой, стой! — И, когда Гурин вошел, прохрипел: — Почему бегаешь? Кого ищешь?

— Никого, товарищ майор. Хотел обойти роту, с комсомольцами поговорить. Ну и хотел сначала доложить об этом командиру роты. Может, он...

— «Хотел, хотел», — передразнил его майор. — Ладно, — майор поднялся, — пойдем вместе к комсомольцам.

Они шли по траншеям, майор разговаривал, шутил с курсантами, поднимал настроение и таким образом избавил Гурина от беседы с ребятами, чему тот был очень рад. Потому что, собираясь на эти беседы, чувствовал какую-то неловкость, ему казалось, что и так все всем ясно и понятно: курсанты не новички на передовой, многие уже успели хлебнуть побольше гуринского и его разговоры ничего им не прибавят. Майор — дело другое: тут и звание, и опыт, и возраст — все на его стороне.

На стыке со второй ротой Гурин сказал майору:

— Это уже не наша рота. Разрешите мне вернуться во взвод?

Майор с минуту о чем-то размышлял, потом закивал:

— Да-да... Беги. Только осторожно, голову прячь.

И тут, словно услышав их голоса, прямо над ними взвилась ракета и прострочил пулемет. Пули звучно вонзились в бруствер, обдав их крошками земли. Они невольно присели. Майор кивнул на ракету, прошептал:

— Видал, повесили лампадку... Слышат, сволочи...

Ракета, не долетев до земли, рассыпалась искрами, погасла, осколки ее зашлепали о землю.

— Беги,— сказал майор, и они разошлись в разные стороны.

Прибежал связной от Максимова, сказал, чтобы Гурин послал людей за завтраком, а сам пришел к нему. Взяв по человеку от каждого отделения, Гурин отвел их на НП роты и, перепоручив всех старшине, побежал к Максиму.

Положив локти на бруствер, лейтенант всматривался через бинокль в немецкую оборону. Гурин подошел, встал рядом. Максимов молчал. И только когда ракета погасла, он, оторвав бинокль от глаз, опустил на дно траншеи, спросил:

— Ну как там, на твоём фланге?

— Тихо.

— Утром предполагается наступление.

— И мы пойдем в наступление? — удивился Гурин. — Что же это за наступление — солдат от солдата, как телеграфные столбы друг от друга. В обороне и то жутко — такая разреженность.

— В том-то и дело, что пока никаких подробностей. Предполагается.

— Людей бы надо предупредить,— сказал Гурин.

— За этим и позвал. Пройди, проверь на всякий случай каждого — оружие, запас патронов, гранат.

Не успели они поговорить, как Максимова позвали к командиру роты.

— Ну вот... — сказал он. — Наверное, что-то выяснилось. Остаешься за меня. — Максимов одернул гимнастерку и на полусогнутых затопился на НП роты.

Принесли завтрак. Пригнув головы, ребята побежали по траншее, унося с собой теплый дух перловой каши с тушенкой. Гурин невольно глотнул слюну — раздразнили аппетит.

Вскоре пришел Максимов. Услышав запах каши, сказал весело:

— Ага, уже завтрак принесли? Хорошо.

— Ну что там? — нетерпеливо спросил Гурин.

— Точно, наступление, — бросил он будто между прочим и принялся открывать котелок. — Доставай ложку, поедем, потом соберем командиров отделений. Время еще есть. Пусть спокойно позавтракают. Доставай ложку, говорю, чего стоишь? Смотри сколько! Мне одному не съест. Ну?

— Да нет... Я перед наступлением никогда не ем, — признался Гурин.

— Чего-о? — протянул удивленно лейтенант. — И ты с предрассудками? А еще комсомолец!

— Нет, не предрассудок это. Просто боюсь, если в живот ранит. Говорят, что ранение в живот легче переносится на пустой желудок.

— Чепуха! — отрубил лейтенант. — Кто это тебе сказал? А как же Суворов? Он всегда требовал, чтобы солдат сытым был. Ты, может, и курсантов этой своей премудрости учишь?

— Да и бежать на голодный желудок легче, — упорствовал Гурин.

— Куда бежать?

— Да хоть куда. В наступление, конечно.

Максимов принялся за кашу. Загребая ложкой густую «шпатель», он всякий раз, прежде чем отправить кашу в рот, сбивал выше на лоб большой козырек своей фуражки, который тут же снова спадал ему на глаза.

— Не хочешь — как хочешь, — проговорил он с набитым ртом. — Передай по цепи: командиров отделений ко мне.

И тут, фыркая, как всегда на излете, послышалась совсем рядом мина. Они моментально нырнули на дно траншеи голова к голове, вжались в землю, и в тот же миг с сухим треском раздался удар. Их обда-

ло землей, чесночным запахом тротила, а в ушах потек протяжный нудный звон. Выждав какое-то время, не повторится ли налет, они приподняли головы, стали отряхиваться. Лейтенант потянулся к котелку, поднял его на уровень глаз, поморщился: котелок доверху был засыпан землей. Гурин невольно рассмеялся: с таким аппетитом Максимов ел кашу, похваливал — и вдруг все так неожиданно прекратилось.

— Паразит! — выругался лейтенант. — Не дал доесть. Вот теперь и я буду налегке. — И он швырнул котелок за бруствер.

— Котелок-то не виноват, — сказал Гурин, давясь смехом.

— Ну фриц! За все ответишь! — погрозил Максимов в сторону немецкой обороны. — Давай сзывай отделенных, — напомнил Максимов. Он вылез по грудь из траншеи, сорвал пучок травы, вытер им ложку, спрятал в полевую сумку.

Гурин не стал передавать приказание по цепи, побежал по траншее на свой фланг и каждого предупредил сам. Когда вернулся к Максиму, возле него уже сидели трое отделенных, а сам он сосредоточенно вытирал травой внутренность своего котелка. Максимов взглянул на Гурина, пояснил:

— Нельзя бросать. Вещь казенная. — Он захлопнул крышку. — Все собрались? Хорошо. Ну вот, товарищи командиры... Все, чему мы учились в виноградниках да на открытых холмах, наступило время применить на практике. Утром пойдем в наступление. — Он сделал паузу. — Продолжаю: наступление утром, на рассвете, после артподготовки. Сигнал к атаке — тройная красная ракета. Задача: выбить немцев из излучины, форсировать Днестр и далее преследовать противника вплоть до занятия Кишинева. Так что нам предстоят и уличные бои. Запаситесь гранатами и патронами. Наша полоса наступления... Даю ориентиры. Первое отделение: слева береза с оторванной верхушкой, далее зеленый холмик...

Максимов подробно, как на занятиях, втолковывал отделенным ориентиры и, когда кончил, поправив фуражку, спросил:

— Все ясно?

Сержанты молчали — значит, ясно.

— Проходы в проволочном заграждении сделает артиллерия. Не бросайтесь кучей в один проход, рассредоточивайтесь. Если нет вопросов, по местам.

В траншее чувствовалось оживление: никто не спал, каждый возился со своим снаряжением. Кто диски заряжал, кто прилаживал пудобнее на ремне гранаты. Харламов клацал затвором — гонял его туда-сюда, патроны выскакивали из казенника и падали на дно траншеи.

— Что, заедает?

— Да вроде нет, — отозвался он.

— А зачем же ты его терзаешь? Смотри, сколько патронов набросал. На хорошую очередь.

— Проверю.

— Нервничаешь?

— Да вроде нет... Руки только почему-то потеют. Ладони. Вытираю-вытираю, а они все равно потеют.

— Нервничаешь. Да ты не думай ничего такого... Все будет нормально.

Харламов скупо скривил рот, улыбнулся. Гурин пошел дальше. Зайцев у своей ячейки схватил его за рукав, остановил:

— Слушай, помкомзвода! Слышь, что солдаты говорят? «Наши на Прут, а немец на Серет». — И выжидательно уставился на Гурина, затаив в глазах хитрую улыбку.

— Ну и что? Правильно говорят, — сказал Гурин всерьез.

А Зайцев того и ждал: расхохотался, даже пилотку на затылок сбил, стал теревить свой ежик.

— Во, и ты образованный, а не знаешь. Это же в Румынии река так называется — Серет. Вот это Днестр, — он чиркнул линию на стене траншеи, — потом будет Прут, а дальше уже эта самая... Понял, какая стратегия? Здорово?

— Здорово. Острижки...

— А мне нравится. Сама география говорит за нас! — Зайцев поправил пилотку, посерьезнел. — Слушай... Но неужели они там, — кивнул он в сторону тыла, — всерьез думают наступать? Траншей ж пустые... Или что-нибудь хитрят?

— Откуда я знаю. Может, хитрят, а может, действительно верят в нас. Им там виднее, у них все данные — и о противнике, и о соседях, и о нас с тобой.

— Данные... Другой раз ни черта не поймешь, что затевается, сплошная бестолковщина, гонят: «Вперед!» А потом выясняется, что можно было и без этого обойтись. А людей положили.

— Это тебе так кажется, что можно, ты же дальше своего взвода ничего не видишь. А может, это разведка боем, а может, отвлекающий маневр... Мало ли что.

— Это верно: солдату из своего окопа видно немного. Ну ладно, дождемся утра. Фриц что-то притих — чувствует, собака!

— Завтракают, наверное, а может, тоже к чему-то готовятся. Наблюдение усиль.

— Да и так во все глаза смотрим.

Вскоре звезды стали одна за одной гаснуть, словно экономный хозяйственник выключал их, не дожидаясь рассвета. Небо на востоке посерело, а еще через какое-то время горизонт заголубел, потом облачка окрасились в розоватый цвет, тени исчезли. Немцы неожиданно обрушили по нашим траншеям шквальный огонь, потом быстро перенесли его в глубину обороны и долго там толкли землю. «Не задумали ли они нас опередить с наступлением?» — подумал Гурин, отряхиваясь. Он осторожно выглянул — не прозевать бы их атаку. Но немцы в окопах вели себя спокойно, лишь кое-где постреливали пулеметы, словно забавлялись: пускали вверх дугообразные трассирующие очереди.

Артналет прекратился внезапно, наступила звенящая тишина. Пыль, дым, тротиловая гарь медленно плыли вдоль траншей, постепенно оседая. Курсанты волновались и ждали нашей артподготовки, но ее не было. Может, отменили наступление?

Но вот наконец грохнуло в нашем тылу, и в ту же минуту через траншею, завывая на разные голоса, понеслись снаряды и мины. Гурин невольно втянул голову в плечи, присел, но тут же оправился от первого испуга — чего бояться, наши ведь бьют! — стал наблюдать за разрывами. Артиллерия била по немецкому переднему краю, по проволочному заграждению. Взлетали в воздух столбики, окутанные колючей спиралью, весь передний край немцев окутался пылью и дымом, а артиллерия все била и била, и снаряды с визгом проносились у самой головы, и от каждого такого визга Гурин невольно сжимался и вдавливался в землю. А они летят один за другим, один за другим — джю-у-у-и-и, джю-у-у-и-и, то слева, то справа у самого виска, даже ветерок от них волосы пошевеливает... Еще издали слышит Гурин нарастающий вой снаряда, и вот он уже вжикнул мимо, только трава на прямой пробор разошлась под его трассой, приникла к земле. Джю-у-у-и-и, джю-у-у-и-и — и разрывы совсем рядом: рвут проволочное заграждение, осколки, как крупный дождь, сыплются в свои же траншеи. Джю-у-у-и-и — и уже знают солдаты: этот летит далеко, не зацепит. И потому не прячутся. Но вот вдруг появился какой-то звук необычный — похрюкивающий, будто летит, кувыркаясь, какая-то дура болванка. Этот опасен, как бы рядом не плюхнулся. Свой-свой, а на дороге не стой, юркнул Гурин в траншею, прижался к стене. Взрыв!

Слава богу, перетянул через бруствер, разорвался на нейтралке. Куда же они там смотрят? Так и по своим можно лупануть.

Постепенно артиллерия перенесла огонь в глубину немецкой обороны. Гурин передал по цепи команду: «Приготовиться к атаке!» — и стал ждать сигнала. Но сигнала почему-то не было. Уже и канонада стихла. Нет, вот еще грохнуло, и еще один певун понесся к немцам. Кто-то пустил его, наверное, просто так, чтобы не оставался в стволе, пустил далеко, даже разрыв от него затерялся в общем гуле. И затихло. А сигнала к атаке все еще не было. Что-то непонятное творилось...

Только слева и справа все еще продолжала работать наша артиллерия. Особенно слева — оттуда доносился какой-то обвальный грохот, словно рушились гигантские горы. Немцы выскакивали из окопов и во весь рост бежали к себе в тыл. Из наших траншей открывалась беспорядочная стрельба, послышалось какое-то улюлюканье, шум, крики. Гурин увидел немца с пулеметом на плече, дал по нему очередь. Тот бросил пулемет, но сам не упал, побежал, согнувшись и петляя между кустами.

И тут наконец шпокнуло справа, словно разорвался резиновый шарик, взвилась в небо, оставляя белый след, ракета, вверх распалась на три красных огонька.

— Вперед! В атаку! Ура!

Курсанты высыпали из траншеи, ринулись к немецким окопам. У проволочного заграждения замешкались: проходов настоящих не было, разорванная проволока цеплялась за обмундирование, рвала в клочья. Впопыхах Гурин вскочил в спираль Бруно. Схватила она когтистыми лапами за брюки в нескольких местах, он нагнулся, чтобы отцепить себя, и зацепился локтем. Оглянулся — не он один барахтается в проволоке, бьют ребята по ней прикладами, пытаются вырваться.

— Вперед! Вперед! — донесся уже охрипший голос Максимова. — Шинели! Шинелями накрывайте проволоку! — Подбежал к Гурину. — Вася, что же ты?.. — Протянул ему руку, поволок назад, как из топкого болота, отцепил потянувшуюся проволоку. — Смотри под ноги. Шинелью накрой, если что. — И подался снова на правый фланг. Длинная планшетка путалась у него между ног, он отбрасывал ее левой рукой назад, а правой придерживал на груди автомат и кричал без устали: — Вперед!

Гурин огляделся, увидел рядом разрыв в заграждении, побежал через него, догнал Зайцева, пошли рядом, тяжело дыша, слова сказать не могут, только переглядываются. Торопятся, даже не замечают — то ли виноградником идут, то ли кусты какого-то лозняка хлещут ветками по лицу. Через немецкие траншеи перепрыгнули — и дальше, дальше, пока не стреляют. А немцы будто подслушали — начали минометный обстрел.

— Броском вперед! — скомандовал Гурин.

Зайцев подхватил команду, передал дальше.

И не оглядываясь сами рванулись что есть духу вперед, поближе к противнику — там спасение от минометного огня. А противник, похоже, быстрее их бежит — не видно его: то ли ушел далеко вперед, то ли засел и ждет в запасных окопах. Только зачем же ему было оставлять первые так хорошо насиженные траншеи, зачем убегать, когда курсанты еще и голоса не подавали? Наверное, их прижали с флангов...

Минометный огонь быстро прекратился, и до самого берега курсантов уже никто ни разу не обстрелял. Но не успели они выскочить к воде, как с противоположного высокого берега ударили пулеметы. Батальон залег, курсанты стали зарываться в песок, прятаться за кусты.

— Почему остановились? Кто приказал окапываться? — Голос ко-

мандира роты Коваленкова на пределе, сам в ярости, никогда таким его не видели.— Форсировать немедленно!

— Не на чем, товарищ капитан.

— А ты, Гурин, думал, немцы тебе тут переправу приготовили? Где Максимов?

— На правом фланге...

— Где пулеметы? Почему пулеметы молчат? Сейчас же выдвинуть вперед пулеметы и заткнуть немцам глотку. И переправляться немедленно! Вон немецкие блиндажи, разбирайте их, вяжите плоты, на бревнах вплавь! Живо!

— Зайцев,—крикнул Гурин,—слышал? Давай пулемет вперед, а остальных — разбирать блиндажи! — И сам от куста к кусту побежал во второе отделение, отдал такое же приказание, потом в третье.

Многие уже барахтались в воде, крутили бревна, доски, направляли их впереди себя. Гурин свернул к блиндажу, рванул дверь — не поддалась, сбить ее нечем, схватился за бревно над дверью — тоже не поддалось. Досада взяла, заметался от одного блиндажа к другому, увидел внутри скамейку, вынес, бросил ее на воду, она плюхнулась на ребро и поплыла вниз по течению. Он догнал ее, перевернул, толкнул вперед, поплыл. Ноги быстро отяжелели — в сапогах не очень поплыла вещь. Тогда он повесил автомат на развилку ножек — освободил правую руку и стал грести ею как веслом. Дело пошло веселее, тем более что немцы прекратили поливать их пулеметным огнем — то ли наши сбили их, то ли они почему-то затаились. Может, подпускают поближе? Нет, никакого подвоха не было, благополучно перебрались на другой берег, и снова:

— Вперед! Не останавливаться!

Вдали сплошным облаком поднималась пыль — то немцы поспешно отступали.

— Во драпанули! — кричал восторженно Зайцев.— Видать, здорово наши прижали их.— И он показывал на левый фланг, откуда не переставая докатывалась сплошная, из-за расстояния глухая канонада.

— Держи направление.— Гурин указал ему на часовню у развилки дороги, а сам побежал к Максиму узнать, как дела во взводе. Ребята бежали трусцой — по запыленным лицам пот катился градом, но зубы и глаза сверкали весело, в глазах отвага и радость победы.

— Товарищ старший сержант! — окликнул его кто-то.

Гурин оглянулся, увидел Харламова.

— Харламыч? Жив?

— Жив! — поднял тот автомат не останавливаясь.

Поравнявшись с лейтенантом, Гурин сказал:

— Новости есть?

— Нашел место и время. Храбришься?

— Нет, серьезно... Потери большие?

— Точно не знаю. Пока один ранен из третьего отделения.

Запыхавшиеся, с придыханием они на бегу кричали друг другу, словно глухие.

— Давай дуй на свое место. В Кишиневе встретимся,— приказал Максимов.

В Кишиневе батальон занял старые, из красного кирпича военные казармы. Повалились кто где смог — усталые, запыленные, не раздеваясь. Однако утром Гурин встал до подъема, принялся штопать брюки, разорванные на проволоке. Зашил кое-как, стянул края дыр — кальсоны не выглядят, и ладно. «Похожу пока, потом обменяю у старшины», — успокоил он себя.

Тянуло в город — посмотреть, каков он. Вышел за ворота, посмотрел в одну, другую сторону — тихо, вдали на перекрестке редкие прохожие торопливо переходили улицу.

К нему подошел Зайцев, потом их догнал Харламов, и они двину-

лись по тротуару. Зеленый тихий город. Следующая улица была оживленнее, на углу стояла крестьянская фура, запряженная парой лошадей, на ней сидел молдаванин в жилетке, в белых штанах и в лохматой папахе. Увидев солдат, он весело поманил их.

— Братэ, братэ,— приговаривал он и показывал на плетеные корзины, наполненные грушами.

— Что, продаешь? Почему?

— Сколько? Сколько?

— Дуэ.— Он показал два пальца.

— За одну грушу два рубля? Ого!

— А может, за десяток?

— Дуэ,— повторял он и пинал ногой корзину.

— Вся корзину за два рубля? — удивился Харламов.— Да ты что! Давайте купим, ребята? Это же почти даром!

— А нести в чем?

Харламов снова обернулся к молдаванину?

— С корзиной сколько? — Он потянул ее за ручку.

— Дуэ,— снова заладил тот свое.

— Давайте дадим ему три рубля...

Дали крестьянину трешку, он помог им снять корзину с большими желтыми грушами, и они довольные потащили ее в расположение.

А на другой день вечером они уже были на пути к станции с названием, особенно желанным для солдат,—Затишье. Человек пять, в том числе и Гурин с Хованским, во главе с лейтенантом Елагиним от учебного батальона да по столько же от других были посланы вперед квартирьерами. «Прощай, Молдавия, прощайте, зеленые холмы, и ты прощай, город Кишинев. Прощай и прости, пожалуйста, что на вопрос «каков ты есть?» я буду отвечать: не знаю, не видел...» — мысленно попрощался Гурин с землей, которая была к нему милостива.

Заграница

Бежит презд, извивается змеей на поворотах. Постукивают на стыках колеса, покачиваются и скрипят вагоны. Где-то далеко впереди пыхтит паровоз, кутаясь в белое облако пара, перебрасывает длинный шлейф дыма то на левую, то на правую сторону состава, словно девушка пышную косу с плеча на плечо. Бежит состав, валяются в теплушках на нарах беззаботные солдаты, пользуются случаем — отсыпаются.

Армию перебрасывают на другой фронт, но это едут пока только ее представители — квартирьеры: по несколько человек от частей и подразделений, а набралось на целый эшелон. На долгих остановках вдоль состава пробегает комендант эшелона, отдает какие-то распоряжения старшим вагонов.

Бежит поезд, и бегут ему навстречу поля и перелески, буераки и леса, проплывают мимо города и села, а вернее — развалины городов и пепелища, где были когда-то села. Палачи прошли по этой земле. Бандиты и палачи — даже эти слова кажутся слишком мягкими по сравнению с тем, что они натворили...

Старшой от учебного батальона лейтенант Елагин, тот самый, который вел когда-то Гурина из госпиталя в батальон выздоравливающих, повис грудью на перекладине в двери вагона, смотрит молча, задумчиво. Елагин сугубо штатский человек, военная форма на нем, длинном и сухощавом, висит как на вешалке, не прилегая: штаны отвисли пустым мятым мешком, складки на гимнастерке постоянно сбегаются на животе, а просторная пилотка так и не нашла своего места на голове, крутится на ней, будто на полированном шаре: сползет то на лоб, то на затылок, то на левое ухо, то на правое, а то и вовсе окажется поперек головы. Честь отдавал он как-то по-своему, смешно: сначала вскинет локоть и уж только потом кисть руки и при этом

все время почему-то пританцовывает, словно не может остановиться или не найдет ногам место. Выправка лейтенанта Елагина служила постоянным поводом для насмешек. Особенно издевался Исаев, который прозвал его пчеловодом. Почему пчеловодом, непонятно, но раз так назвал Исаев — значит, это смешно и остроумно. Елагин сначала сердился, а потом махнул рукой и не обращал внимания, относился ко всему как к должному, и притом временному: война, мол, мало ли каких невзгод на людей она не насылает, на него же вот еще и такие неприятности...

Елагин молча смотрел на развалины и тихо покашливал, словно у него першило в горле. Гурин стоял рядом. Сколько их уже повидали на своем пути, а они не только не убывают, но с каждым километром их становится все больше и они все страшнее.

— Как вы думаете, заставят немцев после войны восстановить все это? — спросил Гурин у лейтенанта.

Елагин встрепенулся, но ответил не сразу — собирался с мыслями. Сначала распрямился, размял затекшие плечи, сказал не очень уверенно:

— Восстановить... Что восстановить? Как восстановить? Утраченное ведь не восстанавливается. — Он закрутил головой. — Новое появляется — да, а умершее — нет, не воскресает. И это относится не только к живой природе. Вот, скажем, стоял дом и он мог бы еще долго стоять и служить людям. А его нет — сожгли, взорвали. Новый построят? Да. Но ведь это будет новый. Затратим силы, энергию, время — построим! Но у нас опять будет только один дом, а могло быть два, если б был цел и прежний дом. С ним мы были бы богаче. Эта разруха заставит нас долго топтаться на месте — пока будем отстраиваться, раны залечивать. А могли бы ой как шагнуть вперед! И разрушения все эти творятся с умыслом, с да-альним прицелом: обескровить страну, опустошить, разорить, загнать нас в землянки, в пещеры, чтобы мы не могли выкарабкаться из этого десятилетиями, а может быть, и столетиями. Сделать нас нищими, отсталыми, а значит, и беспомощными, чтобы можно было взять голыми руками. И странно! творят это люди, которые принадлежат к культурнейшей нации! Странно и страшно...

Гурин слушал Елагина и диву давался, как он здорово все это понимает, какой он, оказывается, умный человек! А они жили с ним рядом и видели только отвисшие брюки да неоправленную гимнастерку. Вот тебе и пчеловод! Гурин смотрел в его голубые глаза, слушал, кивал, не перебивал: до сих пор все это у Гурина как-то не выстраивалось в такую вот преднамеренную страшную стратегию противника, все это было для него в общем ряду деяний фашистов и объединялось одним словом «зверства». Елагин впервые как-то просто и ясно раскрыл ему смысл этих зверств и злодеяний.

Елагин помолчал, поиграл острыми скулами, проговорил, будто размышлял вслух:

— Заставить восстановить? Как? Пригнать их сюда под конвоем? Нет, такого не будет, это бессмыслица. Обложить их контрибуцией? Это дело непрочное: сразу ее не возьмешь, вышлата же растянется на годы, да и толку-то. Больше для морального удовлетворения. Восстановить... — Он взглянул на Гурина. — А людей? Миллионы загубленных людей кто восстановит? Их-то ни оживить, ни «восстановить». — Елагин нажал на последнее слово, давая понять, что вкладывает в него особый смысл, но все же пояснил: — Численность населения с годами восстановится, но этих-то уже не будет. А сколько среди них полегло умных, талантливых...

— Товарищ лейтенант, кем вы были на гражданке? — спросил Гурин у Елагина после некоторого колебания.

— Учителем, — сказал тот просто.

— Учителем? — удивился почему-то Гурин.

— Да. Преподавал историю в старших классах.

Учитель для Гурина всегда был вершиной, в его представлении он умнее, культурнее, больше знает, чем все другие люди — неучителя. Это преклонение перед учителем у него осталось еще со школьной скамьи. И вот перед ним — учитель! Чтобы как-то загладить свою вину перед Елагиным, хотя сам он никогда открыто и не подсмеивался над ним, Гурин не нашел ничего другого, как сообщить ему:

— А я только перед войной кончил десятилетку. У нас как раз выпускной вечер был, когда началась война...

— Да,— сказал Елагин.— Мальчишки со школьной скамьи пошли в окопы, вместо того чтобы идти в университеты... И многие полегли... И кто знает, сколько среди них полегло Менделеевых, Павловых, Пушкиных...

Наступила минута какой-то откровенности, Гурину захотелось сказать Елагину что-то согласное с его мыслями, и он брякнул:

— И я стихи сочиняю...— Сказал и тут же почувствовал всю неуместность и бестактность такого признания. Уши его вспыхнули огнем, он не знал, куда деваться.

— Знаю. Слышал,— сказал Елагин мягко и без иронии.

Гурин благодарно улыбнулся.

А поезд бежит, бежит — днем и ночью, днем и ночью. Сделает небольшую передышку и поторапливается дальше. Вот уже по обеим сторонам дороги потянулись густые дремучие леса — партизанские места, а теперь здесь гуляют бандиты — бандеровцы, и по эшелону все чаще и чаще передают предупреждение быть осторожными, не торчать в дверях вагонов — могут обстрелять. А Гурину интересно смотреть на лес, могучий, густой, таинственный, и он, свесив голову с верхней полки, смотрит и смотрит на бесконечную зеленую стену.

А еще ему нравится просто ехать. Как давно это было, когда он последний раз ехал в поезде! Ведь он с первого дня службы в армии ни одного километра не проехал ни в поезде, ни на машине, кроме того случая, когда их, раненых, везли в госпиталь. А второй раз даже в госпиталь шли пешком. В жару и в холод, в сушь и в непогоду — пешком и пешком! Сколько грязи вымеси́ли его сапоги, сколько пыли вылетело из-под его подошв — не сосчитать, не измерить. И вдруг — он едет в поезде! Это как после долгих ненастных дней и ночей вдруг — теплое ясное солнечное утро...

Но все на свете кончается, кончилось и это путешествие. На забитой до отказа поездами станции Ковель все-таки отыскалось место и новому составу. Втянули его на товарную станцию, покачали по многочисленным стрелкам и наконец остановили.

— Выгружайсь!

Попрыгали солдаты на землю, захромали, заохали — ноги затекли от долгой дороги. Шутят:

— Как ни хорошо ехать, а идти все-таки лучше. Свои родные не подведут.

Постепенно размялись, привели себя в порядок: мятые шинели отряхнули от соломы, ремнями затянулись, вещмешки за спину, автоматы на плечо — и пошагали строем через весь город. Где-то на самой окраине их разместили по квартирам.

На другой день с утра началась работа — пошли осматривать деревни, где должен был разместиться батальон. Перед уходом получили строгий приказ: ни в коем случае не ходить в одиночку — опасно: местность заражена бандеровскими бандами, нужно быть осторожными. Ночевать в селе не оставаться, засветло возвращаться на городские квартиры.

Они шли проселочными, полевыми, лесными дорогами, вполне тихими и мирными, но после такого предупреждения за спиной все время гулял ветерок страха. Стоял сентябрь, плавал первый редкий

туманец, воздух был влажным, будто сеял мелкий дождик, но это был не дождь, а всего лишь мжичка. Крестьяне убирали огороды, жгли бурьян, пахали лошадами землю. Все выглядело спокойно и мирно.

В хутора квартирьеры не заходили — нечего им там делать, — осматривали хаты в деревнях, узнавали, сколько человек живет, и после этого решали, кого поселить в ней. Оставляли на дверях и воротах условные знаки и шли дальше. В хату заходили не все: двое шли с лейтенантом, двое оставались на улице. Встречали их настороженно: одни боялись бандеровцев (а те рядились в разные одежды, могли для маскировки надеть и нашу форму), другие боялись советской власти, «бильшовыки», третьи дрожали при виде и тех и других.

Три дня они ходили из дома в дом, намечали, где быть ротной канцелярии, а где штабу батальона, в каких домах разместится первый взвод, в каких второй, соображали, чтобы было и не тесно, и компактно, и удобно для связи и для руководства подразделениями. К прибытию батальона еле успели закончить эту нелегкую работу.

Но батальон простоял в приготовленных елагинской командой квартирах совсем немного, пожалуй меньше, чем они их подбирали. В один из дней вдруг была подана тревожная команда, все засуетились, засобирались, построились в колонны и пошли куда-то на ночь глядя. Шли лесными дорогами в кромешной тьме. Шли долго, без привалов. Лес шумел, скрипели вековые сосны, чавкали в осенней грязи десятки сапог. Где-то за полночь начались короткие заминки, минуту-две постоят и снова трогаются, пройдут немного — опять остановка. Как на главной городской улице в час пик. Что там творилось впереди, никто не знал, высказывались предположения, что батальон заблудился.

Но вот, словно преодолев наконец невидимую преграду, пошли ходче, стали даже покрикивать: «Шире шаг! Подтянись!»

— Ну, братцы, кажется, выбрались. Вон домик светится... — сказал кто-то облегченно.

— Где? Где? А, верно! Все, скоро будем портянки сушить.

И вдруг снова заминка.

— Пойду в голову колонны узнаю, в чем там дело, — сказал Максиму Гурин.

— Сбегай узнай, — разрешил тот, кутаясь в плащ-накидку.

Батальонное начальство плотной кучкой стояло, уткнувшись в карту, освещенную фонариком, Гурин, чтобы не попадать на глаза начальству, остановился в сторонке, прислушался. Тут же стояли некоторые командиры рот и взводов.

— Да, все правильно... Но надо сориентироваться, уточнить, — сказал комбат и, подняв голову от карты, осветил лица офицеров, стоящих вокруг. — Лейтенант Елагин, возьмите одного курсанта, сбегайте в избушку, узнайте, куда ведет эта дорога и как называется их хутор.

— Слушаю! — Елагин козырнул, обернулся к своему взводу, позвал: — Шаповалов, ко мне! — И, не дожидаясь курсанта, похрумкал сухими ветками в сторону светящегося домика.

Гурин подошел к своему комроты Коваленкову, спросил:

— Заблудились, товарищ капитан?

— Похоже, нет. Сейчас узнаем.

Вскоре послышался стук в окошко и голос Елагина:

— Хозяйка, выйдите, пожалуйста, скажите, куда эта дорога ведет?

Наступила тишина, потом скрипнула дверь, и тут же раздались автоматные очереди, пули просвистели над головами стоящих на дороге курсантов и, словно град, зашлепали у ног.

— Ложись!

Всех как ветром сдуло — залегли, защелкали затворами, притихли.

— Коваленков, одним взводом окружить дом! — приказал комбат.

— Гурин, ты где? Бегом во взвод, передай Максиму: окружить дом! — приказал командир роты.

Бежать недалеко, Гурин быстро передал приказание. Лейтенант встрепенулся, выхватил пистолет, распорядился:

— Первое и второе отделение — со мной, третье и четвертое поведешь ты. Я слева, ты справа. Понял? Пошли!

— Третье и четвертое отделение, в цепь, за мной! — скомандовал Гурин и, пригнувшись, оглябая дом, побежал в темноту.

Курсанты двинулись за ним. Окружили, залегли. Гурин приказал, чтобы каждый второй остался на месте и занял внешнюю оборону, а сам с остальными пополз поближе к дому.

— Кто есть в доме, выходи! — прокричал лейтенант Максимов. — Быстро! Иначе открываем огонь!

Из дома вышли две женщины, остановились в темноте.

— Кто еще есть в доме?

— Никого нема...

— Кто стрелял?

— Двое тут булы... Убиглы...

— Идите к дороге! Гурин, держите окна, первое отделение за мной! — Максимов бросился в дверь, громко спросил: — Кто здесь есть? Выходи!

В доме было пусто. Фонариками обшарили все углы — никого не нашли. Лишь на пороге валялись стреляные гильзы от немецкого автомата. Когда Гурин подошел к крыльцу, лейтенанта Елагина и Шаповалова уже понесли на плащ-палатках к повозкам.

До рассвета батальон лежал, заняв оборону, утром прочесали ближайшие подступы к дому, но никаких следов не обнаружили.

До этого хутора колонна шла по-мирному: впереди тащилась подвода с батальонным имуществом, за ней разный штабной народ, потом музвзвод, разведчики во главе со своим форсистым командиром Исаевым и уже за ними первая рота. После встречи с бандеровцами музыкантов спрятали в середину, а в голову и в хвост колонны выслали боевое охранение из разведчиков.

В первом же населенном пункте сдали в комендатуру лесных женщин и на местном кладбище похоронили своих товарищей — курсанта Шаповалова и лейтенанта Елагина. Трижды разрядили в воздух винтовки и пистолеты, постояли молча у могилы с деревянным обелиском и пошли дальше.

Идет Гурин и думает о Елагине. О смерти его. Ведь случайная смерти! Окажись поблизости возле майора любой другой офицер — быть бы ему на месте Елагина. И вместо Шаповалова лег бы курсант из другого взвода... Непонятная это штука — судьба, никак не угадаешь, где она тебя подстерегает и что она для тебя приберегла... «Жаль лейтенанта, хороший был человек... Добрый».

Остановился батальон в чужом лесном лагере, какая-то воинская часть уже жила здесь, курсантам надо было лишь подновить крыши в землянках, чтобы не протекали, навести линейки, поставить грибки для часовых да у входа соорудить поднимающийся шлагбаум.

Несмотря на многодневный тяжелый марш, все были рады, что наконец-то прибились к месту, и поэтому быстро вооружились топорами, веревками — снарядились кто рубить ветки для крыши, кто на крестьянские поля за соломой для постелей. Дело привычное. Однако не успели распределиться кто куда, как вдруг — команда: общее построение.

— Отставить рабочий инструмент! Выходи строиться! Вещмешки оставить в землянках, на каждую землянку выделить по дневальному. Остальные — строиться! Быстро! Быстро!

Выстроились на площадке перед батальонной землянкой, комбат выслушал доклады командиров рот, сказал:

— Вольно.

За ним гурьбой стояли замполит майор Кирьянов, парторг капита

Бутенко, начштаба капитан Землин, комсорг младший лейтенант Лукин, старший лейтенант Шульгин... Давно курсанты не видели их всех вместе, а тут собрались: наверное, произошло что-то важное. Неужели война кончилась?

Майор Дорошенко по обыкновению своему покрутил наклоненной головой, потом поднял ее, взглянул на выстроившихся, начал спокойно:

— Товарищи курсанты, хочу вас предупредить вот о чем. Мы находимся на территории Польши...

В рядах удивленно загудели. Комбат, улыбнувшись, оглянулся на свою свиту, потом снова к строю:

— Да, да. Граница давно осталась позади. Поэтому прошу вас запомнить вот что: мы на чужой территории, но здесь мы не как завоеватели, а как освободители, мы преследуем врага и освобождаем польский народ от ига гитлеровских оккупантов. Здесь свое государство, здесь свои порядки. Здесь для нас все чужое, поэтому без разрешения не брать ни палки, ни доски. Деревья рубить категорически запрещается. Для землянок, для дров ищите поваленные, сухие. Лес — это собственность польского народа, и за каждое срубленное дерево нашему государству придется расплачиваться валютой, то есть золотом. Солома нужна? Будем добывать организованно. Поедет старшина к старосте и скажет ему: «Пан староста, чтобы не стеснять гражданское население, мы остановились в лесу. Солдатам для постелей нужна солома. Не могли бы вы нам помочь?» Только так, дипломатическим путем. Думаю, не откажет. Всякие... — Майор запнулся, подбирая слова, наконец не очень уверенно произнес: — ...шалости в отношении местного населения будут строго наказываться. Я мягко сказал, потому что такие слова, как «мародерство», «воровство», думаю, для вас, курсантов, завтрашних командиров, просто были бы оскорбительны: вы народ сознательный, мы давно уже с вами вместе, и я это знаю. Но все же предупредить должен. А сейчас начальник штаба познакомит вас с приказом по армии. Капитан Землин, пожалуйста.

Землин, веселый усач, играющий под Чапаева, потому что сильно на него похож лицом, выпел наперед, откашлялся, разгладил усы, начал читать. В приказе говорилось о том же, о чем уже сказал только что комбат, но кроме того сообщалось, что какой-то ротный старшина украл у поляка овцу для кухни, за что был предан суду военного трибунала.

— Вот это да! — снова загудели курсанты возмущенно. — За овцу! А он, может, от Сталинграда прошел...

— Разговоры в строю! Вопросы есть? Нет. Командиры взводов, развести по подразделениям.

— Веди, — сказал Гурину Максимов.

Гурин повернул взвод налево, повел к землянкам. Всю дорогу курсанты возбужденно обсуждали услышанное. В конце концов согласились, что вести тут себя надо осторожно, с населением особенно, но за овцу под трибунал — это уж слишком. Тут и поляк тот, наверное, не рад, что пожаловался.

Почти вслед за взводом пришел и Максимов, сказал своему помкомвзвода:

— Гурин, выдели двух человек к старшине Богаткину — за соломой поедут. Остальных возьми с собой — и нарубите веток. Ветки не деревьев.

Когда они вернулись в лагерь с охапками веток, здесь уже стояли три большие польские фуры, доверху наполненные соломой. Возле каждой было по поляку, они здоровались с курсантами, снимая шляпы, кланялись:

— Дзень добжий, пан жовнеж... Дзень добжий...

— Соломки привезли? Это хорошо, панове, — шутили курсанты. Поляки отвечали:

— Так, так, добже... Юж зимно.

— Зимно? Да, скоро зима, уже становится зимно, верно. Спасибо за соломку.

— Проше, проше...

Вечером перед сном долго обсуждали встречу с поляками.

— А народ-то хороший, добрый.

— И говорят почти по-нашему. Я, например, все понимал: «дзень добжий», «зимно».

— Да, славяне.

На другой день привезли кирпич с каких-то развалин и железные трубы, и курсанты смастерили себе в землянках печурки. Теперь совсем стало хорошо — можно было высушить портянки да и спать потеплее.

После сырых, промозглых осенних дней выдалось тихое солнечное утро. Исчез туман, воздух прояснился, и лес преобразился — стал праздничным, уютным. Синицы откуда-то объявились, наполнили лагерь звонкими голосами.

Но бабье лето продержалось недолго, уже на третий день небо занесло тяжелыми свинцовыми тучами, подул ветер, зачистили дожди. Однако занятия не прекращались. Как и на фронте в любую погоду солдаты не покидали окопов, шли в наступление или оборонялись, так и курсанты в любую хлябь делали свое дело, отрабатывали темы: прорыв обороны противника, ночной бой, бой в населенном пункте, уличный бой в крупном городе. Программа была уплотнена до предела — наверстывали время, упущенное на перебазировку. С занятий возвращались усталые до изнеможения. Курсанты ворчали:

— Уж лучше на передовую — там хоть не гоняют так и харч получше.

— Скорей бы выпускали нас, что ли.

И выпуск не заставил себя ждать.

В батальон приехали «покупатели», и снова под духовой оркестр провожали вчерашних курсантов, а сегодня — младших командиров: группа за группой, в новых погонах с красными нашивками, они четко отбивали шаг, проходя мимо батальонного начальства, и уходили навсегда.

Ушли из батальона и старшина Вася Богаткин и старший сержант Коля Хованский. Богаткин, прощаясь, сообщил, что сам давно просил майора отпустить его в свою часть и тот наконец согласился. За время службы в батальоне Гурин мало общался с Богаткиным, но знал, что парень он честный и порядочный, и потому, когда стали прощаться, Гурин обнял его по-братски:

— Прощай, тезка.

— До свидания, друг. — Старшина посмотрел на его сапоги, махнул рукой: — Что ты за человек? Ну пришел бы, сказал — я бы тебя обул по-человечески. Хоть бы вспоминал добром.

— Ничего, Вася, дотопаю и в этих до Берлина! А тебя я и так добром буду вспоминать.

Хованский уходил после всех и как-то неожиданно. Они уж собирались идти за новым набором, когда его вызвали в штаб батальона. Оттуда он пришел с новым предписанием и объявил:

— Ухожу.

— Куда? Опять связным? — удивился Гурин.

— Нет, что-то другое... Сам пока не знаю. Напишу потом.

Он быстро собрался, и Гурин проводил его до шлагбаума.

— Пиши, Коля! — крикнул он ему вслед.

Тот оглянулся, кивнул и зашагал в село — там размещался штаб полка.

— Проводил? — встретил Гурина Максимов. — Жалко ребят... Всякий раз так... Привыкнешь и потом провожаешь, будто родных.

Сколько я их уже проводил! А встречал потом очень редко...

Гурин вошел в пустую и казавшуюся теперь такой просторной землянку, повалился навзничь на солому, уставился в потолок, откуда свисали пожухлые, свернувшиеся в трубочки и почерневшие ивовые листочки. В землянке было прохладно, печурка не топилась, но заниматься ею не хотелось — одолела тоска. Еще один выпуск ушел. Ушли Богаткин, Хованский, а он опять остался в учебном. Зарекомендовал себя. «А может, приспособился?» Гурин перевернулся на живот, зарылся лицом в солому...

Кто-то тронул его за плечо. Он поднял голову — рядом сидел Максимов.

— Что случилось?

Гурин молча смотрел на него: зачем он спрашивает? Ведь все равно не поймет...

— Эх ты, самоед несчастный, — сказал Максимов. — Разве можно так терзать себя? И за что? Опасный ты, оказывается, человек. Для самого себя опасный. Тебе нельзя одному без дела оставаться. — Лейтенант нахмурился, построжел: — Приказываю: нарубить дров и затопить печурку. — Помолчал, добавил: — Письмо матери напиши, давно ведь не писал. Мне тоже кое-кому надо написать, дай, пожалуйста, хорошей бумажки.

Гурин открыл полевую сумку, вытащил несколько листов.

— Много. — Лейтенант отложил половину. — И прекрати, пожалуйста, нюни распускать. Слышь? Сейчас же затопи печь, холодно...

На другой день скучать уже было некогда — перед ним стояла новая группа будущих курсантов. Знакомился он с ними и удивлялся: как все похоже, как все повторяется! Такая же разношерстная неорганизованная толпа, такая же госпитальная вольница и фронтовая бравада, те же вопросы: «А гоняют сильно? А строевой занимаются?» Те же требования: «Отправьте меня в часть!» Найдется, наверное, и бузотер. Сейчас выделяется маленький солдатик с медалью «За отвагу» — Гурин видит ее на его гимнастерке: шинель у солдатака нараспашку, как у старшего лейтенанта Шульгина. Медаль хорошая, Гурин бы такой тоже гордился. Зовут парня Николай Хохлов. Коля еще совсем мальчик — круглое личико, нежное, губки по-детски пухленькие, носик пуговкой. Он отчаянный окальщик — даже в тех словах, где, кажется, никак нельзя окнуть, все равно умудряется это сделать.

— Волжанин, что ли?

— Ну! Ни к чему вопрос! Я все одно сбегу в свою часть! — У него получается «сбегу».

— Сбежишь — будешь считаться дезертиром, под трибунал попадешь.

— Я автоматчик! — заявляет он гордо.

— Я тоже автоматчик, — говорит ему Гурин.

Коля смотрит на помкомвзвода с недоверием, морщится.

Договорить с Колей Гурина помешал связной — его срочно вызывал комбат. Гурин передал список Зайцеву, а сам побежал в штаб батальона, гадая на ходу, зачем он понадобился комбату.

В штабе было почти все батальонное начальство за исключением комсорга Лукина и старшего лейтенанта Шульгина. Был здесь и гуринский командир роты капитан Коваленков.

— Товарищ майор, по вашему приказанию...

Майор не дал Гурина договорить, остановил кивком. Гурин, опустив руку, стоял у двери, ждал. Наступила минутная пауза. Тогда комбат посмотрел на Кирьянова, и тот подошел к Гурина.

— Вот какое дело, — начал майор серьезно и тут же улыбнулся. — Решено тебя назначить комсоргом батальона.

— Как? А младший лейтенант Лукин?

— Его отозвали в политотдел. Ну?

Гурин развел руками, оглядел всех — не шутка ли это: уж больно неожиданная для него весть.

— Справишься?

— Если надо...

— Надо,— подал голос комбат.

— Справится,— ответил за Гурина парторг батальона капитан Бутенко.

— С чем я тебя и поздравляю,— прохрипел замполит.

Гурин не знал, как на все это отвечать, смотрел на присутствующих растерянно, улыбался от радости. Они тоже в ответ улыбались, один только писарь Кузьмин сидел набычившись, мрачно поглядывал в сторону Гурина.

— Спасибо,— наконец выговорил Гурин и, поняв, что это именно то слово, которое и нужно было сказать, повторил: — Спасибо...

— Ну вот и хорошо,— сказал комбат.— Желаю успеха. Берись за дело по-настоящему.— Он сжал кулак.— Иди.

Вслед за Гуриным вышел и капитан Бутенко, положил ему по-братски руку на плечо.

— Поработаем вместе, Васек. Иди забирай свои шмутки и перебирайся в нашу землянку. Иди, иди. Ты теперь на офицерской должности и будешь пользоваться всеми правами офицера. Так-то! И без стеснения, привыкай сразу: нам надо работать. Ну?

Во взвод Гурин вернулся не сразу — ему хотелось осмыслить происшедшее, привыкнуть к случившемуся. Перекинул через плечо полевую сумку, в правую руку взял автомат, левой подхватил вещмешок — вот и все его «шмутки», — пошагал в землянку партполитпросвета, как ее здесь называли офицеры и курсанты.

Он уже хотел было потянуть на себя дверь, сколоченную из нетесаных досок, как вдруг услышал голос старшего лейтенанта Шульгина и невольно остановился.

— О чем вы думаете, братцы мои дорогие? — возмутился Шульгин.

— О людях,— ответил твердо майор Кирьянов.— О людях прежде всего.

— Но как вы можете быть уверены в нем? У вас есть доказательства его порядочности, честности, что он не завербован?

— Доказательства порядочности и честности есть. Кроме того, он талантливый и умный парень. А завербован ли он — это по твоей части. У тебя есть об этом данные? — спросил майор.

— М-м... Пока нет...

— А о чем же речь? Так можно каждого подозревать, но правильно ли это?

— Да поймите вы, братцы мои дорогие! Он два года жил на оккупированной фашистами территории. Это должно вам о чем-нибудь говорить?

— На оккупированной территории оставались миллионы советских людей. А куда им было деваться? Прикажешь всех их взять на подозрение? Это в корне неправильная позиция. Людям надо доверять, иначе жить нельзя будет.

Гурин не сразу сообразил, как ему быть. На всякий случай отошел от землянки и стал в раздумье. Может, вернуться обратно во взвод? Не успел он еще ничего решить, как дверь скрипнула и из землянки вышел раскрасневшийся Шульгин. Увидел Гурина, оглядел с ног до головы, спросил:

— Уже перебираешься? Ну-ну!

Горечь давила Гурину горло, подступила непродыхаемым комком.

— Э-э,— услышал Гурин голос майора,— чего стоишь, как витязь на распутье? Смелее, смелее! Смелые города берут.

— Товарищ майор, а может, не надо? Давайте переиграем все, и я вернусь во взвод...

Майор посмотрел вслед Шульгину, помрачнел, сказал строго:

— Чтобы я больше этого не слышал! Понял? Иди, там капитан Бутенко. Осваивайся побыстрее, с новым пополнением предстоит напряженная работа: сроки подготовки будут сокращены. Ступай.

Шурочка

В дверь постучали, и в землянку вошел писарь Кузьмин. Он козырнул и на полном серьезе спросил:

— Товарищ старший сержант, разрешите обратиться?

— Да,— выдерживая ту же серьезность, разрешил ему Гурин.

— Вам телефонограмма.—Он протянул Гурину бумажку.—В тринадцать ноль-ноль вас вызывают на совещание в политотдел.

— Спасибо.—Гурин посмотрел на часы—было около одиннадцати.

— Разрешите идти?

— Слушай, Кузьмин... Ты почему со мной так официален? Шутить или издеваешься? —спросил Гурин у Кузьмина.

— Никак нет. Я по уставу.

— По какому там уставу? У нас звания одинаковые, а ты козыряешь мне, как генералу.

— У вас должность офицерская.

— Ну ладно,— сказал ему Гурин.— Не знаешь, как туда добьются? Я ведь в политотделе ни разу не был.

— Младший лейтенант Лукин обычно в таких случаях звонили в минометный батальон и договаривались с лейтенантом Бородиным. В минбате есть лошади и повозки. А у нас их только две—в хозвзводе, продукты возят.

Бородин—это комсорг минометного батальона, Гурин его видел несколько раз—приходил к Лукину. Суровый лейтенант. Круглые маленькие глазки, посаженные узко, набрякшие подглазья и пухлые губы делали лицо его сердитым, будто он постоянно на кого-то дулся.

Еще издали Гурин увидел: возле штаба минометного прохаживается Бородин, нетерпеливо поглядывая в сторону стрелкового батальона. Гурин прибавил шагу.

— Товарищ лейтенант...— козырнул Гурин.

— Привет.—Бородин протянул Гурину руку и, не глядя на него, направился к подводе, которая стояла на дороге за деревьями. На ходу сказал:— Знакомьтесь... Не знакомы?

Из-за дерева вышла улыбающаяся девушка в погонах младшего лейтенанта. Гурин козырнул:

— Старший сержант Гурин. Комсорг учебного батальона.

— Ух ты!—Она сделала губки трубочкой, улыбнулась.—Какой бравый!—И, насупив брови, серьезно сказала:—Заставяете себя ждать, товарищ старший сержант. Два офицера ждут одного сержанта. Непорядок!—Она говорила, а глаза ее смеялись, видно, что шутила.

— Виноват, исправлюсь,—сказал Гурин.

— То-то.—И она снова улыбнулась, и снова на левой щеке образовалась глубокая симпатичная ямочка.—Боярская. Шура. Комсорг пулеметного.—Она протянула Гурину руку.

— Пулеметного?

— Да. А что? Не нравится?

— Да нет... Но там же был...—Гурин знал комсорга пулеметного батальона—белобрысенького младшего лейтенанта Соколова. Но после Кишинева он его ни разу не встречал.

— Был да сплыл. И у вас был Лукин. Поехали, а то холодно, я уже замерзла.

Бородин терпеливо ждал возле повозки, когда они кончат знакомство.

— Ну все? — спросил он. — Садитесь, — кивнул на бричку, в которой почти по самым краям было навалено свежей соломы.

Боярская зашла за повозку и там, чтобы не видели мужчины, по колесу взобралась на солому. Бородин сел впереди, по-мусульмански подобрав под себя ноги. Гурин лег на локоть у самого края, боясь стеснить Боярскую.

— Поближе, поближе, теплее будет, — Боярская спрятала ноги в солому. — А автомат свой положите с краю, он железный — не замерзнет. Зачем вы его кладете между нами, как ребеночка? — Крикнула Бородину: — Давай, ящик, трогай!

Бородин дернул вожжами, причмокнул, и бричка затряслась по замерзшим кочкам.

Неожиданное такое соседство — девушка, да еще в офицерских погонах — Гурина очень стесняло, чувствовал он себя как случайный гость на чужой свадьбе, хотя она, он это понимал, старалась, чтобы все было просто.

— Да, веселые мне кавалеры достались, — сказала Боярская, когда они проехали добрую часть дороги молча. — Хоть бы рассказали что-нибудь веселенькое.

Гурин покраснел, заворочался — рука, на которой лежал, совсем затекла, — стал оправдываться:

— Трудно так... Я не могу... В незнакомой компании никогда не знаешь, о чем говорить. Начни, а оно, может, уже всем давно известно и забыто.

Она отвернула уголок воротника шинели, пристально посмотрела на Гурина, многозначительно протянула:

— Ну ладно. Подождем.

А он еще больше смутился: ему показалось, что он слишком много наговорил — развел целую теорию. Сказал:

— Пусть лейтенант Бородин...

— Ему нельзя, он за рулем.

Очень пожалел Гурин, что не умеет, как другие, сразу сходиться с людьми, шутить, болтать, травить анекдоты.

— Последний анекдот слышали? — не унималась Боярская. — Если слышали, скажете. Так вот. Заходит наш солдат в польский дом и видит красивую полячку. «Ох ты! — говорит. — Какая красавица! Дай я тебя поцелую!» А она отвечает: «Ниц нема, вшицко герман забрав». Смешно? Нет? По-моему, тоже нет. Но я лучшего не знаю. — И она вдруг обидчиво задергала губами.

Гурин совсем растерялся, оглянулся за поддержкой на лейтенанта. Но тот, похоже, и не слышал, что у них произошло. Согнутая спина, откинутый воротник шинели, втянутая в плечи голова — весь вид его говорил, что он занят своими мыслями.

— Хотите, я вам стихи прочитаю? — прошептал Гурин.

Боярская повернула к нему личико, спросила:

— Свои?

— Нет...

— А свои?

— Откуда вы знаете, что я...

— Слышала.

— Свои потом...

— Опять «потом». У нас много накапливается на потом.

Гурин подумал с минуту и стал читать:

Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу мне...

Последние строчки Гурин прочитал с особенным нажимом. Боярская качнула головой, улыбнулась печально, попросила:

— Еще...

— Мое любимое,— объявил он.

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет...

Боярская слушала зачарованно, откликаясь на проникновенные слова, именно на те, которые и Гурину особенно нравились, и это ему было приятно. Она спросила нетерпеливо:

— Чьи это стихи? Первый раз слышу.

В ответ он прочитал многозначительно:

И ничто души не потревожит,
И ничто ее не бросит в дрожь—
Кто любил, уж тот любить не может,
Кто сгорел, того не подожжешь.

— Есенин? — сказала она не очень уверенно.

— Да. А вот еще мои любимые.

Я помню чудное мгновенье...

С первой же строки она встрепенулась, хотела сказать, что она знает, чьи это стихи, но так и не прервала его, дослушала до конца. Вздохнула:

— Как умели любить раньше!

— Почему только раньше? А теперь?

— А вы любили?

— Любил,— сказал Гурин уверенно.

Она взглянула на него с любопытством.

— Да, любил,— повторил он, словно вызывал ее на какой-то поединок.

— Ну и что?

— А ничего. Она вышла замуж.— И он начал читать:

Я вас любил...

Она слушала внимательно, лицо ее погрузнело.

— Вы хорошо читаете,— похвалила она, когда он кончил.

— Стихи хорошие.

— Стихи — да. Но я ведь их еще в школе учила, а как-то они до меня вот так не доходили. А сейчас услышала — все по-другому.— Она снова посмотрела пристально на Гурина.

Наконец их бричка-тарактуха, прогремев по городской мостовой, остановилась возле двухэтажного кирпичного здания, и они попрыгали на дорогу, стали отряхиваться. Бородин взял лошадь за уздечку и отвел свой экипаж во двор, где уже стояло несколько разнокалиберных повозок.

По каменным ступенькам они поднялись на крылечко, Бородин открыл дверь и пропустил вперед Боярскую. Гурин остановился, уступая ему дорогу, но тот, не отпуская дверь, кивнул ему: давай, мол, проходи без церемоний. Гурин прошел вслед за Боярской в довольно просторный вестибюль. Здесь было тепло, светло. Давно он не бывал в таких помещениях.

В зале уже было много народу, в основном офицеры — лейтенанты и младшие лейтенанты. Кое-где краснели широкими лычками на погонах старшины. Увидел в дальнем углу старшего сержанта и обрадовался, стал чувствовать себя здесь смелее.

В расположение Гурин вернулся поздно, уже после ужина. Нагруженный плакатами, брошюрами, бланками «Боевых листков», он с трудом открыл дверь в землянку, свалил весь багаж на свою постель.

— Ох ты! — воскликнул капитан Бутенко и принялся рассматривать брошюры. — Долго вас там мурыжили. Майор уже начал беспокоиться, пошел звонить в минометный Бородину. Вы вместе ехали?

— Вместе. Так я побегу доложусь майору.

— А он и сам вон уже идет, — сказал капитан. — Наверное, голоден? Беги поешь.

Подхватив котелок, Гурин помчался на кухню. Повар драил котел, поднял на него удивленное лицо:

— Во! А на вас никто расход не заявлял.

— Я сам виноват, — сказал Гурин. — Уехал и никого не предупредил. Ладно, переживем, — добавил он бодро. — Не помру.

— Подожди, старший сержант, — остановил его повар. — Как же спать на голодный желудок? Цыгане приснятся. — Он достал банку тушенки и, как колбасу, разрезал ее пополам большим ножом, отдал половинку Гурину. — Бери. Хлеб есть?

Бутенко, увидев пустой котелок, возмущенно спросил:

— Что, не оставили? Слышь, майор? Без ужина наш комсорг. Надо это дело отрегулировать: ему часто придется в политотдел мотаться, а там ведь не кормят.

Майор лежал на своей постели, подвинув к себе свечу. Листал какой-то журнал. Посмотрел на Гурина, усмехнулся:

— Утром пойдешь к старшине, комбат дал ему указание насчет тебя.

В батальоне уже несколько дней работал новый старшина, но Гурин его еще ни разу не видел. Как-то было не до него. Других забот по горло: комплектовал ротные комсомольские организации, сколачивал группы во взводах, проводил собрания, выискивал ребят, способных выпускать «Боевые листки», назначал агитаторов, инструктировал их, снабжал литературой. Он и раньше, и к Васе Богаткину, не часто заглядывал, только когда по делу: получить боеприпасы на взвод, поменять курсантам обмундирование, взять перед баней чистое белье. Правда, сам Гурин по-прежнему числился в списках первой роты, и паек на него, как и раньше, выдавали в первый взвод. После дележки Зайцев хранил его у себя, в свободную минуту Гурин забежал в землянку и забирал у него свой хлеб, сахар...

К старшине Гурин бежал, как к девушке на свидание — он догадывался, о чем комбат распорядился: поменять сапоги, шинель, «облегчить» его вооружение. Особенно волновало Гурина последнее — неужели выдадут пистолет?

Старшинская каптерка, сколоченная из старых досок, походила на деревенский сарайчик для дров. Дверь в нее была открыта, возле нее стоял часовой.

— Старшина здесь? — спросил у него Гурин.

— Здесь, — кивнул тот.

— Товарищ старшина! — крикнул он весело в темное нутро каптерки. — По приказанию командира батальона прибыл в ваше распоряжение. Комсорг батальона старший сержант Гурин.

Внутри что-то завозилось, заспело и на свет показался старшина... Грачев.

— Грач? — удивился Гурин, и бодрое настроение его вдруг улетучилось, словно он наткнулся на неприятельскую засаду. — Определенно: мир тесен...

— Это ты, Гурин? — поморщился старшина, словно ему в нос горчицу сунули. — То-то думаю: где-то я, кажется, уже слышал такую фамилию.

— Слышал, слышал. Я Гурин, тот самый...

— А ты живучий!

— Ты хотел, чтобы было наоборот?

Что-то сосбразив, Грачев сказал без злобы в голосе:

— Мне-то что?

— Ну как же! Теперь вот нам придется говорить.

— О чем?

— Не знаю. Ты обещал. Помнишь, сказал мне: «Когда будешь заходить на третий круг, тогда поговорим»? Я как раз на третьем круге.

Грачев покосился на часового — мол, не стоит при подчиненных, — а Гурину сказал:

— Памятливый ты.

— Опять не нравится?

— Забудь. Нам теперь служить вместе, а это ни к чему. Все помнить — жить будет нельзя.

— Согласен, — сказал примирительно Гурин.

— Ну вот. Какой номер? — кивнул старшина на его сапоги.

— Сорок первый.

Грачев полез куда-то в темноту, вытащил несколько пар сапог. Запахло новой кожей. Старшина отделил пару, бросил Гурину под ноги.

— Надевай. — И снова скрылся в темноту.

Вынес новую шинель из зеленого английского сукна, потом галифе и гимнастерку — шерстяные, офицерские. Новую шапку разровнял изнутри кулаками, как продавец отдела головных уборов, положил поверх шинели. Подумал и достал откуда-то фуражку с лакированным козырьком. Вот не ожидал Гурин! Примерил — как раз впору. Улыбнулся невольно.

— Это от меня подарок, — кивнул Грачев на фуражку. — Чтобы не говорил, что я жадина. Что еще? Да... — И он достал из ближайшего ящика за кончик ствола жирно смазанный «ТТ», положил осторожно на тряпку, сверху примостил два магазина. Вытер пальцы, снял с гвоздя узкий брючный ремень, на котором были нанизаны подсумки и сплюснутые кирзовые кобуры, отцепил одну, спросил: — Ну, кажется, все? — Оглянулся, увидел рулон белой байки, отмотал кусок, рванул с треском — зимние портянки.

— Это тоже от тебя?

— Нет, от наркома. Забирай, дома переоденешься, потом старое принесешь. А автомат сдашь в роту.

— Надо, наверно, расписаться мне за все?

— Ладно, — великодушно махнул он рукой. — Так запомним. Война за все распишется.

— Думаешь?

— Как-нибудь. — Он взял в руки замок, давая понять, что ему пора уходить.

С трудом собрал Гурин новые вещи, понес к себе в землянку. Дома никого не было, и он спокойно смог заняться примеркой и без свидетелей радоваться новому обмундированию.

Оделся и почувствовал, будто что-то переменялось в нем, будто выше ростом стал, сильнее, умнее, увереннее. Сапоги так ловко обтянули ноги, шинелька так приятно сдавила грудь, будто хороший друг обнял, широкий ремень так ладно обхватил талию, что хоть не хочешь, все равно будешь стройным, как балерина. А главное — чувствует он на боку кобуру, будто греет она его. Фуражку примерил — удивительно к лицу она пришлась. Показать бы кому-нибудь в таком виде... «Вот бы Боярскую встретить», — вспомнил он о соседнем комсоре, и мысль эта стала неотвязной и такой желанной, будто Боярская ему свидание назначила. Подмывает его сходить в пулеметный батальон, и мозг уже работает лихорадочно — повод поестественней подыскивает. Перебирает Гурин в голове слова разные, го-

товится заранее к первому разговору — вроде все получается логично, — и не заметил, как ноги уже вынесли его за пределы лагеря и вдали замаячили грибки пулеметного батальона.

У часового возле штаба спросил, не видел ли он комсорга. Часовой показал ему ее землянку:

— Вон ее землянушка. Она, кажется, дома.

Напустив на себя самый серьезный вид, Гурин постучал в дверь.

— Да! Входите! — послышался звонкий голос.

Войдя в полутемную землянку и еще не видя со света, где она, поздоровался:

— Здравствуйте.

— Ой, Гурин! — воскликнула она как-то радостно и удивленно.

А может, ему показалось, что радостно, но что удивленно — это точно. — А я только что о вас думала. Вспомнила вчерашнюю поездку в политотдел.

— А я вот пришел... за помощью...

— Ну и хорошо. Садитесь. — Она подвинула ему грубо сколоченную табуретку. — Это мне комсомольцы мои сделали. Садитесь. — И сама села на постель.

Гурин опустился на табуретку и сразу почувствовал, что сидеть ему неловко и что долго таким образом не просидеть: новое, необношенное обмундирование в разных местах поджимало его и давило. Особенно мешали ему туго затянутый ремень и необмятые сапоги. Табуретка была низкой, поэтому высокие жесткие голенища больно упирались ему в подколенья.

Боярская сидела на постели, смотрела на него и улыбалась, сверкая ямочкой на левой щеке. В платье военного покроя, но без погон, была она очень домашней, уютной в этой маленькой теплой комнатке, слегка пахнущей духами.

— Жарко у вас тут, — сказал Гурин.

— Да, душно. Пойдемте по лесу погуляем? — вдруг предложила она.

На улице валил крупными хлопьями легкий пушистый снежок, было бело, свежо и тепло, пахло молодым снегом. Они шли по нетропутому пушистому ковру, и ноги их оставляли глубокие следы. Вскоре они оказались за пределами лагеря и там, петляя между деревьями, любовались зимним лесом. Сосны и ели в пышном наряде были величественно красивы, и настроение от них создавалось праздничное, новгоднее. Говорили о разном и, как обычно в таких случаях, будто бы незначительном. На самом же деле в каждом вопросе и в каждом ответе обязательно присутствовал еще и другой смысл, подтекстовый, который они прекрасно понимали, но делали вид, что словам своим не придают другого значения, кроме того, которое лежит на поверхности.

В конце декабря состоялся очередной выпуск сержантов и быстрый набор новой группы, поэтому Гурин и Боярская несколько дней не встречались. Но она почти каждый вечер звонила по какому-нибудь делу. Ему уже становилось неудобно перед замполитом и парторгом, когда часу в десятом вечера вдруг прибегал связной и говорил:

— Товарищ старший сержант, вас к телефону. Комсорг из пулеметного просит.

Капитан ободряюще подмигивал, а майор щурился и хрипел с отеческим осуждением:

— Влюбилась девка. Определенно влюбилась...

А под Новый год она позвонила днем:

— Вася, с наступающим! Ты знаешь, что я надумала? Хорошо бы нам Новый год встрестить вместе.

— Но как? — растерялся он и вдруг выпалил: — Приходи к нам. Тебе все-таки проще...

— Ой, что ты! У вас замполит очень строгий.

— Да нет. Это он с виду только такой.

— Ну хорошо, — согласилась она. — После отбоя приду.

Гурин возвратился в землянку и только здесь стал соображать, как сказать своим, что он пригласил гостью. Наверное, надо было с ними посоветоваться? А может, ничего не говорить? Пусть придет будто случайно. Не выгонят. А хорошо ли? Шуру подведет, в неловкое положение ее поставит.

— Шурка звонила? — спросил капитан.

— Да.

— Ну и какую она тебе задачу задала? Почему такой растерянный?

— Я, наверное, глупость спорол, товарищ капитан. Она предложила вместе встретить Новый год, а я взял да и пригласил ее к нам. Как-то так сразу вырвалось.

— Почему же это глупость? Хорошо сделал!

Когда к ним в землянку постучалась Шурочка, у них уже был идеальный порядок и вполне праздничный вид. У самого окошка прямо в землю была воткнута елочка, украшенная мелкими гирляндами из газеты и усыпанная маленькими звездочками и ромбиками из шоколадной фольги. Газетами застлали край капитанской койки — она из всех удобнее — в центре. Открыли тушенку, сала нарезали, хлеба. Кружки вытерли. Одной не хватало, капитан вызвался пить из крышки от котелка. На середине «стола» укрепили в пустой консервной банке белую стеариновую свечу. Есть будут ножами и ложками. Для гостьи приготовили трофейную немецкую складную ложку-вилку...

Шурочка вошла в землянку, растерянно улыбаясь, поискала глазами майора, козырнула:

— Товарищ майор, разрешите? Я по вопросу обмена опытом комсомольской работы...

Майор засмеялся раскатисто:

— Знаем мы ваш обмен! Милости просим, товарищ младший лейтенант Шура. — Он пожал ей руку, помог раздеться.

— Ну что, братцы? — Капитан Бутенко дотянулся до бутылки. — Надо проводить нам старый год. Он все-таки был неплохим, принес нам много радостного. Помянем его добром. — Бутенко разлил водку по кружкам, плеснул себе в крышку.

— Смотри не обидь себя, — заметил майор.

— Посудина непривычная, не поймешь — то ли много, то ли мало. Посмотри, майор, на донышке. А то будешь потом упрекать, — шутил Бутенко.

Чокнулись, выпили, закусили, и наступило молчание.

— Это называется — переломный момент: уже не трезвые, но еще и не пьяные, — сказал капитан, берясь снова за бутылку. — Самое скверное состояние.

Выпили еще — верно, веселее стало, заговорили то по одному, то вдруг все разом. Зашумело застолье.

— Не прозевать бы нам встретить Новый год. — Майор посмотрел на часы. — Приготовь, Бутенко, уже скоро.

Капитан снова наполнил «бокалы», все взяли их в руки, смотрели на майора и ждали команды. Наконец он вскричал:

— Все! Двенадцать! С Новым годом, друзья! С новым счастьем! За победу! За победу в этом, сорок пятом году! Пусть она придет как можно быстрее! И еще... Пусть у каждого исполнятся его личные надежды и желания! С Новым годом, друзья!

Шура и Василий смотрели друг другу в глаза и медленно цедили из кружек уже потеплевшую водку...

Шура вскоре засобиравалась домой. Гурин взглянул на Бутенко, тот разрешающе подмигнул ему, а потом еще и толкнул локтем в бок — мол, не сиди, собирайся. Пока майор ухаживал за Шурой, Гури́н уже надел шинель и нетерпеливо мял в руках шапку.

— Пароль знаете? — спросил вдогонку капитан.

— Знаем, — сказал Гури́н, и они с Шурой очутились на воле.

— Ой, как хорошо! А мы сидим в норе... — сказала она, вдыхая легкий морозный воздух.

Гури́н взял Шуру под руку, она тут же прижала локоть к своему боку, и они пошли. Отойдя подальше от землянок, остановились. Гури́н расстегнул Шу́ре шинель и, поддев руки ей под мышки, прижал ее к себе. Она доверчиво прильнула к нему, отыскала его губы и крепко поцеловала.

— Шура... — прошептал он. — Неужели это правда?

— Да... — шевельнула она губами, глядя ему в глаза.

Шли медленно и целовались через каждую пару шагов...

Дома, несмотря на поздний час, Гури́н долго не мог уснуть — раздумывался. «Вот она, любовь!.. Любовь? Опять любовь... Что же это такое?» Вспомнилась Валя Мальцева. Ведь и там была любовь. Он страдал, мучился. А теперь Шу́рочка?.. Нет, Шу́рочка — это совсем другое, ни с чем не сравнимое. Это...

И Гури́н стал мечтать уже о том, что вот кончится война и они с Шу́рочкой поженятся и поедут жить к нему домой. Он уже и письмо сочинил матери, но написать его пока не решался.

Однажды ночью объявили «в ружье». Гури́н подумал, что это очередная учебная тревога, и собиравался с расчетом на скорое возвращение в лагерь.

— Ничего не забывайте, — приказал майор, убегая в штаб.

Но эти слова Гури́н принял за обычные, учебные. Однако тревога есть тревога, и они с капитаном, как всегда, аккуратно собрали свои вещи, сложили в железный ящик партийные и комсомольские документы, закрыли на замок и понесли к штабу. Там уже стояла повозка, и Кузьмин грузил в нее штабное имущество. Они положили в эту же повозку свой ящик, связку разной литературы, вещмешки, и Гури́н побежал в свою подопечную первую роту. Они с капитаном разделили роты на случай боевой тревоги: Гури́ну достались первые две, капитану третья, четвертая и разведзвод. По давней привычке Гури́н больше находился в своей родной первой роте.

Когда он прибежал, курсанты уже были построены и командиры рот докладывали комбату о готовности. Выслушав доклады, комбат почему-то не спешил подавать команду «шагом марш», обстоятельно расспрашивал у офицеров о вооружении, боеприпасах и тут же приказывал пополнить запас. Похоже, тревога была не учебной...

Наконец колонны тронулись в путь. Вышли на дорогу и взяли направление на город. Да, теперь уже точно вперед, на запад. Гури́н оглянулся на лагерь, подумал: «А как же пулеметный? Идет ли он с нами? Или остался? Или у него другое задание? Там Шу́рочка...» Спросить было не у кого и неудобно...

На западе небо полыхало пожаром, земля вздрагивала от тяжелых, приглушенных расстоянием разрывов.

Гури́н поравнялся с лейтенантом Максимовым, хотел спросить у него о маршруте, но тот опередил его вопросом:

— Ты там ближе к начальству, не слышал куда?

— Нет, не слышал. Все случилось неожиданно.

— Говорят, наши в наступление пошли. Прорвали фронт, Варшаву окружили.

— Думаешь, на Варшаву?

— Не знаю.

Вот она, Германия!

Ночью батальон прошел сквозь спящий, погруженный в темноту польский городок и вышел в поле. Погода была отвратительной — дул сильный ветер, мокрый снег сменился сечкой, дорога сделалась скользкой. Намокшие шинели отяжелели. Курсанты шли молча, устало, втянув головы в отгопыренные воротники.

— Не растягиваться! Подтянись! — время от времени передавалась команда.

И всякий раз после нее в колонне наступало оживление — передние убыстряли шаг, последние догоняли, погромыхая котелками, колонна на какое-то время уплотнялась, но потом снова незаметно растягивалась.

К утру стали уставать, все чаще и чаще спрашивали у командира взвода:

— Товарищ лейтенант, привал скоро?

— Прошли-то всего ничего — уже расхныкались, — бодрым голосом упрекал курсантов Максимов, а сам толкал Гурина в бок, шептал на ухо: — Сбегал бы вперед, поближе к начальству. Что они, в самом деле, думают? Люди устали. И сам я уже еле ноги волоку.

Привал устроили в лесной лощинке, тихой и уютной. Где-то сверху шумел ветер, а внизу было затишно и тепло. Курсанты повалились кто на кусты, кто прямо на припорошенную снегом землю, кто прислонился спиной к стволам высоких сосен.

Но привал был недолгим: только успели переобуться, немного передохнуть — и снова в путь, пока не остыли.

Фронт громыхал впереди все ближе и ближе, и все были уверены, что идут они под Варшаву. Но вот грохот уже оставался справа и похоже было, что они заходят с фланга. Когда же на третьи сутки батальон остановился на короткую дневку в большом польском селе, курсанты перво-наперво стали спрашивать у местного населения дорогу на Варшаву, и поляки неизменно показывали куда-то на северо-восток, где действительно гремел фронт. Но еще сильнее гремел он и слева от них.

— А там что?

— Там — Познань.

Получалось, что фронт был вокруг них. Не попали ли они в окружение? Но командиры были спокойны, и курсанты, позавтракав и посудачив немного, улеглись спать.

Политработники заняли отдельный дом с очень гостеприимными хозяйками. И дети — двое мальчишек и девчонка — и сама мать смотрели на них с радостным любопытством и изо всех сил старались сделать им что-либо приятное. Но они, к сожалению, так устали, что отказались даже от предложенного обеда.

— До вечера, матка, — объяснял хозяйке капитан. — До вечера. А сейчас будем спать. Очень устали.

Она поняла, посочувствовала им.

— Война — тénжка, — сказала она и принесла им свежее белье.

И как они ни убеждали ее, что им не нужно белье, что они и на шинелях отлично отдохнут, она не согласилась с ними и приготовила две кровати: одну Гурина с капитаном, другую майору. После этого, пожелав им «добже спать», увела с собой ребятишек...

Проснулись не от общей побудки, а от приглушенного говора на хозяйской половине: хозяева явно были чем-то возбуждены. Майор поднял голову, прислушался, спросил:

— Что там — случилось что?

Словно дождавшись их пробуждения, дверь в комнату открылась и в образовавшуюся щель просунулась беленькая головенка самого маленького хозяина. На его мордашке был написан такой восторг, будто ему только что подарили дорогую игрушку.

— Пане майже,— сказал он тихо, поглядывая на спящего капитана,— юж Варшава визволено!

— Варшава вызволена? — переспросил майор.— То есть добже?

— Так! — подмигнул мальчишка майору и скрылся.

«Варшава, Варшава» — только и слышалось из-за двери, пока они одевались. А на улице было всеобщее ликование: поляки группами стояли возле ворот, ходили из дома в дом, громко извещая соседей о радостной вести — Варшава свободна! наших курсантов и офицеров на радостях угощали праздничным обедом, оставляли погостить подольше.

Гости не меньше поляков радовались освобождению Варшавы, но праздновать с ними долго не могли. Более того, чтобы курсанты не успели поддаться общему настроению и не напились за компанию с местным населением, комбат приказал срочно построиться — и в путь.

Поляки провожали их весело, и в глазах курсантов стояла нескрываемая тоска: такой праздник остается позади!

Уже на другой день стало ясно, что Варшава осталась в стороне, а они шли строго на запад. Шли днем и ночью, иногда делали броски по пятьдесят и более километров. Гурин уже и счет дням потерял — сколько они находятся в походе? То ли неделя прошла, то ли больше, а кажется, что целая вечность. И погода давно изменилась — стоит теплая, весенняя, словно батальон попал в южные края.

Наконец они, кажется, догнали фронт: его дыхание чувствовалось совсем близко и командиры все больше и больше стали о чем-то совещаться, что-то уточнять; остановки следовали одна за другой, пока они не свернули с дороги и не наткнулись на готовые немецкие траншеи. Командиры взводов развели курсантов по ходам сообщения, заняли оборону, как на передовой. Но той напряженности и нервозности, какая обычно бывает на переднем крае, здесь не было: все ходили в полный рост, курсантам разрешили отдыхать, пули над головой не свистели. Только с наступлением темноты фронт, показалось, приблизился: небо на западе побагровело, видны были сполохи пожаров и даже фонари, подвешенные самолетами. Батальон находился во втором эшелоне.

Утром комбат созвал всех офицеров и объявил, что наши войска перешли старую польскую границу и вступили на территорию Германии. Окружена Познань. Фронт быстро продвигается вперед. Батальону приказано очистить тылы армии от остатков немецких групп в лесах и населенных пунктах. В частности, немецкий пограничный город Лукац-Крейц. Передовые части прошли сквозь него с ходу, вполне возможно, что там еще остались фаустники и пулеметные гнезда. Майор поставил каждому подразделению конкретную задачу и наметил пункт сбора — на западной окраине города.

Центральным направляющим по дороге на город шел разведвзвод лейтенанта Исаева, и Гурин присоединился к нему. Исаев не преминул по-своему откомментировать его появление:

— Мальчики! Теперь не дрейфь: с нами комсорг! — И тут же добавил: — А вообще он парень ничего, я его знаю.

Они вышли на шоссе и, растянувшись в две цепочки, направились в город, который вскоре завиднелся на горизонте островерхими кирхами. Сразу за железнодорожным переездом на обочине дороги был укреплен большой щит с надписью: «Вот она, проклятая Германия!» «И когда только успели?» — удивился Гурин этому щиту.

— Братцы, Германия! — вдруг заорал истошным голосом сержант Грибков, указывая на щит.— Германия! — Лицо его исказилось гримасой радости и яростной злобы одновременно.— Дошел! Братцы, дошел! — Из глаз брызнули обильные слезы, потекли по щекам, но он не замечал их, стоял словно обезумевший, с остановившимися

глазами, с протянутой рукой в сторону щита и твердил одно слово: — Дошел!.. Дошел!..

— Германия! Германия! — подхватили радостно и другие.

Отставшие, не зная еще, в чем дело, заторопились, пустились догонять передних, увидели щит, закричали «ура» и тут же все словно по команде принялись палить в небо из автоматов. Лейтенанту с трудом удалось восстановить порядок, он подбежал почти к каждому, бил по рукам и приказывал:

— Прекратить стрельбу! Прекратить стрельбу!

Мало-помалу утихомирились, и только Грибков что-то яростно топтал, бил каблуками, словно давил ядовитую змею.

— Вот тебе, зараза! Вот тебе!..

Исаев подошел к нему, с минуту смотрел, потом спросил:

— Сержант Грибков! Что вы делаете?

— Проклятую землю топчу — на ней выросла фашистская зараза. Вот тебе, вот тебе!..

— Вы что, с ума сошли?

Грибков поднял на лейтенанта искаженное злобой, заплаканное лицо, прокричал:

— Хуже! Вы видели, что они сделали с моей Гомельщиной? Со всей Белоруссией? Со всей нашей землей, где они побывали? Я заходил в свое село — одни трубы! Отца и мать живьем сожгли, а сестренку еще раньше куда-то угнали... Я поклялся: если дойду — за все рассчитаюсь! За все!

— Возьмите себя в руки, сержант Грибков! Нельзя же так распускаться, в самом деле. Все мы видели и все мы знаем, зачем идем сюда. Вытрите слезы и постройте свое отделение. — Лейтенант вышел на середину дороги, встал по стойке «смирно», скомандовал: — Взвод, становись!

Когда взвод был построен, лейтенант прошел вдоль строя, сказал хмуро:

— Я понимаю ваше состояние — и радость, и волнение. Но распускаться нельзя, в воздух палить патроны рано: вся Германия еще впереди, мы сделали по ней лишь первый шаг. Тут бои предстоят ожесточеннее, чем где бы то ни было: перед концом фашисты будут хвататься за любую соломинку. Это знайте, помните и будьте все время начеку. Если мы раньше времени расслабимся — будет худо. Впереди город. Первое и второе отделения пойдут со мной левой стороной улицы, третье и четвертое — правой. Идти цепочкой, как можно ближе к стенам, смотреть в оба по всем этажам, по всем окнам. — Он обернулся к Гурину. — Ты с кем пойдешь? Может, со второй группой?

— Хорошо, — согласился Гурин.

Они вошли в город. На улицах тихо и безлюдно, как в глухую полночь. Но был день, окна поблескивали чистыми стеклами в лучах яркого и по-весеннему теплого солнца. Несмотря на разбитые кое-где витрины и вывалившиеся на тротуар осколки, город выглядел будто только что выметенным и помытым.

Гурин шел вслед за сержантом Грибковым, шарил глазами по серым каменным этажам, по непривычным — без карнизов — окнам, по островерхим крышам и машинально читал вывески: «Bäckerei», «Schuhmacherei», «Brotbäckerei», «Bier». Напрягая память, старался перевести их, но не сразу соображал, что они значат. И только увидев над входом в металлической рамке бронзовый сапог или нарисованную пивную кружку с большой шапкой пены, догадывался: «Сапожная», «Пиво». Грибков оглянулся на Гурина, сказал со скрипом:

— Ни души. Смылись, гады.

И тут над головой что-то стукнуло — будто кто-то форточку закрыл. Все остановились, Грибков кивнул своему отделению и ныр-

нул в подъезд, Гурин последовал за ним. На нижней площадке лестницы дорогу им преградил убитый немецкий солдат. Грибков перепрыгнул через него, побежал наверх. На втором этаже оглянулся, приказал двум курсантам обследовать комнаты, а сам заспешил выше. На третьем снова оглянулся, еще двух оставил. На четвертом этаже сам вошел в открытую дверь, крикнув предупредительно:

— Хенде хох!

В передней было пусто, на пороге в спальню лежал толстый немец в каске и в зеленой шинели с черным воротником. Грибков переступил через него, заглянул в спальню.

— Никого... Наверное, сквозняк форточкой хлопнул.— Только теперь он посмотрел на убитого. Тот лежал на куче какого-то барахла, которое, видать, нес в охапке, когда его настигла пуля.— О, видал: и у своих ташил, гад! Привычка, что ли?

Они огляделись. Чистота, блеск хрусталя и фарфоровой посуды в шкафу, на полу коврики, белые салфетки на серванте и на столе. Над столом большой зеленый абажур. Прошли на кухню — там пахло свежим кофе. Две маленькие чашечки в блюдечках на подносе стояли на маленьком белом столике. В белой раковине под блестящим медным краном лежали две тарелочки, словно их только что собирались мыть.

— Смотри, старший сержант, теплый еще,— удивился Грибков, потрогав блестящий кофейник на газовой плите.

Гурин приложил руку — действительно, кофейник был теплым.

— Быстро смотались, даже кофеек допить не успели.

Они снова вернулись в зал.

— Жили же гады! Чего им еще надо было? От жира взбесились.— Грибков взял автомат за ствол и ударил раз, другой прикладом по шкафу с посудой. Стекла зазвенели, осколки тонких белых чашек с золотыми ободками посыпались на пол.

— Ну, это ты зря,— сказал Гурин осторожно, помня его истерику на границе.

— Что зря? Что зря? — обернулся он.

— Что в нашем тылу — это уже наше. Трофеи.

— Наше? Думаешь, будем это барахло собирать и раздавать нашим пострадавшим? Черта с два! Да и на кой он мне нужен, этот трофей! Что он, вернет мне мать или отца?

— Не надо. Глупо вымещать злость на вещах,— сказал спокойно Гурин.

— Это фашистское добро! Наверняка награбленное.— Грибков взял за ножку низенькую, обитую ярким бархатом табуреточку.— Видал, на чем сидели? — И он запустил ею в огромное зеркало в углу.— Пошли.

Пройдя город насквозь, они вышли в условленное место, не встретив ни одной живой души.

— Смылись! — зло заключил Грибков, поглядывая на запад.

— Запугали фашисты население — вот все и ушли. Они же в своей пропаганде Красную Армию изображают как людоедов, как живодеров, рисуют нас с рогами, с кинжалами, вампирами.— Гурин попытался объяснить обстановку.

— Запугали! — покосился на него Грибков.— Просто знает кошка, чье мясо съела, вот и убегает.

Собрался весь взвод, подошли курсанты и из других взводов, стали ждать дальнейших указаний. Все возбуждены, делятся впечатлениями. Кое-кто обогатился трофеями: один зажигалочку нашел, другой авторучку, третий подобрал портсигар и теперь выяснял, не серебряный ли он.

Вскоре прибежал связной, под мышкой у него были заостренные фанерки с надписью «Хозяйство Дорошенко». Одну он прибил тут же на столбе острым концом в сторону города и пояснил:

— Комбат сказал, чтобы все туда шли. Штаб на Фридрихштрассе. Вот по этим указателям найдете.

В штабе уже было распределено, какой взвод, какая рота в каком доме размещаются. Политсоставу батальона отвели целую трехкомнатную квартиру в том же доме, где обосновался штаб. Осмотрели новые апартаменты и остались довольны. В спальне стояла огромная, как баржа, деревянная кровать, на ней гора пуховых подушек и одна на другой, две перины.

Гурина не сиделось в помещении, хотелось пройти по улицам, осмотреть как следует город — все-таки Германия! Во дворе начальник штаба инструктировал наряд, он подошел послушать. Наряд был особый: часовые, патрулирование улиц — впервые на вражеской территории, во вражеском городе. Особенно ночью надо быть бдительным.

После инструктажа Исаев раздал патрулям красные повязки. В первую смену шли сержант Грибков и два курсанта. Помимо автомата Грибков повесил на ремень ракетницу — в случае чего подать сигнал. Вместе с патрулями пошел и Гурин.

Патрули вышли за ворота и медленно пошли серединой улицы, поглядывая по сторонам. Квартала за два от них что-то горело — там валил высоко в небо густой черный дым. Они прошли туда — пылал пятиэтажный дом, и пылал он как-то странно: спокойно, без обычной пожарной суеты. Вблизи ни одного человека. Пламя охватывало этаж за этажом, трещали и обрушивались перекрытия, в небо взлетали снопы искр. Огонь яростно гудел, лизал длинными языками из окон наружные стены, искал и находил себе все новые и новые ходы и выходы.

— Горит, — проворчал Грибков. — Гори, гори, зараза, узнай, что это такое.

Дразикмюле

На другой день в городе стало тесно от солдат, от машин, от военной техники. Одни размещались, другие уезжали, третьи катили без остановки через город вперед, на запад.

В штабе батальона тоже было суматошно: часть курсантов отправляли на задание на станцию Дразикмюле. Туда уже начали прибывать воинские эшелоны, но по ночам там небезопасно: мелкие группы немцев, которым удается вырваться из окруженной Познани, лесными тропами, ночами пробиваясь на запад, выходят на эту станцию и нарушают работу тыла.

Дразикмюле — это даже и не станция, а скорее маленький полустанок. Здесь всего всего два дома. Один — узкое и потому казавшееся высоким двухэтажное здание: низ каменный, а верх деревянный. На стене, обращенной к полотну, на белой заплатке черной краской красиво, с готическими завитушками написано: «Drazigmuhle». Другой дом отстоял от первого на некотором расстоянии, ближе к деревенскому поселку, который, чувствовалось, жил своей собственной жизнью, не имеющей ничего общего с этим полустанком: во дворах поселка были настроены многочисленные сараюшки, риги с узкими дверями и широкими воротами, стояли высокие крестьянские телеги, бродили куры. В поселке жили поляки, в этом же поселке расквартировались и курсанты. В станционном доме размещалась только дежурная рота. Отправлялись туда пока что только две роты во главе с начальником штаба Землиным — засветло ознакомиться с местностью и оборудовать позиции на случай нападения. Кроме того, им вменялось в обязанность продолжать подготовку младших командиров. Вместе с этой группой замполит Кирьянов отрядил капитана Бутенко, а Гурина оставил с собой при батальоне.

Однако и батальон в городе оставался недолго. Вскоре по взводу, по полвзвода стали и другие подразделения постепенно перебазироваться в Дразикмюле, хотя там и было относительно спокойно. Нем-

цы, правда, несколько раз появлялись здесь, но наткнувшись на засаду, либо сдавались в плен, либо убегали снова в лес, в бой не вступали. Сдавались обычно малочисленные группы, по три — пять человек. Лишь однажды ночью завязалась длительная перестрелка, утром подобрали нескольких убитых немцев и одного раненого. С нашей стороны потерь не было.

Комбат Дорошенко был недоволен действиями подчиненных.

— Это что ж за война такая? — возмущался он. — Отпугиваем немцев, и все, идите, мол, дорогие, ищите себе проход в другом месте. Ну они и идут, ищут, где послабее, где разрыв, щель, нападают врасплох, убивают наших же солдат. Это не война, товарищи дорогие. — Майор крутил головой, вышагивая по просторной комнате штаба. — Нам не хватает еще, чтобы мы обзавелись трещотками, как сторожа возле колхозных амбаров. Сиди себе в окопе, трещи, оповещай немцев заранее. — Комбат обвел взглядом молчавших офицеров. — Нам надо выманить их из леса и уничтожить. Уничтожить надо вражью силу! А если мы будем только попугивать, долго нам еще придется воевать. Да и нечестно это. Перед другими солдатами нечестно, на которых мы перекладываем свою работу. Вот так. С сегодняшнего дня решительным образом меняем свою тактику: появившийся в нашей зоне уйти не должен — такая задача. Для этого приказываю, — он подошел к карте и карандашом, как указкой, стал показывать где нужно строить засады. — А чтобы уяснить это как следует, сейчас выйдем на место и там разыграем.

Майорский план был прост — вместо одной засады организовать три: две по флангам и одну фронтальную, но последнюю отнести далеко в глубь нашей территории, почти до самого Дразикмюле. Замысел был таков: когда немцы выйдут из леса, наши фланговые засады должны, не обнаруживая себя, пропустить их вперед и потом сомкнуться за их спиной, отрезав таким образом им дорогу для отступления обратно в лес. А впереди у немцев будет стоять фронтальная засада, которая закроет им путь выхода в главном направлении — пересечет шоссе и железную дорогу и далее скроется в следующем лесу.

В засаду ходили обычно по взводу, ходили, как в наряд, по очереди, а еще два взвода составляли тревожную группу. Они тоже покидали свои квартиры и, не раздеваясь, спали в эту ночь в стационарном здании на втором этаже. По сигналу тревоги они должны были спешить на помощь взводу.

На полустанок Гурин пришел засветло, дежурила как раз его родная рота. Взвод Максимов собирался в засаду, и сам он штудировал обязательные теперь фразы: «Немецкие солдаты! Вы окружены! Сдавайтесь, или мы открываем огни! На размышление две минуты!»

С наступлением темноты взвод вышел в засаду. Одно отделение отстало от основной группы сразу же, заняло фронтальные траншеи, второе отделилось чуть позднее — свернуло на правый фланг, — остальные два во главе с лейтенантом направились на левый. Здесь, кроме траншеи, была отрыта просторная землянка, и лейтенант, отрядив двух наблюдателей, укрыл остальных курсантов здесь, приказав им не шуметь и не спать. Подождав с полчаса, пока курсанты утихомирились, Максимов оставил за себя сержанта, а сам вместе с Гуриным пошел к наблюдателям — посмотреть, какая у них обстановка.

За лесом было затишно, но в кронах высоких деревьев стоял такой шум, будто где-то совсем рядом бушевал морской прибой. Временами ветер налетал с такой силой, что казалось: кто-то там, наверху, рвет и полощет большое полотно.

Максимов проверил наблюдателей, еще раз проинструктировал их, наказав быть внимательными и обернулся к Гурину:

— Пойдем в землянку, тут нам делать нечего.

В землянке курсанты, зажав ладонями рты, еле сдерживали смех: Егоров шепотом травил анекдоты. При появлении лейтенанта все умолкли. Максимов проворчал:

— Опять ты, Егоров, свои пошлости рассказываешь?

— Да что вы, товарищ лейтенант? Какие пошлости? Это народный юмор, фольклор. Я, что ли, придумал? Народ!

— А в народе мало пошляков?

— Ну говори, говори,— понукал кто-то нетерпеливо.

— Не... Все, сбили охоту. Старший сержант, почитай про Швейка. Я фонариком посвечу,— попрощал Егоров.

— Интересно ли одно и то же слушать? Я вам другую книжку почитаю,— предложил Гурин.— Чехова.

— Чехова? Это который «Каштанка», «Ванька Жуков»? Хороший писатель, только грустный.

— У него есть и веселые рассказы. Вот я вам сейчас прочитаю. Называется «Руководство для желающих жениться»...

Так они коротали эту ночь — с книжкой, с анекдотами, с рассказами бывалых солдат, рядом с постоянной тревогой. Но тревожились, видно, напрасно: ночь на исходе, а немцев все нет, и теперь они уже ждали не немцев, а рассвета, чтобы уйти в расположение, позавтракать и хоть немного поспать.

Курсанты, уставшие за ночь, притихли, подремывали, а кое-кто даже откровенно похрапывал. Максимов перестал будить сонь, но сам бодрствовал, сменял регулярно наблюдателей и строго-настрого предупреждал глядеть в оба.

— Может, они как раз перед рассветом и пойдут, кто их знает,— напутствовал он курсантов, отправляя на пост.— Они ведь тоже не дураки.

И точно. Не прошло и десяти минут после ухода на пост последней пары наблюдателей, как один из них тут же вернулся и взволнованным шепотом сообщил:

— Товарищ лейтенант, немцы! Много!

— В ружье! — резко, сквозь зубы скомандовал Максимов.— И тихо! Тихо, предупреждаю! За мной!

Пригнувшись, гуськом курсанты побежали вслед за Максимовым. Через пять минут они были уже на наблюдательном пункте. Лейтенант тронул за плечо наблюдателя, спросил:

— Сколько?

— Двадцать семь насчитал... А может, больше. Вон между деревьями,— указал курсант.

— Почему «может»?

— Ну, может, они по два вместе проходили. Отсюда ж не видно. А некоторые назад почему-то возвращались. Вон, вон, смотрите, еще один прошел.

Гурин присмотрелся и без бинокля увидел, как от дерева отделилась еле заметная тень и скрылась за другим деревом. Потом эта тень на минуту снова появилась и быстро исчезла, будто растаяла, на фоне черного подлеска. А правее этого подлеска в снежной мгле маячили словно призраки какие-то фигуры. Если бы курсанты не знали здесь каждый кустик, их можно было бы принять за группу молодых сосен. Но это были немцы. У Гурина холодок пробежал по спине, ладони взмокли, сердце запрыгало, забилося, как у воробья. Он снял с плеча автомат, обхватил гладкую и холодную шейку приклада, мегафон, в который он должен будет призывать немцев сдаваться в плен, положил на бруствер, немного успокоился.

Выждав какое-то время, лейтенант, ни к кому не обращаясь, спросил:

— Все, что ли?

— Кто их знает,— сказал наблюдатель, не отрываясь от бинокля. Максимов опустил бинокль, оглянулся. Гурин протянул руку—

молча попросил у него бинокль и сразу направил объективы правее подлеска и явственно увидел черную толпу немцев, узнав их по характерным закрылкам касок. Толпа студенисто колыхалась в сером мареве, уходила все дальше вперед.

— Скоро наткнутся на центральную засаду,— сказал Гурин.

— Нет, еще далеко. Подождем отставших.

Оставив беспорядочную толпу немцев, Гурин нацелил бинокль на тот промежуток между деревьями, где только что прошел последний немец, а потом стал смотреть левее, туда, где начинался лес,— там была сплошная темень, и тогда он снова навел его на промежуток между деревьями.

— Ну, похоже, все? — опять спросил лейтенант.

И тут Гурин заметил, как вдали кто-то быстро мелькнул в обратную сторону.

— Один назад побежал,— сказал он лейтенанту.— Наверное, заподозрили что-то и бегут обратно.

— Не думаю,— Максимов отобрал у него бинокль и посмотрел на толпу немцев.— Нет. Те пошли вперед,— сказал он.— Видать, связной мотается. А это значит, что в лесу либо охранение оставлено, либо другая группа. Надо ждать.

— Эти могут наткнуться на центральную засаду,— снова напомнил ему Гурин.

— Время еще есть. Будем ждать до последней минуты.

— А вдруг там ребята прозевают? Вдруг они уснули?

Лейтенант резко обернулся к Гурину:

— Ты что? Это исключено!

Помолчали несколько минут, которые Гурину показались вечностью. Он был уверен, что немцы давно наткнулись на центральную засаду, расправились с ней втихую и спокойно уходят. Но Максимов терпеливо ждал. Наконец обернулся к Гурину:

— Наверное, не дождемся. Я возьму отделение и пойду в обход: нельзя их упускать,— кивнул он в сторону леса.— Ты остаешься за меня и действуешь по намеченному плану. Сигналом к действию будет начало стрельбы либо в моей стороне, либо у центральной засады. Только не горячись. Главное выдержка. Да... И сразу же вызывай роту. Вот тебе.— Он передал Гурину ракетницу и сумку с ракетами. Из кармана вытащил еще два ракетных патрона.— Это сигнальные — роту по тревоге поднимешь. Я пошел.— Он надвинул поглубже на голову шапку, сказал сержанту:— Отделение — за мной!

Увел Максимов отделение — сразу как-то пусто стало и тихо. Так тихо, будто весь мир безмятежно уснул крепким предутренним сном и только одни они бодрствуют да вон те немцы, которые уже почти и не видны отсюда и, наверное, думают, что им удастся проскочить. А вдруг удастся? Гурин подошел к наблюдателю, спросил:

— Ну что?

— Никакого движения,— сказал тот же оборачиваясь.

— Смотри пристальней.— И Гурин принялся заряжать ракетницу. Руки у него дрожали: переломив ствол, он никак не мог попасть в казенник патроном. Хотел оглянуться, не видят ли его состояние курсанты, но сдержался, зарядил и только тогда не спеша посмотрел по сторонам будто для того, чтобы удостовериться, все ли на месте.

Но курсантам было не до него, они, как и он, были поглощены наблюдением за немцами: одни смотрели за лесом, другие следили за теми, которые ушли вперед.

Первый выстрел раздался не у Максимова, а у центральной засады, и Гурин тут же выстрелил вверх из ракетницы. Красная ракета взвилась над снежным полем, описала дугу и, не долетев до земли, погасла.

— За мной! — скомандовал он и побежал по краю опушки, чтобы стрезать немцам дорогу к отступлению в лес.

Курсанты заняли заранее подготовленные ячейки, приготовились к бою.

Впереди неистовствовала стрельба и одна за другой взлетали осветительные ракеты. Вскоре они увидели на снежном поле бегущую на них черную толпу немцев. Гурин выпустил осветительную ракету, курсанты дали по ним несколько очередей. При свете ракеты ясно было видно, как немцы попадали на снег и лежали, распластавшись большим черным пятном. От Гурина немцы были еще далеко, и стрельба курсантов была скорее предупредительной, чем прицельной.

Еще не погасла ракета, выпущенная Гуриным, как ей на смену взвилась другая, слева. Теперь немцам стало ясно, что они в западне. Гурин приложил ко рту мегафон и закричал на немецком:

— Солдаты! Вы окружены! Бросайте оружие и сдавайтесь в плен! Не успел он закончить фразу, как над ним пропели одна за другой несколько пуль: немцы ответили пулеметной очередью. «Ого! Что-то будет!..» — подумал Гурин и оглянулся на лес: там ведь тоже немцы и неизвестно еще, кто кого окружил.

В лесу пока тихо. Где-то там пробирается Максимов — на него надежда, что он отвлечет на себя лесную группу.

Освещаемые поочередно с трех сторон, немцы лежали, не принимая никаких попыток вырваться из окружения. Наверное, ждали помощи от своих товарищей, оставшихся в лесу. Гурин передал по цепи — вести наблюдение и за лесом, чтобы на них не напали с тыла. А сам все прислушивался — ждал спасительных выстрелов со стороны Максимова. И когда они раздались, Гурин так обрадовался, что чуть не закричал «ура». Однако радость его была преждевременной. Эту стрельбу услышали и немцы, лежавшие перед ним на снегу. Услышали и, наверное, решив, что это пошли им на выручку их товарищи, поднялись во весь рост и ринулись на гуринское отделение всей лавиной, стреляя на ходу из автоматов.

— Огоны! Огоны! — закричал Гурин, но курсанты и без его команды уже открыли стрельбу.

Немцы залегли. В лесу раздавались редкие автоматные и пулеметные очереди. Гурин выпустил вторую сигнальную ракету — просил помощи от командира роты, а в мегафон торопливо прокричал:

— Напрасные жертвы! Вы окружены! Ваши товарищи в лесу тоже окружены! Сдавайтесь! — И юркнул в окоп, боясь, что немцы пошлют пулеметную очередь.

Но они лежали будто неживые.

Приполз связной от командира роты. От одного его появления Гурин повеселел: «Не одни мы в этой серой мгле». Связной спросил, где Максимов.

— Нет его здесь. В лесу еще одна группа немцев, Максимов пошел в обход, — объяснил он связному. — Передай капитану, чтобы прислал людей сюда и к Максиму. У нас по одному отделению, а немцев только перед нами вон поболее взвода.

Связной убежал, а вскоре, когда Гурин еще никак не ждал ответа на свою просьбу, к нему в окоп спрыгнул Исаев:

— Ну что, Жора? Горячо? Что тут — рассказывай.

Гурин доложил обстановку, Исаев выслушал его и приказал своему помкомвзвода развести «мальчиков» по окопам и занять оборону на два фронта. Теперь в каждой ячейке сидели по два курсанта — один держал под прицелом поле, а другой лес.

В лесу после затишья снова вспыхнула стрельба. Заслышав ее, немцы, лежавшие на поле, ожили. Но теперь они были уже не страшны: народу против них скопилось достаточно и курсанты быстро заставили их залечь.

Стало светать, и немцы на поле проявились, как на фотографиче-

ской бумаге,— они открыто лежали на снегу, и теперь их легко можно было перестрелять.

— Ну-ка крикни им, пусть сдаются,— сказал Исаев Гурину.— Сколько можно лежать?

— Немецкие солдаты! — закричал Гурин в мегафон.— Бросайте оружие и сдавайтесь! Иначе через пять минут откроем огонь.

Какое-то время немцы продолжали лежать, потом зашевелились и один за другим стали вставать и, подняв руки, пошли к ним.

— Сюда нельзя их пускать! — заволновался Исаев.— Тут лес. Пусть идут к станции.

— Стойте! — крикнул Гурин немцам и скомандовал резко:— Кругом! Вперед шагом арш!

Немцы повернулись и пошли в обратную сторону. Когда они удалились метров на двести от своего лежбища, а на снегу осталось чернеть их оружие, Исаев приказал Гурину:

— Бери своих мальчиков и проводи их.— Он кивнул в сторону немцев.— Только будьте осторожны, палец все время держите на курке.

Гурин вылез из окопа и позвал за собой курсантов первого взвода. Растянувшись в цепь, они пошли вслед за немцами и благополучно проконвоировали их до самой станции. Здесь они посадили немцев у здания с подветренной стороны. Среди пленных было несколько раненых, и батальонный врач лейтенант Люся принялась перевязывать их.

Через час или полтора вернулись и все остальные во главе с командиром роты. Они привели такую же группу пленных.

— Потери есть? — спросил капитан Коваленков у Гурина.

— Нет,— сказал он.— А где Максимов?

— Там, несут его...

— Как несут? Почему?

Капитан взглянул на Гурина, и тот понял, что с Максимовым случилось несчастье.

— Убили?

— Нет, ранили. Но тяжело.

Гурин побежал навстречу курсантам, которые несли на плащ-палатке лейтенанта. Лицо у Максимова было землисто-серым, без кровинки, глаза закрыты.

— Петя,— тихо позвал его Гурин.

Тот открыл глаза и, увидев Гурина, виновато улыбнулся.

— В живот...— прошептал он, словно вспомнил их давний разговор.

— Как же это?

Максимов только глазами повел и тут же смежил их: говорить ему было тяжело.

— Обидно... Не дошел до Берлина...

— Ничего, поправишься.

Обидно. Самое обидное было еще и в том, что это была последняя группа немцев, больше курсанты тут уже не встретили ни одного немецкого солдата, а вскоре и сами стали перебазироваться в Ландсберг.

Ландсберг

В Ландсберг батальон перебазировался постепенно: сначала одна рота, потом другая, а последняя сама перебиралась по частям. Дольше всех задержался там разведвзвод во главе с лейтенантом Исаевым.

Сначала, пока в Дразикмюле еще стояло несколько подразделений, батальон жил «на два двора» и между Ландсбергом и Дразикмюле была налажена довольно оживленная связь. А когда там

остался один взвод, связь с ним почти затухла, словно его навсегда передали в подчинение кому-то другому. Даже выпуск сержантов состоялся без разведчиков...

После ландсбергского выпуска в батальоне наступило затишье: старые курсанты ушли, новых набирать почему-то не торопились, и командиры-учителя жили вольно и беззаботно.

Стояли по-весеннему солнечные и теплые дни. Двухэтажный особняк из желтого кирпича, в котором поселились политработники, сверкал чистыми стеклами и, казалось, сам излучал тепло. Уютно, тихо, просторно, светло. Майор Кирьянов, капитан Бутенко и Гурин живут как баре: у каждого отдельная комната, спят в мягких постелях, ходят по мохнатым коврам, завтракать сходятся в просторную столовую, едят и пьют из тонкой фарфоровой и хрустальной посуды. Отдыхают, развлекаются и проводят совещания в громадной гостиной. Здесь глубокие мягкие кресла, инкрустированные слоновой костью столики на гнутых ножках, по углам две белые в золотых разводах вазы, в больших керамических, обитых зеленой глазурью вазах растут под самый потолок цветы.

Капитан Бутенко, не скрывая, наслаждается такой жизнью. Улыбаясь, постоянно восторгается:

— Эх, пожить бы вот так!..

Майор Кирьянов так откровенно не высказывался и обстановку, в которой они жили, принимал как должное. Однако же капитану не возражал, а только усмехался в ответ на его восторги или, когда тот уж больно нажимал на свое: «Жили же, черти! А? Как жили!», — говорил:

— Да кто жил-то? Буржуй. Ведь это особняк буржуя, а не рабочего. Более того, судя по фотографиям, обитал тут какой-то эсэсовский бонза.

— А все равно, майор, мне почему-то в буржуйской постели хорошо спится, — смеялся капитан. И потом снимал все сказанное серьезным замечанием: — Шучу, майор, шучу. Я ж понимаю: это курорт, а не жизнь. Жизнь не может быть сплошным курортом, быстро надоест. Скука. И мы вот тут побарахтаемся в перинах, а завтра, может, уже будем сидеть в окопах.

Гурин своего отношения ко всему этому объяснить не мог. И война, и Германия, и его теперешние условия жизни — все это воспринималось им как сон, и думал он только об одном: «Вот бы побывать дома да рассказать, что видел, что пережил...» Про весь этот огромный мир, который прокрутился перед его глазами за эти два года. Ведь для чего-то же все это ему показывается. Неужели же только для того, чтобы вспыхнуть в его сознании и тут же погаснуть? Не может быть.

Через день Гурина вызвали в штаб батальона.

— Придется тебе, Гурин, в командировку смотаться, — объявил ему комбат. — В Дразикмюле, приведешь сюда разведчиков.

Не прошло и часа, как Гурин, уложив паек в вещмешок, уже шагал по улицам Ландсберга. На окраине города увидел нашу пятитонку и трех военных поляков возле нее. Они грузили какие-то ящики и, закончив работу, стали быстро рассаживаться: двое нырнули в кабину, а третий, в зеленой шинели и в четырехугольной конфедератке (фуражке, похожей на конверт, с жестяным орлом на переднем угле), ступил на колесо и полез в высокий кузов. Когда Гурин подошел, он уже мостил себе в кузове сиденье.

— Эй, пан! — крикнул Гурин ему. — Можно с вами подъехать?

Занятый своим делом, поляк не услышал его, а машина уже взревела мотором — вот-вот тронется. Гурин вцепился руками в задний

борт, готовый одинаково быстро и спрыгнуть на землю и влезть в кузов.

Назвать бы поляка по званию, да не знает он, что означают лычки на его погонах, и Гурин снова крикнул:

— Эй, пан! Можно с вами подъехать?

Поляк обернулся и на чистейшем русском спросил:

— Ты меня, что ли? Да садись. Какой я тебе пан? — И вдруг кинулся к Гурину, схватил его под мышки, потянул в кузов. — Вася! Друг мой! Откуда?

Гурин взгляделся в «пана» и не поверил глазам своим:

— Коля? Хованский? Поляк?

— То напевне так! — гордо произнес тот как взапवादашний поляк.

Машина тронулась, и они, смеясь, повалились на ящики.

— Какими судьбами? Откуда? Куда?

— А ты? Как ты вдруг так перевернувся? — кивнул Гурин на его фуражку с орлом.

Вопросы посыпались — отвечать не успевали, только спрашивали и спрашивали да били друг друга то по плечу, то по коленке. Наконец немного поостыли, угомонились. Хованский осмотрел Гурина, спросил:

— Не пойму: вроде с виду офицер, а погоны сержантские?

— Должность офицерская. Комсорг батальона!

— О,— загудел Хованский,— скоро офицером будешь!

— Да ну,— отмахнулся Гурин, а у самого сладко-сладко заняло под ложечкой.— А ты? Говорил — из русских князей, а оказалось — польский граф?

— Не говори,— засмеялся Хованский.

Увлечшись разговором, Гурин чуть в другую сторону не уехал. Увидел — не туда свернули на развилке, вскочил, забарабанил в кабину. Машина остановилась, они крепко обнялись с Хованским, потом молча посмотрели друг другу в глаза, переморгнулись, и Гурин спрыгнул на обочину. Долго стоял, смотрел вслед уходящей машине. Пока не скрылась, он все махал Хованскому, который отвечал ему поднятой конфедераткой.

Вышел Гурин на развилку дороги, прошел немного, стал ждать попутных машин. А их, как нарочно, ни одной в его сторону. Пройдет немного, оглянется — никого. У развилки еще какое-то движение было, а теперь, когда поворот тот скрылся за горизонтом, совсем обезудело шоссе. Даже жутко сделалось: ни единой живой души. Глянул в одну сторону — бетонка строгой лентой прорезала лес и уперлась в самое небо, глянул в другую — та же картина. И он один маленький и незащитный стоит в самом низу на этой огромной ленте, повисшей от неба до земли, стоит, будто гномик на великанских качелях... До чего опустела дорога! Наверное, стала она уже для наших войск бесполезной: железнодорожные эшелоны теперь идут почти до самого Одера. Потоптался-потоптался Гурин и решил, не теряя времени, идти пешком. Поддернул вещмешок, автомат перебрал с плеча на грудь, затвор оттянул, поставил на предохранитель — мало ли какая встреча может случиться — и пошагал.

Идет, идет, да и оглянется — не догоняет ли какая попутка. И вдруг замаячило что-то на горизонте — бежит какая-то машина. Обрадовался, заранее на обочину сошел, ждет. Вот она ближе, ближе, уже ясно видно, что машина — легковушка, «эмка». Сразу радость потухла: начальство какое-то едет, разве возьмет? Но на всякий случай поднял руку.

Машина промчалась мимо и вдруг затормозила. Гурин бегом к ней. Пока добежал, передняя дверца открылась и оттуда вылез майор в синих диагональных галифе, заправленных в хромовые сапоги. Толстенный, приземистый, суровый — брови хмуро сдвинуты, губы

сведены в недовольную гримасу. «Тыловики,— подумал Гурин.— Не возьмет...»

— В чем дело, старший сержант? — услышал Гурин довольно мягкий, добродушный голос, так не вязавшийся с суровой внешностью майора.— Подвести, что ли?

— Да, товарищ майор. Если можно.

— Далеко?

— Мне надо в Дразикмюле. Но хоть до Лукац-Крейца, а там я пешком дойду.

— Садись.— Майор кивнул на открытую переднюю дверцу машины, а сам полез на заднее сиденье.

Обрадованный Гурин уселся на командирское место рядом с шофером, бросил вещмешок себе под ноги, автомат положил на колени, взглянул на водителя: мол, я готов, можно ехать. Тот подмигнул дружелюбно и тронул «эмку».

Хозяева машины сразу как-то пришлось по душе Гурину, будто это были свои, давно знакомые люди. Шофер — крепкий, откормленный парень: видать, служба у майора для него не очень обременительна и харчем он не обижен. Только обмундирование слишком уж бедненькое: старенькое, хлопчатобумажное, но чистенькое.

— Ты, браток, автомат-то отверни,— сказал шофер и сам отвел ствол гуринского автомата вперед и вниз под приборный щиток.— А то направил мне прямо в живот.

— Он на предохранителе,— успокоил Гурин шофера, однако отвернул ствол подалее от него. Чтобы удостовериться, на месте ли предохранитель, Гурин пощупал его и оставил руку на нем.

— Как же это ты не боишься один разгуливать по Германии? — заговорил бархатным голосом майор.

— А кого бояться, товарищ майор? — немного рисуясь, спросил Гурин.— Немцев здесь нет, мы их вычистили.

— Кто это «мы»? — усмехнулся майор.

Гурин понял, что у него получилось слишком хвастливо, смутился, пошел на попятную:

— Ну, мы — солдаты... Армия наша. Фронт-то вон уже где!

Майор помолчал, потом спросил:

— А в Дразикмюле у тебя родственники? В отпуск спешишь?

Гурин засмеялся — шутит майор, и сам пошутил:

— Да, товарищ майор: целый взвод родственников.— И пояснил:— Взвод наших курсантов там, вот я еду за ними.

— Курсантов? — удивился майор.— Каких курсантов? Училище, что ли?

— Обыкновенные курсанты, товарищ майор,— Гурину не хотелось на эту тему распространяться: выпытает все, а потом скажет: «Эх ты, дурак болтливый! А еще комсорг батальона, в офицеры метишь». Да и зачем? Обычно таких вопросов случайные попутчики друг другу и не задают. А этот — сразу видно: тыловики, все ему интересно. Да и что ему на фронте делать-то с таким бабьим голосом? Он же команду подать не сможет.

— Что-то ты, парень, темнишь,— сказал майор.— Не дезертир ли ты?

— Да вы что, товарищ майор? — Гурина даже в жар бросило. Он взглянул на шофера — тот тоже посуровел. Быстро реагирует на настроение начальства. Гурин обернулся к майору.— Вы всерьез, товарищ майор?

Майор сидел, откинувшись на спинку. Круглое лицо его с розовыми пухлыми щечками лоснилось. Чисто выбритый двойной подбородок закрывал верхние две пуговицы гимнастерки. Он улыбнулся, и губы его искривились в горизонтальную восьмерку.

— А вдруг? — сказал он, не повышая голоса и не гася улыбку.— Покажи-ка документы, браток.

Гурин расстегнул левый карман гимнастерки, достал красноармейскую книжку (в ней же лежало свернутое вчетверо и командировочное удостоверение), передал майору, а сам, обиженный, отвернулся и стал смотреть вперед на дорогу, нервно сжимая шейку автомата.

Майор шелестел у него за спиной бумагой — проверял, — а Гурин сидел и злился. Потом шелест прекратился, и Гурин боковым зрением увидел, как шофер, не меняя позы, слегка кивнул. Гурин подумал, что майор, изучив документы, успокоился, и решил обернуться, чтобы взять их у него. Однако не успел он сделать и пол-оборота, как ощутил резкий обжигающий удар в голову повыше левого уха. Скорее машинально, чем сознательно, Гурин сдернул большим пальцем предохранитель, приподнял насколько смог автомат, потому что шофер, схватив правой рукой за ствол, старался отжать его вниз, и надавил на спусковой крючок. Очередь пришлось шоферу в живот, он дернулся всем телом, машина вильнула, полетела куда-то кубарем, послышался треск, удар, и все в сознании Гурина погасло...

Когда открыл глаза, увидел перед собой двух офицеров. Гурин лежал на земле, а они стояли над ним и казались ему высокими-высокими. Он взглянул на них — и все тут же поплыло перед глазами, словно растворилось в тумане. Во рту пересохло, подступила тошнота, он закрыл глаза, попытался повернуть голову набок и не смог — шею пронзила острая боль.

— Старший сержант, как твоя фамилия? — спросил кто-то.

Гурин понял, что это относится к нему, сказал:

— Гурин... — Однако голоса своего не услышал. Он лишь почувствовал, как лицо его вдруг одрябло, а сам весь покрылся потом. В этот же момент он ощутил у себя на верхней губе влажную холодную ватку, в нос шибануло нашатырем. Ему стало легче: дряблость с лица сошла, тошнота отступила и он снова открыл глаза.

— Ну вот, — сказал старший лейтенант, сидевший на корточках возле него. — Лучше?

— Лучше...

— Фамилию свою п-помнишь? — старший лейтенант слегка заикался.

— Помню... Гурин.

— Откуда и куда вы ехали?

— Не знаю...

— Как?

— Я ехал из Ландсберга в Дразикмюле. А они — не знаю. Они догнали меня на дороге, я попросил подвезти. Они взяли.

— Кто они? С-сколько вас было в машине?

— Их двое... И я...

Старший лейтенант взглянул на стоявшего рядом капитана, потом снова обратился к Гурину:

— Кто они-то?

— Не знаю... Майор и шофер.

— И что п-произошло в машине?

— Ну, майор сначала спрашивал, куда я еду, зачем... А потом вдруг говорит: «А может, ты дезертир? Покажи свои документы». Я показал. а когда обернулся, чтобы взять их, он ударил меня чем-то по голове. Ну, я машинально схватил автомат... Он у меня на коленях лежал. Я испугался, подумал, что это какие-то бандиты...

— Значит, г-говоришь, майор с-с вами ехал?

— Да...

Старший лейтенант снова взглянул на капитана. Тот молча листал гуринскую красноармейскую книжку. Что это именно его книжка, Гурин не сомневался: она у него обернута в серебряную бумагу. В такую же бумагу обернут и комсомольский билет, который, к удивлению Гурина, тоже был в руках капитана. Полистав документы, капитан присел на корточки и стал уточнять подробности: из какой

части Гурина, кем служит, куда едет, зачем, фамилии комбата, замполита.

— Подняться можешь? — спросил капитан и тут же махнул кому-то.

Подбежали два солдата.

— Помогите подняться старшему сержанту, — приказал он, а сам отошел в сторонку.

Солдаты взяли Гурина под руки и поставили на ноги. Ему опять стало нехорошо, перед глазами все поплыло, голова повисла. Старший лейтенант быстро сунул ему под нос нашатырную ватку, Гурин взбодрился. Солдаты подвели его к капитану. Тот стоял возле перевернутой вверх колесами машины и смотрел вниз. Гурин во все глаза пялился на «эмку» и недоумевал: «Неужели это та самая машина, в которой мы ехали? Неужели так может помяться железо?»

— Кто это? — спросил капитан.

Только теперь Гурин увидел лежащего на земле шофера. Он лежал навзничь, губы у него посинели, гимнастерка на животе была пропитана кровью.

— Шофер, — сказал Гурин.

— Как его зовут?

— Не знаю.

— Ну а где же майор?

Гурин двинул плечами, попытался оглядеться вокруг, но шея не поворачивалась.

— Не знаю.

— А был он? Точно помнишь?

— Как же... Был.

— Какой он из себя, в чем одет?

— Толстенький... В хромовых сапогах, в темно-синих галифе... Гимнастерка зеленая, фуражка с блестящим козырьком...

— М-да, — проговорил капитан. — Ну ладно. Ведите в машину, — приказал он солдатам.

Они медленно вышли на шоссе, здесь стояло несколько машин — два «виллиса», одна немецкая «BMW» и крытый грузовик, — солдаты помогли Гурину забраться в «виллис», а сами остались стоять рядом. Минут через двадцать к машинам подошли остальные, и они поехали в Лукац-Крейц.

В город приехали — солнце уже было на закате. Садилось оно огромным красным диском, и небо было багровым. Это Гурин успел увидеть, пока сидел в «виллисе» во дворе какого-то здания, дожидаясь своих спасителей, которые куда-то ходили и что-то выясняли. Вскоре его повели в дом, провели длинным коридором и ввели в небольшую комнату. По предметам, по запаху он сразу признал в ней санчасть. Не успел Гурин усесться на стул, как в комнату вошла вся в белом сестра и молча принялась разматывать бинт с его головы. Размотав его и скомкав, она бросила бинт в таз под столом, потом выстригла волосы у него за ухом, обработала рану и снова забинтовала. Так же молча настроила шприц и сделала ему противостолбнячный укол. Потом сказала:

— Все.

Стоявший у двери солдат кивнул: «Пойдемте» — и пошел вперед. Вывел Гурина в коридор, открыл дверь в комнату напротив перемычочной. Здесь стояла койка, застеленная серым одеялом, тумбочка и стул.

— Раздевайтесь и ложитесь. — И вышел, закрыв за собой дверь.

Гурин с трудом разделся, потому что не мог ни нагнуться без боли, ни разогнуться, лег на жесткий соломенный матрац и уставился в потолок. Все случившееся представлялось ему странным и непонятным, словно было это не с ним, словно видел это он то ли в кино, то ли в кошмарном сне...

Часа через полтора солдат в нечистом халате принес ему ужин. Гурин спросил у него, где находится туалет, солдат нехотя буркнул что-то и указал рукой в дальний угол, а сам тут же вышел, щелкнув дверным замком. Гурин взглянул в угол — там стояла параша, глянул на окно — там была решетка из толстых прутьев, и ему сразу расхотелось в туалет. К еде он тоже не притронулся. Самые мрачные мысли заполонили голову: «Значит, будут судить: убил человека... А ты что же, думал, так легко оправдался? «Бандиты...» Ударил-то майор, а ты убил шофера... Но почему майор ударил? И куда он девался?.. Все, жизнь теперь пропала. Домой сообщат маме: «Осужден». Стыд-то какой, позор какой на ее голову! И Алешке теперь ходу не будет, подвел братец...» Этими тревожными мыслями он маялся всю ночь.

Утром к нему пришел вчерашний старший лейтенант. Хотя и был он без шинели и без фуражки, но Гурин все равно его узнал и почему-то обрадовался, как родному: он дольше и мягче других разговаривал вчера с ним. Старший лейтенант подвинул стул, сел, положив локоть на тумбочку. Чернявенький, с крупными, близко посаженными немного раскосыми глазками, с длинным крючковатым носом и двумя резкими линиями у рта, сегодня он выглядел злым и жестоким. Однако, помня его вчерашнего, Гурин улыбнулся ему, как доброму знакомому.

— Как самочувствие? — спросил старший лейтенант.

— Болит все, особенно шея и голова, повернуться больно; — пожаловался Гурин.

— Ничего, заживет, — успокоил тот и, не меняя голоса, а только чуть прикрыв веки и выгнув подбородок, спросил: — Ты хорошо помнишь, что вчера произошло?

— Да.

— Кто еще был в машине, кроме тебя?

— Шофер и майор.

— Майор? К-какой он из себя?

— Толстенький...

— Приметы, особенности к-какие-нибудь запомнил? Родинку на щеке или еще что-нибудь особенное?

— Никаких родинок не заметил. Голос у него тихий, вроде как у бабы... Ну, не тихий, а такой слабый какой-то.

— Так. Еще что ты заметил в нем особенного?

— Когда улыбается, губы у него как-то посередине сжимаются, а по краям расширяются, рот получается восьмеркой.

— Так. Еще что?

— Больше ничего...

— Ты где сидел?

— Впереди. Рядом с шофером.

— У тебя вещи были?

— Вещмешок...

— Что было в вещмешке?

— Банка тушенки, кусок хлеба и грудочка сахара.

— Что из вещей было в машине? Что ты видел?

— По-моему, на заднем сиденье лежала шинель... Да-да, точно, рядом с майором. Больше ничего не видел.

— Зачем ехал в дразикмюле?

— Там наш взвод курсантов остался. Вот я за ними и ехал.

— Как фамилия командира взвода?

— Исаев. Лейтенант Исаев.

— Ну ладно... — Старший лейтенант дернул крючковатым носом, повторил: — Ну ладно. — И встал.

— Товарищ старший лейтенант, — обратился Гурин к нему, — а нельзя ли как-нибудь передать лейтенанту Исаеву, чтобы они пере-

базировались в Ландсберг? А то там будут ждать, а он же ничего не знает.

— Подумаем,— сказал он. — Моя фамилия Чикин. Если вспомнишь что-то еще, п-позови...

Дня три уже прошло, как Гурина положили в зарешеченную палату. Его лечили и каждый день, а иногда и дважды на день допрашивали. Спрашивали почти одно и то же, лишь с некоторыми вариациями. Гурин понимал, что это нужно для дела, и с покорностью виноватого отвечал на все вопросы.

К концу недели Гурин более или менее оправился. И хотя голова все еще гудела, как колокол, и нельзя было без боли повернуть шею, он тем не менее уже ходил без посторонней помощи. И старший лейтенант Чикин уже не приходил к нему, когда он ему был нужен, а вызывал к себе в кабинет.

Однажды Чикин, вызвав Гурина, усадил его на знакомый уже ему стул, стоявший на некотором расстоянии от стола, и долго смотрел на него молча. Потом, прикрыв веки и вытянув подбородок (была у него такая привычка, перед тем как что-либо сказать), спросил:

— Н-ну что, брат?

И сам вопрос, и голос, и «брат» — все было необычным в их общении. «Значит, дело мое швах, — почему-то решил Гурин, услышав дружеские нотки в голосе Чикина. — Жалеет...»

Последние дни настроение у Гурина было и без того подавленное, будущее рисовалось ему в самых мрачных красках, хотя он и подбадривал себя, выискивая смягчающие вину обстоятельства: испугался, оборонялся... Однако сам чувствовал, что это детский лепет по сравнению с тем, что сделал. А сделал он самое страшное, самое непростительное: убил человека...

Взглянув на Чикина, Гурин ждал уточнения вопроса. Не дождавшись, сказал:

— Скорей бы уже судили, что ли...

Чикин еле заметно улыбнулся.

— Вы, я чувствую, не верите мне, спрашиваете об одном и том же... — Гурин опустил голову.

Чикин молчал.

В дверь стукнули, и в кабинет вошел... лейтенант Исаев! Вид у него был более, чем обычно, франтоватый: хромовые сапожки сверкали зеркальным блеском, на галифе рубчики вытужены по всем правилам портновского искусства, гимнастерка новенькая, в левой руке мягкие лайковые перчатки. Гурин вскочил было, но Чикин жестом остановил его. Исаев доложил. Чикин встал, подал ему руку и, не отнимая ее, кивнул на Гурина:

— Вы знаете этого человека?

Исаев оглянулся, и Гурин по его глазам понял, что тот не узнает его. Наверное, забинтованная голова делала Гурина неузнаваемым. Василий кисло, с упреком улыбнулся ему. И вдруг Исаев кинулся к нему, схватил за плечи.

— Гурин? Что с тобой? — И, не отпуская его, обернулся к Чикину. — Что с ним случилось? Это же наш комсорг!

— Точно?

— Ну! Я его знал еще до учебного батальона, он у меня в роте автоматчиков был на фронте. Верно, Жора?

И это «Жора», и то, что он увидел лейтенанта Исаева, и то, что тот узнал его, так обрадовало Гурина, так растрогало его, что он не мог говорить. Он только кивнул Исаеву — верно.

— Так что все-таки случилось? — не унимался Исаев.

— Бандиты... — выдавил Гурин.

— Сядь, л-лейтенант. — Чикин указал Исаеву на свободный стул. — Н-никакие это не бандиты. Это н-немецкие разведчики.

— Как? — удивился Гурин. — Нет, это русские были.

— Ты с-слушай меня,— сказал Чикин, а сам обернулся к Исаеву.— Он, в-видать, в рубашке р-родился. Его немецкие разведчики чуть не ухлопали.

— Но зачем я им? — недоумевал Гурин.

— Это п-пока не очень ясно. Д-думаем, они охотились п-прежде всего за настоящими д-документами. Запомните оба: об этом нигде ни звука, тем более что «майор» твой еще где-то г-гуляет на воле. Будут с-спрашивать, что с головой, говори — упал, с-споткнулся. Ясно? — Чикин встал, выглянул в коридор, приказал кому-то: — Принесите вещи Гурина.

Вскоре солдат принес и положил Чикину на стол гуринский вещмешок, автомат, пояс с кобурой и отдельно пистолет.

— Твое? — спросил Чикин.

— Мое,— обрадовался, как старым друзьям, своим вещам Гурин.

— Проверь, проверь. — Чикин достал из ящика стола гуринские документы, положил рядом с вещами.— Возьми. И береги. Все. М-можете быть свободны. — Он протянул руку Исаеву, потом подошел к Гурину. — Ну, б-бывай, комсорг. П-пока тебе очень с-сильно повезло. Так и считай — п-повезло.

Они вышли с Исаевым на улицу. Пригревало по-весеннему солнышко. Свет резанул по глазам, Гурин сощурился от непривычки, ощупью спустился со ступенек. Исаев повел его в ближайший переулок, где, прижавшись к развалинам, стояла приземистая, с открытым брезентовым верхом немецкая «декавушка» (так звали тогда машину «DKW»). Он открыл дверцу, указал Гурину на заднее сиденье, а сам сел рядом с шофером. Откинулся картинно на спинку сиденья, скомандовал шоферу:

— Давай, Жора, жми на все педали.

На другой день рано утром взвод лейтенанта покинул Дразикмюле и ушел на Ландсберг. Впереди катила «декавушка», в которой, кроме шофера, сидели лейтенант, Гурин и военврач Люся, а за ними пешим ходом тянулись курсанты. Но идти им долго не пришлось, Исаев уломал первого же попутчика и усадил всех своих «жоржиков» в огромный «студебеккер», который и довез их до самого Ландсберга.

На чужой земле

Когда Гурин вместе со взводом Исаева вернулся в Ландсберг, свой батальон там они не застали, он перебазировался в лесной лагерь в нескольких километрах от города. «Опять в землянки», — досадовал Гурин, проходя мимо солнечного особняка, в котором уже обитали новые хозяева.

Но досадовал Гурин напрасно: лагерь оказался на редкость добротным и благоустроенным, особенно батальонные службы и жильё для офицеров — все это размещалось в капитальных, хотя и деревянных домиках с широкими окнами и просторными комнатами.

Идет Гурин по лагерю, настроение у него хорошее (домой вернулся!), футболит старые сосновые шишки, ошетилившие чешую и оттого похожие на маленьких ежей. И вдруг видит: бежит ему навстречу Шульгин, полы серого плаща полощутся на ходу. Узнав Гурина, он еще издали скривил рот в ехидную полуулыбочку, кивнул на повязку:

— Видать, крепко хватил?

— Да, было дело.— ответил Гурин тоном заправского выпивохи.

Шульгин, наверное, думал, что Гурин станет отрицать его догадку, оправдываться, но, услышав обратное, даже остановился, опе-

шив от такого быстрого признания. А Гурин вдобавок еще и подмигнул ему по-приятельски, будто они вместе не раз «хватали». Подмигнул и пошел дальше. Оглянулся, а Шульгин все стоял и качал головой, словно ошарашенный.

Вечером Гурин получил письмо от матери. Как всегда, он не мог читать его спокойно. В конце письма она сообщала: «А тут на днях приходили и все расспрашивали о тебе и все записывали. И у соседей расспрашивали: чем занимался при немцах, где работал, что делал, с кем дружбу водил. Я так перепугалась, что и до сих пор места себе не нахожу. Что это такое? Зачем? Может, с тобой что-то случилось? Сыночек мой дорогой, напиши мне все про себя, не скрывай. Я мать твоя, мне надо все знать. Прошу тебя — ответь поскорее».

Прочитал Гурин письмо и усмехнулся: «Ну какая же мама странная! И чего испугалась? Обычное дело: я на офицерской должности, а теперь, наверное, хотят звание мне присвоить, вот и послали запрос. Офицер — дело серьезное». Тут же написал ответ, объяснил матери все как думал — ее успокоил и себя взбодрил, на душе сделалось радостно, будто и впрямь уже офицерские погоны у него на плечах.

В эти дни почта принесла газеты и среди них «Правду», в которой была напечатана статья Александра «Товарищ Эренбург упрощает». Гурин удивился: что же он упрощает? Всю войну запоем читали его статьи и вдруг — упрощает. Набросился на статью, прочитал. Раз прочитал, другой, смотрит на майора — что тот скажет. А сам хоть и любил статьи Эренбурга, а чувствует: прав Александр. Поднял голову майор, постучал пальцем по газете:

— Довести до каждого курсанта. Читать и разъяснять! Очень своевременная статья. И правильная!

А вслед за «Правдой» прибыл в батальон и агитатор из полка — тот самый майор, который приезжал к ним в Молдавии.

На этот раз курсанты не сидели, как в молдавском лесу, а стояли полукругом по команде «вольно» и слушали майора, который разъяснял, почему Эренбург не прав: нельзя отождествлять весь немецкий народ с фашизмом, это в корне неверно.

— Александр сам упрощает! — выкрикнул кто-то из задних рядов. — Их всех, гадов, надо передуть, все они хороши!

— Нет, товарищи, нет... Наша задача победить фашизм, осудить и наказать виновных. Нельзя весь народ стричь под одну гребенку. Среди немцев есть честные люди, коммунисты.

— Теперь каждый будет выдавать себя за коммуниста! Знаем! Стреляет, гад, до последнего, а как схватишь за шкурку, сразу орет: «Гитлер капут!»

— Точно! — по рядам прокатился смешок.

— «Судить!» Будто кому-то надо еще доказывать их вину! Жгли, вешали, стреляли, душегубками травили, в печах сжигали, в лагерях морили! Все они виноваты! Все они за Гитлера, паразиты! Устроить им то же, что они у нас, — вот и весь суд!

Майор выдержал паузу, продолжал спокойно:

— В том-то и дело, товарищи курсанты, что именно этого-то и нельзя делать. Неправильно валить в одну кучу весь немецкий народ и фашистскую партию. Мы освобождаем немецкий народ от фашистской чумы и должны вести себя так, чтобы завоевать у немецкого народа доверие...

— «Доверие!» Ха-ха! Бить гадов до одного! «Доверие!»

— Начинается жалельня!

Майор Кирьянов не выдержал, вышел вперед.

— Извини, товарищ майор. — И, насупив брови, обратился к строю: — Что это за выкрики? Вы где находитесь? В армии или на колхозном собрании? Товарищ майор приехал, чтобы разъяснить вам

политику Советского правительства в отношении Германии. Политику! Которую мы с вами должны проводить в жизнь. Должны! А вы? Нехорошо!

Курсанты притихли, но по всему было видно — не очень им по душе эта беседа.

Офицеры — командиры рот, взводов, замполит, парторг и Гурин — стояли позади лектора и слушали его внимательно: это было интересно. Незаметно и неслышно, будто на мягких лапках, к ним подошел старший лейтенант Шульгин, встал рядом с Гуриным и тайно и строго прошептал ему: «Пойдем со мной» — и, отойдя в сторонку, нетерпеливо оглянулся, идет ли он.

— Что случилось, товарищ старший лейтенант?

— Это я у тебя должен спросить, — бросил он сердито. — Поедешь со мной в отдел. Вызывают.

— Меня? В отдел? Зачем?

Шульгин криво усмехнулся:

— Я чувствовал, что за тобой какой-то хвост тянется.

— Нет, товарищ старший лейтенант, плохой у вас нюх: никаких хвостов у меня нет.

— А оккупация? Без следа?

— Без следа. У вас было достаточно времени проверить.

— Вот, наверное, и проверили. Просто так туда не приглашают.

И хотя за ним действительно никаких хвостов не тянулось, он все же упал духом.

— Садись, — кивнул Шульгин. На немецкой территории он, как и многие другие, обзавелся транспортом и пешком теперь не ходил. У него была резвая серая лошадка и легкая двуколка.

Гурин ступил на металлическую ребристую ступеньку, сел. Шульгин дернул вожжами, и лошадка покатила их легкой рысью.

В Ландсберге, не доезжая квартал до дома, где расположен отдел, Шульгин привязал лошадь к забору, и дальше они пошли пешком. Так все делали, у кого был незаконный транспорт — машина, мотоцикл или лошадь.

В отделе их принял старший лейтенант Чикин. Руки он Гурину не подал, но заговорил приветливо, спросил:

— Ну-ну, как г-голова, Гурин?

— Пока цела. Скоро совсем заживет.

— Это х-хорошо.

Гурин понял, что его вызвали по тому делу, которое случилось с ним во время командировки в Дразикмюле, и немного взбодрился, хотя тоже приятного мало, но радовало, что Шульгин остался в дураках: далась ему эта оккупация.

— П-посидите немного, — сказал Чикин и вышел.

— Ты что, с ним знаком? — спросил Шульгин.

— Да... Встречались как-то, — сказал Гурином небрежно.

Шульгин ухмыльнулся, но спрашивать больше ничего не стал.

Через какое-то время возвратился Чикин и позвал Гурина с собой, а Шульгину сказал, что его зовет к себе подполковник. Они прошли в конец коридора, там у часового свернули направо, спустились по ступенькам вниз, миновали еще одного часового и очутились в подвале. Здесь по обе стороны в стенах было несколько массивных дверей с широкими задвижками и закрытыми квадратными форточками на уровне глаз. Гурином понял, что это за двери, и ноги его сделались ватными: «Неужели посадят?..» Возле одной двери Чикин остановился и, обернувшись, сказал:

— Сейчас посмотришь в глазок. Только смотри внимательно. И кого узнаешь, скажешь. — Он бесшумно сдвинул круглую заслоночку на форточке и кивнул Гурином. — Давай смотри.

Гурином прильнул к глазку и увидел у противоположной стены че-

трех человек. — двух майоров, капитана и старшего лейтенанта. Они были хорошо освещены и сидели прямо, будто их фотографировали на паспорта. Гурин хотел начать изучение с крайнего левого, как вдруг лицо одного майора, второго справа, показалось ему знакомым. «Точно, это же он, майор из «эмки!» Гурин оглянулся на Чикина, тот, приложив палец к губам, спросил тихо:

— Узнал кого-нибудь?

— Узнал! — прошептал Гурин. — Узнал! Он, тот самый майор из «эмки»!.. Он, он! Второй справа.

Чикин заглянул в глазок.

— Посмотри еще раз в-внимательно, м-может, не он?

Гурин посмотрел. Нет, сомнений быть не могло: он узнал бы его даже среди сотни майоров.

Они вернулись в кабинет, Чикин снял трубку полевого телефона и коротко доложил кому-то:

— Товарищ м-майор, г-говорит Чикин... Да, опознал. — Выслушал что-то, сказал: — Хорошо. — Потом крутнул ручку другого телефона, приказал в трубку: — Чикин это. Приведите ко мне Мухина. — Положил трубку, заходил по кабинету.

Минуты через две в комнату ввели гуринского знакомого. Чикин прошел к столу, но не сел, стоя спросил у вошедшего, указав на Гурина:

— Вы знаете этого человека? Встречались с ним когда-нибудь?

Гурин медленно поднялся, зачем-то оправил гимнастерку. Майор посмотрел на него, глаза его на мгновение вздрогнули, но тут же успокоились, и после этого он долго, с равнодушным спокойствием угадывал Гурина. Наконец сказал:

— Нет. Первый раз вижу.

— А ты? — Чикин обратился к Гурину.

— Встречал, — сказал он.

— Где?

— Это тот самый майор... Они ехали на «эмке», я попросил подвезти, они взяли...

— Так, — остановил его Чикин и спросил у Мухина: — Припоминаете?

— Нет, — сказал тот твердо.

— Может, п-повязка на его голове мешает?

— Нет, — повторил тот.

— Продолжай, Гурин.

— Ну, они взяли. Потом майор, — Гурин кивнул в сторону Мухина, — сказал: может, я дезертир — и потребовал документы...

— Стоп. И этого не п-помните?

— Нет, — стоял на своем Мухин.

— Дальше, Гурин.

— А потом, когда я стал поворачиваться, чтобы взять у него документы, он ударил меня чем-то по голове. Я схватил автомат и стал стрелять...

— И теперь не вспоминаете?

— Нет.

— Зачем вы отпираетесь, Мухин? Неужели в-вы д-думаете, что этот эпизод играет важную роль в вашем д-деле? У нас д-достаточно против вас д-других улик и д-доказательств.

— Вы что же, хотите, чтобы я действовал по тому анекдоту, когда прокурор, закончив дело, попросил обвиняемого: «Слушай, говорит, тебе все равно теперь сидеть, так ты заодно уж убей и мою тещу»? — Мухин заулыбался, и Гурин не сдержался, закричал Чикину:

— Смотрите, смотрите, как он улыбается! Ну? И голос бабий! Он же это, он!

— Успокойся, Гурин. — Чикин взглянул на Мухина. — Да, в-восьмерочка что н-надо. И голос. Все т-точно. Мухин, у меня к вам в-вопрос: з-зачем вы хотели его п-прикончить?

— Шоферу нужны были настоящие документы, — сказал тот как ни в чем не бывало.

— Я т-так и з-знал... — Чикин сел и принялся что-то писать. Написав, подозвал Гурина. — Прочитай и п-подпиши протокол очной ставки.

Гурин подписал.

— И вы, Мухин.

Тот подошел к столу, взял протокол, внимательно прочитал и молча черкнул свою подпись.

— Уведите, — приказал Чикин солдату, стоявшему у двери. И, когда Мухин ушел, вздохнув, посмотрел на Гурина, качнул устало головой. — Поймали все-таки г-голубчика... Ну, теперь м-можешь быть свободен. В коридоре подожди старшего лейтенанта Шульгина.

На обратном пути Шульгин долго ухмылялся и хекал, прежде чем упрекнул Гурина:

— Что же ты не рассказал мне ничего об этом деле?

— Не велено было.

— Ха! «Не ведежо!» Смотря кому, мне-то можно.

— Не знаю. Это оговорено не было.

— Ха! — крутил тот головой. — И все-таки я тебе не верю, Гурин. Как же так? Ты такой разумный, комсомолец, а немцы тебя ни разу за два года не тронули. Одно из двух: либо ты работал на них и потому остался жив, либо... А?

В лагерь они вернулись поздно вечером. Майор Кирьянов и капитан Бутенко уже были дома, отдыхали.

— Ну что там? — нетерпеливо спросил майор.

— Да это... с этим делом. — Гурин указал на забинтованную голову. Досада, обида после разговора с Шульгиным давили его, опустошали, ему хотелось куда-то убежать, туда, где его совсем не знают и где он сможет быть самим собой. Но в войну куда убежишь?

— Товарищ майор, отпустите меня на фронт.

— Опять? — Кирьянов сердито пожевал губами, махнул рукой. — Иди ложись.

Капитан пропустил Гурина в свою комнату, закрыл дверь, пихнул Гурина на койку, навис над ним, широкое лицо его было растянуто в какую-то растерянную улыбку.

— Васька, черт! Ты чего психуешь? Брось ты! Ведь ты такой парень! Тебя курсанты любят, начальство души в тебе не чает — что комбат, что наш Кирьяныч. И смелости тебе не занимать и стихи умеешь сочинять. Если бы мне хоть один стишок сочинить! — Он засмеялся. — Брось! Давай выпьем? У меня там НЗ где-то есть. — Бутенко метнулся к своей койке, вытащил вещмешок, извлек из него немецкую фляжку, качнул над ухом и, услышав всплеск жидкости, обрадовался: — Есть! — Разлил в кружки, поднес Гурину. — Ну? За все хорошее! — прошептал капитан, оглядываясь на дверь, будто боялся, что майор услышит.

В батальон привезли фаустпатроны, и расписание занятий было немного изменено. Вместо отработки тем «Уличный бой в городе», «Штурм крупного населенного пункта» и других принялись за овладение трофейным оружием.

А вечером на совещании офицеров комбат объявил:

— Сегодня с наступлением темноты мы снимаемся и уходим на передовую в город Кюстрин, — сказал комбат сурово. — В связи с этим приказываю...

Кюстрин

Оборону в Кюстрине батальон занял в самом городе, на правом берегу Одера, как раз напротив старой крепости, в которой все еще сидели немцы, несмотря на то, что наша армия вышла на левый берег и постепенно расширяла плацдарм.

До этого здесь уже держала оборону какая-то часть, и поэтому курсантам достались готовые траншеи и ходы сообщения. По всему видно, тем, кто пришел сюда первым, было несладко: в каменной мостовой, в асфальте пробить столько нор, столько ходов — дело нешуточное. Видать, попотели солдатики, поработали на славу. Зато теперь курсанты довольны, спасибо говорят пехоте.

Быть в обороне в городе за всю войну Гурину еще не приходилось, и поэтому ему все здесь было в диковинку. Особенно то, что в трех шагах от передовой можно безнаказанно гулять во весь рост по улицам города. Пройдет ходом сообщения, за углом дома вылезет на поверхность и идет себе по своим делам. Если, конечно, арналета нет. Идет пустынными улицами, мимо развалин, мимо сгоревших домов с черными глазницами окон, вдоль уцелевших кварталов. Особенно ему нравилось ходить улочкой, чудом сохранившейся среди всеобщего разгрома. Окна и вывески целехоньки, даже тротуары чистенькие, будто по ним только что дворник метлой прошелся. Теплое апрельское солнце играет в стеклах витрин — такое впечатление, будто войны и в помине нет, а он приехал в город слишком рано, когда еще и магазины закрыты и люди спят... Эта улочка была на пути, если идти из КП батальона в расположение первой роты, а в третью надо было пробираться кривыми лабиринтами развалин, через кучи кирпича, сквозь огромный сгоревший дом с опасно провисшими потолочными перекрытиями. Да и в остальные роты пройти было ненамного легче, но первой повезло — ей достался кусочек невредимого города.

Все эти пути-дороги Гурин изучил, как свою школьную стежку, — ходил по ним и днем и ночью, и в спокойные часы и во время арналета. Носил в роты газеты, проводил собрания, беседы. Иногда ходил с капитаном Бутенко, реже с майором Кирьяновым, а чаще всего один.

Дневные хождения эти были ничего, терпимы, а ночью было страшно. Особенно поначалу, когда еще к месту не привык. Темень, кругом черные нагромождения развалин, ночью они кажутся совсем другими. Улицы в темноте будто сужаются, изгрызенные снарядами и бомбами стены увеличиваются, кажутся зловещими на фоне затянутого тучами неба. То и дело возникают какие-то тени, похожие на немцев. Увидит вдруг такую тень, затаится, неслышно поднимет автомат и ждет. И «он» ждет. И только когда то ли луна выглянет из-за туч, то ли очередная ракета высветит все вокруг, поймет, что напугавшая его тень всего-навсего высокий пенек от срезанного снарядом дерева. Выругается с досады на себя, вытрет пот со лба, успокоит дыхание и бежит дальше. И вдруг покажется ему, что второпях сбился с дороги, не на ту улицу вышел — заблудился! И начинает метаться, пока не возьмет себя в руки, не остановится и не сориентируется: передовая слева — значит, север впереди, он шел так, потом так, потом повернул направо... Все правильно. Но откуда эта знакомая улица? Совсем незнакомая... Уговаривает себя: «Главное, без паники, спокойно. Пройду вперед до первого перекрестка и поверну». А еще не доходя до перекрестка, неожиданно узнает здание, сквозь которое ему нужно пройти. Самый приметный ориентир. И сразу становится легко, и все страхи остаются позади, и он идет уже совершенно свободно, будто по родному поселку. Вот и НП роты, сейчас часовой окликнет. И точно — такой родной, такой желанный, такой спасительный окрик:

- Стой! Кто идет?
- Свои.
- А, комсорг! Какие новости? Скоро на Берлин двинем?
- Скоро.
- Точно знаешь?
- Пока неточно.
- А союзники как там? Говорят, они хотят первыми Берлин захватить? Не имеют же права!
- Сменишься — побеседуем.
- Ладно.

Беседы, беседы... В них теперь нужда была как никогда раньше. Близился конец войны — все это чувствовали, знали, понимали. Еще один рывок, только один, последний! Но когда он начнется, этот рывок, скоро ли? В то время, пожалуй, трудно было найти солдата, который с нетерпением не ждал бы нового наступления: сколько их было, наступлений, и наконец — последнее! А пока держали оборону, перемалывали кучи разных догадок, слухов, известий, непонятно как проникавших в окопы. Здесь были новости с других фронтов, из других стран, даже из «логова фашистского зверя» — с подробностями, с деталями, и все это горячо обсуждалось и все это требовало разъяснения и правильного толкования...

В день наступления Гурин, как обычно, направился в свою роту. Когда он вошел в подвал, где размещался НП, капитан Коваленков как раз закончил ставить боевую задачу командирам взводов и те, пряча карты в планшетки, торопливо уходили. Поздоровавшись, Гурин тут же повернулся к выходу, чтобы со взводным пройти на огневую, но капитан остановил его:

— Подожди, вместе пойдем. — Снял с крючка, вбитого в стену, автомат, повесил на плечо. — Вдовин, за мной, — приказал он связному, молоденькому белобрысенькому солдату.

На улице было тепло, солнечно. Весна, совсем весна! Коваленков поддернул автомат, пошел не спеша вдоль улицы. Остальные тоже не спеша, вразвалочку один за другим поплелись следом. Будто и не на передовую шли, а так, опьяненные весной, брели куда глаза глядят.

Добрались до переднего края. У лейтенанта Бескорвайного, командира первого взвода, который был прислан в роту вместо Максимова, Коваленков спросил:

— Как ведут себя немцы?

У Бескорвайного светлые брови низко надвинуты на глаза, правая щека чуть толще левой, отчего и рот немного сдвинут на левую сторону. Но лицо не выглядит уродливо, оно лишь кажется суровым, что совсем не лишнее командиру на войне.

— Хорошо ведут себя немцы, товарищ капитан: стреляют редко и неточно, — Бескорвайный улыбнулся, и от его суровости ничего не осталось.

— Плоты наши не разбили?

— Нет. Отсюда, правда, не видно: они внизу, под нами. Но, думаю, целы. Мы их ночью хорошо замаскировали.

— Молодцы.

Гурин прошел по траншее и на перекрестке ходов сообщения наткнулся на курсантов. Они в самых непринужденных позах сидели на дне траншеи, разомлев от весеннего солнышка.

— Загораем, славяне?

— А что делать, товарищ комсорг? — не меняя позы, ответил за всех Миша Куликов по прозвищу Кулик — всегда чем-нибудь недовольный курсант.

— Почему так уныло? Что за настроение? — Напустив на себя шутейную строгость, Гурин присел к ребятам.

— Было настроение, да все сплыло,— продолжал Кулик в своем тоне.

— Что-то случилось? — всерьез спросил Гурин.

— Говорили — наступать будем, а сами до сих пор молчат.

— А тебе не терпится? Поживи лишний часок, полюбуйся солнышком,— возразил мрачно из дальнего угла самый пожилой в батальоне курсант Кузовкин: ему было уже, наверное, лет тридцать, не меньше. Он женат, у него пятилетний сын.

— «Поживи»! Разве это жизнь, когда ты все время на взводе? Не люблю тянучку.

— Нервничаешь? — заметил Гурин.— Перед боем не надо. Может быть, нарочно дается время, чтобы люди собрались внутренне, успокоились, подготовились...

Подошел комсорг роты сержант Виктор Бодров. Виктор — парень-красавец: высокий, стройный. Обмундирование сидит ладно, пилоточка набекрень. Красивое лицо, приятная улыбка, белые ровные зубы. В левой руке у него свернутые в толстую трубу газеты. Увидел Гурина, поздоровался.

— А вы,— напустился он на курсантов,— развалились, как поросята. Почитали бы что-нибудь. И группкомсорг загорает! Где памятка о ведении боя в крепости?

— Да прочитали уже, изучили,— вяло отозвался группкомсорг, плотненький, как биток, пухлощекий и по-детски губастенький Толя Краюхин.

— «Боевой листок» выпустил бы.— Бодров вытащил из трубки чистый бланк «Боевого листка», передал Толе Краюхину.— Выпусти обязательно. Да что с тобой? Заболел, что ли? Какой-то ты точно рыба снулая?

— Не,— сказал Толя.— Не заболел.

— Заскучал? Это плохо, брат. Перед атакой скучать — хуже всего.

— Все всё знают! — снова сердито отозвался Кузовкин.— Скучать нельзя, нервничать нельзя. А что же можно?

— Можно и нужно автомат почистить, проверить гранаты, запасной диск. Ремни застегнуть так, чтобы они не мешали в бою и чтобы шаровары не спали,— быстро ответил Бодров.

Гурин подошел к наблюдателю, спросил:

— Ну, что там видно?

— Затихли. Наверное, обедают.

— А может, послеобеденный мертвый час?

Курсант улыбнулся. Гурин попросил у него бинокль, навел на ту сторону. Противоположный берег вовсе не похож на городской — набережной нет, узкий песчаный берег. От него круто вверх поднимался земляной вал, весь изрытый воронками и окопами. Кое-где на нем зеленели уцелевшие кусты и редкие деревца. Дальше за валом виднелось приземистое строение из красного кирпича. Может быть, это уже и была сама крепость, а может, какие-то поздние пристройки.

Справа метрах в двадцати большой мост. В самом центре он взорван, и два его пролета провисли почти до самой воды. Порванные рельсы торчали в разные стороны, завернув полудугами свои концы. Мост разведчиками хорошо изучен — по нему можно перебраться на ту сторону. Курсантам, которые сидят сзади Гурина в траншее, как раз предназначено штурмовать тот берег через мост...

Гурин снова направил бинокль на тот берег, хотел получше рассмотреть крепость, но в этот момент пулеметная очередь звякнула пулями о камни на бруствере, обдала его мелкими каменными осколками.

— Ого, засек гад! — сказал наблюдатель.

— Видать, пообедали,— пошутил Гурин.

Вскоре в траншеях появился начальник штаба капитан Землин. Быстрый, улыбающийся, он то и дело подкручивал свои чапаевские усы, подмигивал весело курсантам.

— Ну как, сынки? Не оробели? Вы что же это кучей собрались? А вдруг снаряд угодит? Ну-ка, ну-ка, сынки, по местам. Где командир роты? Командир взвода?

— Там, влево по траншее.

Побежал Землин, пригнувшись, только полы плаща зашуршали. Не прошло и десяти минут, как он прошуршал в обратную сторону, а вслед за ним появились Коваленков и Бескоровайный.

— Задачу свою все усвоили? — спросил капитан. — Знаете, кому куда бежать — кто на мост, кто на плоты?

— Знаем.

— Как только начнется артподготовка, всем сразу вперед. Вслед за разрывами мы должны занять первые траншеи немцев, а потом вторые и ворваться в крепость.

— Все знают, — сказал Бескоровайный. — И план крепости изучили.

Он оглянулся за поддержкой к курсантам, те нестройно загудели:

— Знаем...

— Хорошо. Давай всех по местам, — приказал капитан и побежал дальше.

Гурин увязался за ним. Побывали во втором взводе, в третьем — везде все были наготове. Поговорил с комсоргами — настроение у всех хорошее, боевое. И тем не менее, как всегда перед атакой, чувствовалось какое-то неестественно возбужденное состояние людей: говорили, улыбались, шутили сдержанно, нервно, с неохотой.

Гурин вернулся к мосту: почему-то именно здесь, с этой группой, он решил идти на штурм крепости. Но когда он начнется, этот штурм? Уже и командиры начали нервничать. Скорей бы...

И вот началось. От первого залпа взметнулся песок на берегу противника, и тут же раздалась команда «вперед».

— Впе-е-ер-ед! — искривив в ярости лицо, закричал Бескоровайный. — Впе-ер-ед!

Тесной толпой курсанты сгрудились у заранее сделанных ступенек, ведущих на мост, но никто не решался шагнуть на них первым.

— Вперед! Какого черта толчетесь?

Гурин стоял тут же у ступенек, прижатый к стенке траншеи. Рядом Толя Краюхин, Куликов... Крик лейтенанта подхлестнул Гурина, будто бы относился к нему, и он сказал стоящим рядом:

— Пошли, ребята...

Куликов отгеснил Краюхина, полез на ступеньки, Гурин за ним. Выбрались на мост и, пригнувшись, прячась за парапет, побежали вперед. У обрушившегося круто до самой воды пролета остановились — бухнулись на животы, зашарили быстрыми глазами, за что бы зацепиться, на что ступить.

Немцы, наверное, за взрывами не видят наступающих, но на всякий случай откуда-то по мосту бьет бесприцельно пулемет, пули звякают о железо, рикошетят, воют на разные голоса, свистят у самой головы.

— Быстрее, сынки! Быстрее! — услышал Гурин сзади себя голос капитана Землина. — Быстрее! Сынки!..

Увидел Гурин одну зацепу, потом ниже другую, перекинул автомат на спину, схватился руками за рваный край асфальта, полез вниз. Где юзом, где прыжками, где повиснув на руках, спускался он все ниже и ниже к воде по взорванному пролету. В одном месте

повис, как мешок, а куда прыгнуть — не знает: торчат далеко под ним железные прутья и острые рваные края бетонных глыб. И обратно подтянуться не может, из сил совсем выбился. Туда-сюда оглянувшись, высмотрел подходящую ферму. Но до нее далеко и не просто допрыгнуть. Собрался с силами, сжался в комок, напрягся и бросил себя на эту ферму. Удачно. Успел руками зацепиться, но для ног опора оказалась плохой — скользкой. Еще несколько прыжков — и он наконец внизу! Совсем близко — ногой можно достать — бурлит вода, обтекает обрушенные в нее глыбы взорванного быка. Спиной прижался к толстой покореженной ферме — отдышаться немного и осмотреться. Впереди ведь еще такой же пролет, только теперь по нему надо взобраться наверх. А вверх не вниз, пожалуй, потяжелее будет... Оглянувшись назад — облепили курсанты мост, боком, задом, раскорячась по-лягушачьи, по фермам, по шпалам движется лавиной масса в защитных гимнастёрках. Перепрыгивают пропасти, бегут, бегут, накапливаются внизу.

— Быстрее, сынки! Быстрее!

«Ну, — решает Гурин, — пора наверх...» Поднял голову и увидел: карабкаются курсанты, ползут, некоторые уже почти на самом верху. «Ого! А я-то думал, что опередил всех, стою поджидаю... Вон знакомые ребята — Краюхин, Кузовкин... Пора». И тут как с неба свалился, плюхнулся перед ним Куликов, прижал Гурина к ферме, дышит тяжело.

— Фу! Дай отдышаться... Еле спустился... Теперь убивать будут — назад не полезу. — Он выбрал местечко поудобнее, высвободил Гурина. — А ты, комсорг, я вижу, акробат.

— Повиснешь под пулями — поневоле акробатом станешь.

Гурин поправил автомат, готовясь к штурму другого пролета, выглянул из-за фермы и вдруг увидел — ползет обратно Кузовкин. Ползет как-то неловко, автомат болтается на локте.

— Ты куда, Кузовкин?

— А ранило меня... Имею право в госпиталь, — сказал он сердито, будто ему уже надоели эти вопросы. Присел у ног Гурина, вскинул на Куликова и Гурина глаза, улыбнулся счастливый. — Все, ребятки, отвоевался я! Теперь, считай, для меня война кончилась. Недельки две-три прокантуюсь, а больше мне и не надо. Вот. Пока не вредим — не знаешь, будешь жив или нет. А ранило — тут все ясно: жив!

— Двинуть тебя сейчас, гада, в воду? — заскрипел зубами Куликов.

— Чего ты злишься? Я виноват, что ли? Может, и твое счастье еще впереди.

— Замолчи! Пристрелю!

— Не надо, — удержал Гурин Куликова. — Он действительно ранен. Пусть живет: у него сын.

— Так он же и сына вот такого воспитает...

— Хватит, пошли.

И Гурин с Куликовым покарабкались вверх.

Гурина показалось, что вверх взбираться гораздо легче, чем спускаться вниз: тут видишь, за что схватиться, куда ногой ступить. Но как ни легко, а пока взобрался по круто свисавшему пролету, совсем обессилел, упал под парашют отдышаться. А голос капитана совсем близко где-то:

— Быстрее, сынки! Быстрее!

Подхватился, побежал, пригнувшись, скатился кубарем вниз на землю, в траншею — вот она наконец, спасительница матушка земля. Пригнул голову, смотрит, ищет знакомых. Увидел капитана Землина, тот улыбнулся ему:

— Вперед, сынки! Вперед!

Высочили из окопов, побежали, но их тут же накрыл минометный налет. Вжался Гурин в землю, а взрывы совсем рядом, поднимает его воздушной волной, как пушинку, отрывает от земли. Вцепился он ногтями в траву, голову вмял в песок, ждет, когда прекратится обстрел. Когда-нибудь должен же кончиться этот ад. Мины рвутся то справа, то слева, то спереди, рвутся резко, тугие толчки от взрывов отдаются в голову, в грудь, будто бьют по телу большущей дубиной.

Уже стало казаться, что налет никогда не кончится, как земля под Гуриным вдруг перестала вздрагивать и он услышал поющие осколки и их мягкое шлепанье вокруг него.

— Живы, сынки? Вперед!

Гурин поднял голову, стряхнул с себя землю. Вокруг ничего не было видно, только дым, каубясь, медленно плыл влево. В голове стоял сплошной звон. Вскочил Гурин, побежал. Но не успел сделать и трех шагов, как новый шквальный налет заставил залечь.

И опять пошла толкучка. Бьют, колотят землю мины, рвут ее на части, от каждого взрыва земля вздрагивает со стоном, подбрасывает Гурина, будто мячик, а он раскрылатился, как беспомощный птенец, ловит землю руками, цепляется за траву, за камни, вдавливая голову в песок. А мины — вот одна рядом гукнула, даже в животе что-то оборвалось. Следующая еще ближе... «Ну все... все... отвоевался... Сейчас накроет... Сейчас...» Нет, пронесло: разорвалась где-то слева. Ближе... Дальше... Ближе... «Сколько же можно?! Боже мой, сколько можно терпеть это?!»

Будто кто усыпал его — затихли взрывы, дым, едкий, пахнувший чесноком, снова окутал все, дышать невозможно...

— Сынки, вперед!

Но на этот раз даже встать не успели, как немцы снова накрыли их минометным огнем, опять заставили залечь. Нет, теперь он уже не думал живым остаться. Трижды выдержать такой налет, трижды так испытать судьбу — и уцелеть? Нет. Это может быть только чудо. И чудо произошло: уцелел!

— Вперед, сынки! Вперед!

Рванулся Гурин вперед, в голове одна мысль бьется: во что бы то ни стало добежать до траншей. Ни в коем случае не задержаться на этой верхотуре, еще раз не попасть под минометный огонь! Бежит. Слышит — слева, справа «ура» кричат, закричал и он. Впереди дым пореже стал, увидел траншею, полоснул по ней автоматной очередью, прыгнул, огляделся — нет немцев, перевел дыхание.

Капитан рядом рухнул в щель.

— Жив, сынок? Немного задержались... — подсадовал он и скрылся куда-то влево по траншее.

Траншея быстро стала наполняться курсантами.

Крепость рядом, Гурин отчетливо видел ее старые стены и заделанные современным бетоном большие проемы в них. Видел он и аккуратно сделанные амбразуры для широкого сектора обстрела. Как раз напротив него такая амбразура с торчащим из нее черным стволом пулемета. Пулемет время от времени выплевывает короткие очереди, не дает курсантам поднять головы.

Справа откуда-то появился капитан Бутенко. Раскрасневшийся, глаза горят, рот до ушей, пистолет наголо.

— Ребятки, это же та крепость, которую Кутузов брал во время войны с Наполеоном! А мы что, хуже своих прапрадедов? Сейчас соберемся — и на штурм! А? Ребятки? Не посралим русскую славу! — Поравнялся с Гуриным, ткнул его в плечо. — Расскажи хлопцам, ты же помнишь историю! — И побежал дальше.

— Пулемет бы этот заткнуть, — досадовал Землин. — Не дает головы поднимать. Гранатой не достать. Снарядик бы туда или мину. Эх, запоздал, теперь...

И тут Гурин вспомнил: недалеко от траншеи два фауста валяются, он чуть не споткнулся о них. Дернул курсанта за рукав, капитану сунул свой автомат:

— Прикройте, я сейчас...

— Куда ты?

— Сейчас! Прикройте! — Вылез из траншеи и пополз по-пластунски.

Фаусты, к счастью, оказались совсем рядом. Гурин схватил их, как гусей за шеи, и перебежкой обратно в траншею.

— Вот они, голубчики! — Он опустил один фаустпатрон на дно траншеи, а другой положил себе на плечо. «Ну, не промахнуться бы...»

Выстрелил. Мина ударилась в бетон повыше амбразуры, высветлила вмятину, пулемет на минуту замолчал, но потом с новой силой принялся поливать их. Гурин выждал, когда он расстреляет всю ленту, поднял на плечо другой фаустпатрон.

— Не торопись, — прошептал капитан. — Не торопись, сынок!..

Теперь Гурин знал, куда целиться: надо взять чуть ниже, чем в первый раз. «Ну, не промахнуться бы...» Выстрелил и чувствует, мина еще не долетела, а он чувствует: попал!

— Попал! — закричал Гурин от восторга.

Мина разорвалась на краю амбразуры, обдав ее осколками. Пулемет умолк.

— Вперед! — скомандовал капитан. — Вперед! Гранаты к бою! — Он отдал Гурину его автомат, полез через бруствер.

Когда добежали до каземата, стрельба уже быстро стала стихать. Из амбразур показались белые тряпки. Гурин ринулся вслед за капитаном внутрь, распахнули деревянную дверь и увидели тесную комнату со столом у одной стены и двухэтажными деревянными нарами у другой. Пятеро немцев стояли с поднятыми руками.

— Выводи, — кивнул Гурину капитан, а сам побежал дальше длинным, низким, как штольня, коридором.

— Выходи по одному! — приказал Гурин немцам. — Оружие на стол!

Первый снял с шеи автомат, положил на стол, второй расстегнул ремень и вместе с парабеллумом в кобуре бросил туда же. Третий полез в карман френча и вытащил оттуда маленький, с воробья величиной пистолетик.

— Это что такое? Дай-ка сюда!

Немец охотно, даже с каким-то подобострастием протянул Гурину пистолетик.

— Битте, — сказал он, угодливо улыбаясь.

— А патроны? — спросил Гурин.

— Найн патронен. — Немец растерянно развел руками.

— Ладно. Иди.

Сам вышел последним. Во дворе уже толпились пленные, выведенные из других казематов. Гуринские оглянулись на него — куда идти? Он махнул им — присоединяйтесь к тем.

Вечером Гурин лежал на верхней наре, смотрел вниз и видел, как капитан Землин, покручивая усы, рассматривал при свете яркой лампы трофеи: пистолеты, зажигалки.

— Держи, комсорг! — Капитан Землин бросил ему нераспечатанную пачку сигарет.

Гурин принялся изучать красивую пачку и, к удивлению своему, обнаружил, что она американского производства.

— Что же это? Значит, Америка немцев снабжает? — удивился Коваленков.

— Капиталисты, — спокойно сказал Землин. — Им лишь бы деньги — батьку родного продавать.

— Но это же нечестно!

— Нашел у кого честь искать.

— Как же они это делают?

— Свободно. Через так называемые нейтральные страны.— Землин крутанул правый ус с таким видом, будто он сам только что вернулся из этой самой нейтральной страны.

— А может, и через Испанию,— подал голос Гурин.— Америка с Испанией в мире, а Испания с Германией в дружбе.

— Тоже вариант,— согласился капитан.

— Это, чего доброго, мы можем столкнуться и с вооружением наших союзников? — недоумевал Коваленков.

— Все может быть.— Капитан Землин взял парабеллум, прицелился в стену.— Но будем надеяться, что до этого не дойдет. Насчет оружия немцы сами мастаки. Видал, какой ловкий.

Гурин тоже не вытерпел, достал свой трофей незаметно. Света до него доходило мало, и он вертел пистолетик перед глазами — маленький, черненький, ладненький. Нажал кнопку, из рукоятки выскользнул ему на грудь магазин. В нем патрончики будто игрушечные: маленькие, пузатенькие. Пересчитал патроны — их всего четыре оказалось. Маловато, но ничего. Оттянул затвор, заглянул в казенник — может, там еще патрончик заваялся. Нет, пусто. Спустил потихоньку курок, чтобы другие не слышали, вставил магазин на место, спрятал в карман, вздохнул облегченно. Легко ему стало и покойно, лежит довольный собой, что добыл такую игрушку. Жаль только, похвастаться не может: отберут. Капитан Землин первый скажет: «Не положено. Сдать трофейное оружие».

Утром снова перебирались через разбитый мост на свою сторону. Курсанты карабкались по искореженным фермам, повисали в опасных позах над пропастью и удивлялись, как это вчера они под огнем смогли так быстро преодолеть этот мост и даже не заметили ни трудности, ни опасности. Кажется, только одна опасность и была — пулеметный обстрел.

По одному, по двое курсанты выбирались на волю из хитросплетений моста. На перекрестке группировались по взводам, поджидали товарищей. Были они угрюмы, неразговорчивы — вчерашний штурм давал себя знать.

Склонив голову, усталой походкой вышел Бодров, увидел Гурина, подошел, поздоровался, глядя в сторону.

— Живой?

— Да я-то живой... — сказал Бодров.

— Много погубило?

— Да нет,— сказал Виктор.— Думал, будет больше... А по батальону, наверное, много полегло?

— Не знаю еще.

Виктор увидел своих, заторопился, а Гурин повернулся, хотел было идти в штаб, но тут от моста на площадь стали подниматься пленные немцы, и он задержался. Курсант-конвоир остановил передних, ждал остальных, которые все еще перебирались через мост. Гурин засмотрелся на пленных. Вчерашние отчаянные враги стояли по-нуро, испуганно поглядывали в сторону курсантов, которые теперь тоже с любопытством рассматривали побежденных.

Откуда ни возьмись из-за угла показался Шульгин. Как всегда в расстегнутой шинели, он шел своей торопливой походкой, будто спешил куда-то на срочное задание. Гурин заметил у него на погонах новенькую четвертую звездочку, хотел было поздравить его с новым званием, но капитан, завидя пленных, заулыбался злорадно и направился к ним, будто узнал давних своих знакомых недругов.

— А-а! Вояки! — заговорил было он, но тут увидел, как через мост на площадь поднялся еще один пленный. Шульгин подбежал к нему, закричал:

— Хенде хох!

Тот, ничего не понимая, поднял руки, поглядывая то на своих, то на курсантов.

— Ну что, гад, отвоёвался? — все с той же ехидной улыбочкой спросил Шульгин.

— Никс ферштеен...

— А я тебе сейчас... твою мать, все объясню!

Неизвестно, чем бы кончилась эта сцена, если бы не комбат. Увидел, закричал строго:

— Капитан, вы что, с ума сошли? Оставьте пленного!

Шульгин обернулся, посмотрел на комбата:

— А ты на меня, майор, не кричи: я ведь не курсант. И вообще я тебе не подчинен.

— Попрошу вас не тыкать! Извольте соблюдать субординацию! — Майор был разъярен. Он переждал паузу, тихо сказал: — Час сроку — и чтобы я вас в батальоне не видел! Я сейчас же доложу вашему начальству.

Майора Кирьянова Гурин застал в штабном подвале в его отсеке. Он укладывал бумаги в железный ящик, но, увидев Гурина, прекратил это занятие.

— Ага, явился... Давай-ка собирай все вещи. И бумаги Бутенко тоже.

— А что с капитаном?

— Ранило его... Тяжело... В госпиталь отправили еще вчера... — Майор прошелся задумчиво по узенькому подвальному отсеку, остановился. — Жаль капитана. Хороший был мужик...

Батальон вернулся в лагерь.

А неделю спустя, забежав по делам в штаб батальона, Гурин застал там надутого Кузьмина и необыкновенно веселого начальника штаба. Вокруг писаря, на столе, вровень с его головой лежало несколько стопок аккуратно нарезанных бланков, и он, высунув язык, заполнял их. На приветствие Гурина Кузьмин никак не ответил, разве что еще ниже склонил голову и еще усерднее стал что-то писать. Капитан Землин, наоборот, увидев Гурина, заулыбался, вышел из-за стола, потирая руки:

— Ага, комсорг. Кстати пришел. Ну-к, Кузьмин, дай-ка его бумагу.

— А я ему еще не выписал. Пусть сам себе надпишет — И, сняв с одной стопки листок, положил его на край стола.

— Кузьмин! — построжел капитан. — Нехорошо!

Гурин хотел было посмотреть, что там за бумага такая, но капитан заслонил собой кузьминский стол.

— Стой. — И, подойдя к Кузьмину, подложил листок ему под нос. — Ну-к самыми красивыми буквами нарисуй ему. — Капитан ногтем большого пальца пригладил усы.

— Вот еще! — ворчал Кузьмин. — Мне вон сколько надо их выписать. Будто сами неграмотные.

— Пиши, пиши, Кузьмин, не балуй.

Кузьмин написал старательно что-то на бланке и отдал капитану. Землин обернулся к Гурину, подняв руку с листком, торжественно сказал:

— Принимай, сынок. Это тебе благодарность товарища Сталина за Кюстрин!

Ничего не понимая, Гурин растерянно улыбался.

— Держи, ты заслужил ее. — И капитан вручил ему грамотку.

Гурин взглянул на нее — хорошая мелованная бумага, на ней отпечатан текст приказа. В двух свободных строках каллиграфическим кузьминским почерком фиолетовыми чернилами вписаны звание и фамилия Гурина. И все это обрамлено красивой вишнеткой, которую вен-

чал цветной портрет генералиссимуса. Гурин держал листок двумя руками, читал и перечитывал текст и от волнения не мог понять его:

«Товарищ ст. сержант Гурин В. К.

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 12 марта 1945 года № 300 за отличные боевые действия в боях при овладении городом и крепостью Кистжинь (Кюстрин) всему личному составу нашего соединения, в том числе Вам, принимавшему участие в боях, объявлена благодарность.

Командир части С. И. Дорошенко».

Подпись комбата была начертана красными чернилами, и все это скреплено фиолетовой печатью воинской части.

В тот же день Гурин узнал еще одну новость: в батальон вместо Шульгина прибыл новый офицер — старший лейтенант Аспин. Ухоженное лицо, новенькое, с иголки обмундирование, вежливое обращение, мягкая интеллигентная улыбка — все говорило о том, что война его пока щадила. Черные, по-восточному узкие глаза его смотрели на мир добро и весело. Взглянув в эти глаза, Гурин не мог не улыбнуться. Аспин спросил, почему он улыбается.

— Так, — сказал Гурин. — Поймал себя на одной мысли... С вашим предшественником мы жили неладно.

— Почему?

— В оккупации я был. Вот он и...

— Вы были в оккупации? — Аспин свел брови, глаза его на мгновение погасли.

— Был, — сказал Гурин сухо.

— Ну и что? Что-нибудь есть?

— Нет, ничего. Запрос посылали, проверяли.

— А ничего — так в чем же дело? — Аспин улыбнулся.

— Тем не менее подозревал.

Гурин ждал, что тот как-то осудит Шульгина или станет говорить утешительные слова, но Аспин лишь сказал раздумчиво:

— Понимаю... Обидно, конечно. Но тем не менее пока все эти меры необходимы. Я знаю немало случаев...

— Может быть. Но нельзя же не верить всем подряд.

— Нельзя. Это уже зависит от человека — как он понимает свою задачу. А пока надо перетерпеть. Война.

Гурин молчал.

— И унывать не надо, — весело сказал Аспин.

— Стараюсь, — улыбнулся Гурин.

Постепенно разговорились, незаметно рассказали друг другу о себе. Оказалось, у них было много общего в довоенной жизни: оба кончили десятилетку, оба мечтали стать летчиками, оба любили одних и тех же поэтов. Под конец, позабыв обо всем на свете, читали наперебой любимые стихи. Лермонтов, Пушкин, Есенин, Шевченко, Петефи, Беранже... И вдруг Гурин прочитал:

Прости, если отзвук рыданья
Услышишь ты в песне моей:
Чье сердце не знает страданья,
Тот пусть и поет веселей.
Но если б народу родному
Мне долг оплатить удалось,
Тогда б я запел по-другому,
Запел бы без боли, без слез.

— Коста Хетагуров! — обрадовался Аспин. — Наш Коста! — И тут же прочитал эти стихи на осетинском языке.

Уже на другой день Аспин и Гурин встретились как давние-давние приятели, будто знали друг друга и дружили с детства.

Аспин пробыл в учебном батальоне до последних дней его существования. Это немного, месяца два всего, но чувство к нему у Гурина осталось такое, будто прошли они с ним бок о бок всю войну...

На Берлин!

Рано утром 16 апреля 1945 года от залпов сотен орудий и взрывов тысяч бомб и снарядов земля на кюстринском плацдарме за Одером вздрогнула и заходила ходуном, словно плавучий островок на зыбкой основе.

Гурин проснулся как будто от обвала. Деревянный барак раскачивало, словно лодчонку в штормовую погоду, стекла непрерывно дребезжали. Нашарив в темноте на привычном месте обмундирование, он торопливо натянул брюки, гимнастерку, сунул ноги в сапоги, выскочил на улицу. У крыльца уже стояли комбат Дорошенко, майор Кирьянов и капитан Землин. Комбат единственный, кто был одет по всей форме. Остальные, видать, как и Гурин, выскочили наспех. Они молча смотрели на запад. Там за вершинами сосен по всему горизонту небо было высветлено каким-то непонятным заревом и беспрестанно что-то грохотало. Казалось, все перевернулось и восход начинался не с той стороны, и от этого было жутко. Гурин оглянулся на восток, небо там предрассветно еле-еле серело, все больше и больше наливаясь голубизной. Нет, с восходом было все нормально. Но что за зарево, такое необычное, на западе? На пожары непохоже — отсвет белый, ровный, и дыма не видно, и пламя не полыхает. Землин поглядывал на комбата, ждал объяснения, а комбат молчал, сам, видать, не знал, что там происходит.

— Что-то новое применили? — предположил Землин озабоченно.

Оба майора молчали: кто применил? мы или немцы? И что применено — никому пока ничего не ведомо. Только потом узнали, что это «новое оружие» применили наши войска: они включили больше сотни прожекторов и ослепили немцев.

Будто по тревоге весь лагерь без побудки быстрее обычного поднялся на ноги. Командиры рот, выбежав из своих домиков, устремились к штабу, но увидев спокойно стоящих старших командиров, оставались на полпути и, оправляя гимнастерки, оборачивались на запад. Дальше от них, поближе к курсантским землянкам, в таких же позах застыли командиры взводов. А у самих землянок восторженной толпой замерли сержанты и курсанты, они смотрели в одну сторону — на запад.

Земля продолжала дрожать, выстрелы и разрывы слились в сплошной грохот, за которым Гурин не сразу услышал самолетный гул. Штурмовики появились неожиданно — низко, почти цепляясь за вершины сосен, они прошмыгнули на запад густой черной массой. А вслед за ними на порядочной высоте туда же поплыли бомбардировщики, надрывно гудя моторами.

Началось!

Представлял Гурин, что сейчас творится на передовой — земля и небо смешались в первозданном хаосе, — и тем не менее ему хотелось быть там, в этом последнем и решающем наступлении.

Через какое-то время гул, удаляясь, стал затихать. И только штурмовики волна за волной, волна за волной — одни на фронт, другие с фронта — непрерывно ревели над головами.

— Похоже, прорвали, — вздохнул Землин. — Ну, с богом, сынки. Удачи вам!

А у Гурина комок подступил к горлу, не может сдержать волнения: не верится — неужели это последний рывок, неужели скоро конец? Поднял руку, хотел вытереть глаза и увидел, что держит в руке портянки. Откуда они? Наверное, схватил впопыхах, а наматывать не стал, выскочил на босу ногу.

Командиры рот подошли поближе, поглядывали на комбата, ждали распоряжений. Комбат понял состояние офицеров, посмотрел на часы.

— Ну что, товарищи офицеры? Скоро шесть часов. Подъем — и за-
матия по расписанию.

Не сразу и как-то неуверенно, с неохотой расходились командиры рот по своим подразделениям...

Наступление развивалось, однако, не так быстро, как казалось со стороны. За целый день армия продвинулась вперед всего лишь на шесть — восемь километров, прорвав несколько оборонительных линий главной полосы обороны немцев. Особенно в трудное положение попала соседняя армия, надолго увязнув на сильно укрепленных Зеленовских высотах. Поэтому в учебном батальоне слышали недалекий гул фронта. Гул этот то затихал — и тогда казалось, что фронт двинулся вперед, то вдруг нарастал с новой силой — и тогда все вслушивались в него с тревогой: а не пошел ли немец в контрнаступление?

Наша авиация без устали работала круглые сутки. Штурмовики, будто рой пчел, не покидали небо — одни стремились к фронту, другие, чуть повыше первых, летели в тыл за боекомплектами. И по тому, как быстро они возвращались после бомбежки, в батальоне определяли: фронт все еще близок.

На пятый день наступления учебный батальон был поднят по тревоге и построен возле штаба. Выслушав рапорты командиров рот, комбат сделал два шага поближе к строю, необычно взволнованно произнес:

— Товарищи курсанты! Командование армии возложило на нас новую серьезную задачу. Наши войска прорвали оборону противника и продолжают наступление. Передовые части с тяжелыми боями рвутся к Берлину, преодолевая одну за другой сильно укрепленные оборонительные полосы. Немцы оказывают упорное сопротивление, все города они превращают в опорные пункты, в своеобразные крепости. Нашим войскам дан приказ: обходить города, в уличные бои не ввязываться, все силы сосредоточить на Берлин. Взять как можно скорее Берлин — задача первоочередной и военной и политической важности. Уничтожение окруженных группировок в городах и разрозненных групп в лесах возложено на второй эшелон, в том числе и на нас с вами. Поэтому я требую максимальной собранности и бдительности: мы находимся в боевой обстановке. Очистить тылы нашей армии от немецких группировок — это задача непростая. Фашисты перед концом лютуют, они все еще надеются остановить нас и перейти в контрнаступление. И я должен сказать вам, что сил у них еще немало и думать, что мы их уже победили, рано. Нам нужно быть максимально собранными, до конца быть в боевой готовности...

Через час все три учебных батальона большой колонной вышли из леса и направились на запад, а точнее — на Берлин. О том, что дорога вела именно в этот город, говорили многочисленные указатели и плакаты. Они не просто говорили, а кричали об этом, звали: «До Берлина 60 километров!», «Добьем фашистского зверя в его логове — в Берлине!», «На Берлин!». На огромном фанерном листе не плакат, а настоящая картина: лихой парень в пилотке набекрень, с улыбкой до ушей сидит на пеньке, перематывает портянку. Внизу надпись: «Дойдем до Берлина!» Этот плакат Гурину особенно понравился.

Вскоре колонна остановилась, но никто не повалился устало на обочину, все в недоумении ждали объяснений остановки: для привала было еще слишком рано. Оказалось, с этого места по заранее намеченному плану все соединение разбивалось на три группы и дальше следовало тремя параллельными дорогами, не теряя связи друг с другом. Каждой стрелковой роте придавалась пулеметная рота и минометная батарея.левой и правой группами командовали комбаты пулеметного и минометного батальонов, общее руководство оставалось за майором Дорошенко. В центральной группе было, кроме приданных подразделений, две стрелковые роты и взвод разведчиков. Дальше двинулись уже не колонной, а несколькими цепочками, готовые в любую минуту

к бою с неожиданным противником то ли в лесу, то ли в поле, то ли в населенном пункте...

Первый город встретил солдат безлюдьем и морем уныло повисших из каждого окна белых флагов. В глазах рябило от сплошной белизны, как в березовой роще. Солдаты молча шли сквозь это белое безмолвие, поглядывали на пустые, будто вымершие окна. Нигде ни души, ни звука, ни шороха занавески. Пусто и мертво. Однако по каким-то неуловимым признакам каждый чувствовал, что город не пуст и не мертв, обитатели его лишь затаились в страхе. Иногда мелькнет в окне любопытное лицо, но, увидев на улице русских, тут же шарахнется в испуге в темную глубину комнаты или спрячется за стенку.

Гурин смотрел на белые полотнища, и сердце его колотилось в непонятном волнении. «Боже мой! — думал он, поглядывая на окна и мысленно разговаривая с теми, кто за ними прятался.— Испугались, затаились! То-то — за неправо дело дрались! А ведь ваши солдаты прошли по нашей земле от границы до Волги, огнем и мечом прошли, но, уверен, они нигде не увидели белого флага. Как ни зверствовали, как ни устрашали — нет, не выбросили мы ни одного даже маленького белого флажка. А вы, пожалуйста — как по команде, словно у вас в загашниках рядом с гитлеровскими красно-черными флагами со свастикой в круге, которые вывешивались в дни празднеств, лежали и эти, белые, не случай неудачи».

Прошли город, кончились каменные кварталы, остались позади белые флаги одного города, впереди были другие.

А на дорогах больших и малых пыхал из-под солдатских сапог, вздымался облаком и носился метельным вихрем белый пух распотрошенных перин и подушек. И шли солдаты сквозь это белое безумие, сквозь белую метель из пуха и перьев, рассыпанных по всем дорогам, сквозь белые флаги затаившихся городов.

Ближе к Берлину пошли особняки, дачи, богатые виллы — ухоженные, чистенькие, нигде ни соринки, ни лишней травинки. Тропки, клумбочки, ажурные металлические оградки, воротца, калитки, хитрые замочки на дверцах, электрические кнопки, вынесенные на столбик аж до самого тротуара.

Заводская окраина Берлина пустынна. Серые кирпичные здания, закопченные от времени, руины. Улица перегорожена баррикадой из огромных каменных глыб, противотанковых металлических ежей и перевернутого на бок трамвая. В баррикаде брешь, через которую солдаты вошли в город.

Идут тротуарами, смотрят во все глаза: они в Берлине!

Улицу пересекает низкая эстакада городской железной дороги, серый каменный забор испещрен разными надписями. Среди них выделяется одна, чаще других повторяющаяся: «Berlin bleibt deutsch!»

Намалеванные белой краской слова эти вопиют о бессилии людей, сочинивших их, они как истеричный крик перед неминуемым: «Берлин останется немецким!» Конечно же, немецким, каким же еще? И даже в панике тот сочинитель оставался лицемером, и это очень легко доказал наш солдат, который такой же белой краской продолжил фразу еще тремя словами: «Aber ohne Faschisten!» — «Но без фашистов!» Лаконично, просто и всем понятно.

Начались жилые кварталы, и снова белые флаги из каждого окна. Сколько их, этих белых капитулянтских флагов! Наверное, весь запас простынь в эти майские дни сорок пятого года Германия извела на белые флаги...

Батальон прошел окраинными улицами, потом где-то на сложном перекрестке, где пересекались на разных уровнях автобан, железно-

дорожные и трамвайные пути, перекидной пешеходный мост, где находился спуск в тоннель, над которым возвышалась огромная латинская буква «U», что означало «U-bahn» — метро, — повернул в сторону и вышел снова за город. Отсюда их повели, как показалось курсантам, в обратную сторону, чему они необыкновенно удивились и ворчали, не скрывая своего разочарования.

Вскоре они оказались в лесу, где, видать, уже стояла недолго какая-то часть. Теперь это место занял учебный батальон и сразу же приступил к делу: часть курсантов принялась за устройство лагеря, а другую, притом большую, отрядили на сооружение оборонительной линии в поле перед лесом. Лагерь — на случай длительной стоянки, оборона — на случай прорыва немцев из окруженного Берлина.

Лагерь этот оказался последним в жизни учебного батальона, и последние десять дней, которые курсанты и командиры провели в нем до конца войны, глядя на окутанный дымом и грохочущий Берлин, они ждали ежечасно, ежеминутно важных известий. И вести оттуда приходили важные, радостные, иногда тревожные, но пока не было той главной, единственной, которую в те дни ждал весь мир.

В конце апреля в учебный батальон приехал представитель штаба полка и вручил личному составу награды. Комбат майор Дорошенко, начальник штаба капитан Землин, замполит майор Кирьянов и парторг капитан Бутенко были награждены орденами Боевого Красного Знамени за храбрость и умелое руководство при штурме города-крепости Кюстрин. За то же самое награждены орденами Отечественной войны разных степеней и другими орденами командиры рот и взводов. «Жаль, Бутенко нет, уж он-то порадовался бы своей наградой: умел радоваться капитан», — с грустью вспомнил парторга Гурин. И вдруг услышал:

— Старший сержант Гурин Василий Кузьмич. Награжден орденом Красной Звезды.

«Я? Мне? За что? Не ослышался ли?» — удивился Гурин. Голова его была как в тумане — от неожиданности, от радости. Ему пожимают руку, вручают коробочку с орденом, потом темно-красную книжечку — удостоверение, потом еще такую же книжечку с проездными билетами: раз в году он может бесплатно съездить в любое место Советского Союза.

А война гремит. Гремит с нарастающим остервенением.

Из Берлина в лагерь просачиваются новости: над рейхстагом знамя победы, Гитлер покончил с собой, наше командование заявило Кребсу — только капитуляция, никаких условий... В Берлин прилетели представители союзного командования. Потом прибыли представители немецкого верховного командования. Будут подписывать акт о безоговорочной капитуляции Германии. И состоится вся эта процедура в Карлсхорсте — совсем недалеко от лагеря, курсанты не раз уже бывали там...

Последние часы ожидания были самыми длинными. Все сидели в штабе. Все батальонное начальство и Гурин в том числе. Сидели молча, боясь прозевать телефонный звонок. Иногда комбат не выдерживал и звонил какому-нибудь соседу:

— Ну как? Ничего?

Бывало, раздавался звонок, все вздрагивали, бросались к телефону, жадно и нетерпеливо смотрели на комбата. Но оказывалось — звонил такой же нетерпеливый, как и Дорошенко, сосед...

И случилось это, как всегда, не так, как ожидалось. Узнали о победе не по телефону, а по переполоху в лагере.

Не успело стемнеть, как на территории лагеря вдруг поднялась беспорядочная автоматно-винтовочная стрельба. Всех офицеров словно ветром выдуло из штаба: первая мысль была, что на лагерь напал какой-то бродячий отряд немцев. Но уже на крыльце, увидев часового

с восторженной, до ушей улыбкой, палившего вверх короткими очередями, все поняли, в чем дело.

Небо над лагерем, над Берлином и вокруг до самого горизонта все было исполосовано трассирующими пулями и расцвечено многоцветными сигнальными и осветительными ракетами. Проектора со всех концов елозили упругими лучами по облакам, скрещивались в дружеских объятиях, образуя римские десятки, расходились в стороны, скрещивались с другими. Вокруг стояла непрерывная стрельба и сплошной крик. Радостный крик солдат, переживших войну.

Непродыхаемым комком Гурина сдавило горло, и только два слова бились у него в голове: «Победа! Жив! Победа! Жив!»

Раздумья

Недели не прошло — Гурина вызвали в Карлсхорст в политотдел на совещание комсorghов, где он снова увидел Шуру. На совещании было сделано два больших доклада. Первый — о комсомольской работе в частях и подразделениях в мирных условиях и второй — об отношении к немецкому населению. Во втором докладе, по существу, ничего нового не было: об этом начали толковать еще с тех пор, как вступили на территорию Германии, сейчас лишь просто напомнили общие положения нашей политики, уточнили некоторые детали, предостерегли от возможных ошибок, тем более что и опыт уже кое-какой накопился. Однако ни примеры, ни детали для Гурина не были открытием. Его поразил первый доклад: как-то странно было слышать даже сами слова «мирное время», «мирные условия»! С трудом поворачивалось сознание на эти новые понятия.

После совещания комсorghов повели на экскурсию в бывшее немецкое военно-инженерное училище, где был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Комсorghи шли по коридорам торопливой притихшей стайкой, не смея прикоснуться к тамошним вещам как к дорогим музейным реликвиям.

Гурин и Шура держались вместе, словно школьники. Он то и дело ловил ее руку и тащил за собой, заботясь, чтобы и она не пропустила ни одной детали из рассказа офицера, который присутствовал при подписании капитуляции и теперь охотно рассказывал о ней во всех подробностях. От волнения Гурин крепко сжимал Шуруину руку. Та морщилась от боли, с трудом выпрастывала ее из его кулака, но он снова ловил ее и, чтобы не потерять, сжимал еще крепче.

Когда кончилась экскурсия и все заторопились к выходу, Шура подняла на Гурина глаза, попросила:

— Отпусти руку-то, совсем пальцы раздавил. Откуда и сила? Что с тобой? — Она разминала онемевшие пальцы, смотрела на него удивленно.

— Ты знаешь, Шура... вот хожу я здесь... да и не только здесь — по городу, вижу все, слышу, сознаю, что произошло, что происходит, но где-то в глубине во мне все время сидит неуверенность: не верится все еще, что это свершилось в реальной жизни, что все это сделали мы и что я здесь! Понимаешь, боюсь проснуться.

— А ты ущипни себя.

— Да нет. Не то. — Гурин досадливо поморщился: не поняла она его состояния. Предложил: — Давай махнем в центр?

— Давай, — охотно согласилась она.

На попутных машинах они быстро добрались до центра. Прошли по широкой Унтер-ден-Линден к обшарпанным снарядами Бранденбургским воротам и далее к рейхстагу.

Обугленная каменная туша рейхстага грузно сидела особняком сразу за воротами направо. Кое-где еще из черных оконных глазниц ее

курулся дым. Вокруг этой громады, словно муравьи, сновали люди. Это были наши солдаты и офицеры. Они фотографировались у рейхстага, взбирались по обгорелым лестницам на верхние этажи, писали на стенах и колоннах свой имена.

По хрустящим под ногами стеклам, по кускам отбитой штукатурки, по выщербленным ступеням Гурин и Шура вошли в круглый вестибюль рейхстага и огляделись. Сейчас, конечно, трудно определить, что это было — то ли вестибюль, то ли зал какой: в нем все выгорело до самого верха. Там, где-то далеко вверху, лазили солдаты, не боясь сорваться с искореженных лестниц, перекликались весело, отпускали шуточки в адрес Гитлера. Шура подняла кусок кирпича, выбрала на стене свободное местечко, царпнула по штукатурке, оглянулась на Василия, застенчиво улыбаясь:

- Давай и мы распишемся?
- В поссовете.
- Нет, здесь. На память.
- Здесь неудобно...
- Почему? — удивилась она, опустив руку.
- Мне кажется, мы не имеем на это права: мы ведь не штурмовали рейхстаг. А теперь вроде примазываемся к чужой славе.
- Ну, какой-то ты, — огорчилась Шура, бросила кирпич и стала отряхивать руки.

Походив по вестибюлю, они вышли на волю. Тут подбежал к ним немец и стал уговаривать сфотографироваться на фоне рейхстага. Гурин заупрямился, и тогда немец быстро переключился на Шуру, стал показывать ей раскрашенные образцы фотографий — целехонький рейхстаг, Бранденбургские ворота, довоенную Унтер-ден-Линден, композиции из всех этих видов с надписями: «Привет из Берлина», «Знамя победы над рейхстагом».

- Вася, ты взгляни, как чудесно! Давай на память?

Гурин посмотрел на образцы и удивился: «Как быстро перестроился фриц! Вчера еще, наверное, всюду лепил свастику, а сегодня — серп и молот». Но следы спешки оборотистого фотографа были видны почти на каждой открытке: печатное «л» в слове «Берлин» написано в зеркальном изображении, серп и молот на знамени над рейхстагом тоже были нарисованы как-то по-чужому — шиворот-навыворот.

- На память, — не унималась Шура.

Немец сам выбрал место, поставил их на выигрышном фоне и принялся старательно наводить фокус.

— Ты чего такой сегодня? — упрекнула Шура Василия, настраиваясь на непринужденную улыбку. — Даже сфотографироваться не хочешь.

— Примета есть. Бабушка моя говорила: вдвоем фотографироваться — к разлуке, — отшутился он.

Шура глянула на него удивленно:

- Бабушка? Так ты еще и суеверный?
- Гу-ут, — протянул немец. — Зер гут! — И дал Гурину квиток, появив: — Луизенштрассе, сорок пять.

Гурин закивал: мол, понял. Но немец не отпускал его, он продолжал втолковывать, что, если им удобно, за карточками можно приехать и сюда, к рейхстагу, он будет иметь их при себе. Гурин не знал, как ему быть: к рейхстагу в ближайшие дни он вряд ли попадет, делать ему здесь нечего, а на Луизенштрассе...

- Где эта Луизенштрассе?

Немец показал в восточную сторону. «Ну и хорошо — к лагерю поближе. Приеду в Карлсхорст в политотдел по делам и забегу на Луизенштрассе».

- Карлсхорст? — уточнил Гурин.
- Найн, — закрутил головой немец. — Лихтенберг.

Лихтенберг где-то там рядом, он слышал такое название. «Найду», — решил Гурин.

К себе в лагерь они возвращались в кузове попутного «студебекера». Проехали разрушенный город — тихий и какой-то безлюдный. Немцы, работавшие кое-где на разборке развалин, не нарушали этой тишины: работали медленно, передавая по цепочке кирпичик за кирпичиком. Пригород был совсем безлюдным — чистенькие, ухоженные особнячки с опущенными жалюзи, будто необитаемые, стояли в глубине садов. Лихой шофер гнал машину на полной скорости, как по загородному автобану. Миновал на окраине небольшую кирху, свернул по шоссе влево и сразу на выезде из города остановился. Гурин выпрыгнул из кузова и поднял руки, предлагая Шура свою помощь.

— Я сама, — замахала Шура рукой. — Отойди.

Подтянув зауженную юбочку и оголив крепкие круглые колени, она перекинула через низкий задний борт ногу в хромовом сапожке и стала осторожно нащупывать железную скобу. Он подошел, хлопнул ладонью по гладкому голенищу, сказал:

— Прыгай.

Она оглянулась и прыгнула ему в руки. Ловко поймав, он не сразу опустил Шуру на землю.

— Да ну же! — Вырываясь из его рук, она била его кулачком по плечу.

Гурин отнес ее на обочину и только там отпустил.

Высунувшись из кабины, солдат, улыбаясь, наблюдал за ними. От смущения Шурино лицо покрылось румянцем, который всегда так нравился Гурину. Он любовался ею, а она, оправляя на себе юбку, обиженно ворчала:

— Вот еще. Люди же смотрят...

Они шли узкой полевой тропкой: Шура впереди, Гурин за ней. Ему хотелось идти рядом, но сырая пашня с обеих сторон не позволяла это сделать, и он в душе проклинал немецкую аккуратность, немецкий рационализм, которыми в другое время не переставал восторгаться. Наконец пашня немного расступилась, и Гурин тут же догнал Шуру. Перебросив плащ-накидку на левую руку, он правой взял ее под локоть. Она доверчиво прильнула к нему, и он поцеловал ее в щеку. Шура вскинула на него благодарные глаза и в ответ локтем прижала его руку к себе.

— Шурка, я люблю тебя... — прошептал Гурин ей в самое ухо.

В ответ она лишь крепче прижалась к нему.

...Они лежали под маленьким, совсем еще подросток, вишневым деревцем, сплошь усыпанным цветами. И от этого деревца исходил такой родной, такой домашний запах цветущего вишневого сада.

— Точно как у нас дома! — воскликнул он невольно. — Шура, посмотри — вишня! У нас сады такие. Представляешь, когда они цветут — все как в молоке, а воздух такой густой, ароматный. И солнышко пригревает, и трава на глазах растет, и такая тишина! Только пчелиный гул, будто басовая струна гудит. Красота!

И тут как бы в подтверждение его слов взлетела с цветка запоздалая пчела, выбирая, в каком бы цветке еще напиток сладкого нектара, выбрала, прильнула к нему, изогнулась бархатной спинкой, уперлась остреньким брюшком в лепесток, заработала с жадностью.

— Да вот она, смотри! — обрадовался он пчеле.

— Глупенький, ты еще совсем мальчишечка!

— Нет, понимаешь, странно: точно как у нас дома... Вот увидишь! Поедешь к моей маме. Да? Поедешь?

— Очень я ей там нужна...

— Нет! Ты так не говори! У меня мама хорошая, понятливая. Она тебя будет любить. Я ей все напишу. Я сегодня же ей напишу все про нас, чтобы она знала.

- Не надо...
- Почему?
- Ну не надо раньше времени расстраивать.
- Какое же тут расстройство? Радость! — И он обнял Шуру, поцеловал ее в губы.
- Пойдем, поздно уже.
- Шура, ну чего ты боишься? Мама...
- Подумай сам хорошенько... Ну приедем мы к твоей маме. Ни у тебя специальности, ни у меня. Сядем маме на шею?
- Вот слово даю тебе, Шура,— я обязательно добьюсь своего в жизни! Ради тебя все сделаю!
- А пока добиваться будешь, как жить? Трудно придется тебе, Вася.
- Ты имеешь в виду оккупацию?
- Не только... Вообще...
- Знаешь, кем бы я хотел стать, чем заниматься?
- Офицером.

— Да... мечтал. Всю войну мечтал стать офицером. А теперь... Во время войны мне казалось, что офицером я больше пользы принес бы, а теперь, чувствую, это уже не так важно. Теперь моя мечта — стать журналистом. Разъезжать по стране, видеть новые места, узнавать новых людей и описывать... А?

Шура в ответ грустно улыбнулась.

— Не веришь? — вздохнул он. — Конечно, трудно будет этого добиться. В институт трудно будет поступить: все, чему учили в школе, забыл. Повторять — учебников нет, да и некогда этим заниматься. А что делать? Скорее бы уж что-то определилось. Либо в офицеры — и тогда бы я твердо уже знал: моя судьба — армия! Либо демобилизация — и тогда... И тогда — не знаю, что день грядущий мне готовит. Но, — он вдруг оживился, — если ты будешь со мной — я все преодолею! Ты — цель моя, а ради этой цели...

Она будто не заметила его оживления, посоветовала просительно:

— Что бы ни случилось, будь мужественным. Верь, что у тебя будет все хорошо.

— У нас! У нас должно быть все хорошо. Мне так хочется уже быть самостоятельным, хозяином жизни, чтобы ты была за мной как за каменной стеной, чтобы тебе со мной было хорошо и легко...

— Да, самостоятельности тебе пока не хватает, — сказала Шура, улыбаясь.

Так случилось, что после этого Гурин и Шура видеться стали реже: она ссылалась на занятость, да и сам он тоже был занят делами по горло и поэтому верил ей и часто удовлетворялся разговором по телефону или коротким свиданием. «Вот пройдет все, — думал он, — и все встанет на свое место». А пройти в его жизни должны безвременье, неопределенность, которые тянулись уже третий месяц и конца им пока что не было видно. Уже на исходе было лето, не за горами осень, а у него никаких перемен: ни утверждения в существующем положении (на что он уже мало надеялся), ни увольнения в гражданку, которая пугала его неизвестностью. По-прежнему, как когда-то в школе, мечталось об институте журналистики, но по всему похоже, что для поступления в институт время в этом году будет упущено. А это значит — еще год пропал...

Особенно тоска охватила Гурина, когда был опубликован указ о демобилизации из армии солдат и сержантов первой очереди. Под этот указ попадали военнослужащие 1905 года рождения и старше. Гурин прикинул, когда при таких темпах дойдет очередь до него, и загрустил: выходило, что служить ему предстояло еще не один год. Тоска стала грызть его, пропал аппетит, он исхудал, щеки ввалились, по-

глазами потемнело. Доктор Люся при встречах сокрушенно качала головой:

— Да, климат этот, немецкий, нам, русским, не подходит. Нездоровый климат.

Шура тоже видела, как на глазах истаивал парень, старалась отвлечь его от мрачных мыслей, но посвящать все свое время ему не могла.

Однажды она прибежала к нему без предупреждения и увела его погулять в лес. Они долго бродили вдалеке от лагеря и к заходу солнца вышли к знакомой вишенке. Плотные листья молодого дерева блестели в лучах заходящего солнца. Гурин окинул вишню взглядом, но ни одной ягодки не увидел. Лишь на самой верхушке он заметил сморщенную высохшую ягодку. И вновь нахлынули воспоминания: именно в эту пору он мальчишкой любил лазить по деревьям и собирать вот такие сухие ягоды, которые еще не успели стать добычей скворцов, уже собиравшихся к этому времени в многочисленные стаи. Сморщенные, сухие, наполовину склеванные птицами вишни были сладкими и вкусными. Старшие поддакивали ребятам и многозначительно говорили, улыбаясь друг дружке: «Да, надклеванная ягодка всегда слаще». Теперь только до Гурина стал доходить скрытый смысл этой поговорки. Василий достал вишню и вложил ее Шуре в рот.

— Попробуй. Это вкус моего детства, моей родины.

Он привлек ее к себе, стал целовать. Она сначала противилась его ласкам, была какой-то упругой, неподатливой, но вдруг обмякла, проговорила тихо:

— Ладно... Теперь уж все равно...

...К лагерю они подошли потемну. Вдали за деревьями уже завиднелись тусклые лампочки у штабных домиков, уже потянуло запахом солдатской кухни, когда Шура остановилась и придержала его за руку:

— Подожди, прощаемся...

Он остановился и расставил руки для объятий. Она вдруг уткнулась лицом ему в грудь и заплакала.

— Ну чего ты, Шура?.. Не надо, Шура... Все будет хорошо. Я же говорил тебе: если что, поедешь к моей маме. Я ей сегодня же напишу. Хочешь?

— Прости меня, Вася. Ты очень хороший. Прости...

— Да что случилось, глупенькая?

— Прости...

— Ну заладила: «прости» да «прости». Все будет хорошо.

— Прощай...

— Не прощай, а до свиданья. Приходи завтра в это же время к нашей вишенке.

— Не смогу, наверное...

— Почему?

— Уеду.

— Куда?

Она не ответила.

— Куда? — спросил он снова.

— В командировку...

— А молчала. Далеко? Надолго?

— Не знаю... — И она быстро отступила от него. — Прощай, милый. Я напишу тебе.

— Позвони. Я буду в штабе.

— Не знаю... — Шура отвернулась и, склонив голову, направилась в свой батальон.

К себе Гурин возвращался в растрепанных чувствах: его распирало от любви и радости и в то же время беспокоило странное прощание с Шурой.

— Долгонько, братец, ты сегодня. — упрекнул его майор. — В роте при отбое присутствовал? — Он хитро сощурил глаза.

— Нет... Я с Шурой был, — признался Гурин.

— А-а... То-то комбат пулеметного весь телефон истерзал — все спрашивал, не вернулся ли.

— Зачем я ему? — удивился Гурин.

— Да ты ли ему нужен! — прогремел майор своим хриплым басом и закрутил головой, удивляясь гуринской наивности. — Своего комсорга потерял...

— Я на ней женюсь, — похвастался Гурин.

Майор по обыкновению своему, когда хотел изобразить сильное удивление, вытянул в трубочку губы, раскрыл широко глаза и стал поводить головой, как бы ища кого-нибудь, кто мог бы подтвердить услышанное.

— Ты вот что... давай иди-ка ужинать, потом поговорим. — И он указал палкой в сторону столовой.

Но разговор на эту тему не возобновился.

Шура уехала в командировку, и новая тоска навалилась на Гурина в придачу к старым раздумьям. Свое дурное настроение он пытался утопить в работе, хорошо, что в ней не было недостатка: собрания в ротах, наглядная агитация, самодеятельность. Особенно самодеятельность помогала: он любил это дело. Материала было мало: ни скетчей, ни одноактных пьес, ни текстов песен, ни нот, ни рассказов, ни стихов — ничего этого не было. Собирал он с бору по сосенке. А постановку чеховской «Хирургии» сделал по памяти. Был у них в хоззаводе старый учитель литературы Семен Семеныч, тоже любитель самодеятельности, вот вместе с ним они и вспоминали текст, записали его, присочинив немало своего, а потом и поставили эту сценку: Гурин играл больного, Семен Семеныч хирурга. Инструмент для «доктора», пассатижи-«щучки», взяли у батальонного сапожника Васи, зуб величиной с кулак вытесали из дерева, корень зуба Семен Семеныч покрыл красной краской. Этот огромный зуб прятался в повязку больного и вытаскивался «хирургом» якобы изо рта страдальца пассатижами. Успех сценки был необыкновенный.

Это днем. А вечерами Гурин скучал, думал о Шуре, о себе, о своем будущем. Чтобы хоть немного отвлечься, читал книги.

В один из таких вечеров у них в домике появился младший лейтенант Мальшев.

В комнату вошел маленький человечек в новеньком офицерском обмундировании. Необмятая форма топорщилась на нем лежальными складками, как на новобранце, большие полевые погоны крыльшками свисали с узких покатых плеч, а тяжелые кирзовые сапоги широкими раструбами голенищ поднимались до самых колен. Просторная фуражка с большим матерчатым козырьком сидела на нем будто с бабкиной головы, согнув лопушистые уши почти вдвое. Ничем не взбодренная тулья ее блином лежала на околыше. На правом боку вошедшего висела полевая сумка из коричневой кирзы, за спиной на длинных ляжках болтался тощий солдатский вещмешок.левой рукой гость прижимал зеленую, из английского сукна шинель. Человечек шкрябнул каблуками по полу, вскинул неумело правую руку к козырьку, доложив мальчишеским ломающимся голосом:

— Товарищ майор, младший лейтенант Малышев прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы в качестве комсорга батальона!

Гурин полулежал на диване в другой комнате и через открытую дверь изучал младшего лейтенанта, изучал машинально, так как все еще был поглощен книгой. Смысл слов младшего лейтенанта дошел до Гурина не сразу: умилял его мальчишеский вид. Ожидая ответа,

Мальшев по-заячьи дергал маленьким носиком, будто в носу у него щекотало.

Майор сидел в передней комнате, что-то писал. На доклад вошедшего не обернулся, а лишь перестал писать и сидел неподвижно, уставившись в стол. «Почему майор ничего не отвечает парню, тот устал уже стоять навтыжку,— подумал Гурин и только теперь сообразил, кто это и зачем.— Вот оно!..» Гурин вскочил с дивана и тут же опустился беспомощно. К горлу непродыхаемым комком подкатила горькая обида. Ну что бы прислать его сразу, когда он еще не привык к этой работе, не вошел во вкус... Гурин свыкся со своей должностью, исподволь стал мечтать об офицерских погонах и поэтому появление младшего лейтенанта воспринял как удар, как несправедливость, как крушение всех своих надежд...

Гурин был уверен, что именно оккупация помешала ему стать офицером и по праву занимать должность. Теперь он видел, что она будет мешать ему жить и дальше. Сколько раз, бывало, подхватывали его с охотой — вызывали в политотдел, беседовали заинтересованно, заставляли заполнить анкету, читали ее весело, но, когда доходили до пункта «Был ли на оккупированной территории», лица людей мрачнели, интерес к нему угасал.

Майор знал об этих вызовах и знал, как Гурин тяжело переживал всякий такой безрезультатный вызов, пытался успокоить его, говорил, что это война заставляет осторожничать, а теперь будет все по-другому. «Да и в войну,— говорил он,— тебе, старшему сержанту, доверили офицерскую должность». «Только в силу сложившейся обстановки»,— возражал Гурин.

И вот оно так и случилось: появилась возможность заменить его — и он стал не нужен...

Не оборачиваясь майор наконец спросил у Мальшева:

— Может быть, парторгом батальона? — Майор надеялся на ошибку. В батальоне с самого Кюстрина не было парторга: Бутенко ранило, а нового до сих пор не прислали.

— Никак нет, товарищ майор. Комсоргом.

Мальшев достал из полевой сумки направление, подал майору. Тот взглянул на младшего лейтенанта и стал читать документ.

Гурин машинально потянул со стула ремень, поднялся и стал медленно застегиваться. Потом надел пилотку, одернул гимнастерку и что делать дальше — не знал. Стоял и ждал повода, чтобы выйти. Но сообразив, что такого повода не будет, направился к выходу. Мальшев, увидев Гурина, почему-то улыбнулся ему как знакомому. Он словно почувствовал облегчение оттого, что, кроме сурового майора, здесь, оказывается, есть еще люди.

— Гурин,— позвал майор. И совсем мягко: — Василий...

— Я здесь, товарищ майор.

— Принимай гостя. О делах поговорим завтра. Утро вечера мудренее.— Кивнул младшему лейтенанту: — Проходите, располагайтесь. Здесь вся наша полitchать,— пояснил он.

Мальшев совсем растаял, глаза заблестели радостью, словно он родных встретил. Протянул Гурину руку, назвался:

— Мальшев... Павел.

— Гурин. Вот,— указал он не на свободную койку, которую берегли парторгу, а на свою.

Мальшев положил на стул, видно, изрядно надоевшую ему полевую сумку, снял вещмешок, сунул под койку, сказал Гурину вполголоса, доверительно:

— Ты, Вась, зови меня просто Пашка.— Оглянулся на дверь, за которой сидел майор, подмигнул заговорщицки.

— Хорошо, товарищ младший лейтенант. Располагайтесь, не буду вам мешать,— сказал Гурин и направился к выходу.

Майор оглянулся на него.

— Куда?

— Схожу в штаб...

Майор неодобрительно крикнул, но Гурин сделал вид, что ничего не понял, вышел.

В штабе сидел один Кузьмин и, как всегда, чертил многочисленные формы, которые потом заполнял своим каллиграфическим почерком. С дынеобразной головой, остриженной наголо, в обычной своей пилотке, вечно сидящей на нем поперек головы, Кузьмин встретил комсорга ехидной улыбкой, и Гурин догадался, что Малышев побывал здесь, прежде чем пришел к ним.

— А, товарищ старший сержант Гурин! — произнес писарь подчеркнуто уважительно. — Кончилась ваша офицерская служба?

— Тебе-то что за радость?

— А что же мне, плакать? — Кузьмин нагло улыбался, и Гурину хотелось ударить его в блестящую сытую рожу.

Но он сдержался, подошел к телефону, чтобы позвонить в пулеметный батальон: может быть, Шура уже вернулась — она так нужна была ему сейчас.

— И по личной линии, наверное, вам пришла отставка. — Кузьмин вытащил из ящика письмо. — Вот посмотрите, может, и звонить куда не надо.

Гурин взял конверт.

— Ты откуда знаешь, что здесь? Читаешь чужие письма?

Кузьмин обиделся:

— Вы на меня не тыкайте, товарищ старший сержант, я с вами свиней не пас.

— Почему не прислал письмо?

— Я не имею права гонять связного по вашим личным делам.

— Откуда тебе известно, что это личное письмо? — наступал

Гурин.

— Почерк не знаю, что ли?

Почерк был ее, Шурин. Гурин разорвал конверт и тут же стал читать письмо:

«Дорогой Вася!

Когда ты получишь это письмо, я буду уже далеко...

Я знаю, что причиняю тебе боль, но поверь, что делать это мне очень и очень нелегко: ведь я люблю тебя. Ты должен трезво все взвесить и понять меня. Да и себя тоже.

Мы увлеклись друг другом и мало отдавали себе отчета в том, как будем жить. Нет, я не права: ты отдавал, ты говорил о себе, что ты, по существу, тот же школьник, каким был перед войной: без специальности, без занятия. Представь — и я такая же. И что же нас ждало впереди? Мечты твой и решимость найти себя в жизни — это только мечты, от них до реального осуществления расстояние огромное и трудное, да тем более с такой обузой, как я. Одному тебе гораздо легче будет найти себя. Пойми это.

А мое дело — женское... Поверь, нелегко мне было решиться на это, но, взвесив все, я решилась. Да и Курбатов, по-моему, неплохой человек: и жизнью умудренный и дело у него в руках хорошее — до войны он уже преподавал в строительном техникуме...»

«Ничего не понимаю! Что случилось, при чем тут Курбатов?» — удивлялся письму Гурин.

— Ну что, прав я? — захихикал Кузьмин. — Отставка?

— Да ты-то откуда знаешь? Все-таки прочитал письмо, гад? — разъярился Гурин: ему надо было на ком-то сорвать зло.

— Очень нужно! Об этом и так все знают: комбат пульбата увез с собой вашу Шуру. — И он засмеялся громко, раскатисто.

— Перестань, или я тебя сейчас пристрелю! — заорал Гурин, и рука его невольно потянулась к заднему карману, где лежал драго-

ценный кюстринский трофей: маленький, величиной с воробья пистолет «вальтер» с четырьмя патронами в обойме.

— Но-но! — испугался Кузьмин. — Я часового позову. «Пристрелю»... Вы еще ответите за эти слова. И за незаконное оружие ответите: был приказ сдать все трофейное оружие.

— Да ну тебя... — Гурин махнул на Кузьмина рукой и вышел из штаба. Прошел как в бреду мимо часового и направился в темень леса — за солдатскую кухню, за хоззвод, туда, где ровными рядами росли молоденькие пушистые сосны. Они часто ходили с Шурой между рядами этих сосен — хорошо в них: чисто, уютно и недалеко от расположения. Зачем он пошел именно туда, Гурин не знал. А в голове билась только одна мысль: «Все... Конец всему... Конец... Все рухнуло... И капитан Шульгин был прав...»

Гурин вынул «вальтер», загнал патрон в ствол и приставил к груди. Прежде чем выстрелить, он снял пилотку и накрыл ею руку с пистолетом. Зачем? Наверное, чтобы заглушить выстрел. Выстрела он не слышал, а вдруг ощутил нестерпимую боль в правом локте, словно кто сильно ударил его палкой по самой косточке. Удар был такой сильный, что он выронил пистолет.

— Сукин сын! — раздался рядом хриплый голос майора. — Умнее ничего не мог придумать? — Он резко дернул Гурина за рукав. — Где пистолет?

Гурин машинально расставил руки. Майор нагнулся, пошарил в траве возле него, поднял пилотку, письмо и «вальтер», схватил Гурина повыше локтя, потащил в дом, толкнул на стул, принялся отчитывать:

— Эх ты! Пороть тебя надо, сукина сына! Это для того мы столько пережили, столько потеряли, чтобы после победы остальным, оставшимся в живых, перестреляться? Мальчишка!.. Да врагу ведь только это и нужно. Ты подумал об этом? — закричал вдруг майор. — О матери своей подумал? Вот сиди и вспоминай всю войну. Всю! И потом скажешь мне, где ты вел себя не так, где струсил, где сподличал, чтобы тебя стоило убить. Вспоминай! И ты увидишь, негодяй, что струсил ты сегодня, то есть тогда, когда все страшное уже осталось позади, а впереди самое трудное. И тебя не хватило на это трудное!

И вот Гурин вспоминает. Не потому, что так приказал замполит. Нет. Вспоминается само. Прежде всего мать... Как же он не подумал о ней, не вспомнил? Ведь стоило кому-то только намекнуть о ней, как все было бы иначе, все отошло бы на второй план. Мать...

В Берлине

Батальон постепенно рассасывался, редел. Первым отозвали старшего лейтенанта Сергея Аспина. Нашел он Гурина в клубном бараке, еще с порога расставил руки, заулыбался грустно.

— Ну, Вася, прощай.

— Куда?

— Новая служба начинается... Прощай, друг. Я пришлю тебе свой новый адрес.

— Обязательно пришли, Сережа.

— Давай не будем теряться. На всю жизнь!

— На всю жизнь, Сережа!

Он обнял Гурина крепко, растрогался Гурин.

— Мало мы с тобой повоевали...

— Ничего, — сказал Аспин, блестя черными, как мокрый терн, глазами. — У меня такое впечатление, будто мы всю войну были вместе. Прощай. — Он поднял руку в кулаке на манер испанских революционеров и, пятясь, вышел из барака.

Потом уезжал лейтенант Саша Исаев — его отозвали на учебу.

— Саша, будешь генералом!

В ответ Исаев улыбался сдержанно и счастливо.

— Ты понимаешь, Вася, я вот тут как-то взгрустнул от предстоящей разлуки, стал прикидывать, где был, что прошел, с кем встречался. Так мы же, оказывается, с тобой уже сто лет воюем! Ты помнишь нашу роту автоматчиков?

— Ну как же! Я помню еще, когда ты отбирал нас в запасном. У тебя была такая бекеша. Или как ее назвать? Жупан, как у махновского Левки Задова.

— Но-но! — погрозил Исаев пальцем, с трудом выдерживая серьезность на лице. — Какой еще Левка! А шубейка была что надо, верно. Потерял где-то. Да хрен с ней, зато сам живой. А?

— Живой.

— А сколько мальчиков полегло на моих глазах... Многие были гораздо лучше меня, сколько бы они пользы сейчас принесли...

Помолчали. Исаев расстегнул планшечку, достал из нее свою фотокарточку с уже готовой надписью.

— Возьми вот на память... Не читай, потом прочитаешь, — застеснялся вдруг он. — Ну, бывай!

Обнялись до хруста в костях, быстро отвели глаза друг от друга, и Исаев пулей выскочил из комнаты. Поддернув растаявший почему-то нос, Гурин принялся читать надпись на фотографии: «На память лучшему другу в честь нашей боевой дружбы в дни великой войны. Вася, пусть этот мертвый отпечаток напомнит о живом. Без красивых слов, но от глубины души. 28.08.45. Л-т Исаев». Гурин перевернул фотографию и долго смотрел на «этот мертвый отпечаток». Кабинетная фотография на плотной бумаге, обрезанная зубчиками, — немецкая работа. Снят Исаев был в полный рост на фоне задника, изображавшего какую-то тропическую растительность. Стоит он стройный, руки за спину, правая нога чуть вперед. Китель, галифе, сапоги — все новенькое, на галифе отутюженная стрелка. На правой груди два ордена — Красной Звезды и Отечественной войны. Нос картошкой, чуть вздернут, глаза устремлены вперед... «Эх ты, Сашка, Сашка... Напускал на себя строгость и браваду безразличия к жизни, а сам лирик. А я и не знал. Не замечал, что у тебя нос картошкой и что он вздернут, как у мальчишки...» — улыбался Гурин, глядя на фотографию.

Майор Кирьянов последнее время часто отсутствовал, был где-то в бегах, наверное, назревала какая-то перемена и в его судьбе. Поэтому всю партполитработу в батальоне вели Гурин и Малышев — то ли два комсорга, то ли два парторга.

И вот однажды после долгого отсутствия появился майор Кирьянов — в новом кителе с золотыми погонами и на каждом из них по две большие звезды! Подполковник! С трудом сдерживая радостную улыбку, он смотрел на ребят, вскочивших при его появлении и остолбеневших перед его обновлением.

— Поздравляю, товарищ майор... Извините, товарищ подполковник! — наконец сообразил поздравить его Гурин. — А вам идет!

Кирьянов ухмыльнулся:

— Еще бы!.. Чины, награды и высокая зарплата всем идут, — сказал он весело. — Ну, хлопчики, настал час разлуки...

— Как? — удивились они разом, хотя ждали этого часа.

— Вы получили новое назначение? — спросил Гурин.

— Получил, — сказал Кирьянов. — Назначен замполитом коменданта района Лихтенберг в Берлине.

Они не знали, что сказать подполковнику на это, и только переглянулись. Лица у обоих стали кислыми: они лишались своего доброго и строгого наставника и заступника.

Кирьянов выдержал паузу, объявил:

— А ты, Гурин, назначен комсоргом советской военной комендатуры района Лихтенберг.

— Я?.. С вами?.. — не сдержав восторга, закричал Гурин.

— Документы уже у меня. На сборы десять минут. Нас ждет машина.

— Я сбегаяю! Попрощаюсь с комбатом, с командиром роты! — сказал Гурин.

— Конечно, конечно, беги, — разрешил подполковник.

В штабе Гурин застал капитана Землина и Кузьмина. Они уже знали о его переводе и догадались, зачем он прибежал. Капитан подкрутил усы, вышел к нему из-за стола, схватил крепкими руками за плечи и, глядя прямо в глаза, сказал:

— Ну, сынок, желаю тебе хорошей жизни. Пережили проклятую, теперь будем жить! Главное, не пасуй перед трудностями. Какие бы они ни были, это все же не то, когда по тебе и из пулеметов бьют и из минометов. А? Прощай. — Он крепко поцеловал Гурина в губы, щекоча усами. Вытащил платок, быстро вытер глаза.

Гурин обернулся к Кузьмину, который тоже вышел из-за стола, стоял ждал.

— До свиданья, Кузьмин.

— До свиданья, товарищ старший сержант. — Он пожал ему руку, смущенно улыбаясь. — Не сердитесь на меня.

— Да за что же, Кузьмин?

— Знаете... Всякое бывало...

— Все мы люди-человеки! Все хорошо, Кузьмин!

Комбата Гурин застал дома — они как раз сели с Люсей обедать.

— Товарищ гвардии майор, разрешите обратиться? Пришел попрощаться... — В горле предательски запершило, но он все-таки пересилил себя, выговорил все, что хотел: — И сказать вам спасибо за все... за все...

Люся, улыбаясь, поглядывала то на Гурина, то на Дорошенко, при последних словах глаза у нее заблестели, и она уже не отрывала от мужа ласкового, влюбленного взгляда, ждала от него ответа. И когда он не спеша вытер салфеткой рот и, кивнув на свободный стул возле себя, сказал: «Проходи, садись», Люся, словно только этого и ждала, кинулась к шкафчику, достала оттуда графинчик и три стопки.

— И я выпью с вами. Я нашего комсорга тоже любила.

— Запоздалое признание, — улыбнулся комбат, разливая по стопкам желтоватую, подкрашенную трофейным апельсиновым ликером водку.

— Лучше позже, чем никогда, — не унималась Люся, вгоняя Гурина в краску.

— Ну, будь счастлив, Гурин.

Майор стукнул своей стопкой о его, подбадривая, подмигнул. Гурин выпил.

— Закусывай.

Он подвинул ему тарелку с ломтиками бледного сыра. Люся тут же подала ему вилку.

— Пообедаешь с нами?

— Нет, товарищ майор, спасибо. Я не голоден. Да и там меня ждет подполковник, дал на сборы десять минут.

— Ах да, подполковник! Я и забыл, — заулыбался майор. — Ну что ж... Не смею задерживать. — Он встал и, крепко сжимая Гурина руку, заговорил: — Помни: теперь все зависит от тебя самого, как ты сумеешь распорядиться своей жизнью. Легкой она не будет, но это не значит, что надо сводить с ней счеты. — Он погрозил ему пальцем. — Не поддавайся страстям. Увлекаться можно, поддаваться им нельзя.

— Ох ты мудрый какой! — У Люси зарозовели щечки, глаза заблестели. — А я пожелаю тебе, Вася, чтобы ты встретил девушку, которая не только любила бы тебя, но и понимала.

— Спасибо, Люся. И вам большого счастья с майором. На всю жизнь!

Коваленкова в роте не оказалось, и Гурин очень огорчился. Попросил писаря, чтобы тот передал капитану, что он приходится прощаться.

— Скажи ему, что я обязательно приеду из Лихтенберга и пусть он тоже заходит в комендатуру, когда будет в Берлине...

Паша Малышев подхватил в одну руку чемодан подполковника, а в другую гуринский вещмешок и ни за что не уступал их до самой машины.

В город они приехали быстро, лихо подкатали к комендатуре.

— Бери свои вещи, — сказал Кирьянов Гурину и, припадая на больную ногу, опираясь на палочку, быстро пошел по тротуару. Толкнул, будто в свою квартиру, дверь в ближайшем подъезде, спросил у дневального, вскочившего оторопело перед ним: — Где командир роты?

— Там, в канцелярии, товарищ подполковник.

— Пойдем, — кивнул Гурину.

Командир комендантской роты, капитан с белесыми бровями и рыжими, как недожженный кирпич, волосами, увидев подполковника, вскочил со стула, козырнул, хотел доложить, но Кирьянов остановил его. Поздоровался с ним за руку, указал на Гурина:

— Это старший сержант Гурин. Комсорг нашего района. Числится он будет в вашей роте. Должность эта офицерская, поэтому на довольствии он будет в офицерской столовой. Поселить его надо бы в отдельной комнатке.

— Ясно, товарищ подполковник, — сказал капитан, поглядывая на Гурина. — Сделаем.

— Комнатка найдется?

— Есть свободная на пятом этаже.

— Вот и хорошо. Пойдемте посмотрим.

Подполковник пропустил капитана вперед. Осмотрел пустую, метров на десять комнатку, оглянулся на Гурина.

— Маловата? Или ничего?

— Мне хватит, — сказал Гурин.

Кирьянов выглянул на балкон.

— Хорошо, с балконом. А это куда дверь? Ага... Нужная вещь. А эта дверь куда? Ага, кухня. Ну что ж, готовить тебе не придется, приспособишь ее как дополнительное помещение. Прошу вас, капитан, организуйте ему койку, письменный стол, парочку стульев. Что еще? Да, шкаф обязательно — для книг. Ну а остальное сам потом скажешь. — обернулся подполковник к Гурину. — Здесь и будет твоя комсомольская штаб-квартира. Сегодня устраивайся, завтра в десять утра зайди ко мне... До свидания, капитан.

— До свиданья, товарищ подполковник.

Когда они остались одни, капитан улыбнулся Гурину широкой добродушной улыбкой и протянул руку:

— Ну, будем знакомы? Чумаков.

Перед вечером Гурин вышел на улицу и прошелся по площади, рассматривая дома и изучая место своего нового обитания. На одном углу он прочитал: «Luisenstrasse». «Луизенштрассе... Луизенштрассе...» — стал он вспоминать что-то, связанное с этим названием, и вспомнил: фотограф! Достал блокнот, полистал — вот она, квитанция. «Пойти, что ли, забрать фотографии?» И пока раздумывал, идти или не идти, ноги уже сами принесли его к нужному дому. Немец быстро нашел фотографии, и Гурин вышел. Вышел и тут же на тротуаре стал

рассматривать снимки. Подпоясанная комсоставским ремнем с португеей, в юбочке, слегка расклешенной внизу, в хромовых легких сапожках, с головой, скромно склоненной набок, Шура, подхватив правой рукой Гурина под локоть, смотрела прямо в аппарат, слегка улыбаясь, отчего явственно видна была ямочка на ее щеке.

— Эх, Шурка, Шурка! — прошептал Гурин и медленно стал рвать фотографии на мелкие кусочки.

С утра в приемной подполковника Кирьянова уже сидели несколько немцев — ждали приема. Свои шли к нему вне очереди. Когда Гурин зашел в кабинет, там уже сидел благообразный седоватый немец, держа на коленях большой, изрядно потертый портфель. Подполковник рассматривал какие-то бумаги. Тут же, у противоположного конца стола, сидела переводчица. Не отрываясь от бумаг, подполковник указал Гурину на диван.

— Я все-таки не пойму — что у вас: фракция, секция, районное отделение социал-демократической партии или же вы организуете свою новую партию? — спрашивал Кирьянов у немца, а тот смотрел на переводчицу, ждал перевода...

Наконец все было выяснено, и Кирьянов заключил:

— Хорошо. Заявление ваше есть, устав и программа тоже. Рассмотрим все и тогда сообщим, разрешить вам собрание или нет. Зал посмотрим. Адрес места собрания указан? Хорошо. Через три дня будет ответ. До свидания. — Подполковник встал, подал немцу руку.

Кланяясь и благодаря за внимание, немец вышел. Подполковник вытер лоб платком.

— Видал, какими делами приходится заниматься? От этих партий, секций, фракций черт ногу сломит — поди разберись, кто какому богу молится. — Он собрал бумаги со стола, передал переводчице: — К завтрашнему дню переведите мне все это, пожалуйста. — Поманил Гурина с дивана на стул, на котором сидел немец, перегнулся через стол, начал говорить, отмеривая каждое слово указательным пальцем: — Твоя задача — комсомольцы и молодежь. Главное: оградить от буржуазно-мещанских соблазнов, которых здесь предостаточно. Клубом займись вплотную, самодеятельность возьми в свои руки. Агитаторов подбери самых боевых. В районе одиннадцать участков — им побольше внимания. Комендантская рота здесь, на виду, а те на отшибе, вольная жизнь. Столкнешься с непонятным — приходи, вдвоем разберемся. А трудностей здесь будет ой-ой, к ним будь готов. И сам учись. При Центральном Доме офицеров открывается ДПШ — годичная дивизионная партийная школа, — я рекомендовал тебя туда. Начнем новую жизнь по-новому. И — выше голову!

Новая жизнь Гурина началась в тот же день.

Первым к нему пришел заведующий клубом ефрейтор Фимка Раввич — худой, долговязый, с печальными, как у Иисуса, глазами.

— Товарищ старший сержант, подполковник Кирьянов к вам прислал. Мы привезли несколько трофейных фильмов, посмотрите, пожалуйста, какие можно показывать нашим солдатам и офицерам.

«О, это интересно! Кино я люблю!..» — обрадовался Гурин.

— Пойдемте посмотрим.

В зале Фимка спросил:

— Хотите посмотреть ихний киножурнал «Die Woche»?

— Давай.

— Давай журнал! — крикнул тот механику, и в ту же минуту на экране в стремительных лучах появился огромный орел со свастики в лапах. Потом по нему крупно: «Die Woche». Пошла обычная хвастливая фашистская хроника. Парады войск. Выступление Гитлера. Победная фронтовая информация. — Еще? — спросил Фимка.

— Хватит. Давайте художественный.

Свет снова погас, и пошел фильм «Акробат Schöhne». Почти бессловесная грустная комедия об акробате-клоуне была вполне приличной картиной.

— Эта ничего, можно,— дал оценку Гурин, разрешив ее к показу.

— Эту можно,— согласился Фимка.— А вот следующую?

— Что там? Фашистская пропаганда?

— Не! «Die Frau meiner Träume».— И тут же перевел:— «Женщина моей мечты».

Эту картину Гурин смотрел с удовольствием, давно ничего подобного не видел: красивая женщина, любовь, танцы, пение. И все в цвете.

— Ну как? — спросил Раввич, когда в зале вспыхнул свет.

— По-моему, хороший фильм, а?

— Конечно, хороший. А как быть с кадрами, когда она голая купается в бочке?

— Да, это для нас слишком...

— Может, вырезать эту сцену?

— Жалко портить ленту... Пусть механик закроет в этот момент объектив рукой. Или начнет протирать его тряпкой.

— Точно!— обрадовался Раввич.— Так и сделаем. А сегодня какой пустим? «Акробата» или «Фрау»?

— Давай «Фрау».

Вечером зал был набит до отказа, будто заранее знали, что за фильм им собираются показать. Начало задерживалось — ждали комеданта и замполита. Наконец они появились, заняли свои места, и фильм начался. Гурин смотрел его второй раз с тем же удовольствием, но теперь уже как бы и не только своими глазами, а глазами всех присутствующих, и прежде всего подполковника Кирьянова, и побаивался: не слишком ли большую вольность допустил? Не прозевал бы механик закрыть ту злополучную сцену с бочкой... Толкнул Фимку, прошептал ему на ухо:

— Иди в аппаратную, сам проследи, чтобы вовремя сцену с купанием закрыл.

Пригнувшись, побежал Раввич в аппаратную. А Гурин волнуется: вот-вот та сцена, успеют ли? Экран затемнился, замелькали какие-то проблески — трет механик объектив. А в зале поднялся свист, топот, крик:

— Сапожник! Нашел время вытирать!

Испугавшись шума, механик прекратил вытирать объектив, и на экране во всей красе предстала симпатичная Марика Рокк.

После сеанса подполковник задержался, ждал, пока все выйдут. Гурин стоял в сторонке, тоже ждал: чувствовал, будет накачка. Но Кирьянов только спросил раздумчиво:

— Может, такие фильмы не надо показывать? А?

— Ну а что в нем такого, товарищ подполковник? — Гурин сразу перешел в наступление, почувствовав неуверенность подполковника.— Ведь как красиво! Разве вам не понравилось?

Кирьянов погрозил Гурину пальцем.

Пришел комсорг роты сержант Женя Криворучкин, строгий и суровый деревенский парень. Выложил на стол кипу цветных открыток.

— Вот. У комсомольца обнаружили.— Дугообразные брови его сурово сдвинулись.— Командир роты сказал, надо на комсомольском собрании разобрать этот поступок...

Гурин стал перебирать открытки. Хорошая печать, сочные краски, глянцевая поверхность — добротные репродукции с картин великих мастеров всех времен и народов. Венеры, Венеры! Сколько их! Венера лежит, Венера стоит, Венера сидит, Венера с тем, Венера с этим, Венера с лебедем...

— Красота какая! — невольно вырвалось у Гурина.

— Чего? — удивился Криворучкин.

— Такая коллекция — это богатство, Женя! Интересно, где он подцепил ее? Это искусство, Женя. Репродукции с великих картин. Никогда не видел в музеях?

Женя, брезгливо поджав губы, покрутил головой.

— И я не видел, — признался Гурин. — Но читал и картинки, похожие на эти, видел в книгах. Смотри, тут вот на обороте все написано — художник, когда он жил, название картины: П. Веронезе, «Венера и Марс», 1580.

— Совсем голая. А рука его где? Фу! И это при ребенке, — указал он на пухленького Амура у ног Венеры.

— Это Амур, бог любви, — пояснил Гурин. — А рука?.. Все как в жизни...

— Чудно, — сказал Женя. — И такое висит в музее, и туда ходят бабы, девки, дети и все это видят?

— Да. Подбор коллекции, конечно, своеобразный...

— Ну, эта вот еще куда ни шло, у нее тут платком закрыто. А эта? А вот эта, с гусём?

— С лебедем.

— Ну с лебедем... Это же явно... Чё они делают? А это — тоже искусство? — Женя положил перед Гуриным вторую пачку открыток.

Увидел Гурин, и глаза на лоб полезли: никогда даже и не предполагал, что такое возможно.

— Вот это грязь, Женя. Ты же сам видишь разницу? Это все у него же?

— Да. Что с ним делать?

— Что делать... Думаю, не надо парня разбирать. Пришли, я поговорю с ним. А комсомольское собрание надо бы провести об искусстве. О настоящем искусстве и буржуазной пошлости. Докладчиком хорошо бы пригласить художника, искусствоведа.

— А где его взять?

— Постараемся найти.

Снова к Гурину пришел заведующий клубом, на этот раз с горой пластинок.

— Подполковник прислал к вам, прослушайте и отберите, какие можно крутить на танцах в клубе перед сеансами. Патефон сейчас принесу.

Пока Раввич бегал за патефоном, Гурин просматривал пластинки и к его приходу уже отложил целую горку — это были его любимые, музыка только-только наклюнувшейся его юности: танцевальные ритмы, и прежде всего — танго. Аргентинские танго и разные другие: «Романсита», «Мануэла», «Розарина», «Жемчуг», «Букет роз», «Дождь идет», «Цыган» и, конечно же, «Брызги шампанского»...

Раввич знал толк в эстраде, посмотрел отложенные пластинки, улыбнулся с пониманием. Поставили «Брызги», и сразу сердце наполнилось такой истомой, такой грустью повеяло, что хотелось плакать. После «Брызг» слушали «Цыгана», потом «Дождь идет»...

В дверь тихо постучали, и несмелый девичий голосок спросил:

— Можно?

В комнату вошла милая круглолицая девушка. Рот маленький, губы нежно-розовые, черная шляпка чуть набекрень.

— Здравствуйте. — И улыбнулась застенчиво и доверчиво.

— Здравствуйте. — Гурин откинул головку мембраны с пластинки, почему-то удивившись занятию, за которым она их застала.

— Я из участковой комендатуры. Переводчица. Хочу вступить в комсомол, — объяснила девушка свой приход.

— Разве у вас там нет комсомольской организации? — спросил Гурин.

— Есть. Но...

— Я зайду позднее. У меня там дела.— Фимка встал и деликатно удалился.

Гурин и юная гостья остались вдвоем.

«А жизнь-то идет! Продолжается жизнь! — воскликнул Гурин, ложась спать после рабочего дня.— Да какая интересная! А я хотел отправить себя на тот свет... И не видел бы ничего этого...»

Утром вышел на улицу. Увидел: солдаты сгружали с тупорылого «студебеккера» картошку, гребли ее лопатами из кузова прямо в открытый люк подвала. Оттуда несло сырым запахом земли, прелым опавшим листом — знакомой домашней осенью, той осенью, когда они с матерью начинали убирать огород. Не было лучшей поры для Гурина, чем ранняя осень: тихо, тепло, вольготно. В прозрачном воздухе плавают паутина, скот бродит по капустным грядкам — объедает кочерыжки, — на огородах жгут ботву, и дымок, путаясь в голых деревьях садов, медленно оседает на землю. Защемило сердце тоской — домой захотелось. Стоит, задумался. Откуда ни возьмись подполковник Кирьянов. Подошел вплотную, в глаза заглянул Гурину:

— О чем думы, комсорг?

Стушевался Гурин — врасплох его захватили, сказал смущенно:

— Да вот... домой потянуло.

— А-а-а, тоска начинается. Это болезнь серьезная.— И, понизив голос, будто по секрету предупредил: — Не поддавайся. Рано нам по домам, сам видишь. Победить победили, теперь надо победу закрепить.

— Знаю, товарищ подполковник...

— Вот то-то. Знай.— И заспешил по своим делам, прихрамывая и постукивая палочкой о тротуар.



ЛЕОНАРД ЛАВЛИНСКИЙ

★

РАЗИН В ПОСОЛЬСТВЕ (1658)

Пестры черкасские базары,
Кипит, монетами бренча,
Торговля — всех земель товары
Толкутся в ступе тары-бары,
Стегая бранью сторяча.
Армяне, греки и татары,
Платки, тюрбаны, шаровары —
Гудит людская саранча.
Не нужно Стеньке толмача.
Язык, наречие любое
Сдаются Разину без боя —
Немало крестнику дивясь,
Подметил опытный Корнила.
Востер, хитер зипунный князь
И вскоре станет у кормила
Бурлящей вольницы — серьга
Кусает мочку, дорога.
Словца худого не обронит
И с каждым ласков на кругу.
Но, видя желтую серьгу,
Громкоголос ее сторонник,
А супротивник ни гугу.
И Стенька мягче при Корниле.
Шипы-колючки подобрал,
Не развернулся шалый нрав,
Заботы, что ли, преклонили
Над половодьем буйных трав?
А может, волка прикормили?
Трясиной волку не пройти,
А Стенька выищет пути
И не оступится, где сколько.
Задатки парня таковы,
Что едет ухарь до Москвы
Стезей черкасского посольства.
И то скажу: не для заик
Державной грамоты язык.
В тяжелом бархате и злате,
Под сенью каменных палат
Небось потеет много знати,
Царя холопы веселят —
Решил казак на дикий лад,
Но, показалось, мрачен, тучен
Наместник божий на земле
И задыхается в Кремле,

Давно от радостей отучен.
Блестят зеркалами души
Надменной стражи бердыши.
«Замешан царь, поди, крутенько,
Да сыроват», — подумал Стенька,
Когда бы видеть мог насквозь
Боярин важный и мордатый
(А по призванью соглядатай),
Когда бы видеть мог насквозь,
Что в голове донца кудлатой
Самоуверенно пеклось,
На месте рухнул бы небось:
Дерзнула темная станица
К земному богу прицениться.
А царь из глубины дворца,
Где молвил речи с атаманом,
Едва заметил гордеца,
Чья бунтовская хитреца
Жила во взоре безобманном.
Степан гулял по трын-траве,
Бродили слухи в голове:
Не то чума, не то холера
Людей косила на Москве,
Хотя при нашем естестве
Окрепла истинная вера
(Не попадись на воровстве:
Кипят в аду смола и сера).
Но, старой церкви опекун,
Апостол гневного раскола,
Смолит упрямец Аввакум
Свечой российского глагола
Никонианскую браду,
А сам — трусцой на холоду,
Давно за хмурым Енисеем
Гремит железом налегке.
А мы в царевом кабаке
Кручинной мути не рассеем.
Кому в глуши звериных троп
Свое докажешь, протопоп?
Ты спас людей двумя перстами?
По щуплым ребрам бедноты
Не разгоняются кнуты?
И правду мучить перестали?
Без грабежа приказный сыт?

Из тучи млеко моросит?
 Так думал Стенька или этак,
 Напомню: разинских заметок
 О том, что врублено в скрижаль,
 Мы не прочтем. И очень жаль.
 Надал бы жару в нашей топке,
 Хоть никогда бумажной стопке
 Не поверял заветных дум.
 И без того молва гудела:
 Большим костром запахло дело,
 Наводит марево колдун.
 Но при Степане друг за друга
 Тишком хоронятся враги,
 И дальше войскового крута
 Покуда не пошли круги.
 А на майдане батя крестный
 Молвы не стерпит вредоносной
 (Хоть мудрено без толмачей
 Понять язык незнамо чей)...
 На торге Стенька выбрал тонко
 Жене колечко и меха,
 Отрез для Фролки-жениха.
 Большая набралась котомка
 Коньков, свистулек для потомка
 (Возись, рассыпав на полу).

Для матушки иконок пару,
 Замок увесистый к амбару,
 Платок и швейную иглу.
 Ивану памятную чару:
 Хвати на гибель янычару!
 Корниле хитрый из кости
 Резной ларец — деньгу пасти..
 Прощай, державная столица,
 Гуди, мирской коловорот!
 Скачи без роздыха, станица,
 На свой черкасский огород.
 Чудной посол округе снится —
 Оврагу, чей родник иссох,
 Той самой отмели горючей,
 Где братья нежили песок,
 Седому тополю над кручей,
 Плетням, что смотрятся в Дону,
 И даже камню-валуну.
 Еще неведомы гостинцы,
 Какие дома припасла
 Судьба для нашего посла.
 Еще немало нагрустимся.
 До грозной плахи долот путь,
 Пора чуток передохнуть.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ВА. ЛИДИН

★

ДРУЗЬЯ МОИ — КНИГИ

Новые главы

Герои нокаута

Однажды ко мне пришел коренастый, плотный, несколько разлапый человек.

— Извините, что вторгаюсь, — сказал он и подал мне записку от моего доброго друга, поэта Константина Липскерова.

В записке была просьба принять и выслушать бывшего боксера Петра Евстафьевича Жеребцова.

Жеребцов, с примятым хрящом носа, как это обычно бывает у боксеров, сразу же прямо сказал:

— Я ничего не пришел просить, кроме совета. Я написал кое-что.

И он достал из хозяйственной сумки, скорее похожей на кису, большую, крупно исписанную и вдребезги перемазанную рукопись, на которую, каюсь, я взглянул с некоторым испугом.

А дальше мы разговорились с Жеребцовым, носившим фамилию, которая значилась в дворянских родословных книгах, но Петр Жеребцов знал о дворянах только понаслышке, он был родом с Кубани, выбивался в люди с большим трудом и потерями, учился в гимназии во Владикавказе и после многих мытарств и перемен профессий, хлебнув порядочно всяческой польни, стал почти профессиональным боксером.

Его огромная рукопись, ужаснувшая меня поначалу, оказалась, однако, интересной. В ней Жеребцов рассказывал, как он мытарствовал, но памятуя, что литература — дело возвышенное, только отдаленно представлял себе, что обо всем пережитом можно было бы написать. Мне как-то пришлось по душе этот большой, детски наивный человек, кстати, вызывавший уважение своими стальными бицепсами, и я принял некоторое участие в его судьбе. Прежде всего, прочитав его рукопись, я спросил:

— О чем ваша повесть?

— Как о чем? — удивился он. — О жизни.

— Вы вели аристократическую жизнь? — осведомился я.

— Помилуй бог, самую мизерабельную.

— Видите, вы даже о своей жизни отзываетесь несколько аристократически. А уж пишете вы так, будто вращались в высшем круге. Вы столько переменили на своем веку профессий, расскажите, как искали свое место в жизни. Но только совсем просто расскажите об этом.

Жеребцов задумался.

— А как?

— Ваша повесть будет называться, например, «Человек разных профессий», вот из этого названия и исходите. Однако обо всем этом нужно только еще написать.

Он озадаченно и грустно посмотрел на меня: ему казалось, что его рукопись можно уже печатать, и с этим он и пришел ко мне.

— М-да, видно, я погорел еще на одном деле,— сказал он и сунул обратно в кису свою рукопись.— Значит, придется дальше варить шоколад.

Был 1923 год, пора нэпа: пирожные, шоколад, мыло и еще многое другое изготовляли нередко кустарным способом, а Жеребцов изготовлял шоколад, продавал его где-то у Самотечной площади, возле которой жил, но его шоколада я никогда не пробовал. Он был неудачником, все его профессии слились в одну общую неудачу, и я сочувствовал этому сильному, но явно растерявшемуся от всех своих бед человеку.

Жеребцов ушел, я ничего не знал о нем далее, но год спустя он появился снова с рукописью — на этот раз рукопись была перепечатана на машинке, — а кису сменила появившаяся к тому времени авоська.

— Выполнил ваш наказ,— сказал Жеребцов и достал рукопись. На заглавной странице было напечатано: «Человек разных профессий», как в свое время я посоветовал ему.— Прочтете? — спросил он.

— Прочту.

— Тогда все. А пока — апп!

«Апп» — это выклик гимнаста в самый ответственный момент, когда под куполом цирка он отрывается от трапеции и перелетает на другую, и Жеребцов уподобил момент передачи своей рукописи именно цирковому опасному номеру.

Рукопись я прочитал, она потребовала редакционной работы, писал ее все-таки боксер, а не писатель. У меня хранится письмо А. М. Горького из Сорренто от 1925 года: «Интересно написали Вы мне о борце и его повести. Кто будет печатать ее?»

Александр Николаевич Тихонов-Серебров, верный помощник Горького во многих делах, редактор первого «Сборника пролетарских писателей», был тоже пестуном не одного начинающего писателя. В ту пору он заведовал издательством «Федерация». Александр Николаевич прочел рукопись Жеребцова, сказал:

— Будем печатать.

И в 1928 году книга Жеребцова, заявка на новую профессию, вышла в свет. За первой книгой последовали и другие — «Герои нокаута», изданные «Молодой гвардией», а в издательстве «Советский писатель» «Цирковые огни», — и долго искавший в жизни свою профессию Жеребцов наконец нашел ее, стал членом Союза писателей, ступив на полную тревог, а нередко и неудач дорогу. Например, долго не мог он пристроить одну свою большую повесть, которая, кажется, так и осталась ненапечатанной, а его воспоминания о Евгении Багратионовиче Вахтангове, с которым вместе учился во владикавказской гимназии, хранятся ныне в музее Театра имени Вахтангова.

— Вот вы знаете секрет, как писать книги,— сказал мне Жеребцов однажды,— а секрет поведения человека не знаете. А я знаю, у меня боксерская стойка. Я знаю, когда и как нужно обрушить удар, если говорить не о нападении, а о защите.

В ту пору только начиналось строительство подмосковного писательского городка в Переделкине, и Жеребцов не раз сопровождал меня в поездках: Переделкино тогда было сплошным лесом, притом глуховатым. Однажды, когда мы с Жеребцовым шли уже под вечер этим лесом, двое весьма отчаянного вида, оба выпившие, обратились ко мне:

— Дай прикурить.

— Он не курит,— сказал Жеребцов, сразу же встав между нами.

— Тогда на косушку дай,— сказал уже нагло один из них.

— У него нет с собой денег,— ответил за меня Жеребцов.

— А ты что встречаешь, давно не получал?

— Давно,— вздохнул Жеребцов.

— Хочешь получить?

— Очень хочу.

И в момент, когда парень поднял руку, Жеребцов мгновенно перехватил ее у запястья, так же мгновенно перехватил кисть другого, стукнул обоих головами друг о друга, и те остались стоять не то сразу, протрезвевшие, не то ошарашенные.

— Вот видите, — сказал Жеребцов удовлетворенно, когда мы отошли, — я знаю жизнь. Вы полезли бы за деньгами, а они сняли бы с вашей руки часы, это уж точно. Так что давайте будем учить друг друга понемногу: вы меня литературе, я вас приемам бокса, если кто-нибудь захочет сорвать с вашей руки часы.

Приемам бокса Жеребцов меня не научил, а в литературе помучился немало. Поздно придя к очередной профессии, он, конечно, не смог преодолеть барьера времени, нужного, чтобы стать писателем. Но в его книгах рассказано о том, как человек трудно, нередко наперекор судьбе искал свою дорогу в жизни, и я помню, с каким торжеством он сообщил мне по телефону: «Приняли!» — когда стал членом Союза писателей, и мало кто был счастливее его в этот день.

А потом на многие годы я потерял Жеребцова из виду, знал, что он трудно живет, не столь легко далась ему новая профессия, но он все же так или иначе нокаутировал свою не дававшуюся ему судьбу; и мне казалось, что он назвал одну из своих книг «Герои нокаута» не только по профессионально боксерскому признаку, но и потому, что в нем, несмотря на все потери, жило чувство победителя на трудном, таком трудном ринге жизни.

Кодекс здоровья

— Я бы охотно поставил вас на свою книжную полку в качестве дополнительного тома энциклопедического словаря, — сказал я однажды Василию Николаевичу Терновскому. — Но для книжной полки вы высоковаты.

— Могу полежать на ней, — согласился он кротко, однако внутренне как бы признав, что стоять рядом с энциклопедическим словарем для него не так уж закономерно.

Удивительной душевной полноты был этот поистине неповторимый человек. Анатом по специальности, действительный член Академии медицинских наук, действительный член Международной Академии медицины, знаток писателей и ученых античных и эпохи Возрождения, Василий Николаевич оставил большое литературное наследие. Великий анатом Андрей Везалий, Леонардо да Винчи с его записями по анатомии, Одо из Мена с его описанием лекарственных трав, Арнольд из Виллановы с его «Салернским кодексом здоровья» — все это прошло через руки Терновского, всему отдал он дань своего почтения и изучения, и я всегда радовался мысли, что где-то рядом на Новослободской живет этот пылкий человек. Терновский знал не только структуру человеческого тела, но и структуру духа человека. Во всяком случае, все его работы проникнуты почитанием именно человеческого духа.

Мы подружились с Василием Николаевичем в начале революции, жили в одном доме, я, по его словам, заразил его страстью к книгам, и страсть эта в дальнейшем пустила глубокие корни: Терновский стал собирателем книг, жадным, неутомимым, немножко всеядным. Но он просто не мог удержаться от соблазна купить хорошую книгу, которая хороша безотносительно к тому, собираешь ли книги такого рода. Это было, однако, еще и от энциклопедического склада его натуры.

Не существовало такого букинистического магазина, или ущелья, или закута, куда бы не ленился заглянуть этот высокий учтивый златокудрый человек. Я никогда не видел его библиотеки, но знаю, что

тысячи и тысячи книг обступили его, все тесня и тесня, и чем теснее, тем было для него внутренне просторнее.

С Терновским всегда было приятно встретиться: он как-то сразу вовлекал в свою задушевность мягким голосом, мягким взглядом сквозь очки; начиная с малого, говорил широко о многом, дивя нередко кругом своих обширных интересов и знаний. Я спросил у него как-то:

— Василий Николаевич, откуда вы столько знаете?

— Да ведь из книг, батенька. Наверно, мы оба с вами знаем кое-что из книг, и я мечтаю, чтобы написал кто-нибудь нечто вроде одиссеи в их честь.

— Тогда вы, наверно, перевели бы на латинский язык с вашими комментариями.

— Да уж постарался бы, конечно, латынь — это язык меди и литавров.

Его большим другом, а нередко и соавтором был и поныне здравствующий латинист Юрий Францевич Шульц, и доброе десятилетие нельзя было представить себе одного без другого. Их имена соседствовали на титулах книг, оба приходили ко мне обычно вместе, и тогда язык меди и литавров звучал в моей рабочей комнате.

О людях ярких всегда писать легко, а если это сочетается с величайшей скромностью, то и совсем привлекательным становится образ человека. Василий Николаевич был образцом скромности при огромных знаниях, а что касается собирательства книг, то одним из весьма замечательных книжников. Он вкладывал не только время, но и страсть в свое собирательство, любил книгу почти трепетно, волочил тяжелые пачки купленных по дороге с работы книг, и я нередко говорил ему:

— Не усердствуйте так, Василий Николаевич, оставьте что-нибудь и для других.

— Останется и для других, — отвечал он ревниво.

Мы сдружились с ним в ту пору, когда многие писатели стояли за прилавками книжных лавок, и я вспоминаю, как Сергей Есенин, довольно беспомощно примостившийся за прилавком «Книжной лавки поэтов», спросил меня:

— Кто этот золотой ангел в очках?

Золотым ангелом в очках был именно Василий Николаевич Терновский с золотистой гривой волос и золотистой курчавой бородкой в пору своего раннего библиофильства.

— Вы, наверно, ослышались, — сказал Василий Николаевич серьезно. — Видимо, Есенин принял меня не за золотого ангела, а за золотого дьявола в очках: все-таки книги в ту пору я вырывал зубами.

Мы примирились на соединении этих двух понятий, украшающих книжника, и сколько я знаю, Василий Николаевич вырывал книги зубами и в Казани, где долгое время профессорствовал в университете. По крайней мере, приехав в Казань, я в букинистическом магазине услышал от одного старого книжника:

— Эх, был у нас один книжник — Терновский... Сразу учует где что и уж не упустит, хватка у него была дай бог.

Это Василию Николаевичу, когда я рассказал ему, тоже понравилось: любой собиратель всегда гордится своей хваткой, если она приносит плоды.

— В кодекс здоровья непременно нужно было бы включить, каким оздоравливающим началом является для организма книга, — сказал он однажды в раздумье.

— Вот и напишите об этом.

— Нет, лучше вы напишите, а с меня и «Эпитоме» на целую жизнь хватит.

«Эпитоме» был труд любимого им Андрея Везалия, и я пообещал, что при случае, сославшись на Терновского как на испытанного деятеля

медицины, напишу, каким оздоравливающим началом является для организма человека книга.

Обычно в длительной дружбе не замечаешь изъянов, которые наносит время. Василий Николаевич стал побаливать, лечился в санаториях или отсиживался дома в соседстве с Авиценной или Леонардо да Винчи, с великими тенями, близкими ему. А потом его не стало, и я с опозданием узнал об этом.

Обращаясь к книгам Терновского, стоящим на моих книжных полках, я мысленно возвращаюсь к тому времени, когда Есенин назвал Василия Николаевича золотым ангелом, вижу его молодым врачом, еще не искушенным в книголюбии, а затем с горячностью намеревавшимся пропущенное.

— Знаете, мне иногда кажется, что чем человек больше любит книгу, тем меньше он подвержен заболеваниям. Надо бы действительно как-нибудь написать о книге как стимуле здоровья человека. В «Салернском кодексе здоровья» это упущено лишь потому, что в ту пору еще не было Гутенберга.

Со струнами сердца

Есть книги, которые глубоко хранят в себе след личной судьбы их автора.

О писательнице Елене Гуро, близкой к Маяковскому, Бурлюкам, Хлебникову, в Литературной энциклопедии сказано, что родилась она в Финляндии, примыкала к литературной группе кубофутуристов и что лейтмотивом ее творчества является потаенная любовь ко всему живому. Я не берусь расшифровывать это определение, знаю только, что две ее книги, «Небесные верблюжата» и «Шарманка», свидетельствуют об особом таланте и особом чувстве жизни, может быть слишком отвлеченном и утонченном. Однако следует вспомнить, что Гуро испытала также и влияние символистов: таковой была та эпоха, когда вышли ее книги.

Близкий к футуристам, культурный человек и отличный переводчик Бенедикт Лифшиц в своей книге «Полутораглазый стрелец» описывает первое впечатление от встречи с Гуро: они сразу друг другу не понравились. Лифшица раздражали «обескровленные слова», которыми Гуро «пыталась переводить свое астральное свечение на разговорный язык. Меня взорвала смесь Метерлинка с Жаммом». Однако в дальнейшем он пишет, что не знал тогда глубокие личные причины. Расширим же несколько эти невнятные слова Бенедикта Лифшица.

В 1912 году без указания издательства, отпечатанная на японской бумаге, вышла книжка Елены Гуро «Осенний сон». Не знаю, каким тиражом была она напечатана, но эта книга может быть уподоблена интимнейшему выражению глубокой сердечной боли ее автора: Елена Гуро, а если полностью — Элеонора Генриховна фон Нотенберг, потеряла единственного сына Вилли. Его памяти и была посвящена эта книга, вся смутная, вся из стихов или стихотворений в прозе, заполняющих пьесу в четырех актах «Осенний сон». В книге были два изображения юноши, рисованные Е. Гуро: она была и художницей. Приложены были и ноты «из скрипичной сюиты моей «Осенний сон», посвященной другу моему Вилли Нотенбергу», примыкавшему к петербургской группе футуристов В. В. Матюшина.

Пьесе «Осенний сон» предшествует в виде эпиграфа: «Памяти моего незабвенного единственного сына В. В. Нотенберга».

«Вот и лег, утихший, хороший — это ничего — нежный, смешной, верный, преданный — это ничего... Дитя мое; дитя хорошее, неумелое, верное дитя! Я жизни так не любила, как любила тебя». Может быть, самое лучшее, самое глубокое по чувству и, конечно, самое скорбное заключено в этой книжке Гуро, оставшейся почти неизвестной.

А на чистой страничке перед титулом начертано как бы пером: «Отдаю эту книгу тем, кто понимает и кто не гонит. Е. Гуро—Элеонора фон Нотенберг». Трудно раскрыть истинный смысл этого обращения, однако оно несомненно является свидетельством смятенной души и глубокой сердечной боли автора.

После первого знакомства с Еленой Гуро Бенедикт Лифшиц писал: «Гуро, которой оставалось жить каких-нибудь четыре месяца, так и посмотрела на меня как на человека с другого берега».

То личное, что несла Гуро в себе, ушло, но осталась книга, полная ее материнского горя, и всегда книги такого рода вызывают особое чувство.

Несколько схожая книжка, выпущенная тиражом в 400 экземпляров, была посвящена памяти артистки Бэлы Георгиевны Казарозы. В книге приняли участие выдающиеся общественные и театральные деятели: А. М. Коллонтай, А. Н. Бенуа, В. Э. Мейерхольд, С. Радлов, П. А. Марков,— а офорт «Гитана», изображающий Казарозу в одной из ее ролей, исполнил замечательный художник И. Нивинский. К книге приложены и ноты музыки Ильи Саца «Песня Гитаны», исполнявшейся Казарозой в мейерхольдовском «Доме интермедий».

«Я люблю ее образ за то, что она не боялась переиначивать и ломать свою жизнь, за то, что она понимала искания новых путей строительства во всех областях, за то, что в ней неизменно горел порыв к творческому созиданию»,— написала о ней А. М. Коллонтай.

Книгу о Казарозе издал ее муж Н. Д. Волков, известный театральный критик и автор либретто ряда балетов. А книга Гуро неизвестно кем издана, она глуха, на ней значится только, что она напечатана в одной из лучших типографий того времени — «Сириусе».

— Сохраните эту книжечку, она со струнами сердца,— сказал мне как-то, еще в давние времена, старый московский книжник Е. С. Романов, любовно обтерев рукавом халата маленькую книжечку — стихотворение П. А. Вяземского «Вевейская рябина», изданное в 1892 году.

«Когда же на земле простынет мой след в молчанье гробовом, и время в сумрак отодвинет то, что своим теперь зовем: не все ж волной своей мятежной затопит быстрых дней поток, хоть в сердце ближних, дружбой нежной, мне отведется уголок».

Для книг «со струнами сердца» всегда найдется почетное место на книжной полке, и лучше всего, если такие книги будут стоять рядом.

Библиофильский шифр

Андрей Белый в поисках новых словообразований был безудержен. Ему казалось, что любое слово можно переиначить и придать ему новый смысл; однако это не было лишь формалистическим приемом, музыка особой речи звучала в нем самом. Поиски эти при всех особенностях таланта Белого нередко оказывались неудачными. В предисловии к своей поэме «Первое свидание» он сам безжалостно написал о себе: «Я — стилистический прием, языковые идиомы!» Конечно, Белого и следует принять со всей многосложностью его речи, однако Валерий Брюсов, которому не занимать всяческих приемов и идиом, не склонен был принять ряда приемов Белого.

Библиотека Брюсова, оставшаяся после его смерти в той комнате, где он работал и где впоследствии образован был мемориальный кабинет-музей, претерпела значительный урон: в разных местах и в разное время находил я книги из библиотеки Брюсова, нередко с авторскими надписями, нередко и с личными пометками Брюсова в виде двух маленьких буковок «В. Б.». Кстати, этими буковками отмечал он и в собственных книгах те стихотворения, которые отбирал для другого издания или считал лучшими.

В числе развеявшихся книг оказалась и ранняя книга Андрея Белого «Урна». Брюсов читал стихи других поэтов критически, с пометками, и даже просто птички были в ряде случаев ядовиты, выражая не только критику, но и недовольство.

Книга «Урна» посвящена Брюсову, однако он был не из тех, кто принимал дар лишь с благодарностью, он весьма тщательно обнюхивал этот дар; обнюхал он в свою пору и книгу Белого.

Символисты любили предпосылать своим книгам пространные и весьма туманные вступления. Так, во вступлении Белого «Вместо предисловия» сказано: «В отделах «Тристии» и «Думы» собирается последний пепел: пепел хотя и возвышенного до символизма разочарования в жизни, но все еще разочарования. Разочарование это свободно от люциферических искусов».

Брюсов подчеркивает слова: «Лицо и з р е ж е т ветер резкий, п р о х л е щ е т кладом в глубь аллей». Однако его беспокоит не смысл, а смешение обстоятельств времени. В другом случае он помечает («В погоне за звуком теряет смысл»): «В окне: там дев сквозных пурга, серебряных,— их в воздух бросит». Его явно раздражают «безмерная немая грусть», «пылит кисей кисейный дым», «приемли, скатерть ледяная», «квас ток моих темнот проколет...». «Лучше было бы... если бы в его стихах было меньше этого „тока темнот“», — замечает Брюсов. Он проверяет размер, обстоятельства времени, правильность речи, щедро ставит вопросительные или восклицательные знаки — учено-назидательно, как и полагается признанному мэтру. Впрочем, и к себе он относится строго: так, буквы «В. Б.» разбросаны по всей его книге «Urbi et orbi» («Скорпион», 1900—1903). Наверно, впоследствии он отбирал из этого сборника лучшее или сам себе ставил отметки.

Обращаясь к книгам символистов, нельзя мерить их сегодняшней меркой. Тень безвременья лежит на этих книгах, и безвременье касается не только самой поэзии, но в ряде случаев и личных судеб авторов.

В моей библиотеке, наверно, около десяти книг Андрея Белого с его дружественными надписями, особенно дорогими мне тем, что я всегда ощущал ранимость и незащищенность Белого, в молодости яро наскокивавшего на своих оппонентов на диспутах и трогательно беспомощного в личном бытии. И «Петербург», и «Котик Летаев», и его поэтические сборники, и трилогия воспоминаний менее всего подходят на метрически выверенную поэзию и прозу Брюсова: в поэтическом косноязычии Белого все же больше мучительных исканий, чем хоть и в трудолюбивых, однако нередко вымученных строках Брюсова; Впрочем, это мое мнение можно и оспорить.

Судьба писательских библиотек всегда волнует меня. Я с печалью беру со своих книжных полок ту или иную книгу, которая прежде принадлежала другому писателю, представляю себе, как в свое время он радовался находке, а нередко книга служила ему и для работы. Так расселясь замечательная библиотека историка и литературоведа Павла Елисеевича Щеголева, я наблюдал печальную тризну ее постепенной распродажи, а между тем на ряде книг были исследовательские пометки Щеголева.

Но об одной истинной редкости из этой библиотеки нужно сказать особо. В свое время Академия наук выпустила трехтомное собрание писем А. С. Пушкина. В общеизвестном издании ряд слов и выражений в письмах к ближайшим друзьям заменен точками: следует сказать, что в выборе слов и выражений Пушкин не затруднялся. Издание это было мне подарено двумя славными книжниками с вложенной в первый том рукописной аннотацией: «Полный экземпляр. Напечатано 12 экземпляров для членов Академии наук».

Издание это, отпечатанное на особой плотной бумаге, было выпущено лишь с передней обложкой, той же, что и в общеизвестном

издании, а задняя с проставленной ценой отсутствует, экземпляры эти не продавались, а подносились. В томах, подаренных мне, есть карандашные пометки П. Е. Щеголева, экземпляр принадлежал ему, и когда библиотека распалась, мои друзья-книжники Д. С. Айзенштат и М. И. Шишков подарили мне собрание писем Пушкина, и уже столько лет я берегу этот дар.

И все же мне жаль цельности библиотеки П. Е. Щеголева, как жаль, в частности, распавшееся после смерти владельца, московского врача Н. А. Савельева, поразительное по полноте собрание, включавшее прижизненные издания Пушкина и поэтов пушкинской поры, такой монолит больше никогда не будет создан. И хотя ряд книг из этого собрания, украшая и утешая, стоит на моей книжной полке, я поступился бы ими в свою пору ради сохранения цельности библиотеки Савельева.

Раскрытие сдержанности или эмоциональности авторской надписи на книге, а также раскрытие личности того, кому поднесена книга, если имя это не общеизвестно, напоминает умелое пользование неким шифром, и у собирателя, если только он не просто ставит книгу на полку, всегда так или иначе найдется ключ к тому, что стоит за авторской надписью. Научиться владеть этим шифром тоже входит в катехизис обращения с книгами.

Однако неразгаданными все же остаются иногда и сами книги: так, например, до сих пор обсуждается, кто это Федор Дистрибуенди, автор книги «Взгляд на московские вывески», послужившей и Гоголю. Не мог я разгадать, почему на книге М. Колосова «Очерки с натуры (Из-под спуда петербургской жизни)» на обложке напечатано: «Без предварительной цензуры», — был ли это лишь прием или книга действительно вышла без цензуры?

Задумался я и над книгой стихотворений Монахини Марии, выпущенной издательством «Петрополис» в Берлине без указания года выпуска. Монахиня Мария — это известная поэтесса Елизавета Кузьмина-Караваева, ставшая монахиней и принявшая участие в движении Сопротивления во Франции во вторую мировую войну. О ее подвиге, достойном сказания, существуют поистине трагические сведения: заключенная фашистами в лагерь, она, спасая осужденную женщину, выдала себя за нее и пошла в газовую камеру. Об этом отлично рассказал Е. Богат в 1965 году в «Комсомольской правде».

А в сборнике Монахини Марии есть такие замечательные строки:

Сопряжены во мне два духа —
Один спокойно счет ведет:
Сегодня воля, завтра гнет,
Сегодня горечь, завтра мед.
Всему есть мера, есть и счет...
И стучают костяшки глухо...

Другой — несчастный и бродяга,
Слепых и нищих поводырь.
Ну что ж? Пустырь, так чрез пустырь.
Сегодня в даль, а завтра в ширь,
А послезавтра в небо тяга.

Но это уже не поэзия — это кровь, это сердце, это дух, и библиофилу остается только, найдя эту книгу, поставить ее в ряду тех книг, которые должно особенно беречь.

В Брюлловском кругу

Один из славных, просвещенных искусствоведов, Николай Георгиевич Машковцев, принес мне однажды в подарок свою книгу «К. П. Брюллов».

— Что вы знаете о Брюллове? — спросил он меня тогда.

Я признался, что знаю о нем лишь в общих чертах.

— А жаль,— сказал Машковцев,— окружите себя Брюolloвым — и вы не ошибетесь.

Я не искусствовед и «окружить» себя Брюolloвым никак не мог, однако в конечном итоге все же окружил себя им, или, вернее, он «окружил» меня.

Я прочел книгу Машковцева о Брюллове, проникся глубоким чувством к этому художнику, который глубоко заинтересовал Пушкина, а галерея созданных Брюлловым портретов современников с такой живой силой воскрешает эпоху, что без Брюллова и не представишь себе образа ряда писателей и деятелей того времени.

Именно в ту пору, когда я только что прочел книгу Машковцева, мне позвонил по телефону один малознакомый человек, о котором я знал, однако, что он несколько причастен к искусству.

— Что вы знаете о Брюллове? — спросил он меня примерно так же, как недавно спросил Машковцев.

— В каком смысле?

— Ну, любите ли этого художника?

Я предположил, что это Машковцев разыгрывает меня, чтобы через другого проверить, прочел ли я его книгу, и я, чтобы доставить приятность Машковцеву, сказал:

— Недавно с удовольствием прочел книгу Машковцева о Брюллове.

Но человек неожиданно предложил мне:

— Хотите приобрести рисунок Брюллова? Рисунок, правда, академический, но — Брюллово все-таки.

И я приобрел превосходный рисунок Брюллова, посвященный античной мифологии, рассказал об этом Машковцеву, и он пришел посмотреть рисунок.

— Вы прониклись теми сведениями, которые я изложил в своей книге об искусстве Брюллова? Так вот в подтверждение он и послал вам свой рисунок, можете порадоваться, Брюллово не был на этот счет расточителем.

А вскоре я набрел на одну весьма редкую книжку, о которой, возможно, и из искусствоведов мало кто знает: «Неизданные письма К. П. Брюллова и документы для его биографии с предисловием и примечаниями художника Михаила Железнова». Книжка вышла в 1867 году без указания места и типографии, и лишь по напечатанной на задней обложке цене (2 фр. 75 сант.) можно предположить, что она вышла во Франции или Швейцарии.

Оценку личности Михаила Железнова Брюллово дает в одном из писем его отцу Ивану Григорьевичу Железнову:

«Свидетельствую сим, что мой компаньон Михайло Иванов сын Железнов действительно вел себя бережливо и не только добропорядочно, но даже отлично для его огненного характера,— дороговизна выше наших предположений: мы проехали экономнейшим образом и теперь надеемся заняться на благословенной Мадейре, с которой будем иметь случай переслать вам и почтеннейшему вашему семейству настоящей Мадейры, только чур никому не давать» (но в сноске следует: «Брюллово, разумеется, не исполнил этого обещания»).

Книгу, выпущенную Железновым пятнадцать лет спустя после смерти Брюллова, может быть и приуроченную к этой дате, ощущаешь как дань признательного ученика или даже влюбленного в своего учителя. Но самое примечательное в этой книжке — заключительная скорбная страница:

«Некоторые русские художники узнали, что по распоряжению Миссии тело Брюллова должно быть перевезено из Манциано, пошли встречать его за ворота del Popolo. Недалеко от ворот они встретили мальчишку, везшего на телеге какой-то ящик, гнавшего свою лоша-

денку во весь опор. Ящик, стоявший на телеге, был так мало похож на гроб, что русские художники и подумать не могли, чтобы в нем везли Брюллова. По прошествии довольно долгого времени они, возвращаясь в город, спросили у стоявших у ворот таможенных солдат: не провозили ли в город тело Брюллова? Солдаты отвечали им, что тело было привезено виденным ими мальчишкой».

Таков был финал жизни блистательной, особенной, оставившей глубокий след в истории нашего искусства.

Художнику Михаилу Железнову было двадцать семь лет, когда он протиснулся со своим великим учителем. В том же году он получил первую серебряную медаль за «Портрет матери».

К книжке Железнова я присоединил тоже своего рода примечательную книжку А. Зражевской «Очерки итальянской литературы», вышедшую в 1841 году. А примечательна эта книжка тем, что на ней есть авторская дарственная надпись Карлу Павловичу Брюллову, для которого Италия была составной частью его художественного мира.

По ряду личных обстоятельств Николай Георгиевич Машковцев невесело жил последние годы жизни. Приходя ко мне, он не скрывал своей печальной озабоченности. Утешением для него оставалось искусство, которому так предан был этот тихий, вдумчивый человек.

В одну из встреч я сказал ему:

— Спасибо, Николай Георгиевич, что свели меня с Брюлловым.

— Я к вам хорошо отношусь и плохого знакомства не навязал бы,— ответил он.

А после смерти Николая Георгиевича ко мне перешла принадлежавшая ему действительная драгоценность. Художник Александр Иванов вел путевые заметки: чередуя свои размышления об искусстве рисунками и набросками, Иванов пометил их 1834 годом. Это была пора, когда вместе с Гоголем жил он в Риме под воспетым не одним поэтом итальянским небом. Машковцеву были несомненно дороги эти путевые заметки Иванова, как дороги они ныне и мне, оставшись навсегда связанными с памятью о Машковцеве.



О ЧЕ Р К И И Л А Ш И И Х Д Н Е Й

ВЛАДИМИР УСПЕНСКИЙ

★

В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЕ БАМа*

8

Для заслуженного лесовода РСФСР Дениса Семеновича Оконешникова якутская тайга — дом родной. В трудное военное время он еще мальчишкой охотился в ней, кормил семью. Ловил рыбу, собирал грибы, ягоды. Готовил дрова на долгую морозную зиму. А подросток — и работать стал в тайге. Давно, еще в 1952 году. С той поры прошел он большой путь от лесника до заместителя министра лесного хозяйства Якутской АССР. Глаза его оживляются, теплеют, когда начинает рассказывать о людях, оберегающих зеленое богатство, об их очень важном, интересном и на первый взгляд неблагодарном труде. О том, как на все лето уходят в глухие края лесостроители, изучают тайгу, заботятся о ней, прорубают просеки, безропотно перенося многие трудности, о которых горожане давно уже утратили всякое представление. Пронизывающие туманы, дожди, болота, комарье, долгое одиночество привычны для них. И все имущество на себе. Палатка, инструменты, продукты, а порой и запас воды.

— Нелегкая жизнь, — согласился я. И, зная, что сын Дениса Семеновича Семен Денисович только что окончил Красноярский лесотехнический институт, не удержался от вопроса: — Что же вы наследника своего от такой жизни не удержали?

— Он сам выбрал, я не настаивал. О трудностях предупреждал, да он и сам видал, — ответил Оконешников. И, улыбнувшись, добавил: — Однако приятно, что сын отцовские дела продолжает. В Оймяконе он теперь, на самом полюсе холода.

— Поближе места не нашлось?

— Он сам выбрал, — повторил Денис Семенович. — В Оймяконе специалисты нужны, там лес особенно дорог. Мало его, растет медленно, большая забота требуется.

Да, передалась, значит, сыну отцовская привязанность к тайге, и вся жизнь Оконешникова-старшего, посвященная сбережению зеленого богатства, стала примером, путеводной звездой для Оконешникова-младшего. Обычно такие люди, как Денис Семенович, отдавшие себя охране природы, очень ревностно, даже недоброжелательно относятся к тем, кто природе эксплуатирует, берет ее дары, далеко не всегда возмещая нанесенный ущерб. В частности, к лесозаготовителям. Бережешь, мол, бережешь угожья десятилетиями, а эти потребители налетят, как саранча, в считанные дни снимут все, что росло и спело целый век. А оставшееся искалечат, изранят, бросят на произвол судьбы. Вот пришел Малый БАМ в Южную Якутию — кому радость, а кому только заботы и тревоги. Лесозаготовители теперь разгуляются в якутской тайге. Так я думал, начиная разговор с Денисом Семеновичем, и с удивлением убедился, что настроен он иначе.

— Леса у нас много, — сказал Оконешников. — А заготавливалось мало, менее пяти миллионов кубометров в год на все нужды. Брала лес возле дорог да вдоль Лены. Километров на сорок — пятьдесят отошли заготовители от ее берегов... Переспелого леса у нас много, — повторил Денис Семенович. — Без пользы пропадает добро. Рубить лес можно и нужно, от этого хорошо и людям и самой тайге. Загвоздка лишь в том, как и какой лес брать. Вот большое место и узел противоречий.

Действительно, лесные просторы Якутии весьма обширны. А особенность их такая: очень однородный состав, почти 90 процентов занимает лиственница. Примерно на 150 мил-

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

лионах гектаров раскинулась лиственничная тайга. А это больше, чем вся тайга Западной Сибири — от Уральских гор до Енисея.

Вообще лиственница занимает в Советском Союзе огромную территорию. Неприхотливое это дерево растет и в Саянских горах, у южных границ страны, и за Полярным кругом, на московских улицах и на скалистых берегах Тихого океана. Она не боится жгучих морозов и вечной мерзлоты. Те, кто грелся у костра в заполярных краях — охотники и пастухи, геологи и путешественники, — всегда с любовью и благодарностью вспоминают о такой нужной на Севере лиственнице даурской.

В тайге лиственницы стоят поодаль одна от другой, широко и вольно раскинув ажурные ветви. Хмурым такой лес не бывает. А в ясный день он весь пронизан солнечными лучами, насыщен тонким волнующим запахом хвои, смолы. Земля устлана мхом, повсюду видны листики брусники.

Из этого чудесного дерева можно делать паркет и мебель, вырабатывать бумагу, скипидар, канифоль. Древесина лиственницы, твердая и смолистая, по физико-механическим свойствам приближается к дубу, а по сопротивлению, сжатию и изгибу даже превосходит его. Ни время, ни климат не властны над постройками из крупных, предварительно просушенных стволов лиственницы. Особенно выгодно применять ее для фундаментов, шпал, шахтных креплений, различных подводных сооружений — она не боится воды. Как известно, итальянский город Венеция расположен на островах, фундаменты старых построек сделаны из стволов сибирской лиственницы много веков назад. Когда в 1827 году местные власти решили проверить прочность фундаментов, выяснилось, что сваи под водой не разрушились, а стали еще крепче. Они словно окаменели, их не брали топор и пила.

Ученые подсчитали, что ежегодный прирост лиственницы только в Якутии составляет более 60 миллионов кубометров. Сюда, разумеется, входит и криволесье и угнетенная тайга на марях, но все же цифра эта весьма значительна. И при всем том как в Якутии, так и в других районах страны эта древесная порода используется у нас очень мало или вообще не используется. Конечно, добывать и транспортировать ее сложнее, чем, к примеру, ель, сосну, кедр. Древесина тяжелая, крепкая, разделявать ее нелегко. Сплавливать молам нельзя — тонет. Для изготовления продукции из лиственницы требуется специальное оборудование, особая технология. Но, в общем-то, все эти трудности вполне преодолимы, их преувеличивают те люди, которые озабочены лишь одним: взять побыстрее то, что получше, что ближе лежит. Любой ценой выполнить план, а там хоть трава не расти.

В очерке «Морские ворота БАМа» я рассказывал о дальневосточных лесозаготовителях, которые допускают большие перерубы хвойных пород, а главное — уничтожают уникальные кедровники Приморья, гоня за рубеж лучшую, ценнейшую нашу древесину. Потери от таких преступных заготовок невосполнимы. В ответ редакция «Нового мира» получила письмо от управляющего Дальневосточным отделением всесоюзного объединения Экспортлес Г. И. Бабушкина. Признавая, что в очерке правильно затронуты различные проблемы и вопросы, Бабушкин все же упрекает автора в некоторой категоричности выводов и приводит несколько цифр, отражающих положение дел с вывозом древесины. Управляющий пишет: «Что касается кедрового пиловочника, то доля его отгрузки на экспорт с Дальнего Востока в последние годы (1976—1978 гг.) практически не только не увеличилась, но и даже несколько сократилась — с 13% до 11,7%. Правда, по порту Восточный этот процент выше (в 1976—1978 гг. составил 11,3—27,6%), что объясняется тем, что основными грузоотправителями древесины в порт являются лесозаготовительные предприятия Приморья, где доля кедрового пиловочника в лесосырьевой базе сравнительно высока».

Цифры эти действительно говорят сами за себя. Сколько у нас в стране кедров? Малая толика. В европейской части его вообще нет, в обширной тайге Якутии едва ли один процент. Да и в других местах его «выстригли» изрядно, кое-где вообще свели начисто. А между прочим, кедр в отличие от других деревьев способен давать большую прибыль даже на корню (хотя бы одно кедровое масло). Так зачем же вообще трогать его? Пусть растет спокойно. Если и рубить, то лишь самое малое количество и только для нужд своего государства. Но до этого ох как далеко. Цифры-то говорят о том, что от 12 до 27 процентов леса, уплывающего через порты Дальнего Востока, это наш редчайший и ценнейший кедр. Надолго ли его хватит при таких заготовках? На несколько лет? А потом что? Ждать полтора-два века, пока подрастут новые деревья? Под самую строгую охрану надобно взять все кедровники, как и последние остатки замечательного ангарского бора, который еще недавно казался огромным и неистощимым. А теперь ангарская сосна с удивительной, под цвет яичного желтка древесиной стала редкостью. Уплыла по морям, по волнам через Игарку на запад.

И хватит! Пришла пора превратить эти леса, нашу гордость, в неприкосновенные национальные парки.

Итак, в европейско-уральской зоне запасы спелых хвойных лесов, основного сырья для получения целлюлозы, истощены. Пройдет еще много лет, пока они восстановятся, да и восстановятся далеко не везде. Взоры лесозаготовителей, бумажников обращены теперь на восток, туда перемещается центр тяжести их деятельности. Медленно еще перемещается, но Байкало-Амурская магистраль обязательно ускорит их продвижение. А в хозяйственной зоне магистрали, хотя бы того или не хотя бы заготовители и потребители леса, им придется в основном иметь дело с лиственными. Придется применять новые способы заготовки, использовать новую технику и технологию. И важно, очень важно не повторить здесь, на востоке, ошибки, что были допущены при эксплуатации зеленых богатств в европейской части страны и на Урале.

Не вдаваясь в подробности, назову лишь некоторые итоговые цифры. Есть очень точный показатель состояния целлюлозно-бумажной промышленности — выход бумаги и картона на тысячу кубометров кругляка. В зарубежных странах это 80—150 тонн. А у нас в среднем по стране всего лишь 25 тонн. Для получения одного и того же количества бумаги и картона канадцы сводят гектар леса, а мы четыре. Даже больше, потому что велики потери при транспортировке. Японцы, так те вообще, получив от нас лес, делают шесть рулонов бумаги на один наш.

И еще. Очень много гибнет отходов лесозаготовок и деревообработки, способных заменить значительную часть деловой древесины. В Якутии, например, на делянках остается половина всей биомассы леса, поступающей в рубку. Еще 40 процентов идет в отходы при обработке и уничтожается. А ведь эти отходы — прекрасное сырье для бумажников, химиков. Ученые подсчитали, что уже сейчас без существенных затрат можно вовлечь по всей стране в дальнейшую переработку около 20 миллионов кубометров отходов. И продавать их: те же японцы очень охотно покупают у нас технологическую щепу, только давай! Все это позволит сохранить 120 тысяч гектаров леса и получить ежегодную экономию до 250 миллионов рублей. Дело лишь за тем, чтобы навести твердый, даже жесткий порядок в использовании отходов на уже существующих предприятиях. А новые строить только такие, где полностью, до последней щепки, до последней горсти опилок будет перерабатываться все поступающее сырье.

В северных районах, на вечномёрзлых грунтах, лес растет медленно. Здесь не джунгли: нынче срубил, а через двадцать лет приходи снова. Здесь придется ждать сто двадцать — сто сорок лет. Поэтому и хозяйствовать в таком лесу надо осторожно, с прикидкой на длительный срок.

Много хвалебных слов прозвучало да и теперь звучит по поводу Усть-Илимского лесопромышленного комплекса на Ангаре. И не без оснований, конечно. Это ведь крупнейшее в мире предприятие по комплексной переработке древесного сырья. Основа комплекса — 5 самостоятельных заводов с обширным ассортиментом: от целлюлозы и древесностружечных плит до скипидара. Сырьевая база больше, чем территория Бельгии.

Невольно возникает вопрос: почему крупнейшее? Неужели никто в мире не способен был осилить такой комплекс? Или не считали нужным? Дело-то не в размерах, не в размахе, а в простой целесообразности. Сейчас еще трудно судить, насколько выгодны гиганты, подобные Усть-Илимскому, это покажет практика. Во всяком случае, у этих великанов есть одно уязвимое место. Чем больше продукции они будут выпускать, тем скорее подрубят сук, на котором держатся. В переносном смысле, конечно. Чем быстрее работает комбинат, тем скорее вырубается окрестная тайга. С каждым месяцем, с каждым годом отодвигается лесосека. Надо прокладывать новые дороги, доставка древесины дорожает. Да и надолго ли ее хватит для такого гиганта.

В районах, расположенных к северу и северо-востоку от Усть-Илима и Братска, тайга менее густая, деревья не такие высокие и растут значительно медленнее. Там гиганты лесной промышленности существовать просто не могут. И нет никакой необходимости их создавать. Там нужна иная схема, иной вариант. Полезно в этом смысле позаимствовать опыт у финнов. Можно, например, в разных уголках Якутии, в глубине тайги создать сотню небольших заводов, снабженных самой современной техникой, специализирующихся на одной продукции (при этом с полным использованием отходов). Один завод, положим, дает бумагу высокого качества, а из отходов — строительный материал, плиты. Другой выпускает картон и скипидар. Третий — бумажные салфетки, полотенца, пеленки и еще спирт. Варианты возможны различные — в зависимости от конкретных условий. Максимум механи-

зации. Минимум рабочих, причем постоянных и с хорошей квалификацией, что обеспечит высокую производительность труда. При заводе, естественно, небольшой поселок, обязательно со всеми удобствами, чтобы удержать кадры. Кругом лес, чистый воздух, охота, рыбалка.

И еще вот что важно. За каждым заводом закрепляется определенный район тайги с таким расчетом, чтобы сырьевых ресурсов хватило на сто — сто двадцать лет. Никаких перерубов, никаких сверхплановых «достижений». Один участок вырубается, другие возобновляются. И следить за этим очень строго. Главное — качество продукции и стабильность производства. А что касается роста, перевыполнения, то и для этого возможности найдутся. За счет улучшения технологии, за счет более полной утилизации отходов.

У идеи создания небольших специализированных заводов были и есть свои противники. Как обеспечить такие заводы энергией? как вывозить готовую продукцию? — из множества возражений эти наиболее существенны. Но с энергией теперь во многих районах Якутии вполне благополучно. И новые электростанции на подходе. Готовую продукцию можно накапливать на складах до открытия навигации (заводы-то все равно при речках стоять будут, вода требуется). А появятся суда на воздушной подушке для круглогодичного использования на речных трассах — и складских помещений много не потребуется.

Если не сотню, то десяток подобных заводов можно строить уже сейчас в промышленной зоне БАМа. На Олёкме и Алдане, где шумит почти не тронутая тайга. На Витиме, на Лене, на ее притоках. И тогда пойдет в дело лиственница, начнет и она наконец приносить ощутимую пользу. При желании из лиственницы можно готовить бумагу не хуже, чем из ели, которую так любят работники целлюлозно-бумажной промышленности.

В Якутии, кстати, ели очень мало, лишь изредка встречаются заросли в речных долинах. Так мало, что лесоводы просят городских жителей: товарищи, зачем обязательно елка к Новому году? Сосну наряжайте, соснами пока обеспечим. Но только в ближайшие годы. Почему? Да потому что и сосной Якутия не богата — процентов 5 от общего количества леса. К тому же сосна, пригодная и для строительства и для поделок, принимала и теперь еще принимает на себя главный удар якутских заготовителей. Прежде это не очень сказывалось, а ныне в связи с быстрым ростом населения и бурным развитием промышленности местная сосна просто не выдерживает натиска цивилизации. Там, где зеленели боры, ныне зияют обширные травянистые пустоши.

Благодаря любезности Дениса Семеновича Оконешникова я побывал в двух лесничествах, поговорил с людьми. Отчаянная женщина-шофер «уазика» лесной охраны мастерски водила машину по просекам, преодолевала такие преграды, что я намертво вцеплялся в какую-то железку, чтобы не слететь с места. Под колесами болотные кочки, впереди промина, бурелом, по кузову ветки скребут, а водитель знай баранку крутит. И Галина Яковлевна Семенова, опытный лесничий, смотрит невозмутимо. Ну, бывало, и застревали, не без этого: тайга не гладкая автострада.

Неподалеку от лесного кордона, в урочище Темея, что по Вилуйскому тракту, открылось вдруг в гуще деревьев озеро неопишуемой красоты. Синее-синее, отороченное яркоцветным бордюром осеннего леса.

— Скоро тут все переменится, — сказала Семенова. — Отведено под дачи, под садовые участки.

Сожаление ее можно понять, и все же я ответил, что это правильно: пусть отдыхают люди, набираются сил на природе. Прямая польза, ради которой есть смысл пожертвовать таежными гектарами. Гораздо хуже, несравненно хуже, когда лес гибнет по нерадению хозяйственных деятелей или из-за равнодушия администраторов. Вот Институт мерзлотоведения ЯФ СО АН СССР. Весьма солидное и почтенное учреждение, во многом помогающее осваивать суровые края. Очень полезные рекомендации дает институт строителям, другим специалистам. Уж кто-кто, а сотрудники института знают, как ранима северная природа, насколько капризны вечномерзлые грунты. А вот на практике даже собственные рекомендации не учли. Не сделали стоки на территории института, на прилегающих дачных участках. Воде некуда было уходить, через мерзлоту-то не просочиться. Ну и заболотил институт значительный лесной массив, погубил хороший сосновый лес. Штраф институту предъявили солидный, да что проку.

Под такими ударами беднеет, отступает тайга. Это поблизости от городов, населенных пунктов. Но есть и другая беда, есть организационные неурядицы в системе самого Министерства лесного хозяйства. В 60-х годах у кого-то возникла мысль получать от лесничеств конкретные, сегодняшние, ощутимые доходы. Лесозаготовительные организации—это само собой, это, так сказать, официальные потребители. А лесхозы чем хуже? Пусть не

только охраняют, а приносят сиюминутную прибыль. Рубки ухода они проводят, древесина у них имеется, надо только реализовать ее. Хотя бы через ширпотреб.

Началось с маленького. 100 тысяч рублей на лесхоз. Но ведь финансовый план — как снежный ком. В этом году выполнил — на следующий добавят. И чем дальше, тем больше. Глядишь, и 300 тысяч рублей, и 400, а теперь уж и 500. И все с тем же штатом. Сперва веники вязали, рукоятки для лопат делали, топорича. Потом и доски стали давать, и брус, и поддоны для кирпичей. Теперь работники лесхозов приловчились ставить крепкие надежные срубы. Нижние венцы из лиственницы, а выше — добротные сосновые бревна. Такие срубы дают доход, их охотно покупают и организации и частные лица. И вот тут возникает пресловутое «но». Ведь мыслилось, что лесхозы, не подменяя лесозаготовителей, будут вырубать свой ширпотреб из второсортного материала, из того, что дают рубки ухода. А попробуй изготовить хорошую доску или брус из плохого сырья, попробуй поставить сруб из кривого леса или тонкомера. Так и получается: чтобы выполнить разросшийся план, чтобы дать ходовой ширпотреб, работники лесного хозяйства, призванные беречь лес, вынуждены сами валить хорошие деревья, все ту же многострадальную сосну.

У этой погони за прибылью есть еще и другая негативная сторона. Рабочих в лесхозах мало, поэтому к выпуску ширпотреба привлекают лесников. У них своих забот полно. Участки огромны — 3500 гектаров. Попробуй обойди, наведи порядок, убереги от лихого человека. Да и возобновлять лес надо. Но эта работа лесников (их главная забота) не очень поддается учету, а ширпотреб на виду, здесь ясные цифры, твердые показатели. Поэтому лесники, которые больше заботятся о сохранении леса, чем об изготовлении топорич, оказываются в опале, от них стараются избавиться под разными предлогами.

Обо всем этом мы говорили с Галиной Яковлевной Семеновой, возвращаясь с лесного кордона. О том, что лесничие просят не увеличивать план ширпотреба, даже снизить его. И рабочих добавить.

Сентябрьский день был холоден, стоячая вода подернулась льдом, но солнце светило ярко и весело: оно вообще в Центральной и Южной Якутии редко закрывается тучами. А минувшее лето было особенно сухим, знойным. На полянах, на просеках, вокруг озер высокая трава высохла до хруста, солнце обесцветило, выбелило ее. Брось окурок, спичку — начнет полыхать, как порох. А тут как раз открывается охотничий сезон, хлынет в тайгу народ, канонада будет греметь на дальних и ближних подступах к населенным пунктам.

— Возможны возгорания? — спросил я Галину Яковлевну.

— Очень.

— А лесники ваши где?

— Двое в соседнем районе веники вяжут. Один рабочим помогает доски пилить. Один кордон без лесника пока что.

— Значит, в тайге никого?

— Никого, — сказала Семенова. — Авиация летает. Регулярно осматривает массивы.

— Положим, заметит пожар. Кто на месте организует борьбу с ним, пока не разросся?

— Мне придется.

— У вас не один участок, а целое лесничество. Если вспыхнет в нескольких местах — как успеете? И техники никакой...

— Помогут мне. — Голос Галины Яковлевны звучал не очень уверенно.

— Раз так, может, лесники и не нужны совсем? Зачем им вести нелегкую жизнь на кордонах, вдали от людей, от магазинов, без электричества, без телевизоров? Перевести их в рабочие, дать квартиры в лесхозе, пусть топорича делают, брусья готовят. Чистый доход.

— Это вы слишком! — Семенова даже немного обиделась. — Все-таки главное для нас — лес беречь...

Правильно. И у меня нет никаких претензий к Галине Яковлевне, к другим лесникам. Они добросовестно выполняют то, что от них требуют. Не виноваты лесничие, что увеличение ширпотребом идет во вред их основным обязанностям. Да, во вред. В 1980 году количество лесных пожаров в Якутии увеличилось вдвое. К концу сентября было зарегистрировано 739 очагов.

Лето действительно выдалось жаркое, а осень сухая. Но одна ли жара виновата?



Довелось мне однажды ездить по Якутии с направлением Всесоюзного бюро пропаганды художественной литературы. Выступал перед речниками и оленеводами, школьниками и рабочими. Много было интересных встреч, разговоров. В дощатом бараке-временке, где

жили геологи, кто-то посетовал: вот, мол, ходим по этой суровой, малолюдной земле, по тайге да по горам, где рельсы проложат, перспективы знаем, а что раньше здесь было — никакого представления, в книгах ничего не нашли. и старожилы не встречались такие, которые могли бы рассказать о прошлом.

— Его и не было, — засмеялся шустрый парнишка. — Ну какое тут прошлое? Мамонты бродили, всякие звери... Раз в год кочевой эвенк на олене проедет. Здесь, наверно, об Октябрьской революции через десяток лет узнали.

— Позже! К началу Отечественной войны.

Ребята хоть и шутили, но чувствовалось — почти верят в свои слова. А мне вспомнилась история, которая когда-то удивила и потрясла меня, даже документальную повесть хотел написать. Материал собирал, накопилось несколько папок, да все недосуг взяться...

А было так. Очень трудное положение сложилось для молодой советской власти в восточных районах страны летом 1918 года. Белогвардейцы и интервенты захватили крупные города, контролировали железную дорогу. Коммунисты Дальнего Востока и Забайкалья уходили в подполье. Ослабевшие в боях отряды красновардейцев и партизан отступали в тайгу, в глухие урочища. Во вражеском кольце осталась большая группа руководителей Центрального исполнительного комитета Советов Сибири во главе с председателем исполкома Центросибири Николаем Николаевичем Яковлевым. К городу Свободному, где находилась эта группа, приближались белогвардейцы. А куда отступать? С востока враг. На запад тоже не пробьешься, возле Байкала белые. Оставался один путь: по бездорожью на Лену, где, по мнению Яковлева, прочно держалась новая власть.

Не сразу, и только под давлением чрезвычайных обстоятельств, решились центросибирицы совершить труднейший переход. По охотничьим тропам, по берегам рек Зея и Гилкой предстояло им добраться до водораздела, а затем, преодолев крутые подъемы, спуститься на один из притоков Олёкмы. Теперь на Гилкое стоит столица БАМа — город Тында, теперь там, от Зеи и до Олёкмы, пролегает главный ход железнодорожной магистрали, а в ту пору на сотни верст окрест не было никакого жилья, нигде было отдохнуть, пополнить запасы продовольствия.

Может, и раньше кто-то ходил этим путем, не знаю, но при советской власти первыми прошли по будущей линии БАМа большевики-центросибирицы. 6 сентября 1918 года Яковлев с товарищами отправился в дорогу и через два с половиной месяца добрался до реки Олёкмы. В горной тайге давно уже наступила зима, на реках дыбились торосы льда, затрудняя движение. Жгучие ветры несли с сопок колючий сухой снег. Пурга наметала сугробы. Обмороженные, оборванные, изголодавшиеся люди шли медленно. Когда съели последние куски конины, до города Олёкминска оставалось еще несколько сотен километров. И тут от встретившегося эвенка центросибирицы узнали, что на Лене белые: в Олёкминске стоит отряд подпоручика Захаренко. Впереди враг. Позади безлюдная тайга, занесенные снегом горы — и тоже враг. Продовольствия нет. Укрыться от стужи нигде.

С глубоким уважением говорим мы нынче о путешественниках, которые прошли по Памиру или по льдам Арктики. Как бы тщательно ни готовились спортсмены, как ни совершенна техника, помогающая первопроходцам, мы знаем, что такие походы под силу только мужественным. А каково же было центросибирицам, людям совершенно различным, оказавшимся вместе лишь волею обстоятельств? Некоторые в тайге никогда не бывали. Без необходимой в походе одежды. Без продуктов. Не знали они как следует свой маршрут, отрезаны были от всего мира. Силы на пределе. И вот новость — в Олёкминске враг!

Несколько часов возле костра продолжались ожесточенные споры. Что делать? Не сегодня, так завтра белые узнают о центросибирицах. Сражаться они не способны. Но и сидеть сложа руки, ожидая нападения или голодной смерти, тоже нет смысла. Решили разделиться на несколько групп: так легче исчезнуть в зимовьях, легче прокормиться. На месте осталось основное ядро из 6 человек: Н. Н. Яковлев — председатель исполкома Центросибири, Ф. М. Лыткин — товарищ председателя исполкома Центросибири, Кулинич — член ВЦИК, Пестов — член президиума Иркутского губернского военного отдела, заведующий отделом боевого снабжения на Прибайкальском фронте, Рускис — начальник штаба фронта, Шевцов — комендант по эвакуации Иркутска.

Две группы, тоже состоявшие из 6 человек каждая, отправились по реке к Олёкминску. В первую были включены наиболее выносливые и энергичные товарищи: Попов — председатель Совета города Свободного, Осипов — председатель Совета железнодорожной станции под названием Ерофей Павлович, Никитин — член исполкома Центросибири от крестьян, Шумилов — член исполкома Центросибири, а также Григорьев и Журавлев, чьи

должности не установлены. Они надеялись, вероятно, пройти незамеченными мимо Олёкминска, укрыться в какой-нибудь глухой деревушке или в заимке на реке Чаре. Взяв проводником эвенка по имени Алексей, группа Попова быстро продвигалась вперед. Преодолев за несколько суток двести тридцать километров, она вышла к зимовью Куду-Кюель. Отсюда и до города было уже сравнительно недалеко.

Гораздо медленнее продвигалась другая группа. Товарищи Строд, Черных, Гринберг, Старцев (Шешелов), Германсон и Малкин, пройдя сто шестьдесят верст, остановились на отдых в зимовье Джекемде, в юрте эвенка Калмыгина.

А в городе тем временем кипели страсти, ползли слухи о том, что на Олёкме объявилось большевистское правительство Сибири, которое везет с собой золотой запас, исчисляемый многими пудами. Местные контрреволюционеры решили собственноручно расправиться с Яковлевым и его людьми, захватить золотой запас. Под руководством некоего Бубякина был сформирован добровольческий отряд. Возглавил его колчаковский подпоручик Захаренко. Напившись и захватив с собой несколько четвертей спирта, банда двинулась навстречу центросибирцам. Через двое суток она скрытно приблизилась к Куду-Кюелю, куда всего лишь за час до этого добралась первая группа большевиков.

Центросибирцы отогревались у огня, некоторые уже разделись, намереваясь поспать. И тут в юрту ворвались бандиты. После короткого жестокого допроса они выгнали избитых, окровавленных людей на мороз. Один из них, воспользовавшись сумятицей, бросился в чащу. Бандиты даже не преследовали его: куда денется босой полуголый человек в тайге при двадцати градусах мороза!

Никакого золота, разумеется, бандиты не обнаружили. Всю группу расстреляли, а заодно и свидетеля-проводника. Тот центросибирец, что скрылся в тайге, сам вскоре вернулся в зимовье на негнущихся, заочневших ногах. Покуражившись над беглецом, беляки расстреляли и его.

Бандиты двинулись дальше по Олёкме. В юрте Калмыгина они застали вторую группу большевиков. Напали неожиданно, разоружили. Но, убедившись, что и на этот раз нет никаких ценностей, не стали убивать пленных. Может, золото спрятано где-то в тайге? Перестреляешь всех — вообще ничего не найдешь, не узнаешь. Допросить и уничтожить можно и на обратном пути. Но тут бандиты просчитались. Их опередил олёкминский фельдшер Селюстин, ехавший вслед за отрядом. Что руководило им, сказать трудно, но фельдшер вывез всю вторую группу в город и спас людей от неминуемой, казалось бы, смерти.

А что же с Яковлевым и его спутниками? Зная, что эта группа хорошо вооружена, бандиты не решились напасть в открытую. Они подобрались на сотню метров к палатке, обложенной снегом, и неожиданно ударили залпами из-за деревьев. Лишь когда все центросибирцы были убиты или тяжело ранены, рискнули подойти ближе. Однако и здесь золота не оказалось. Эвенк-проводник сложил тела погибших в яму у подножья старого кедра и завалил их камнями.

Белая власть в Олёкминске продержалась недолго. Опасаясь заслуженной кары, бандиты, погубившие центросибирцев, бежали от Красной Армии на восток. 17 апреля 1920 года жители Олёкминска перенесли в город и торжественно захоронили останки большевиков, погибших в зимовье Куду-Кюель. Начались поиски Яковлева и его товарищей.

За Байкалом в то время еще держались белогвардейцы, на Дальнем Востоке хозяйничали остатки колчаковских войск и интервенты. Там, в тылу врага, смело действовали отряды красных партизан. Но им не хватало главного — оружия и боеприпасов. Из Москвы в Иркутск поступил приказ: немедленно сформировать из частей 5-й армии военную экспедицию, направить ее северным маршрутом к амурским партизанам. Экспедиция должна была доставить на Амур оружие и патроны, а оттуда вывезти запас золота, эвакуированный из Приморья Сергеем Лазо и тайно укрытый на одном из приисков.

Это была еще одна эпопея, ославшаяся почти неизвестной. Эпопея, вершившаяся там, где пролегли теперь рельсы БАМа. Без малого четыре тысячи километров должна была пройти экспедиция по таежным, почти не населенным местам. 200 человек, отобранных в этот поход, двигались сначала на подводах по Якутскому тракту. В селении Качуг погрузились на судно и поплыли вниз по Лене. Затем, сделав остановку в Олёкминске, свернули в Олёкму. Потом началась самая трудная часть маршрута: пеший переход с грузом по горной тайге.

В пути экспедиция встретила эвенка, который видел расправу над Яковлевым и его товарищами. Он и показал, где схоронил центросибирцев. Возле старого кедра нашли очки. Несколько человек опознали их — эти очки носил председатель исполкома Центросибири Ни-

колай Николаевич Яковлев. Останки погибших были собраны в общий гроб и отправлены в Олёкминск. Там они и покоятся теперь в братской могиле, над которой стоит скромный обелиск. Бывая в Олёкминске, я каждый раз видел у обелиска цветы.

Точного маршрута центросибирцев, подробностей их труднейшего похода не знает никто. И у меня просьба к геологам, геодезистам, к тем, кто ведет железнодорожную линию в тех местах: будьте, пожалуйста, повнимательней. Даже в самой глухой тайге. Может, удастся обнаружить какие-то следы стоянок центросибирцев или экспедиции 5-й армии. Может, попадется старое оружие, стреляные гильзы. Земля долго хранит память. А нам, особенно молодежи, очень важно знать, что было там, где развернулась огромная стройка.

10

В жизни создателей дорог есть одна особенность: продвигается вперед путь — движутся вместе с ним и механизированные колонны, строительно-монтажные поезда, мостостроительные отряды, перемещаются временные поселки, а закончится линия — и перебирается строитель в неведомую даль, в незнакомые края, на какую-нибудь новую дорогу и зачастую к новым людям, в новые коллективы. Так и на Малом БАМе. Легли возле станции Беркамит последние звенья рельсов, забит последний костыль. А что дальше?

Евгений Филиппович Гусаков, с которым мы познакомились в начале очерка, опубликованного в прошлом номере, в ту пору заведовал отделом строительства Нерюнгринского горкома партии. Он попросил начальника Главбамстроя К. В. Мохортова:

— Оставьте здесь хотя бы часть сложившихся коллективов.

— Нам, в общем-то, все равно, перебрасывать бригады и отряды на новое место или заново создавать их там. Затраты примерно одни и те же, — ответил Мохортов. — Но нам самим требуются люди. Тем более строители, уже получившие опыт.

А где, собственно, они не требуются? Хорошие рабочие, хорошие специалисты необходимы и на главной линии БАМа, и в городах, растущих вдоль магистрали, и во всех территориально-производственных комплексах, во всей промышленной зоне. Людей не хватает всюду. Но при этом надо стараться как можно меньше перебрасывать строителей из одного пункта в другой, без крайней надобности не расформировывать коллективы. Больше того, следует стремиться, чтобы люди обживались, пускали корни.

— Ведомственный подход к этому вопросу приносит ощутимый вред, — сказал мне Гусаков. — С государственной точки зрения надо смотреть. Не одним днем жить.

Правильно. У постоянных рабочих гораздо острее развито чувство ответственности за доверенное им дело, как правило, выше квалификация, выше производительность труда. Да и сами рабочие почти по всей линии БАМа стремятся теперь к оседлости, прочному быту. Время первых палаток, первых просек, романтическая неустроенность первопроходцев уходит в прошлое. И условия меняются, и годы берут свое. Вамовец значительно изменился. Он стал взрослее, степеннее. Многие строители обзавелись семьями. Им теперь нужно, чтобы поблизости имелись ясли, детский сад, школа. Это закономерный процесс, и большую ошибку допускают те руководители, которые не замечают новых тенденций или пытаются не замечать их. В пожарном порядке начали откомандировывать людей с западного участка главного хода БАМа на другой. Мало того что потеряли при этом много времени для работы на основном направлении — еще и много хороших рабочих ушло. Почти все семейные строители наотрез отказались ехать в командировку, на семь-восемь месяцев отрываться от жен и детей. В одном лишь СМП-391, что в поселке Магистральном, отказались от командировки и уволились 47 семейных рабочих. Бригада А. Ковальчука (одна из лучших) почти целиком перешла на лесозаготовительное предприятие. Опять по той же причине. Нечто подобное произошло и на Улькане и в других местах.

Жизнь показывает, что бытовая благоустроенность и хороший заработок еще не решают всей проблемы. Особенно там, где много молодежи. Есть еще и другие факторы. В Куерме, например, условия для жизни и работы вполне нормальные, никто и не жаловался особенно. Так, ворчали иной раз по мелочам. Но в СМП-582 за год сменилось почти 100 процентов состава. Приходили люди и уходили не приживаясь. Почему? Да потому, вероятно, что не было спаянного коллектива, порядка, работа двигалась абы как, не принося радости.

Если роль коллектива велика даже там, где люди давно пустили корни, где отлажен процесс труда, организован отдых, обеспечен удобный быт, то в районах новостроек, где все еще в процессе становления, где много трудностей, где преобладает неженатая молодежь, —

там роль коллектива вырастает необыкновенно. Интересы коллектива сливаются с личными интересами, заполняют всю жизнь, коллектив становится словно бы большой семьей, способной помочь и поддержать в трудную минуту, подсказать и направить, жестко потребовать, если необходимо. Нет его — значит, нет семьи, нет общих интересов, вот и растекаются люди, хоть и бытовые условия сносные и заработок не хуже, чем у других. И наоборот: почти нет утечки кадров в коллективах крепких, спаянных, где тон задают опытные рабочие, коммунисты, наставники молодежи. Здесь и достижения самые высокие. Как на первом участке Нерюнгринского угольного разреза. Трудятся здесь в основном ветераны освоения южноякутских угольных месторождений, обогащенные опытом. Ну и результаты соответствующие. Коллектив участка постоянно идет впереди, прокладывая путь к новым достижениям угольщиков. План десятой пятилетки выполнен на участке значительно раньше срока.

Железная дорога только что пришла в Якутию, территориально-производственный комплекс лишь начал формироваться, но уже сейчас заметно влияние дороги и комплекса на рост и размещение населения, на изменение его структуры. Вот несколько цифр. Население Якутии увеличивается за последние годы в 3 раза быстрее, чем в среднем по стране. При этом особенно быстро растет население городов, промышленных центров. В Нерюнгринском районе за десять лет людей стало примерно в 7 раз больше. Едут в Якутию из центральной России, из Красноярского и Хабаровского краев, Амурской и Читинской областей. Много украинцев и белорусов, немало бурят, чувашей, башкир, молдаван. В основном это молодые рабочие, техники, инженеры, имеющие специальное образование. Их высокая профессиональная подготовка, общая культура не могли не отразиться на уровне коренного населения: якутов, эвенков, эвенов и русских, давно поселившихся в этих местах. Коренное население, занимавшееся прежде в основном сельским хозяйством и охотой, быстро приобщается к индустриальному процессу, пополняя ряды рабочего класса.

Итак, основа для закрепления кадров — это хорошие бытовые условия, приличный заработок и дружный коллектив, в котором человек чувствует себя членом большой заботливой семьи. Но есть, пожалуй, и еще фактор, очень существенный для северян, для бамовцев. Трудиться напряженно и добросовестно они умеют. А вот где и как им отдыхать?

С весны и до глубокой осени сибирские аэропорты и железнодорожные станции забиты пассажирами до отказа и даже сверх того. Отпускной народ едет в центральную Россию, на Кавказ, в Крым, Молдавию. Значительная часть пассажиров — бамовцы. Почему же их тянет на запад? Солнечных дней в Нерюнгри, например, не меньше, а пожалуй, больше, чем в Алуште или Ялте. Интенсивность солнечной радиации в Якутске такая же, как на курортах Кавказа. Разве что теплое море манит-завлекает, но вообще-то купаться можно и у себя на БАМе, на месяц-другой вода прогревается.

Столь же велик (и с каждым годом стремительно нарастает) встречный поток. На Байкал, в Забайкалье, на новую магистраль стремятся туристы, в основном самостоятельные. Их теперь можно увидеть на трассе повсюду от Лены и до Хабаровска, даже в самых отдаленных местах. Порой они опережают строителей. Идут пешком, плывут на лодках, спускаются по течению на плотах. И вот что примечательно: турист знает магистраль лучше, гораздо лучше, нежели люди, которые живут на ней два, три, четыре года. Человек, как правило, работает на одном участке, в одном районе. Этот видит каждый день прибайкальские скалы, другой — бурную таежную речку, третий — угнетенные березки да лиственницы на марях. Кому-то примелькался сосновый бор, кому-то кедрач, кому-то унылые сопки-гольцы. Ведь БАМ-то протянулся на тысячи километров, есть на нем самые разнообразные уголки природы, замечательные пейзажи. Почему же они не особенно манят строителей?

Я говорил об этом со многими людьми на западном и восточном участках магистрали, на Малом БАМе. И вот какой вывод напрашивается. Как правило, бамовец круглый год на природе. Есть возможность поохотиться, рыбу половить, собирать грибы и орехи, на лыжах ходить, закатами любоваться. Все это хорошо, только в меру. Хочется ведь и городских развлечений. В театре побывать, в цирке, музее, посидеть в ресторане, просто по ярко освещенной улице, по асфальту пройтись в свое удовольствие. Если туристы из западных областей едут отдохнуть от городской жизни, от суеты и шума, то бамовец, особенно молодой, да еще выросший в промышленном центре или в столице, — бамовец скучает хотя бы по внешним атрибутам цивилизации. Вот и катят почти через всю страну потоки людей туда и обратно. С билетами трудно, на вокзалах давка, нервотрепка. Да и для кармана накладно пускаться в такие путешествия. И не хотел бы отправляться, но что поделаешь, если на самом БАМе негде отдохнуть без хлопот, в уюте, сменить обстановку.

Между тем возможности для отдыха и укрепления здоровья трудящихся в промышленной зоне магистрали так велики, что с трудом поддаются учету. Здесь и скалистые хребты,

и величавые реки, зеленые долины и голубые озера, настоящий на хвое целебный воздух и щедрое летом солнце. Есть даже своя желтопесочная пустыня в Чарской долине. Не такая обширная, разумеется, как Каракумы, но все же... Во всяком случае, с такими же барханами. В нескольких местах неподалеку от магистрали бьют горячие ключи. Около Улькана течет ручей, вода в котором схожа с трускавецкой. На станции Киренга свои собственные «эссен-туки». В долине реки Чары плещутся родники «нарзана». Самый резон основать в этих местах курорты. И делать это следует теперь, не откладывая в долгий ящик, пока лучшие уголки природы не пострадали от временных баз, поселков, самостийных построек. И пока в зоне БАМа находятся мощные строительные организации, для которых подобная работа не представляет особых трудностей. А уйдут они — кто будет создавать индустрию здоровья в отдаленных районах? К тому же тогда это втридорога обойдется.

Специалисты-медики утверждают, что проводить отпуск, отдыхать гораздо полезнее в той полосе, в том климате, к которому привык организм.

И еще: нельзя полюбить то, чего не знаешь или знаешь лишь поверхностно. Отдыхая в зоне БАМа, путешествуя здесь, познавая и впитывая красоту этой земли, строитель-новосел крепче полюбит эти края, пустит тут надежные корни.

11

У создателей БАМа есть теперь все для успешной работы. Во всяком случае, есть многое. Опытные кадры, средства, энергетические ресурсы, строительная база. Нет, пожалуй, одного: четкой, продуманной организации, твердого и умелого руководства, способного объединить разрозненные усилия министерств и ведомств. Точнее: в главном звене такая организация и такое руководство имеются. Существует Главбамстрой — мозг и штаб стройки, обосновавшийся в Тынде. У этого главка своя жесткая программа, в которой все рассчитано, определены сроки и очередность работ, время сдачи в эксплуатацию отдельных участков и всей магистрали в целом. Неукоснительно выполняя эту программу, главк делает свое дело — строит железную дорогу. Это основа. Все остальное его не касается или касается лишь в незначительной степени. В том числе и развитие промышленной зоны БАМа, формирование территориально-производственных комплексов. И во всем этом «остальном» царит изрядная неразбериха, сталкиваются ведомственные интересы, срываются хорошие задумки и планы.

Мне уже доводилось писать о тех неурядицах, которые происходили и происходят в Тынде. Несмотря на старания местных партийных и советских органов, эти неурядицы до сих пор не удалось ликвидировать. И поучительный урок Тынды, похоже, не везде пошел впрок, ошибки, допущенные там, повторяются в других местах.

Город хорош в той его части, которая по проекту застроена современными многоэтажными домами. Но больше чем на половине территории города красуются разнокалиберные, разномастные временки. Первыми здесь, как и положено, появились транспортные строители. Надо им было где-то жить? Надо. Выбрали они удобный склон на берегу реки и раз-два (с их-то большими возможностями!) — соорудили поселок из деревянных щитовых домов. И заселили его весьма густо. Тут и другие ведомства подросли, принялись возводить всяк свое, на собственный лад и вкус. Каждая мехколонна, каждый трест, мостоотряд, строительномонтажный поезд (а их много) обзавелся своим «хутором» с собственным магазинчиком и малым клубом. Почти у всех собственное коммунальное хозяйство, котельных около 50! Нет в городе единой телефонной сети, вместо нее 6 ведомственных коммутаторов, попробуй сориентироваться, дозвониться. Дело доходило прямо-таки до курьезов. Был в Тынде остров. Настолько пригожий, что городские власти решили разбить на нем парк. Но пока обсуждали, пока рисовали план на бумаге — остров исчез. Строителям понадобился гравий. Пустили свою технику — и нет острова, только волны гуляют.

Короче говоря, когда в Тынду явились наконец проектировщики из Главмосстроя, территория города была почти вся застроена временками вкривь и вкось. Теперь приходится сносить бараки, освобождать место для настоящих домов. И каждый раз неприятности. Людей-то переселять надо, а куда?

Потратив много сил и энергии, городской комитет партии и исполком горсовета навели вроде бы элементарный порядок. После долгих дебатов в различных министерствах и Госстрое местные товарищи добились некоторой определенности. Генеральным проектировщиком Тынды был назначен Мосгипротранс, генеральным подрядчиком — Главбамстрой Министерства транспорта и дорожного строительства, а единственным заказчиком признана дирекция БАМа Министерства путей сообщения. Но еще дедушка Крылов очень точно рассчитал, как расходуются и к чему приводят усилия, когда в один воз впрягаются лебедь, рак и щука. Ведь ведомствен-

ные интересы не меняются. Ну с какой стати Министерство путей сообщения будет заботиться о развитии городского хозяйства, культуры и быта? Не его это действительно отрасли.

Ознакомившись с проектом горсда, МПС своеобразно «улучшило» его. Срезало количество планировавшихся школ, магазинов, жилых домов. Строительство гостиниц и АТС перенесено на одиннадцатую пятилетку. Дом пионеров и музыкальная школа исключены вообще. В результате простой операции вычеркивания Министерство путей сообщения добилось заметной экономии средств, на 10 процентов снизило свои затраты по Тынде. Даже удивительно, почему не сэкономлено больше.

Министерство транспортного строительства несколько не отстает от железнодорожников. Подразделения этого министерства в Тынде не на весь век, закончат объекты и уйдут дальше. А пока обойдутся и дощатыми домиками. За все минувшие годы Минтрансстрой, «обогативший» Тынду массой временок, не возвел для своих работников ни одного капитального дома. И это не случайно. У некоторых руководителей Минтрансстроя есть определенные взгляды на этот счет, о которых они, правда, не любят распространяться. Суть такова: люди, поселившиеся в благоустроенных квартирах, переезжать в другое место вряд ли захотят.

Только в 1980 году, и опять лишь благодаря усилиям партийных и советских органов, началось в Тынде сооружение первого кинотеатра, торгового центра. А ведь Тында на виду. В недалеком будущем население ее достигнет 100 тысяч, здесь будет крупный железнодорожный узел, лесоперерабатывающие предприятия. И если уж в самой столице БАМа столь сильны ведомственные тенденции, то что же говорить о местах более отдаленных, где многое зависит от решений организаций и даже отдельных лиц.

Перенесемся в долину реки Чары, в один из самых красивейших уголков промышленной зоны, в ту самую долину, где рядом с озерами и ледниками лежит микропустыня с барханами. Климат там суровый, тайга своеобразная, деревья не достигают большой высоты. Лишь на отдельных участках встречаются сосны с осиновым и березовым подростом. Этакie оазисы, что ли. И самый крупный из них, пожалуй, находится на небольшой реке Нирунгнакан. Элементарная логика подсказывает, что надо сохранить этот участок, использовать его для той самой индустрии здоровья, о которой мы говорили. Тем более что неподалеку поднимется скоро город Удокан. Так нет же: именно здесь, в этой точке обширной долины, именно в этом оазисе начали сооружать базу снабжения стройматериалами и временный поселок строителей БАМа. Словно бы специально проектировщики Ленгипротранса решили погубить красивый участок. Наверное, даже не побывали здесь, выбрали место по карте. Спланировали поселок на скорую руку, вытянув дома по оси запад — восток: северная, холодная сторона осталась без солнца. Благоустройство не предусмотрено, общественно-культурный центр отсутствует. Поселок-то, дескать, временный. Но почему ему обязательно быть временным, когда же мы перестанем жить интересами одного дня, не увязывая его с будущим? Не лучше ли сразу спроектировать и возвести этот поселок по всем современным нормам, чтобы со временем он вошел составной частью в будущий город Удокан? Затраты окупятся быстро, не придется дважды затевать стройку. Кадры осадут.

Именно так ставили вопрос местные власти, подключив к этому делу и общественность, и санитарную службу, и тех, кто призван охранять природу. Но на пути опять вырос ведомственный барьер. Временный поселок — это вотчина Министерства транспортного строительства. Строители поработают здесь и уйдут. А Удоканский горно-обогатительный комбинат и город Удокан — это по линии Министерства цветной металлургии. Вот и попробуй совместить их интересы, соединить их усилия, их средства. Опять же лишь благодаря упорству местных товарищей удалось пробить брешь в этом барьере. Принято решение о пересмотре проектов временного и постоянного поселков строителей станции Чара и города Удокан. Хоть и не полный, но все же успех.

Принято говорить, что у БАМа, мол, нет тылов, что все, кто работает в зоне магистрали, люди самых разных профессий, — все они делают одно общее важное дело. И это в принципе правильно. Теоретически. Но все же (и это вполне закономерно) основное внимание уделяется тем организациям и тем людям, которые непосредственно ведут главный ход магистрали: прорубают просеки, возводят насыпи, укладывают рельсы, строят станционные сооружения. Им особенно трудно, о них особая забота. Им помогает вся страна. Материальные возможности позаботиться о своих рабочих и служащих есть и у промышленных предприятий, заложенных в зоне БАМа. Нерюнгринская ГРЭС, например, в короткий срок построила хороший современный поселок для своих людей. И с хорошим названием — Серебряный Бор. Или вот Нерюнгринский завод крупнопанельного домостроения. Для кого готовил он и монтировал первый дом? Для своих же работников. Никаких возражений это не вызывает. Однако строителям магистрали, создателям промышленной зоны БАМа никак не обой-

тись без учителей и медиков, без продавцов и работников местной промышленности, без почты и сберкасы, без хлебозавода, без авиационного или речного порта. Вот они, тылы, от надежности, действенности которых зависит общий успех. А позаботиться о них некому.

В одной только Тынде людей, занятых в подобных организациях, насчитывается сейчас уже около 20 тысяч. А организации эти, разрозненные и маломощные, не имеют возможности самостоятельно строить жилые и другие объекты. Единый заказчик в Тынде — дирекция БАМа — не желает вступать ни в какие отношения с ними. Они для дирекции лишняя обуза, отвлекающая от главной цели. В этом есть определенная доля истины: не может дирекция распылять свои силы, занимаясь заказами мелких организаций, собирая с них средства.

Какая же вырисовывается картина? Все растущие, все будущие города и поселки в зоне Байкало-Амурской магистрали так или иначе тяготеют к различным отраслям промышленности, к различным министерствам. Значит, каждое министерство и ведомство станут решать проектные, градостроительные, социально-бытовые проблемы, исходя из своих интересов? Что же получится?

Есть ли выход из этого положения? Некоторые товарищи предлагают изменить порядок финансирования жилищного и социально-культурного строительства, объединив все средства на эти цели в руках местных Советов. С долевым участием министерств, ведомств, всех заинтересованных организаций, крупных и мелких. Теоретически это опять же правильно. Однако на практике, в условиях отдаленных трудных строек, жизнь диктует свои условия. Какими возможностями для строительства располагает, скажем, поселковый Совет, на территории которого начинается сооружение мощного комбината? Нет у поселкового Совета ни миллионных средств, ни строительной базы, ни специалистов определенной профессии, ни транспорта. Как он в считанные месяцы обеспечит жильем многотысячную армию рабочих и служащих? Богатые министерства и те не справляются с этим. Зачастую бывает даже так: строители приходят на голое место в десятках километров от ближайшего Совета, возводят жилые дома, промышленные предприятия. Тут и создаются постепенно органы власти. И у них, между прочим, как и у партийных органов, много своих дел и забот, не могут и не должны они подменять специализированные организации.

Речь идет не только о строительстве, но и вообще о совершенствовании методов руководства в новых условиях — при быстром увеличении объемов работ, при стремительном развитии промышленности. И в центральной печати и в местных газетах все чаще звучат высказывания, предложения по этому поводу. На научной конференции, посвященной развитию производительных сил Сибири, которая состоялась в Новосибирске, наряду с виднейшими учеными выступали опытные практики, партийные и хозяйственные руководители. Особое внимание уделяли они координации действий министерств и ведомств, которые имеют свои интересы в промышленной зоне БАМа или будут иметь их. Для такой координации необходим особый орган.

Замечательный человек академик Михаил Алексеевич Лаврентьев, так много сделавший для развития восточных районов, уходя из жизни, оставил своего рода завещание: последняя его статья, которую он видел своими глазами, была напечатана в журнале «Наука и жизнь» за сентябрь 1980 года и называется она «Задачи ставит Сибирь». В этой статье особое внимание уделено использованию очень важного, практически неисчерпаемого источника энергии — тепловой энергии нашей планеты. Значительное количество подземных горячих бассейнов выявлено в Восточной Сибири, особенно много их вдоль трассы Байкало-Амурской магистрали. Термальные воды расположены непосредственно под станциями и городами Северобайкальском, Кичерой, Северомуйском, Чарой, Олёкмой. Институт земной коры в Иркутске подготовил карту размещения термальных вод в зоне БАМа, наметил перспективные районы для бурения скважин.

Словно бы сама природа позаботилась о человеке, приготовила даровое тепло именно там, где особенно долго лютуют морозы, куда особенно трудно завозить обычные виды топлива. Причем стоимость отопления подземными горячими водами, как подсчитано, в несколько раз ниже, чем при использовании угля. К тому же горячими водами можно снабжать курорты и тепличные комбинаты, плавательные бассейны и рыбопроизводные заводы, использовать для добычи полезных ископаемых в условиях вечной мерзлоты. «И все-таки подземное тепло пока используется в Сибири в редких, единичных случаях, — сетует М. А. Лаврентьев. — Не находится хозяина — ведомства или объединения, которое взяло бы на себя все заботы по освоению этого непривычного источника энергии».

Конечно, с какой стати Министерство цветной металлургии будет, скажем, заниматься освоением подземных вод. Оно лучше традиционный уголек закажет и доставит для своих

нужд. А вот для генеральной дирекции ТПК использовать местный источник энергии значительно выгодней, чем возить топливо из других регионов.

Еще один аспект. В новых бамовских городах создание культурно-бытовых учреждений планируется, как и по всей стране, по одинаковым нормативам Госстроя СССР. На каждую тысячу жителей предусматривается 180 мест в общеобразовательной школе, 90 мест в яслях и детских садах. Для сложившихся городов это, наверно, правильно. А в бамовских городах и поселках, где много молодежи, средние нормы трещат по всем швам. Рождаемость здесь вдвое выше. А детей куда денешь, если они в «норму» не укладываются? Тем более что на БАМе дедушки и бабушки — редкость. Они за тридевять земель остались. Вот и получается, что тысячи молодых матерей, квалифицированных специалистов, вынуждены сидеть дома с детьми, хотя людей в промышленной зоне явно не хватает, некоторые подразделения укомплектованы кадрами лишь на 50 процентов. А генеральная дирекция каждого ТПК на месте решала бы, сколько и чего строить применительно к данным условиям. Жизнь-то не стоит на месте, не всегда укладывается в стандарты.

По мере того как те или иные предприятия будут входить в строй, генеральная дирекция ТПК будет передавать их местным властям для дальнейшей эксплуатации в общем порядке. А завершится формирование ТПК, отпадет надобность в твердом оперативном руководстве — генеральная дирекция может быть ликвидирована или сокращена.

Не откладывая дела в долгий ящик, уже сейчас можно и нужно было бы создать генеральную дирекцию того комплекса, в который войдет Удоканский медный комбинат. Вокруг него сталкиваются интересы разных ведомств. Очень целесообразно было бы объединить в крепких руках все, что связано со строительством города, поселков и предприятий в Чарской долине.

Прежде чем поставить последнюю точку, хочу еще раз повторить, что строительство Байкало-Амурской магистрали постепенно приближается к завершению. Не за горами то время, когда пойдут сквозные поезда по железнодорожной линии. Все яснее очерчиваются границы промышленной зоны БАМа. Уже начинают окупаться вложенные средства. Особенно на Малом БАМе и в первом из формирующихся ТПК — в Южно-Якутском. Те проблемы, которые возникают и решаются сейчас там, заслуживают большого внимания: в той или иной степени они обязательно проявят себя и на других участках магистрали, в других территориально-производственных комплексах.

Якутия—Москва,
сентябрь—октябрь 1980 г.

ПУБЛИЦИСТИКА

М. П. ЩЕТИНИН

★

ШКОЛА БУДУЩЕГО РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Пятнадцать последних лет — 1965—1980 годы — войдут в историю советской школы как пора практического осуществления всеобщего среднего образования и внедрения в жизнь новых учебных программ и учебников. Два названных события, весьма сложных по содержанию, породили в школьной жизни значительные трудности, иной раз чуть ли не драматического характера. В среде педагогов возникли различные мнения и настроения, а вместе с ними поиск путей преодоления затруднений.

Деятельность педагогов-исследователей в институтах и учителей в школах в названные годы характеризуется настойчивыми поисками педагогических решений. О практическом поиске и находках и идет речь в предлагаемой вниманию читателей публикации М. П. Щетинина. В ней нет ни слова о математике, физике, биологии или о научно-технической революции. В ней идет речь о человеке — о самом важном субъекте эпохи научно-технической революции. «Воспитание человека — вот главный наш предмет», — говорят сегодня мыслящие, понимающие запросы современной жизни учителя. Думать и искать, искать и думать, как повысить эффективность педагогических усилий, — таков принцип современников, осознающих значение воспитания.

Опытные педагоги давным-давно открыли изначальный секрет успеха воспитания школьников: чтобы правильно решать сложные педагогические вопросы, директорам и учителям, а равно и научным работникам необходимо приобрести знания и навыки рассматривать школьную жизнь с позиций ученика. Сами по себе эти знания и навыки не сложны — куда сложнее готовность ими пользоваться...

Зримо и ощутимо представлять конкретную обстановку учебной деятельности учащихся, находить пути ее нормализации — такова задача, которую задал себе М. П. Щетинин как директор школы, и он нашел ее решение.

В. Н. СТОЛЕТОВ,

*президент Академии педагогических наук СССР*¹.

1

Ура! Мама, я сегодня получил пять!» — радостно, взвзлеб сообщает первоклассник маме о своих первых достижениях в школе.

Кто из нас, родителей, не испытывал при этом волнующее чувство надежды, веры в успех своего ребенка! «Мы не можем смотреть на маленькие создания без чувства радости, даже восхищения», — писал Гёте. — Обычно они обещают больше, чем могут осуществить потом». Идут года, все реже слышим мы радостное: «Ура! Мама, я сегодня получил пять!» Может, вырастет мальчик, становится сдержаннее? Нет, пятерок нет. Из школы уже не радость стучится с порога —

¹ Из предисловия к книге М. П. Щетинина, готовящейся к выпуску в издательстве «Педагогика».

из школы, как черная тень, идет в дом тревога. Как горько нам шептать себе в утешение: «Не дано, видно, моему. Да не один же он такой — вон их сколько».

Слышишь, школа? «Не один он такой...» Зачем ты, учитель, вселял веру, что «каждый, если захочет...». Неправда! Не каждый! Посмотри на свои выпуски. Много из твоих старательных и примерных в гении вышло?

Передо мной письмо молодой мамы, врача из Барнаула: «Саше семь лет. Он очень подвижный, открытый и добрый мальчик... Хорошо поет, много рисует, лепит, любит конструировать, строить. Но в этом году ему идти в первый класс... Я боюсь за него: а что, если он больше потеряет, чем приобретет в школе? В школе как-то заштамповано все, скука, однообразие. Можно ли его не отдавать в школу?»

У меня на столе лежат сотни писем от родителей, педагогов из различных городов, сел, областей. Авторы с тревогой пишут о том, что после учебного дня «ребенок приходит вялым, безрадостным», что «учитель работает на износ», «не воспитывает, а изоцряется в воспитании, борясь с перегрузками, отвращением к учебе», что «учителя давно смирились с таким положением, когда вместо успеваемости приходится «гнать» процент успеваемости, когда главное — не в душу вложить, а в бумагу, не сделать, а показать, что сделал», и т. п. и т. д.

Вряд ли было время, когда школа получала столько нареканий, возмущений, протеста в свой адрес, как в последнее десятилетие. Слово «школа» не сходит со страниц журналов и газет, экранов кино и телевидения. Это не значит, что раньше не было тех же проблем, — это значит, что пришло время, когда уже нельзя, невозможно ограничиваться такими полумерами, как изменение программ или поправки в тех или иных пунктах уставов, инструкций.

Наша педагогическая практика часто показывает обратно пропорциональную зависимость педагогических усилий результату. Успехи в учении не растут, а, напротив, от класса к классу снижаются. Из 100 процентов наших десятиклассников свыше 80 процентов заметно сдали в учении в сравнении с первыми годами учебы. В то время как ни один из начавших учиться на три и четыре в первых классах не поднялся к уровню обучения на четыре и пять. Об этом с болью писал еще В. А. Сухомлинский: «Много тревожного в том, что умственные способности ребенка словно постепенно угасают в годы отрочества». Вдумаемся в эти слова: умственные способности ребенка угасают... в годы учения! Угасают в учреждении, святая святых которого — «возжечь пламень мысли», выпустить из стен школы человека, способного к бесконечности духовного самосовершенствования.

Вот почему так тревожно нам, педагогам, родителям, когда мы произносим слово «школа». Шесть лет назад, начиная работу в ясноворенской школе, мы задали вопрос ребятам четвертых — десятых классов: «Ты идешь в школу. Скоро прозвенит звонок на урок. Что точнее выражает твое внутреннее состояние: «мне спокойно», «мне радостно» или «мне тревожно»?» Из 263 опрошенных 7 человек ответили «мне все равно» или «когда как», 4 ученика четвертого класса сказали «радостно». Остальные 252 ответили «тревожно»... Этот вопрос я задавал впоследствии учащимся других школ Белгорода, Москвы, Краснодара, Донецка и очень редко слышал «радостно», зато постоянными, почти неизменными были ответы: «тревожно», «волнуешься как-то», «давит что-то», «не по себе», «жутковато».

Откуда эта тревожность, нездоровая напряженность нервной системы? Психолог В. Пинн, директор эстонской спецшколы-интерната, отвечая на этот вопрос, пишет: «Источник здесь один: непреодолимые препятствия... от невозможности выполнить то, что должно быть обязательно выполненным... Ребенок возмущен и подвижен. Он в опасном напряжении». Об этом же свидетельствуют и факты ухудшения здоровья детей за годы учения в школе.

В последнее время все чаще и чаще звучит тревога о снижении с годами взросления способности познавать, обучаться. Известный педагог Л. Берман в итоге своего тридцатилетнего опыта работы на детской автотрассе пришел к заключению, что даже обучение умению водить автомашину имеет возрастной предел, который начинает вступать в силу опять-таки в годы отрочества. С упованием на ранний возраст смотрят и педагоги-математики, и музыканты, и тре-

неры, и балетмейстеры... Чем сложнее обучение, тем желаннее для его успеха раннее детство.

Ранний возраст — самое благодатное время для развития. Это возраст огромных познавательных возможностей, поистине неиссякаемой энергии поиска, выдумки, творчества. Никакой другой возраст не стоит так близко к гениальности, как возраст раннего детства. Значит, ребенок в раннем возрасте располагает какой-то особенностью, каким-то отличительным качеством, дающим ему наивысшие познавательные возможности, которые он почему-то утрачивает в последующие годы жизни. Каковы эти качества и так ли уж неизбежна их утрата?

Н. К. Крупская пишет, что отличие ребенка от взрослого заключается в чрезвычайной эмоциональности, а потому и в интенсивности восприятия. На эту особенность указывал и Я. Корчак. «Дети — князья чувств...» — говорил он. Современные ученые подтверждают: «Творческому акту ребенка помогают чисто детские особенности. У ребенка чрезвычайно активны различные формы восприятия — слуховое, зрительное, двигательное».

Существует прямая связь между эмоциональностью ребенка, активностью чувственных форм восприятия и его мыслительными способностями. Об этом красноречиво свидетельствует сам факт овладения речью ребенком. Вряд ли человеку в течение всей его жизни встречается более трудная задача, чем научиться говорить, произносить слова, связывать их в наполненные смыслом предложения. На первый взгляд совсем беспомощный малыш оказывается обладателем мощного творческого аналитического мышления. Ребенок учится говорить самостоятельно, сам вырабатывая себе методику обучения. Никто его не учит: откряк рот, набери воздуху, сомкни голосовые связки, подперев их воздухом, и резко разомкни — это «а». Ребенок, к счастью, избежал такого «учения». Он просто слушал, вновь и вновь сопоставлял, сравнивал, анализировал, делал выводы, вскрывал закономерности, постепенно продвигаясь к цели.

Каким должен быть уровень мышления, чтобы, только находясь в речевой атмосфере, самостоятельно разобраться в ее значении, в значении каждого слова и, разобравшись, научиться организовывать весь сложнейший «аппарат говорения», научиться, еще не зная правил, грамотно строить предложения, выражая свою мысль! Подвигом таланта назвал академик Н. П. Дубинин процесс овладения речью.

Но вот сформирована речь. Что происходит с ее «родителем» — образным мышлением? Оно отмирает, выполнив свою задачу? Конечно, нет! Слово, как обозначение образа, не может быть оторванным от своей сути, от своего действительного содержания — в противном случае, оторвавшись от первичного сигнала, то есть от образа действительности, оно станет «сигналом ничего», станет пустым, бессмысленным звуком. Великий физиолог И. П. Павлов, предупреждая об опасности разрыва двух сигнальных систем, писал: «Нужно помнить, что вторая сигнальная система имеет значение через первую сигнальную систему и в связи с последней, а если она отрывается от первой сигнальной системы, то вы оказываетесь пустословом, болтуном и не найдете себе места в жизни... нормальный человек, хотя он пользуется вторыми сигналами, которые дали ему возможность изобрести науку, усовершенствоваться и т. д., будет пользоваться второй сигнальной системой эффективно только до тех пор, пока она постоянно и правильно соотносится с первой сигнальной системой... с ближайшим проводником действительности».

В то же время И. П. Павлов раскрыл сам механизм взаимосвязи двух сигнальных систем, убедительно показав, что «словесно-знаковое или речевое мышление требует постоянного подкрепления» со стороны образного, а образное, в свою очередь, нуждается в подкреплении, которое возможно лишь в активной деятельности органов чувств через их непосредственный контакт с окружающей действительностью. Это подкрепление согласно Павлову — «необходимое и даже определяющее» условие нормального функционирования слова. Отсюда следует, что здоровье, активность мышления (словесно-знакового и образного) в конечном итоге исходит от здоровья и активности сенсорного, то есть чувственного аппарата. Таким образом, развивать и совершенствовать мыслительные способности

значит прежде всего развивать и совершенствовать их корень — чувственные формы восприятия. Но с первым звонком на урок это равновесие нарушается...

В любой школе есть стенды, рассказывающие о всестороннем развитии учащихся, где 40 человек занимаются музыкой, другие 100 — спортом, третьи — техникой, четвертые... А вот один конкретный ученик получает ли всестороннее развитие? Нам покажут комплексные планы. Планы семинаров и конференций о комплексном подходе. Но я хочу спросить учителя: какую фактически главную задачу вы решаете, за что вы несете ответственность, за что каждую неделю, месяц, четверть отчитываетесь на педсовете? Вот именно, главная задача — научить, дать знания. Спросят с вас за сумму информации, которой вы обязаны «начинить» своих учеников и которую эти ученики безусловно должны «творчески применять».

По праву велик авторитет слова в школе. Но забыв о том, что словесно-знаковое мышление — только прибавка, только часть целостного, школа сосредоточила все свое внимание на слове.

В школе царит культ так называемого духа, духовного, то есть словесного, отчего складывается мнение: духовное — значит, возвышенное, физическое, чувственное — низменное. Парадоксально, но приходится признавать: мы ведем себя по отношению к ребенку, к его организму так, как будто презираем жизнь. Предметы (изобразительное искусство, музыка, физкультура и труд), которые совершенствуют ведущие чувственные способности человека — видеть, слышать и двигаться, — фактически считаются предметами второго сорта и вспомогательными, они стоят на последнем месте в ряду предметов по степени значимости. Это можно понять уже из учебного плана, где ясно, каким видам деятельности уделено большее внимание. Математика, чтение, письмо даже в первых классах, не считая дополнительных домашних заданий, занимают три четверти всего обязательного учебного времени, в то время как на развитие форм восприятия, от которых зависят мыслительные, познавательные возможности учащихся, в особенности их образное мышление, отводится всего по $\frac{1}{24}$ (музыка, изо) или $\frac{1}{12}$ (физкультура, труд) части общего обязательного недельного учебного времени.

Чем ближе к старшим классам, тем еще меньше внимание живому чувству, живому организму ученика, тем сильнее разрыв слова и образа. Ведущие человеческие формы восприятия — слуховое, зрительное и двигательное, — от активности которых зависит активность познавательных возможностей человека, совершенствуются очень неполно, их, по сути, лишь «эксплуатируют», используя на тех уроках, где они выполняют подсобные функции. А ведь еще П. П. Блонский писал: «В педагогике общеизвестна опасность так называемого формального образования, считающего подлинной основой образования только язык и математику». В связи с этим Н. К. Крупская подчеркивала: «Школа должна с самого раннего детства укреплять и развивать внешние чувства: зрение, слух, осязание и пр., т. к. от их остроты, совершенства, развития зависит сила и разнообразие восприятий. Поэтому детям необходимо давать возможность постоянно упражнять свои внешние чувства».

Уже в первые годы советской власти партия приняла долгосрочную программу развития народного образования, изложенную в основных принципах единой трудовой школы, названных впоследствии ленинскими. Эти принципы, стремясь преодолеть узость, односторонность старой школы, звали к целостному, всестороннему развитию человека. Однако в те годы, когда в стране 70 процентов населения не умели читать и писать, когда катастрофически не хватало учителей, не было достаточного количества помещений даже для трехчасовых занятий, это была чрезвычайно трудная задача. «Когда в Наркомпросе впервые разрабатывались принципы советской школы, мы придавали огромное значение художественному воспитанию, — пишет А. В. Луначарский. — Потом, за отсутствием средств, от художественного воспитания ничего не осталось, кроме кое-где уроков пения... немного театрализации и чуточку рисования»².

Программа-минимум, то есть ликвидация неграмотности, была в основном завершена к началу 40-х годов, перед войной... В наши дни неграмотность давно

² А. В. Луначарский. О воспитании и образовании. М. «Педагогика». 1976, стр. 280.

стала архивной редкостью. Но предметное содержание школьного образования, его направленность на грамотность, на информативность, а не на целостное развитие личности остались прежними. Линия ликбеза — научить читать и писать, дать знания о той или иной науке — по-прежнему ведущая линия школы. Мы сегодня богаты как никогда, но до сих пор в учебном плане общеобразовательной школы стоят «чутьочку рисования», «чутьочку музыки», «чутьочку физкультуры» и «чутьочку труда». Вот почему вопрос о школе нового типа не должен быть вопросом далекого завтрашнего дня. Время школы будущего наступило сегодня.

Какой же она должна быть? Новая школа, ни в коем случае не снижая, а, напротив, повышая требования к развитию словесно-знакового мышления, используя, творчески переосмысливая накопленный богатый опыт учебно-воспитательной работы традиционной школы, должна в то же время отличаться от предшествующей прежде всего значительным усилением развития образного мышления. Для этого необходима систематическая учебно-тренировочная деятельность, рассчитанная на развитие и совершенствование хотя бы трех ведущих форм восприятия: зрительного, слухового и двигательного. Этим целям служат уроки физкультуры и ручного труда (двигательное восприятие), изобразительного искусства (зрительное восприятие), музыки (слуховое восприятие). В нынешней общеобразовательной школе эти предметы не справляются со своей задачей. И это неудивительно. Ведь ожидать сколько-нибудь значительного эффекта для развития чувств, к примеру, от уроков музыки и изо, поставленных раз в неделю, все равно что говорить о хорошем питании и есть раз в неделю. Мы убеждены, что эти уроки должны быть ежедневными.

Систематическое, целенаправленное развитие несловесных форм мышления может всколыхнуть такие познавательные, умственные силы человека, масштабы которых трудно представить и оценить в настоящее время. Не случайно среди крупнейших ученых мира давно существует мнение, что наш мозг думает в основном не словами, а образами. Альберт Эйнштейн говорил, что для него не подлежит сомнению, что наше мышление протекает в основном, минуя символы (слова). «Слова полностью отсутствуют в моем уме, когда я думаю», — утверждает известный французский математик Ж. Адамар, занимавшийся специальными исследованиями психологии процесса изобретения. Вместо слов он, по его утверждению, пользуется «пятнами неопределенной формы». То же самое пишет западногерманский ученый Г. Майер-Лейбниц о процессе открытия: «Мышление происходит не при помощи слов (я еще не слышал ни от одного естествоиспытателя, что он думает при помощи слова) — чаще всего при помощи образов». Эти мнения я привел для того, чтобы подчеркнуть: развитие трех ведущих форм восприятия, развитие образного мышления, не является дополнением к образованию или тем более отвлечением от него — оно необходимо для решения задач полноценного, истинного образования человека. Школа развития чувств — это в высшей степени школа интеллекта.

2

К идее школы-комплекса, решающей задачу целостного развития личности, я шел больше десяти лет.

...С чего все началось? 1962 год. Бегу на Главпочтамт. Торопливой рукой на бланке с тусклым шрифтом «телеграмма», старательно обводя каждую букву, пишу, как песню: «Я студент музыкального училища».

Кто в юности собирается стать серостью? Никто. Кто из нас не мечтает прожить так, чтобы, разив до максимальных пределов способности в избранном деле, совершить еще до тебя не совершенное, открыть неоткрытое? И вот я бросаюсь в работу, яростно гоняю гаммы, играю этюды по 8—10, иногда по 12 часов в сутки. Работать, работать и работать, терпенье и труд все перетрут — твердил я себе по утрам, вставая нередко в три-четыре часа, чтобы на свежую голову, чтобы никто не мешал, чтобы было нас только двое: я и музыка. Главное, я верил: все могу!

В классе сольфеджио молодая учительница вынесла приговор:

— У вас очень слабый слух. (Я нередко писал музыкальные диктанты на два.) Трудно вам будет.

Слабый? А как его сделать сильным? Работа? Это я могу. И снова бесконечные занятия у рояля. К концу второго курса у меня обнаруживают... абсолютный слух. Не может быть, у меня — абсолютный?! Нет, все правильно, я стал слышать без настройки точную высоту любого звука. В сердце еще один радостный факт: я и это могу! Работа, работа, работа... Учитель по специальности доволен: самостоятельное мышление, но надо работать больше над техникой. Еще больше? И снова гаммы, этюды... И вот уже скоро госэкзамены. Но что это? Болит правая рука. Пройдет, думал я. Нет, боль не прошла. Теперь болит уже и левая.

— Смените профессию,— говорит спокойно врач.— Это у вас профессиональное. Играть вам нельзя.

Переигрывание — так музыканты называют эту болезнь.

Вот и все. Как сообщить домой? Какую теперь дать телеграмму? «Талант — это любовь. Талант — это труд, бесконечная работа над собой» — так учили нас наставники. Но ведь я любил музыку и трудился, не ~~с~~алея сил! Значит, надо любить и трудиться как-то иначе. Но как иначе? Правдива ли вера: человек может все? Я же не смог... Значит, не дано?! Каждый нерв, каждая клетка моего существа яростно протестовали против этого «не дано». Сколько живет на земле человек, столько его отбрасывал назад, стискивал рамками устоявшегося, проверенного этот короткий приговор: не дано... Но что не дано, кем не дано? Неужто нельзя сделать так, чтобы было дано?

Уверен: именно с этого вопроса, заданного себе в трудную минуту, и начинается в человеке учитель. Вернувшись из армии, я стал работать в кизлярской музыкальной школе. Сталкиваясь ежедневно с делением детей на слабых и сильных, мы с педагогами стремились выяснить, в чем же отличие тех, у кого получалось, от тех, у кого не получалось. Каковы интересы наших учеников? Чем они любят и хотели бы заниматься в свободное время? Разработали вопросы, провели анкетирование. Перебирая еще и еще раз эти анкеты с ответами ребят, вдруг обнаружили, что отличие, особенность наших сильных учеников заключалась в широте, количестве и глубине их побочных интересов. А что, если успехи в музыке зависят именно от многосторонности человека, а не от каких-то особых способностей в одном без способностей в другом? Мы пришли к выводу, что нормальный талант есть синтез множества талантов. А если так, если способность к одному виду деятельности произрастает из множества способностей к различным видам деятельности, то задача развития одной способности должна быть одновременно и задачей развития побочных способностей. Для того чтобы воспитать специалиста, надо, следовательно, помимо заботы о специализации, обязательно развивать человека вообще, человека в целом, не ограничивая свое влияние на каком-то узком участке. Но нужен был эксперимент.

И вот в моем классе появилась экспериментальная группа музыкально малоодаренных учащихся. Многие из испытуемых не могли правильно спеть ни одной ноты по слуху, с трудом запоминали и воспроизводили простейшие ритмы. Такие учащиеся согласно существующему мнению вообще учиться в музыкальной школе не могут, они отсеиваются еще на приемных экзаменах. Но набор сделан, учеба началась...

Первое время мы почти отказались от обычной формы урока по специальности. Мы читали стихи, писали рассказы, делали рисунки, играли в спортивные игры, в разведчиков, партизан, ходили в походы к Тереку, в лес, слушали у ночного костра таинственные истории... Музыкальные занятия были частью нашей работы, но не основой ее. Мы не играли гамм — сухих, якобы развивающих технику упражнений. Главное — жизнь, рассказ о ней, о своих впечатлениях средствами музыки. Были и такие уроки «музыки», когда в моем кабинете не было за урок ни одного музыкального звука, только горячие, возбужденные споры о чем-то на этот раз более важном, чем игра на инструменте.

Так прошел первый год. На экзаменах наш класс не выглядел заметно лучше других, однако во второй класс перешли все. Но вот пошел второй год обучения — и как прорвало. Я не ожидал, что ребята так будут быстро расти. Уже зимой и весной на академическом концерте они в числе лучших. А впереди третья весна, конкурс на лучшее исполнение музыкальных произведений. Мы решили готовиться все. На конкурсе учитывались культура, эмоциональность

исполнения и, конечно, техническая сложность произведений. Поэтому мы пошли на риск — взяли пьесы очень высокой сложности. К тому времени у учащихся окреп интерес к музыке, появилась вера в свои силы. Мы много играли мелких пьес. Музыкальный материал менялся к каждому уроку, так как у нас было твердое мнение: одно и то же нельзя давать два урока подряд, надо беречь чувство, свежесть внимания.

И вот наконец конкурс «Белая акация», названный так потому, что проходил в то время, когда по всему Кизляру белыми облаками щедро расцветали акации. В тот незабываемый день ярко светило солнце. Умытые упругим весенним дождем деревья и трава у входа в школу, искристая синь неба — все радостным, торжественным аккордом встречало участников конкурса. Мы волновались. Сегодня решающий день. Кто победит...

Какими словами передать то, что мы испытывали — и те, кто играл на сцене концертного зала, и те, кто до боли в суставах сжимал ручки кресел, болел за товарища, ревностно вслушиваясь в каждую музыкальную интонацию, в каждый звук пассажа? Какими словами передать то чувство, тот звенящий накал волнения в период обсуждения итогов конкурса, когда жюри решало, кто же одержал победу? Как мне передать, что творилось в моей душе, когда жюри единогласно решило все призовые места отдать представителям нашего класса? Все призовые места наши! Победа! Как сейчас вижу: подходит ко мне заведующий отделением народных инструментов и говорит:

— Этого не может быть... здесь что-то не так... — И выжидательно смотрит в глаза, ища ответа, надеясь выведать какую-то особенную тайну нашей победы. — Скажите, как вы работаете над пьесами?

— Мы работаем над человеком, — сказал я ему тогда еще не до конца и самим осознанную фразу.

Шло время, стремление к многосторонности воспитания находило все большую поддержку в школе. Многие стали заниматься с учениками «второстепенной» работой... Устраивались выставки рисунков, поделок из пластилина или из мягкого дерева, театрализованные музыкальные постановки, танцевальные занятия... У нас тогда не было четко очерченных направлений, по которым надо развивать ученика, мы знали только одно: общее развитие есть залог специального развития. И каждый шел навстречу многогранности природы ребенка, интуитивно выбирая путь.

Однако чем больше крепла у педагогов уверенность в необходимости многостороннего развития, чем больше учителю хотелось охватить побочных видов деятельности и пропустить через них своего ученика, тем острее становилась проблема времени и проблема финансов. «Сколько можно работать на одном энтузиазме? Зачем мне заниматься с учеником, например, живописью или рисунком, лепкой?.. Почему бы нам не пригласить специалистов-художников и дать им эти часы?.. Почему бы нам не добавить в штат еще хореографов?» — все чаще звучало в кабинете директора. А время? Наши ученики, перегруженные в общеобразовательной школе, попадали под двойной педагогический гнет. Каждый из них являлся одновременно членом двух школ, и каждая считала себя главной для него.

Нам явно не хватало своих сил, нужны были дополнительные штаты, нужно было единство действий в общеобразовательной школой. Но чтобы такое объединение имело силу, необходимо было согласованное решение министерств культуры и просвещения.

С тем я и поехал в Махачкалу в Министерство культуры ДАССР. Меня принял замминистра. Вежливо выслушал, подробно расспросил о нашей работе, а затем сказал:

— Вы меня убедили пока только в одном: так называемая многосторонность развития приводит к перегрузкам детей. Вы сейчас в пользу этого вывода привели достаточно аргументов. Что касается вашего опыта, то он еще не может служить достаточно веским основанием для рассмотрения вашего предложения на уровне двух министерств. Мы ведь с вами не в колхозе работаем, где все может решить общее собрание...

Из Махачкалы я ехал в удобном райкомовском «газике». Дорога, плоская

и серая, медленно втягивалась под машину. Слева и справа унылым однообразием распласталась предгорная равнина. Мягко, словно боясь спугнуть кого-то, спускался вечер, медленно гася яркие краски дня, заменяя их многообразие на один его любимый цвет — серо-черный. Все это соответствовало моему настроению. Мысли были ленивы и мрачны, только изредка как насмешка всплывали образы тех дней, когда все казалось таким понятным и простым...

А ведь замминистра прав... Провели анкеты, сравнили учебу в двух школах — и сразу выводы и сразу эксперимент. Да еще и подай широкие просторы поиску. И насчет колхоза он верно сказал. Стой! Так он же мне выход подсказал! А почему и правда не попробовать в колхозе? Колхозы строят мощные дворцы культуры, музыкальные, художественные, общеобразовательные школы. Почему бы все не объединить? Единый комплекс, когда все в одном здании, колхозу построить выгоднее, и оплату некоторых специалистов он может взять на себя. Будем работать в одном режиме, по одному расписанию и плану...

Так после поездки в Махачкалу начался поиск нового адреса местожительства будущей школы. Я искал такого председателя колхоза, который видел бы будущее своего хозяйства в школе, детском саду, который, не жалея средств для школы, считал бы ее своим важнейшим производственным участком. Внимательно читал в газетах, журналах материалы о руководителях хозяйств, о социально-культурном строительстве на селе. Отпуска проводил в дороге, разъезжая по наиболее интересным адресам.

Отправляясь на Белгородщину в 1971 году, я не думал, что еду навстречу своей судьбе. О белгородском председателе колхоза Суркове Николае Алексеевиче я прочел случайно в небольшой книге «Зимний Микола». Прочитав, решил увидеть своими глазами ее героя. После встречи с Сурковым исчезли последние сомнения по поводу того, где быть новой школе. Адрес ее определился: поселок Ясные Зори Белгородского района, центральная усадьба колхоза «Знамя», которым тогда руководил Сурков.

Правда, обстоятельства сложились так, что начал я здесь работу лишь три года спустя, когда Сурков уже был первым секретарем райкома партии. А у меня к тому времени уже был опыт строительства новой школы в селе Бессоновка той же области, которым я руководил на посту зампредела колхоза по культуре. Опыт этот показал, что нельзя снаружи руководить экспериментом в школе — надо было браться за дело изнутри. Вот тогда я и стал директором яснозоренской общеобразовательной школы.

3

К тому времени мне уже было ясно, что именно в учебном дне, а не за его пределами должны получать ребята всестороннее развитие, обязательное для всех. Вторую же половину дня нужно оставить для занятий по интересам. Но чем ярче вырисовывалась предметная структура учебного процесса с ежедневными уроками физкультуры, труда, музыки, изобразительного искусства, тем яснее росла, казалась непреодолимой стеной проблема времени. Когда же бедному ученику «пройти» через все эти уроки, если и без того его учебный день крайне перегружен? По исследованиям ученых, суммарная учебная нагрузка у большинства школьников вторых и третьих классов, например, составляет 6—8 часов в день, у учащихся шестых — седьмых классов — более 9—10 часов³, а в старших классах — до 12 часов в день⁴. Если же в учебный день включить дополнительные уроки физкультуры и труда, музыки и изо, то его общая продолжительность увеличится в третьем классе до 11 часов, в шестых — восьмых до 12—13 часов, а в девярых — десятых вырастет до 16 часов. Когда я, впервые проведя несложные арифметические действия, получил такие суммы, не скрою, растерялся. Но потом пришел к единственно возможному выходу: если школьный день и без наших добавлений перегружен учебной работой, значит, надо

³ См. О. И. Дедобришвили, «Гигиеническая характеристика учебной нагрузки...». Материалы научной конференции по гигиене обучения и воспитания. М. Изд. НИИ гигиены детей и подростков МЗ СССР. 1968, стр. 43.

⁴ См. Г. Вульф, З. Сазанюк в кн. «Гигиеническая оценка обучения учащихся в современной школе». М. «Медицина». 1975, стр. 34.

искать пути сокращения объема этой работы. И поиск следует вести в двух направлениях: во-первых, сокращение программы или более рациональное ее построение; во-вторых, стремление к наиболее рациональному, наиболее полному использованию каждой минуты на уроках, чтобы значительно уменьшить объем домашних заданий, а то и вовсе отказаться от них, высвободив вторую половину дня для занятий по интересам.

Еще до Ясных Зорь я обращался за помощью к учителям, директорам общеобразовательных школ с предложением начать такой поиск. Но безрезультатно. Один директор школы даже не на шутку рассердился на меня, когда я предложил ему провести эксперимент в одном из классов по сокращению учебного времени:

— Что? Сократить часы? Да ты что? Да если ты мне скажешь, что надо сократить учебный план на одну минуту, на двадцать секунд, я потребую на это приказ министра. Я пока, слава богу, не на плохом счету.

Меня, проработавшего в то время уже около восьми лет в системе образования Министерства культуры, такой подход к работе крайне удивил. С нас всегда спрашивали за результат, и по результату, по достижениям складывался авторитет учителя, директора, школы в целом. Рассуждения учителя, что он сделал все как положено, по меньшей мере будут несостоятельными, если его ученики не справились с программой. Проверяющий учебную работу школы инспектор Министерства культуры, например, никогда не скажет учителю, что 25 февраля он должен учить по программе первую — пятнадцатую фразы второй части сонаты Бетховена. А если, к примеру, на любом нашем заводе рабочий выполнит пятилетку не за пять лет, а за год, он получит премиальные, правительственную награду, его портрет будет на Доске почета. Но если учитель общеобразовательной школы вместо пяти часов, отпущенных на ту или иную изучаемую тему, будет затрачивать час, он будет строго наказан.

Так с первых попыток войти в контакт с общеобразовательной школой я убедился, что учитель общеобразовательной школы крайне ограничен в возможности творить. Львиную долю своей работы он делает не как сам думает, не как ему диктуют опыт работы, конкретная обстановка, возможности данных учеников, его совесть, наконец, а как ему предписано, предсказано сверху. Весь учебный материал расписан «по полочкам», строго распределено количество часов по темам, строго регламентирован каждый урок. И никакими доводами, никакими фактами не изменить то, что словно законсервировано магической силой просвещенческого бюрократизма — таким-то пунктом, таким-то параграфом...

Складывался замкнутый круг: чтобы изменить, надо доказать, чтобы доказать, нужен эксперимент, но чтобы провести эксперимент, надо изменить... И я обратился к педагогической литературе. Очень созвучны моим мыслям оказались педагогические взгляды К. Д. Ушинского, Н. К. Крупской по этому вопросу. «У детей память восприимчива и усваивает быстро и прочно, но под условием сосредоточенности внимания, — пишет Ушинский. — Десять минут живого внимания, если вы сумели ими воспользоваться, дадут вам в результате больше целой недели полусонных занятий»⁵. Потому он и считал одним из важнейших условий хорошего преподавания «как можно меньший ежедневный урок»⁶. Это важнейшее условие вырастает, как вслед за ним утверждает Н. К. Крупская, из самой природы ребенка, яркости, интенсивности его восприятия, а потому и быстрой утомляемости⁷.

А действительно, почему урок длится целых 45 минут? Является ли эта продолжительность учебного времени педагогически целесообразной? В работах ученых я нашел прямо противоположную точку зрения по этому вопросу. Многие из них утверждают, что последние 10—15 минут урока проходят для детей

⁵ К. Д. Ушинский. Избранные педагогические сочинения. М. «Педагогика», 1977, т. 2, стр. 122.

⁶ Там же, стр. 126.

⁷ См. Крупская Н. К. Избранные педагогические сочинения. М. «Просвещение». 1968, стр. 195—196.

впустую. «Последние 10—15 минут урока наиболее утомительны и, следовательно, неэффективны в педагогическом отношении»⁸, — пишет ученый-гигиенист Р. Г. Сапожникова. Если это так, то в цепи 30—35-минутных уроков можно сделать учебной работы не меньше, а даже больше, чем в цепи 45-минутных. Я не случайно говорю о цепи уроков.

Дело в том, что если последние 10—15 минут урока неэффективны в педагогическом отношении, а попытки все же нагрузить их только накапливают утомление к концу дня, отчего последние уроки уже целиком «следует считать малоэффективными для учебных занятий»⁹, то общее, пустое, фактически почти неиспользованное учебное время в цепи шести 45-минутных уроков составляет 130—150 минут в день. Тогда как общая продолжительность фактического, то есть полезного, учебного времени уроков той же длительности равна 120—140 минутам. В цепи же шести 30—35-минутных уроков пустого, бесполезного времени не должно быть, фактическое же учебное время составит 180—210 минут. Конечно, эти расчеты условны, но ясно одно: короткие уроки не уменьшают фактическое учебное время, а даже увеличивают его. Это позволит пустое, неиспользованное учебное время заполнить уроками неречевого, или образного, цикла. Причем если эти уроки не просто приплюсовать к урокам речевого цикла, а расставить между ними так, чтобы каждый урок стал разрядкой от предыдущего и подзарядкой на последующие, то такое добавление послужит еще большей разгрузкой суммарного учебного времени, приведет к еще большей наполняемости каждой минуты урока.

Выводы ученых — педагогов, медиков, физиологов, психологов — свидетельствуют, что уроки образного цикла, поставленные внутрь учебного процесса, служат своеобразным стимулятором, подзарядкой для более высокого уровня мыслительной деятельности на уроках речевого цикла. Поэтому эффект короткого урока станет еще ярче, если короткий урок начнется не после пассивного отдыха, а после урока-стимулятора, урока-подзарядки. Умело используя время каждого урока от первой их минуты до последней, учитель вместе с учащимися сможет сделать гораздо больше непосредственно на уроках, что не может не отразиться на значительном сокращении объема домашней работы, следовательно, не может не привести к сокращению суммарной учебной нагрузки учащихся. Чередуясь с уроками речевого цикла, уроки образного цикла будут фактически выполнять для первых функции своеобразной большой перемены.

Говоря о более емкой организации учебного времени, я имею в виду не только сохранение здоровья детей. Если мы утверждаем, что учеба — главный труд школьника, то должны позаботиться о создании таких условий, чтобы наши ученики делали свою работу хорошо, в срок, чтобы на каждом уроке с первой и до последней минуты, с первого и до последнего урока ученик привыкал с полной отдачей работать, а не дремать, так как уроки в школе — это его рабочее время, чтобы, как говорила Н. К. Крупская, «ни одна минутка не пропала даром, чтобы все ребята поголовно были втянуты в работу»¹⁰.

Думаю, что 45-минутные уроки непосильны не только для младших, но и для старших школьников.

...Однажды мне пришла в голову мысль испытать на себе, каково учащимся в современной школе. Я решил ходить на уроки, делать все, что делают ученики целую неделю. На первых двух уроках в девятом классе я был старательным и достаточно внимательным учеником, хотя, признаюсь, уже к концу первого урока хотелось перемены. На третий урок я шел уже без былого энтузиазма, но, решив не сдаваться, старался быть старательным, усилием воли заставлял себя быть деятельным и активным. Выдержал я в таком же духе и четвертый урок, но с пятого почувствовал первые признаки головной боли, был чрезвычайно невнимателен, мысли мои все чаще уносились куда-то далеко от того, что происходило в классе. Шестой урок я сидел лишь только потому, что обещал вы-

⁸ Р. Сапожникова. Гигиена обучения в школе. М. «Медицина». 1974, стр. 31.

⁹ А. Н. Кабанов, «Возрастные особенности развития утомления» (сб. «Материалы научной конференции по физиологии, посвященной памяти А. А. Ухтомского». Изд-во ЛГУ. 1963).

¹⁰ Крупская Н. К. Избранные педагогические сочинения, стр. 259.

сидеть все уроки. На последнем уроке с жуткой головной болью я чертил домики, кружочки, рисовал чертики и т. п. В этот день вторую половину его я провел дома, лежа на диване, пытаюсь уйти в сон от головной боли. Поведение моего организма я объяснил тем, что он не вработался, не втянулся еще в новое течение жизни. Второй день я также провел в яростной борьбе за внимательность на уроке, усиленно прогонял дремоту на последних уроках.

Третий день принес мне неожиданный сюрприз; я вдруг почувствовал, что во мне стало расти желание что-нибудь отмочить на уроке. Я еле удержал себя от желания щелкнуть по затылку впереди сидящую соседку. На четвертый день я сбежал со второго урока, обрадовавшись подвернувшемуся срочному директорскому делу. В этот же день после уроков ко мне подошли двое ребят и сказали:

— Михаил Петрович, не приходите к нам больше на уроки. Вы извините, но мы уже просто не можем. Вы нас стали раздражать...

— Почему? — удивленно спросил я. — У вас так интересно.

— Да, понимаете, как-то не по себе... Сидишь, как мумия, даже отвлечься нельзя.

Я понял, что старшие ученики с нами хитрят на уроках, нередко уходя от нас с урока всеми мыслями, лишь формально присутствуя за партой. Так они сохраняют себя...

Впоследствии я нередко наблюдал за поведением во время совещаний пап и мам наших учеников. Могу утверждать, что у подавляющего большинства хватает внимания на 25 — 40 минут, затем начинается перешептывание, чтение спрятанной под парту «литературы» или просто откровенный сон. Не потому ли так не любимы и у учеников и у их родителей первые ряды?

Заключая вопрос о гигиенической целесообразности более короткого урока, хочу вспомнить слова Л. Н. Толстого: «Для того, чтобы душевные силы ученика были в наивыгоднейших условиях, нужно... чтобы ум не утомлялся... лучше ошибиться и отпустить ученика, когда он еще не утомлен, чем ошибиться в обратном смысле и задержать ученика, когда он утомлен...»¹¹

4

Хорошо помню день первого знакомства с яснозоренской школой. По дробной бетонке мы подъехали с Николаем Алексеевичем Сурковым к новому, растущему поселку.

Вечерело, во всю ширь горизонта зацветала ярко оранжевыми сполохами заря. Белые дома с орнаментом из красного кирпича, с окнами, зашитыми золотом зари, будто прорастали из нее. В зелено-голубом прозрачном небе уже появились первые звезды, со стороны темнеющего недалеке леса в открытые окна «Волги» тянуло свежестью и прохладой. Видно, в такую минуту неповторимого ощущения чистоты и свежести фантазия подсказала Суркову имя будущего поселка: Ясные Зори.

Хорошо помню сцену моего представления педагогическому коллективу. Слово это было вчера, вижу глаза учителей, в которых такой поднятый мне вопрос: кто ты?

Каждая школа имеет свою неповторимую среду, свои, только ей свойственные условия работы. Это только проект школьного здания бывает типовым, но сама школа, ее жизнь уникальны, как уникален каждый учащийся в ней ребенок. Часто опыт работы в одной школе мало пригоден для условий другой. Мне же вообще не довелось до Ясных Зорь работать ни в одной из общеобразовательных школ. А условия работы руководителя школы, куда отбирают учащихся по большому конкурсу, где главным образом идет индивидуальное обучение и воспитание, разительно отличаются от условий работы в школе, в которой учить надо обязательно всех. Очень многое было ново, необычно, непонятно. То, что было усвоено из педагогических книг, редко служило руководством к действию. Чаще всего приходилось опираться на свой жизненный опыт, на свою интуицию, на свои представления о том, как надо поступить в том или ином случае...

¹¹ Л. Н. Толстой. Педагогические сочинения. М. Учпедгиз, 1953, стр. 341.

В первые дни работы в Яснозоренской школе меня поразила какая-то удивительно устойчивая нервозность, напряженность отношений учащихся. Крики, сутолока, нескончаемая борьба на грязном, затоптанном полу в шутку и всерьез, нередкие взрывы драк — все это называлось перемена. Основным источником драк было то, что яснозоренскую школу словно слепили из различных, недавно закрытых малых школ 10 разных сел. Каждая из групп, вырванная из устоявшегося, привычного быта, стремилась сохранить во что бы то ни стало обычаи, традиции своего села, бывшей своей школы и держалась поэтому по отношению к другим группам заведомо враждебно. Ребята из сел, связанных с такими крупными областными центрами, как Белгород и Харьков, добротной бетонкой, не могли не отличаться по общему культурному уровню от ребят из сел, большую часть года оторванных от мира бездорожьем. Немалую роль играла и огромная разница в уровне знаний. Ребята из некоторых сел с первого по третий классы занимались в малокомплектных школах, в которых учитель одновременно вел уроки со всеми тремя классами. Преподавание в этих школах за редким исключением шло на чрезвычайно низком уровне. Прошедшие такую «школу» ученики и в старших классах не справлялись с простейшими арифметическими действиями, а иногда и просто не знали таблицу умножения. Погоня за процентом успеваемости для учащихся, вышедших из таких малокомплектных школ, имела особенно пагубные последствия. Были, например, и такие ученики, которые в четвертом классе не могли читать целыми словами, не знали твердо все буквы алфавита. Все это служило основой для презрительных насмешек «культурных» над «некультурными», еще сильнее разжигало «междоусобные войны»...

Так и делилась школа на ровенцев, яснозоренцев, черемошан, солтыковцев, устян, лозовчан, нечаевцев и т. д. Драки нередко возникали из-за ничтожных пустяков. Однажды ко мне в кабинет прибежал взволнованный дежурный:

— Михаил Петрович! Там такое!.. Мы ничего не можем сделать.

На третьем этаже, куда я спешно поднялся, шел настоящий кулачный бой между нечаевцами и черемошанами. Я молча смотрел на эту потасовку, вкладывая в свой взгляд всю силу презрения и гнева, кипевшего во мне в ту минуту.

— Все?! — громко, но как можно спокойнее сказал я, когда последняя пара, почувствовав по внезапно наступившей тишине недоброе, прекратила бой.

— Это выяснение отношений... Это принципиально, — пробасил рослый парень Василий Смагин.

— Нечаевцы, черемошане, из-за какого принципа били вы и били вас? (Ребята в замешательстве молчали.) Хотя бы скажите, кто начал.

Из толпы собравшихся, несколько помедлив, вышел мальчик из четвертого класса, вслед за ним через несколько секунд нехотя вышел другой, видимо чуть постарше...

Спрашиваю старшего:

— Причину можно сказать при всех?

— А что он ехидничает все время?

— Кто? Я? Когда?

— А когда я проходил по коридору, ты что сказал?

— Я тебе ничего не говорил, я с ребятами своими разговаривал.

— А что же ты тогда улыбался, когда я шел мимо тебя?

— Я к тебе подошел, говорю: чо ты лыбишься? — а ты сразу толкаться...

— И это все? — спросил я.

— Все, — подтвердил старший.

— Скажи: это и есть тот самый принцип?! — повернулся я к Смагину.

— У, сопляки! — зло процедил Василий. — Из-за ваших улыбочек такую бучу затеяли...

— Ребята, — едва скрывая волнение, начал я, — я убежден, что у вас есть моральное право в ответ на оскорбление человеческого достоинства драться. Но это средство физического протеста против оскорбления достоинства, против подлости есть самое крайнее, слышите — самое крайнее средство защиты доброго, красивого в человеке. И каждый такой бой укрепляет в человеке мужество, стойкость, смелость. Мы говорим про такого с гордостью: настоящий мужчина! Но если парень бездумно и слепо размахивает своими кулаками, бьет, чтобы унижить, чтобы причинить боль, он не мужчина...

Когда я говорил короткую эту речь о мужских качествах, видел, какими стали серьезными глаза моих парней, многие из которых, как мне казалось, глубоко, сердцем воспринимали каждое сказанное слово. И я готов был уже видеть в себе сказочного рыцаря, мощным ударом меча снимающего голову с одного из злейших чудовищ. Каково же было мое разочарование, когда буквально на следующей перемене коридор, правда теперь уже второго этажа, стал ареной новой схватки...

Мы нередко говорим: «Наше главное оружие — слово». Не согласен! Слово не главное оружие, а одно из мощных обязательных средств воспитания. Одно из. Но очень часто мы преувеличиваем его значение. Наше воспитание стало словесным. Мы научились правильно, я бы сказал, виртуозно говорить, но мы разучились делать. Мы нередко раздваиваем себя: я с трибуны — и я в действительности. Нам сегодня крайне не хватает воспитывающей деятельности. Нашим детям нужна воспитывающая, развивающая, а не говорящая о воспитании и развитии школа.

Но это убеждение придет несколько позже. А тогда после очередной драки я решил, что надо ударить по драчунам еще более мощно. Но как?

— Мы давно уже не проводили общешкольную линейку, — подсказали мне опытные педагоги. — Надо выставить самых драчливых и резануть им так, чтобы другим неповадно было. Заодно и двоечников за неделю выставим.

Решено! Собираем в субботу линейку.

...Долго я буду помнить ту линейку — первую и последнюю в моей жизни, которую я провел с целью «взгреть по первое число». Описывать ее подробно не буду. Помню чувство стыда и вины перед теми, кого выставил перед школой. Помню очень ярко глаза Василия Смагина (он, как я узнал позже, после той потасовки на третьем этаже собирал ребят на небольшое совещание, где они все вместе решили кончать драки), его удивленные глаза, в них вопрос ко мне: зачем так? Перед притихшей школой, понутив головы, выходили парни. Я силился понять, что испытывают они в эту минуту. И тут вспомнил себя, когда меня вывели вот так же перед строем, когда я почти ничего не слышал из речей обвинителей, кроме своего внутреннего голоса, в котором такая обида кричала на ораторов: «Зачем вам нужно все это? Унизить, причинить боль? Ну погодите...» И я мстил долго, как мог, нелепо, по-детски... Но ведь тогда мне было всего десять лет. А каково Василию?

Стали читать список двоечников. Из общего строя выходят залитые краской стыда девушки десятого... Вот выходит Вера Семернина. У нее же сестренка в третьем классе, которой она заменила умершую маму и которая сейчас во все глаза...

— Хватит! Достаточно... Все свободны... — каким-то внезапно осевшим голосом проговорил я.

Линейка неожиданно для всех кончилась. Мимо меня проходили ученики. Но проходили как-то не так, как всегда. Не было обычного шума и толкотни. В школе я работал уже несколько месяцев, но именно в тот день впервые почувствовал (не понял, а почувствовал), какая это ответственность — работать директором. Может быть, в тот день начало появляться во мне то не объяснимое словами чувство родства с ребятами, которое впоследствии поможет глубже и тоньше понимать малейшие изменения в их настроении, вооружит способностью подняться до уровня равенства с ними.

— Люда! — остановил я сестренку Веры Семерниной. — Ты, Люда, не думай о Вере плохо. Сейчас произошла ошибка. Она у тебя молодец!

К нам подошли одноклассники Люды. И я сказал громче, чтобы слышали и они:

— Мы гордимся твоей сестрой. Она настоящий человек. А сейчас произошла ошибка...

Люда вдруг схватила мою руку и, прижавшись к ней, заплакала...

— Михаил Петрович, можно вас? — тихо, почти шепотом прозвучало рядом. Это была Вера. — Я все слышала... Спасибо.

Она внезапно отвернулась и, как-то сразу сжавшись, побежала вверх, в свой класс.

Немного постояв еще в коридоре, мы с Людой пошли ко мне в кабинет. И она долго еще, доверчиво глядя в мои глаза, рассказывала, какая у нее замечательная сестра, самая лучшая сестра на свете, ее Вера...

Может, это покажется вам парадоксальным, но провал на первой линейке заметно укрепил мой авторитет в среде учеников. Ребята не были такими замкнутыми, настороженными, как в первые дни, общение с ними перестало носить характер разведки боем, они словно сделали первый, робкий шаг навстречу. Конечно, если говорить в целом о школе, нельзя назвать то, о чем я пишу, поворотом к лучшему, скорее это были первые попытки повернуться. В первые дни, разговаривая с ребятами, я никак не мог, как ни старался, увидеть глаза собеседника, они все время отводили их от меня, повернув в мою сторону ухо или макушку. Я написал слово «собеседника» очень неточно. Совместных бесед почти не было. Мои беседы с ними в лучшем случае были сеансами односторонней связи. Нередко приглашенный в кабинет вел себя так, словно всем видом хотел показать нелепость происходящего. Иногда, видимо стремясь скорее избавиться от «ненужных разговоров», ребята, еще не успев переступить порог кабинета, старательно изображая раскаяние, невнятно бубнили: «Я больше не буду, простите...» У меня все чаще возникало такое ощущение, будто ученики повернутся ко мне спинами, отчего хотелось забежать им наперед, заглянуть в глаза, крикнуть: «Я живу ради вас! Я помочь вам хочу!» После линейки у меня уже не было этого «чувства спины». Все чаще я стал ловить на себе взгляды ребят, в которых был доброжелательный интерес.

Заметно активней стало их участие в школьных делах. Окончательно я поверил, что наступили перемены, когда вскоре после линейки ко мне подошла группа десятиклассников, чтобы посоветоваться. Они так и сказали: «Мы пришли посоветоваться с вами...» Они сказали об этом как о само собой разумеющемся, но мною это было воспринято как праздник, как светлая песня, как утро ясного дня. Тогда, почти не слушая, о чем говорят ребята, я еле сдерживал в себе какую-то неукротимую детскую радость, кивая им в знак согласия. С тех пор, когда, заходя в класс, говорил: «Ребята, очень нужен ваш совет...» — я уже не видел недоуменных взглядов, в которых недоверчивое: играете с нами. Мы начинали на самом деле думать, решать и работать вместе.

Новое должно обязательно созреть, заново родиться в каждом коллективе. Навязанное новшество превращает коллектив из творца в раба, исполнителя чужого замысла. Мне хотелось, чтобы мечта о школе нового типа стала мечтой всего коллектива, чтобы она выросла из живой повседневности, из самой глупины школьной жизни.

Трудно сказать, когда мы подошли к единому образу будущей школы. Да и вряд ли можно зафиксировать четко день или час. Этот образ рождался из мельчайших нитей нашей жизни, из множества поступков, споров, бесед...

Весной 1975 года состоялось собрание учащихся старших классов, где было решено организовать производственную бригаду, чтобы участвовать вместе со строителями в реконструкции школьного здания. В этом здании надо было разместить теперь не только общеобразовательную, но и спортивную, хореографическую, художественную и музыкальную школы, клубы юных техников и натуралистов. Ребята решили также заново покрасить, оформить школу к сентябрю. Я радовался каждому их предложению, очень важно было не погасить, дать простор их жажде преобразований...

И вот в июне 100 ребят поселились в лесу в палатках. Работа наша на школьной стройке была нелегкая. Часами счищали маленькими лопатками парни и девочки недоброкачественную шпаклевку с потолка до гладкой поверхности бетонных плит, выбивали цементные швы. Сквозь грязь и пыль, сквозь пелену едкого пота мы видели нашу мечту, мы рвались к ней.

Но вот уже кончается июнь. Все тревожнее становилось на душе. Давно уже прошел день, когда должны были прийти к нам на помощь две отделочные бригады.

— Вы не волнуйтесь,— успокаивал нас начальник СМУ,— вот закончим объект, тогда все силы бросим к вам. Успеем!

Но и в начале июля никто из строителей так и не появился. Когда я приехал в управление, то по лицу главного инженера понял, что случилась какая-то неприятность. Молча подав мне руку, он без всяких предисловий прочитал указание вышестоящей организации о срочной переброске строителей на другой объект. Он читал короткий и сухой текст распоряжения, а я воспринимал его как приговор. Главный инженер что-то объяснял, высказывал сочувствие, а мне уже виделись уставшие лица ребят и пустая, жалкая, обманутая школа. «Вот и съездили твои ребята на море», — извил внутренний голос. Да, весь лагерь через несколько дней должен был ехать на море в туристическую поездку. У всех уже было чехомоданное настроение.

Вернувшись в лагерь, я собрал ребят на линейку. Лагерь вытянулся двумя плотными шеренгами, умолкли голоса. Все приготовились слушать. На загорелых лицах веселый блеск глаз, ожидание радости.

— Ребята! Ехал я к вам из Белгорода и думал, какие слова сказать. Подбирал нужные фразы. А сейчас, когда увидел ваши радостные лица, все слова растерял. Да какие тут могут быть слова... Спасибо вам за ваш труд. Вы сделали все, что можно было сделать за этот срок. Но... наша школа к первому сентября не будет готова, если мы все уедем на море... Кто решит остаться и доводить начатое до конца, знайте, что придется работать еще больше, чем раньше. Прошу каждого взвесить свои силы, свои возможности. Сейчас вам будет дано две минуты на размышление. Затем в строю останутся те, кто согласен работать до конца, кто уверен, что выдержит... Кому по тем или иным причинам остаться нельзя — вас ждет машина. Вы можете прямо из строя садиться в машину и ехать домой. Мы, те, кто останется, не будем вас осуждать, не будем думать о вас плохо — вы сделали все за это время, что могли... Советоваться можно только с самим собой, со всей своей жизнью, прожитой до сегодняшнего дня. Поэтому в строю стоять молча.

Я посмотрел на часы, давая понять, что начался отсчет двум минутам размышления. Секунды... Не забыть этих долгих ста двадцати секунд. «А если останусь один? Если на этом месте, где сейчас строй, останутся только следы на песке?..» Стараюсь не смотреть на ребят. Не хочу, не могу.

Мне хотелось, чтобы каждый решил сам за себя, свободно, без давления, чтобы даже взгляд мой не принуждал, не требовал, не просил. Эх! Подогнать бы завтра два автобуса и отправить вас к морю, благодарно пожимая руки каждому за труд, за то, что не слышал от вас ни разу ни одной жалобы...

Стрелка в абсолютной тишине прошла последние пять секунд.

— Все, ребята. Время истекло.

Строй дрогнул и снова замер на несколько секунд. Но вот в левом крыле вышли двое, затем еще... еще... еще... Уходили молча. Я опустил глаза. Не могу смотреть, как буквально тает на глазах огромная, на ширину всего лагеря шеренга. Слышно, как шуршит под ногами уходящих песок, будто уходящие говорили: прощай... прощай... прощай... Но вот там, уже вдалеке, за палатками... Я поднял глаза — стоят. Стоят мои девчонки и парни! Редкий строй, большие паузы-просветы между ними. В них — следы ушедших.

— Сомкнуть ряды! По порядку рассчитайсь!

— Первый! Второй! Третий!.. Сороковой! Расчет окончен.

«Сорок из ста двадцати, значит, каждому работать за троих», — подумал я. ...«Отважный» семьдесят пятого! Как мне хотелось тогда броситься к вам и обнимать каждого. Я хотел кричать опустившемуся вечеру, звездам, начавшим зажигаться высоко над нами: «Вы удивительные! Вы самые красивые, самые родные, самые настоящие люди земли! Сорок прекрасных, добрых, больших сердец стали биться удар в удар на крохотном пятачке земли. Теперь я твердо знаю: школа будет в Зорях, обязательно будет!» Но вместо этого сказал просто и непростительно буднично, по-военному:

— Разойтись! Собраться всем через пять минут во второй палатке...

Отчетливо врезалось в память огромное звездное небо, когда мы вышли из палатки. Густая тьма растворила нас в огромном мире, но не было ощущения беспомощности, напротив — было такое чувство, как будто весь мир вошел в нас, отчего на душе было удивительно спокойно... Я говорю о всех с такой уверен-

ностью, потому что мы в тот вечер стали единым целым: трудовым отрядом «Отважный».

А что, если написать о ребятах песню? — внезапно осенило меня. Песня поможет им глубже прочувствовать красоту их поступка, она станет своеобразным узелком на память о сегодняшнем вечере.

Вечером следующего дня отважновцы, устроившись на прибрежном склоне, разучивали первую свою песню, песню о себе...

Героем ты станешь не вдруг, не однажды,
Герой, как движенье — вечно в бою!
Отважным и смелым становится каждый,
Кто устоял, когда трудно и страшно..
Надо! — остался в строю...

«Отважный» родился и рос с песней. И хотя я писал слова и музыку к песням, настоящим их автором был коллектив — его взлеты, сомнения, его жизнь. Музыка, слова лишь закрепляли то, что рождено этой жизнью.

5

Руками ребят школа была полностью преобразована к 1 сентября. Желтые, розовые, голубые, светло-зеленые, оранжевые полы в созвучии со светлыми матовыми стенами порождали причудливую гармонию цвета, мягким аккордом встречавшую юных хозяев школы. По стенам и прямо под ногами рисунки ребят: крупные белые ромашки на зеленом полу, щедрые гроздьи рябины будто падают со стен, хороводы васильков — на голубом панно музыкального класса...

Необычны были и объявления о наборе учащихся в музыкальную, хореографическую, спортивную школы, клубы юных техников и натуралистов.

Пройдет время, и мы все привыкнем к этому соцветию различных школ, кружков, всегда готовых открыть двери навстречу желающим, но в тот год мы еще долго будем удивляться сонате Ветховена или, к примеру, концерту Кабалевского, звучащим в нескольких шагах от кабинета физики. Я сам иногда утрачивал ощущение реальности, когда заходил в зеркальный зал хореографии и видел, как наши сельские девчонки и мальчишки стоят у настоящего станка и учатся настоящей хореографии у настоящего балетмейстера. В такие минуты самого неудержимо тянуло к клавишам, и я садился за пианино, подменяя концертмейстера, и аккомпанировал, наслаждаясь ощущением этой фантастики.

Пройдет время, все это станет привычным. Будут у нас и отличные столярные, слесарные мастерские, и цех художественной керамики, и кабинет мягкой игрушки, в котором будут разыгрываться многосерийные самодеятельные спектакли с только что сотворенными «героями». Будет свой настоящий зал борьбы и отлично оборудованный зал общей физической подготовки. Будут чемпионы, лауреаты... Но 1975/76 учебный год останется самым ярким в памяти тех, кто своим умом и сердцем создавал нашу яснозоренскую школу-комплекс, ставшую впоследствии лауреатом премии Ленинского комсомола.

Еще сложнее, чем в среде ребят, прорастала идея новой школы в педагогическом коллективе. Каждый из нас нес в себе свои наработанные взгляды на воспитание, свои убеждения, свои представления о том, как надо жить. казалось бы, чего проще — собрать всех вместе и после слова «здравствуйте» сказать: «Товарищи, будем вместе думать. Школа наша. Вы все ее хозяева». Но не тут-то было. Чтобы человек мог высказать откровенно то, что думает, открыто выставить себя со своим миром убеждений, со своим видением решений той или иной проблемы, он для этого по меньшей мере должен доверять тем, перед кем раскрывается.

Доверие. Все годы с первого до последнего дня шли мы к нему, преодолевая барьер за барьером...

Первый же педсовет, производственные совещания показали, что каждый предпочитает держать свое мнение при себе, высказывается лишь то суждение, которое уже общепринято, проверено в кулуарах и наверняка будет поддержано. Было такое ощущение, что люди ждали готовых указаний и смотрели на совещание как на игру в ненастоящее. Нередко на мой вопрос: «Как вы думаете?» —

я слышал ответ: «Нам-то что. Мы люди маленькие. Как скажут, так и будем делать». Очень часто на совещаниях при решении спорных вопросов многие апеллировали к мнению роно как решающему. «А что скажут в роно, если мы поставим двойку?» — говорили, например, тогда, когда ученику необходимо было ставить двойку. И когда я говорил: «Вы думайте не о том, что вам скажут в роно, а о том, что говорит ваша совесть, какие реальные знания имеют ученики», — видел откровенное недоумение в глазах большинства учителей.

После одного из таких совещаний ко мне подошел опытный историк, бывший директор одной из школ, и доверительно сказал:

— Михаил Петрович, если мы будем ставить оценки не такие, какие надо, а такие, какие заслуживают наши ученики, то боюсь, что процент неуспевающих в школе будет выше процента успевающих. Вас не поймет начальство, обвиняя в развале учебного процесса, и школу будут склонять на каждом совещании.

— Пусть склоняют. Значит, плохо работаем.

— Чем же мы хуже других? У других-то неуспевающих нет.

— Значит, они лучше нас работают,— сказал я, будто не зная, как делаются порой высокие проценты.

— Да как вы не поймете... Они же не показывают двойки.

— Как это не показывают?

— Да вы что, с другой планеты?! Они их не ставят, понимаете?

— Но ведь это же очковтирательство! А что скажут наши ученики? Вы об этом подумали?

Историк посмотрел на меня изучающе и, как-то многозначительно улыбувшись, буркнул неопределенное «ну-ну».

Скованность собственного учительского «я» была заметна и во время совместного анализа только что проведенного урока. Самым веским и безоговорочным считался довод: «Так говорили делать на прошлом совещании». Одну из главных своих задач в работе с педагогами я поэтому видел в том, чтобы вернуть учителя к детям, создать для него такие условия, чтобы он делал школу не для комиссий, не для роно, не для петров петровицей, а для детей.

Значительно осложняло работу то, что во мне как в директоре видели не организатора коллективной мысли, а носителя руководящих указаний. Поэтому я старался во всем, что бы ни делали, какой бы вопрос ни решали, подчеркивать, что в школе они главные хозяева, как и ребята. Хотелось, чтобы школа стала для учителей не просто местом работы, а полем битвы за осуществление своей мечты. Иначе о каком коллективном творчестве могла идти речь?

Я старался обсуждать с учителями как можно более широкий круг вопросов школьной жизни. При этом предпочитал подчиниться воле большинства даже в том случае, если был твердо убежден, что принятое решение неэффективно, не принесет ожидаемого результата, нежели настаивать на принятии другого, на мой взгляд более эффективного решения. Принятое таким образом неэффективное решение эффективно уже только потому, что оно выражает волю коллектива, который завтра, если и впрямь ошибся, увидит свою ошибку и непременно исправит ее. Я не вижу другого пути воспитания мыслящего коллектива, кроме как через предоставление возможности высказывать и отстаивать свои мысли каждому его члену.

Сколько раз приходилось убеждаться, что навязанное коллективу решение освобождает его от ответственности за его выполнение. Если же коллектив решает сам, то каждый его член считает принятое решение своим ответственным, личным делом.

Однажды к нам на педсовет приехал представитель облоно. До совещания еще оставалось несколько минут.

— Можно ознакомиться с проектом решения вашего педсовета? — спросил представитель.

— Можно ознакомиться даже с решением, но только после того, как мы его примем.

— Вы что, мне не доверяете?

— Нет, почему же. Просто у нас нет проекта.

— Как? Вы идете на педсовет, не предполагая, чем он кончится?

— Предполагаю.

— Так отразите это в проекте. Давайте я вам помогу, а то ваше заседание затянется.

Пришлось долго и безуспешно доказывать, что не надо нам такой «экономии» времени...

Каждый из нас, бывая на таких запрограммированных совещаниях, знает, как ведут себя присутствующие на них люди. Пока говорит докладчик, читаются выступления, зачитывается заготовленное для собрания решение (проект), многие читают, или дремлют, или тихонько, чтобы не мешать выступающему, разговаривают о своих делах. Но вот стихло последнее слово с трибуны. «Товарищи, кто за?» Зал оживает, все готовы скорее проголосовать за. «Единогласно», — удовлетворенно отмечает ведущий. Собрание окончено, «принявшие» решение, иногда толком не зная, в чем его суть, его принципиальная новизна, расходятся по своим рабочим местам, чтобы... Вот именно. Стоит ли удивляться, что многие таким образом принятые решения не выполняются, не претворяются в жизнь. Так, сэкономив на выработке коллективного решения, мы теряем годы.

Огромное значение для создания обстановки, способствующей творческому мышлению коллектива, имел стиль отношений в коллективе. Мы стремились к тому, чтобы сутью нашего стиля было уважение, бережное отношение друг к другу. Мы боролись с грубостью, нервозностью не только в отношениях с ребятами, но и в отношениях друг с другом. Коллектив, особенно в первый год, разделялся по педагогическим принципам, по стилю отношения к ребятам. Одни педагоги были убеждены, что ученика не «тянуть в жизнь» надо, а идти в нее рядом с ним, советуясь с ним, думая вместе с ним. Это, как правило, уверенные в своих силах, отлично знающие и умеющие подать свой предмет педагоги, тонкие и глубокие психологи, легко ориентировавшиеся в ребячьей среде, они имели в ней огромное влияние и авторитет.

Другие — те видели в ученике несмышленного ребенка, которого учить да учить. Ведущей своей задачей они считали вдохновенное разъяснение детям, «как надо себя вести в приличном обществе». Эти главным образом очень добрые, милые люди считали ребенка слабым, нежным существом, которого надо всячески оберегать от взрослых поступков и решений.

Были и такие, что стояли на той же позиции резкого разделения школы на взрослых и детей, но придерживались при этом более строгих взглядов на воспитание: не хочешь — заставим! Эти педагоги, ссылаясь на известное: «Гений — это 99 процентов потения...» — главной своей профессиональной задачей считали выжимание пота из своих учеников, не важно, если при этом льются слезы.

Возраст многих педагогов всех трех направлений был за сорок, за плечами стаж около двух десятков лет, отчего каждый считал свои принципы наиболее верными, уже проверенными жизнью, поэтому не собирался пристраиваться с ними.

Словом, голыми призывами таких учителей сдвинуть с их опорных точек было невозможно. Надо было убеждать самой жизнью, практикой. Это был, конечно, очень длительный путь, но самый надежный.

Директорская воля, характер и ум нужны не для того, чтобы ломать учителей, а для того, чтобы найти, увидеть в каждом учителе что-то свое, помочь каждому укрепиться в среде коллег. Чтобы «свое» каждого учителя суметь сделать действенной составной частью «нашего» и чтобы это «наше» наиболее полно и щедро было отдано детству. Чтобы у открывающего школьную дверь учителя радостно билось сердце: он открывает двери своего дома. Там, за дверью, его ждут не разносы, не подозрительность, там — детство, его судьба, его счастье.

...В новых условиях много затруднений испытывали педагоги специальных школ. Ориентированные прежде на работу с особо одаренными, отобранными по большому конкурсу, эти педагоги теперь вынуждены были работать со всеми желающими. Пришлось менять методику, рассчитанную на «готовый материал» — стихийно сложившиеся таланты, способности детей. Теперь эти таланты надо было растить самому.

Был у нас один балетмейстер — опытный мастер, лауреат республиканского конкурса... Но призыв работать с избранными, у кого ярко выражены грация, чувство ритма.

— Я буду заниматься только с танцевальным ансамблем, в который, может быть, удастся набрать человек двенадцать со всей школы. А если не наберем, придется искать ребят по району, а может и области,— категорично заявил он в первые дни нашего знакомства.

— А остальные? Как же быть с теми, которые тоже хотят и должны быть красивыми, стройными?..

Балетмейстер пожал плечами:

— Хореография — это вам не математика, которой учить можно всех.

Ровно через год он со скандалом ушел от нас. Наш спор с ним впоследствии разрешит юная, хрупкая девушка — Ольга Федоровна Коновалова, наш новый балетмейстер. Именно под ее руководством расцветет народная хореография в Ясных Зорях. Школьный ансамбль танца из обычных девчонок и парней за короткое время станет одним из ведущих коллективов Белгородщины, лауреатом районных, областных смотров и конкурсов. За старшими потянутся и младшие: в школе появятся ансамбль «Сударушка», хор «Капельки»... В чем секрет балетмейстера? В ее таланте? Да, в огромном таланте этой молодой учительницы верить не устывая в силы своих учеников. В ее способности видеть малейший успех, малейшее движение к совершенству...

Учителя Ясных Зорь... Лица, уроки... Уроки, лица.

Каждый урок — творение не только знаний. Каждый урок — творение учителем и учащимися самих себя. Урок — не пересказ известного, одного и того же из года в год. За годы педагогической работы я убедился в том, что учитель не любит посещения уроков «со стороны» не от боязни неприятностей. Учитель знает, что чужие глаза сковывают трепетный стержень урока — процесс самораскрытия. Убежден, что и проработавший в школе десятки лет директор может ошибаться в своих суждениях об учителе после множества посещений его уроков, если учитель на этих уроках был насторожен, не доверял ему. Администратор, не пользующийся доверием учителя, никогда не увидит его хороший урок именно потому, что хороший урок — всегда откровение учителя. Поэтому можно посещать сотни уроков, но не быть ни на одном из них, как можно быть рядом и не быть вместе.

Нам же, чтобы союз школ вырос в единую школу-комплекс, жизненно необходимо было быть вместе. Мы ведь не только создавали новое, необычное учебно-воспитательное учреждение, мы, педагоги всех школ, должны были участвовать в создании цельной личности, мы становились соавторами в работе над человеком в каждом из наших учеников. Творение же человека в другом доступно только тому, кто не устал творить себя. Мудрость проста: двигать может тот, кто сам движется...

Когда мы говорим слово «творчество» применительно к нашей школе, то имеем в виду не открытия века. Мы имеем в виду непрекращающийся учительский поиск путей совершенствования своего труда. Такой поиск идет, очевидно, в любой школе. Но в школе-комплексе он неизбежен. Бездействие, пассивность в ней одного учителя сразу бьет по всему ее организму. Иного и быть не может в системе, где деятельность учащихся на одном уроке находится в прямой зависимости от их деятельности на последующих уроках. В условиях обычной школы ущербность в работе на предшествующем уроке не так заметна. Длинный сорокапятиминутный урок настраивает ребят на средний уровень активности, и понижение работоспособности определенной части ребят не входит в противоречие с ритмом, ходом самого урока. Но система коротких уроков, контрастных друг с другом по характеру деятельности органов чувств, когда каждая минута просит нагрузки, имея значительно больший удельный вес, система, рассчитанная на высокую продуктивность и качество учебного труда,— такая система является мощным индикатором малейшей педагогической прорехи. Труд педагогов в условиях новой системы становится все более утонченным, гибким. Диапазон мышления учителя, умение видеть учебный процесс во всем спектре взаимопереплетений его составных частей становится шире, совершеннее, глубже...

Многие давно известные истины оживали для нас по-новому. Разве мы не знали, например, что эффективность занятий ребят зависит от их бодрого, оптимистического настроения? Но со всей очевидностью эту истину для себя открыли только тогда, когда она стала для нас сотнями весомых фактов, конкретных еже-

дневных примеров. Мы наглядно видели, как нервозность, взвинченность учителя на своем уроке мешала работать другим учителям, срывала планы многих. Мы видели, как крик убивает мысль учеников не только на том уроке, но и на других. Раз возникнув на одном уроке, он бьет коварным эхом по умственной деятельности ребят на всех остальных. Поэтому педагогический коллектив объявил суровую борьбу нервозности в школе. Психологический климат взаимоотношений между учителем и учителем, учителем и учеником, учеником и учеником стал для нас предметом особого внимания.

Но самое главное — мы поняли, какой мощный потенциал творчества заложен в понятии «педагогический коллектив». Только в том случае, если это действительно коллектив единомышленников. Хочу рассказать об одном из тех уроков, которые рождались в результате коллективного творчества педагогов разных школ.

...О хореографии писать словами — все равно что слушать трансляцию по радио о картинах незнакомого художника. Но я очень надеюсь, что вы своим воображением домыслите несказанное. Прежде чем пригласить вас в большой танцевальный зал нашей хореографической школы, несколько слов о той обстановке, в которой рождался урок «Подснежник».

Кому не знаком нежно-голубой цветок подснежник? Его улыбчивые голубые глаза рядом с белой холодностью сугробов у кого не вызовут восхищения? А дышащие светом, чистотой, свежестью голубые ковры среди едва заметной зелени под обнаженными еще деревьями, сквозь верхушки которых просачивается ослепительной синевой небо? Вверху синева, внизу синева. Небо над головой и небо у ног. В такие минуты чувствуешь себя непривычно легким, будто парящим среди двух небес. Разве это не чудо? Но все меньше и меньше голубых ковров и все чаще среди голой холодной земли одинокая нежность голубых глаз. Там, где было небо у ног, теперь редкие голубые капли, словно слезы...

Подснежник занесен в Красную книгу. «Пионерская правда» объявила о проведении всесоюзной операции «Подснежник». Общее собрание педагогов и учащихся решило активно включиться в операцию. Совет школы принял постановление «О мерах по защите от уничтожения подснежников в лесах колхоза „Знамя“». Были созданы дополнительные отряды зеленого патруля. Ребята нанесли на карты поляны подснежников, взяв их под усиленную охрану. Газета юннатов «Рябинушка» один из номеров полностью посвятила подснежнику. Комсомольцы и старшие пионеры провели во всех классах беседы на тему «Берегите цветы» с рассказом об огромном значении цветов для жизни на Земле. Педагоги на уроках биологии и природоведения подробно рассказали о луковичных растениях, к которым принадлежит и подснежник.

В такой обстановке и родился «Подснежник». Главными творцами этого урока стали балетмейстер О. Ф. Коновалова, концертмейстер, преподаватель музыкальной школы И. В. Корпенко и преподаватель литературы Л. С. Боруцук.

...Звучит наполненная светом музыка П. И. Чайковского из цикла «Времена года». Света Никиташева, стройная девочка с серо-голубыми глазами, с голубым бантом, распустившимся в светлых пушистых волосах, сама похожая на подснежник, читает:

Сперва понемножку
Зеленую выставил ножку,
Потом потянулся
Из всех своих маленьких сил
И тихо спросил:
«Я вижу, погода ясна и тепла.
Скажите, ведь правда, что это весна?»

— Вы, наверное, догадались, ребята, — говорит балетмейстер Ольга Федоровна Коновалова, — что это стихи о первом цветке весны, о маленьком голубом подснежнике. Вот он выглядывает из-под белых островков снега, качает головкой на легком весеннем ветерке, радуется первым лучам солнца. Вы пришли в лес и, взглянув на подснежник, застыли в изумлении...

Ребята, слушая слова учительницы, проникаясь настроением музыки, в свободной импровизации движениями рук, всего тела изображают подснежник, тянущийся к ласковому теплу весенних лучей солнца. Ольга Федоровна внимательно следит за выражением лиц, за каждым движением увлеченных ребят. Она старается понять, что чувствуют, что переживают юные артисты.

— Саша, освободи корпус. Ты сейчас подснежник, легкий и изящный. Ты растешь, тянешься к солнцу...

Ольга Федоровна ходит между «подснежниками», стараясь помочь им в их удивительной импровизации.

— Очень хорошо, Ира! Только руки — это ведь твои лепесточки, не зажимай их, не прячь... Подснежники! А какой воздух! Сколько в нем света, лесной свежести! Как хорошо жить! Каждая ваша клеточка, — продолжает балетмейстер, — каждая веточка деревьев, птицы, маленький, только что проснувшийся муравей, сама земля — все хочет жить, все тянется к свету!

Умолкает мелодия...

— Вы были великолепными подснежниками, — говорит Ольга Федоровна. — А теперь вы — это вы сами в лесу...

И снова музыка Чайковского наполняет зал...

— Делайте все что хотите. Вы в лесу. Над вами те же небо и солнце. Вокруг вас подснежники, много подснежников! Вот он рядом с вами, у ваших ног, маленький, смотрит на вас с удивлением. А лепестки его тянутся, тянутся к вам. Какой красивый цветок! Вы его сейчас сорвете — смотрите, как трепещут лепестки, как блестят на них и брызжут солнечными искорками росинки! Вы зачарованы... Рука тянется к тонкому стеблю...

На лицах ребят восхищение. Они, побуждаемые внутренним образом, потянулись к воображаемому подснежнику...

Вдруг легкий полет музыки резко обрывается жестким аккордом.

— Остановитесь! — тревожно говорит Коновалова. — Подумайте: разве только вам подарила природа радость встречи с подснежником? Вы сорвете цветок, он погибнет, его удивительная жизнь больше никогда не повторится.

Ребята, затаив дыхание, напряженно слушают своего наставника.

— Сберегите его, — продолжает учительница, — защитите от злых рук! Пусть всегда живет он и восхищает землю, всех нас своей неповторимой красотой...

...Сколько минут заняла на уроке эта импровизация, не знаю. Я тогда не думал о времени. Но эти минуты помню, как будто только что вышел из зеркального хореографического зала.

Пройдут годы, унесет жизнь в невозвратное прошлое школьные дни наших учеников. Но верю: каждый раз, когда будут они приходить в лес к подснежникам, в них будет оживать музыка Чайковского и образ того подснежника, который раскрылся им на уроке. И, может быть, у них уже не поднимется рука, чтобы сорвать цветок, сломать ветку, разрушить муравейник...

Верю, что так и будет.

6

Стою в просторном спортзале. Волнуюсь. Гулко стучит сердце: про-играют, про-играют... Дробные удары мяча, короткие пронзительные свистки судьи — идет баскетбольный матч. Играют девочки из 4-го «б» нашей школы. Соперник серьезный: их ровесницы из областной ДЮСШ олимпийского резерва...

Первый тайм близится к концу. 4-й «б» проигрывает со счетом 8:0. Команда соперниц — рослые, специально для баскетбола отобранные из различных школ Белгорода девочки. А у нас даже не сборная школы, у нас — все желающие из одного 4-го «б».

— Не волнуйтесь. Мы приехали сюда поучиться, и не беда, если проиграем, — успокаивает девочек наш тренер Михаил Григорьевич Иванов.

Но что это? Наши девчата явно прибавили в скорости. Их стремительные проходы по площадке между рослыми соперницами, неожиданные (кажется, нелогичные) передачи мяча обескуражили хозяек зала. Все чаще и чаще броски по кольцу белгородок. И наконец мяч в кольце противника!

— Ура-а! — не помня себя от радости, кричу вместе со всеми болельщиками из Ясных Зорь.

Счет становится 8:2. Разрыв, конечно, большой. Конечно, нашим теперь уже не догнать соперниц. Сейчас не это главное. Здорово уже то, что сухого счета не будет!

Но, видно, девчонки 4-го «б» думали иначе. Все сильнее возрастает темп игры.

Все больше разрыв в скорости — наши явно быстрее на площадке. Мяч почти все время в руках яснозоренской команды. Команда белгородок теперь только защищается, стараясь любой ценой не пропустить наших к своему кольцу. Но и это не помогает. Счет становится 4 : 8, затем 6 : 8, 8 : 8... Матч закончился. Со счетом 12 : 10 победил 4-й «б»!

А через две недели новая встреча с той же командой (уже основательно подготовившейся, с обновленным составом — обидно ведь проигрывать какой-то сельской школе). И опять победа. 12 : 9 в нашу пользу! Какая была радость! Какие счастливые лица у победителей! Подходит тренер команды областной спортивной школы, поздравляет с победой, а в глазах такое знакомое мне недоумение: не может быть...

Но я и сам смотрел на игру 4-го «б» больше с изумлением, чем с восторгом. «Откуда это у вас?» — думал я. Впрочем, сколько раз в учительской я слышал такое же радостное изумление, когда наши учителя возвращались с урока из этого класса, в котором вот уже четвертый год шел эксперимент.

Кто же вы, 4-й «б»?

— Михаил Петрович, вы правы: нам не нужны специальные спортклассы, — вдруг прервал мои размышления наш тренер. (До этого он целый год спорил со мной, доказывая необходимость создания в школе таких классов.) — Я теперь понял: все школы комплекса и так работают на спорт.

Я был с ним согласен. Координация, точность и экономность движений наших девочек — производные хореографии. Чувство темпа, быстрота и объемность игрового мышления — результат союза музыки и математики. Способность работать четко, целенаправленно, быстро переключаться с одной игровой ситуации на другую — следствие особого режима учебы в экспериментальных классах, по которому ребята 4-го «б» занимались с первого класса.

Учебный год учеников младших экспериментальных классов проходил как бы одновременно во всех школах комплекса. Напомню, что расписание было составлено так, чтобы каждый последующий урок был разрядкой от предыдущего и подзарядкой на следующий. Например, за чтением шла ритмика, за математикой — музыка и т. д. Переменок практически не было, ведь отдых — уже в самой перемене деятельности. Частая смена деятельности, а также более емкая организация учебного времени за счет сокращенных уроков снимали угрозу перегрузок: на всех уроках у ребят сохранялась свежесть внимания, высокая активность. Причем учителя заметили взаимное влияние пар разных предметов: занятия музыкой, к примеру, резко повышали усвоение математических знаний...

Мы убедились: разнообразие видов деятельности, сменяющих друг друга в определенной последовательности, — ключ к мощному развитию человека в целом. Так что фразу «на нас работают все школы комплекса» могли сказать о себе педагоги не только спортивной, но и музыкальной, и хореографической, и художественной, и, конечно, общеобразовательной школы. Просто потому, что все вместе они работают на Человека.

«В тихий воскресный день шел дождик. Я играла на пианино. Музыка была веселая, яркая...»

«На дворе шел мелкий дождик, он падал, словно парашютисты с самолета. Ко мне подбежала собака Пальма, мы ее взяли еще неуклюжим, словно колобок, щенком, а теперь она большая, пушистая. На ветке яблони чирикали воробушки, словно играл барабан, это у них хорошо получалось. Я посидела на лавочке и пошла домой, но вдруг выскочила Пальма, разгоняя всех кур в стороны. Как будто снаряды, летели куры в стороны!»

«Я пошла наблюдать за дождем. Мелкие капельки плясали у меня на ладони. Я покормила воробушков, воробьи с радостью клевали крошки хлеба. Они так четко стучали клювиками по кормушкам, у них даже в ритм получалось. Скоро стало темнеть. Я принялась читать книгу «Три толстяка» Юрия Олеси. Она перенесла меня в сказочный мир. Как там было красиво! Почему-то темных красок не было. Но тут ко мне подошла младшая сестра и спросила: «Что ты делаешь?» «Я была в сказочном мире», — ответила я. Она не поняла и ушла.»

Всего три сочинения из стопки тетрадей 4-го «б». Их авторы — Галя, Ира, Аллочка — те же девочки, которые с таким блеском выиграли встречу с командой областной спортшколы. Листаю сочинения и вижу, слышу, как в простой рас-

сказ каждого из ребят о воскресном дне вошли уроки музыки, живописи, хореографии, вызвав у них неожиданные, но такие точные ассоциации. Танец мелких капель на ладони... Четкий барабанный стук воробьиных клювов по кормушке («...у них даже в ритм получалось», — как профессионал, хвалит их девочка). Музыка веселая, яркая... И озорная, упруго-динамичная фраза: «...будто снаряды, летели куры в стороны!» В каждой тетрадке такое же свежее, объемное, цельное восприятие мира во всем богатстве его звуков, красок, движений...

— Очень своеобразные ребята, — говорит классный руководитель 4-го «б» учительница литературы В. И. Тверитинова. — У них богатое воображение, тонкое мироощущение, чуткость к человеку. Многие склонны к глубокому изучению литературы.

— Это класс с явно выраженным математическим уклоном, — утверждает учительница математики В. Г. Казанкова.

Ее мнение подтверждают ученые: «По скорости вычислительных операций и качеству их выполнения экспериментальная группа учащихся яснозоренской школы значительно превосходит учащихся других школ».

«Музыкальный класс. Почти все мальчишки и девчонки поют в хоре «Капельки...» (В. В. Милешин, директор музыкальной школы), «4-й «б» — артисты танцевального ансамбля, у них хорошие хореографические данные» (Г. В. Зинченко, балетмейстер), «Трудолюбивые, хваткие ребята. Умелые руки» (учитель труда А. С. Болотов), «Этот класс самый спортивный!» — настаивает директор спортивной школы М. Г. Иванов. «Анализ антропометрических показателей убедительно свидетельствует о превосходстве яснозоренских учащихся, как мальчиков, так и девочек (по сравнению с их сверстниками из двух контрольных школ. — М. Щ.), почти по всем показателям, характеризующим физическое развитие...» (из заключения кафедры физвоспитания Белгородского пединститута).

...Кто же вы, 4-й «б»? Просто вы более обычные дети, чем ваши сверстники.

«Того, что мы видели в Ясных Зорях, просто не может быть!» — такую запись оставила в книге отзывов группа работников народного образования из Кабардино-Балкарии. И я вспомнил такое же «не может быть», прозвучавшее более десяти лет назад после победы «бездарных» на конкурсе «Белая акация» в кизлярской музыкальной школе (ее прямым продолжением и стала школа-комплекс в Ясных Зорях) и позже, после победы 4-го «б» в зале спортивной школы...

Сколько раз приходилось слышать эти слова — то изумленные, то возмущенные!

Учитель из Северодонца, прочитав в «Комсомольской правде» статью о яснозоренской школе, напишет мне гневные строчки: «Вы вводите в заблуждение людей, утверждая, что человек может все! Сколько трагедий неудовлетворенности, разбитых надежд оставляет после себя этот красивый и насквозь фальшивый лозунг. Вы поступаете жестоко и бесчеловечно. Вы ему: «Ты можешь» — а жизнь свое: «Нет!» Жизнь делила и будет делить на сильных и слабых. Так давайте будем смотреть не на небо, мечтая о «лучшей доле», а взглянем повнимательнее на действительное положение вещей... Талант — это аномалия, дорогой коллега!»

...Помню, когда я узнал, что путь в музыку мне закрыт, то думал о жизни в той же тональности, что и автор письма. Однако я благодарен моим учителям, всем людям, окружавшим меня, которые с первых робких шагов в жизнь внушали: ты можешь! Благодаря этой вере я и есть человек.

Нет, «дорогой коллега», сегодня я готов спорить, готов спокойно и твердо, с полной ответственностью за каждую букву написанного убежденно утверждать: человек может все! И это не слепая вера. Дайте человеку возможность мочь, дайте ему состояться!

— Ты хочешь быть сильным?

— Да.

— Ты хочешь быть красивым?

— Да. Я хочу быть человеком.

— У тебя есть все возможности осуществить себя. Ты и я — мы соавторы в этой работе, у нас с тобой общие цели.

Только таким может быть диалог между школой и ее учеником. Так давайте же ответимся на такой диалог.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕКСАНДР ПУМПИАНСКИЙ



ВОЗВРАЩЕНИЕ К ГОЛГОФЕ

Немного об Америке американских писателей

«**О** черт, они же собираются линчевать совсем не того, кого надо!»

Поразительно, как Курт Воннегут умеет найти такой ракурс, что примелькавшееся, привычное вдруг поворачивается к глазу совсем иной гранью, выворачивается наизнанку, а в этой изнанке самая суть.

«О черт, они же собираются линчевать совсем не того, кого надо!» — очень по-американски сказано про Христово распятие.

Одна фраза. Нет, целый роман в одну фразу, сочиненный Куртом Воннегутом на пару с его героем Килгором Траутом, автором научно-фантастических романов, состоящих из одних названий, вернее из одних идей. И выступая в роли скромного толкователя литературной воли своего героя, Воннегут к этой фразе-роману лишь чуть-чуть добавляет: «А эта мысль рождала следующую: значит, есть те, кого надо линчевать»...

Самый популярный за всю историю человечества сюжет обнаруживает под пером Воннегута бездну неиспользованных возможностей и новые повороты. А значит, перед нами раскроются новые грани бесконечного опыта.

«В другом романе Килгора Траута... рассказывалось, как один человек изобрел машину времени, чтобы вернуться в прошлое и увидеть Христа. Машина сработала, и человек увидел Христа, когда Христу было всего двенадцать лет. Христос учился у Иосифа плотничному делу.

Два римских воина пришли в мастерскую и принесли пергамент с чертежом приспособления, которое они просили сколотить к восходу солнца. Это был крест, на котором они собирались казнить возмутителя черни.

Христос и Иосиф сделали такой крест. Они были рады получить работу.

И возмутителя черни распяли».

«Такие дела», — ставит грустную точку Курт Воннегут.

К Воннегуту мы еще вернемся, а сейчас, в начале небольшой экскурсии по Америке американских писателей, очная встреча — да простится нехитрый каламбур — с другим писателем.

На ринге жизни. Парадокс Нормана Мейлера

При нашем первом свидании Норман Мейлер был в трусах и боксерских перчатках. Плотная коренастая фигура — совсем неплохо для его возраста (ему было сорок восемь в том 1971 году) и образа жизни, не свободного от излишеств. Прозвучал гонг, и, наклонив голову, словно упрямый седой ежик был его главным оружием, Мейлер пошел в атаку на противника, бывшего чемпиона мира в среднем весе среди профессионалов Торреса. Тот парировал удары, стараясь, впрочем, не подать виду, что особого труда это не составляет. Так или иначе раунд прошел вполне прилично, а победа не присуждалась — приз был в чем-то ином.

Но я, кажется, забыл сказать, что свидание с Норманом Мейлером было несколько односторонним. Я его видел, а он меня нет. Я сидел у телевизора в нью-йоркском корпункте «Комсомольской правды». На экране шло шоу, кажется, Дика Кэветта — забавная окрошка из политики и эстрады, — и раунд Мейлер против Торреса был вставным номером этого шоу, его изюминкой. Потом, как полагается, спарринг-партнеры немного посудачили с ведущим о том, о сем, и в ходе разговора как бы сама собой возникла перед зрителем новенькая книга, написанная одним из участников трехминутного поединка — нет, не Мейлером, а Торресом, так что книга эта получила отличную порцию рекламы, да и не одна она. Не все в Америке читают книги, но шоу смотрят, пожалуй, все.

Второе свидание было уже вполне натуральным, без мистификаций и телематии. Мы с коллегой брали интервью у Нормана Мей-

лера по ряду актуальных вопросов. Во Вьетнаме бушевала война — эхо ее раскололо Америку. На внутреннем американском фронте громыкали расовые баталии: «Черные пантеры» показали зубы и по всей стране шла зверская их травля, полицейский отстрел. Буквально за несколько дней до нашей встречи в тюрьме Аттики вспыхнул бунт заключенных, цветных по большей части, его потопили в крови — 43 трупа, сотни раненых... В президентском кресле, казалось, незыблемо сидел Ричард Никсон, «трюкач Дик», как его частенько называли в прессе, действительно противоречивая, но по-своему цельная и бесспорно типичная фигура — слепок и олицетворение самой американской политики с ее философской нестесненностью в средствах и фундаментальной подменой истины прагматическими соображениями выгоды, способными оправдать любую цель и любой извив.

Сейчас все это утекло, испарилось, растворилось в круговороте событий, в вечной смене вех — возможно, единственной постоянной американской черте, — и потому нет нужды приводить пространные выдержки. В бурных событиях Норман Мейлер занимал позиции, за которые не стыдно было ни тогда, ни сейчас, спустя десятилетие. Он был одним из голосов левой радикальной Америки в те годы национальной драмы и испытания совести. Его книги полны злобы дня. Его энергичную фигуру седого бунтаря можно было увидеть на митингах, партийных съездах, во многих потасовках. В борьбу и политику он погружался самозабвенно — вплоть до готовности пожертвовать собой как писателем. Так, по крайней мере, он сказал нам в тот день. Он даже выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка. Впрочем, проблема Нью-Йорка — особая тема.

Эта главная американская витрина давно уже демонстрирует отнюдь не только роскошь и рост. Мегалополис вышел из-под контроля. Величайший магнит, историческая точка притяжения для миллионов иммигрантов, он породил в себе силу отталкивания: все, кто могут себе это позволить, бегут из него — от шума и гама, смога и грязи, напасти насилия и наркотиков, от всех обличий человеческой беды. Делать дела, работать, развлекаться в Нью-Йорке можно, но жить? Нет, уж лучше за городом. Так рассуждает средний класс, не говоря о высшем. Вместе с собой беглецы увозят и свои налоги, отчего муниципальная касса тощает. В итоге мэрия постоянно балансирует на грани объявления о банкротстве. Богатейший город мира беднеет. Вдобавок он чернеет — место уехавших **белых** занимают черные и испаноговорящие, — **гетто** наступает на центр, и все новые и новые

кварталы приходят в запустение. Следом за обеспеченными слоями в пригороды бежит торговля, обслуживание, промышленность. Число рабочих мест в самом городе сокращается, растет безработица, нужда, а это в свою очередь выводит на новые витки преступность и прочие беды.

Словно в перенасыщенном растворе, в гигантском городе выпадают кристаллы социальных проблем.

Выдвинув свою кандидатуру в мэры Нью-Йорка, Норман Мейлер по-донкихотски бросил перчатку обществу левиафану. Ее даже не подняли...

— Но как бы вам удалось сочетать эти обязанности с литературной работой? — попытался я задать вопрос в утешение.

Вот тогда-то и прозвучал этот ответ:

— Я бы бросил литературу.

Судя по отчужденности, с какой это было сказано, он и сам верил в то, что говорил.

— Но, может быть, избиратели просто не хотели лишаться любимого писателя?

Шутки Норман Мейлер тоже не принял. Он до сих пор уязвлен поражением, это чувствовалось.

Политической карьеры он не сделал, но увлеченность в политику, увлеченность звездами кино, спорта, драмами наяву определили его литературную карьеру. Его «Нагие и мертвые» в свое время называли лучшим американским романом о второй мировой войне, но сегодня своеобразие его места в литературе определяет не романистика, но очень своеобразная журналистика — беллетризованные репортажи, документальные хроники с лирическим «я», вернее «он» (репортер не только пишет, он сам часть события и потому как бы отстраняется от самого себя), маленькие романы свидетельства и участия, главы самой жизни.

Писатель-борец — это естественно и понятно. Но писатель-боксер? Я не удержался и спросил, зачем он участвовал в том шоу.

— Торрес доказал, что боксер может написать книгу. Вполне профессионально. А я должен был доказать, что писатель тоже может боксировать не хуже профессионала.

Ответ прозвучал так пугающе серьезно, что мне и в голову не пришло усомниться в масштабности задачи.

Мы сидели у писателя дома, в его подчеркнуто элегантной квартире. Интерьер был выдержан в морском ключе, драпировками служили рыбацкие сети. Время от времени золотой рыбкой из них выплывала молодая женщина с удивительно красивыми глазами, хозяйка дома и последний трофей хозяина. Квартира небольшая, но огромное, во всю стену окно с видом на Гудзон и пролив действительно делало ее как бы частью вечно

волнующей стихии. А там, за могучей рекой, открывалась фантастическая линия манхаттанского горизонта — горная гряда Даунтауна, порождение гордыни, нечто, воздвигнутое человеческим разумом и руками, но с той причудливой хаотической свободой, с какой растет лес, даже и каменный лес. Потрясающая точка обзора.

— Ужасно, — вдруг раздался голос хозяина. — Посмотрите, как ужасно. Кубы, параллелограммы... Бездушная и бесчеловечная логика квадратов. Это та же прямолинейная логика американского империализма — дай ему волю, он весь мир расчертит на квадраты. В этой панораме, если присмотреться, уже зашифрован Вьетнам...

К счастью, мне не нужно было соглашаться или спорить, только постараться понять. Того, что видел Норман Мейлер, я не видел и не мог увидеть. Для этого нужно быть американцем, притом обладать именно таким опытом и мировоззрением. Слова, однако, проявляли внутреннее, а не внешнее, прояснились не вид — взгляды.

Потом я часто вспоминал этот страстный монолог и даже вывел для себя некий парадокс Мейлера. В самом деле, первое, на что он глядит, пробудившись, и последнее, с чем прощается, отходя ко сну, это та самая панорама, и ее он клянет с утра до ночи. Это его выбор и его сети. Да, неприятие сегодняшней американской действительности — искреннее, страстное, но и приятие. Отторжение пополам с притяжением. Свобода и путы, ненависть как изнанка любви — все это есть в мироощущении Нормана Мейлера. Всеамериканскую ярмарку тщеславия он со смехом обличает, и он неравнодушен к ее гомону.

Гор Видал как «разгребатель грязи»

И еще одного писателя спасла для литературы апатия избирателей, их неготовность поверить в деловые способности слова. Гор Видал выдвигал свою кандидатуру на выборах в палату представителей конгресса США и даже неплохо провел кампанию, но все же уступил сопернику-республиканцу. Разочарование стало сильнейшим импульсом в его творчестве. Многих из тех, кто его не понял и не принял в свой круг, уже давно нет в живых — старших братьев Кеннеди, например, — а он все сводит счеты с политиками и политикой. Для литературы это, впрочем, довольно плодотворные счеты. «Вашингтон, округ Колумбия», «1876», «Бэрр» — один за другим выходят романы его трилогии. Начав с описания современных политических нравов, он совершил сальто на двести лет назад, во времена американской революции и войны за независи-

мость, а оттуда новый бросок — на этот раз на сотню лет вперед. Погружение в святая святых, биографии отцов — основателей республики, понадобилось для единственной цели: показать, что ничего святого в американской политике не просто нет, но и никогда не было. Сама история призвана в свидетели — вплоть до истоков. Приговор неутешительный: все политики одним миром мазаны, вся двухсотлетняя история США — это растянутый во времени Уотергейт, сплошной водоворот борьбы за власть, интриг, некомпетентности и своекорыстия, и посему «трюкач Дик» не случайный побег на американском генеалогическом древе, но законный наследник «великих имен», сложившихся институтов и традиций.

Итак, политика, эта самая великая всеамериканская игра, как бы ни претендовали на роль национального спорта номер один американский футбол или профессиональный бокс. Для нее в английском даже есть свое слово. В отличие от *police* — политики как курса — политическая борьба, сфера межпартийного и личного соперничества, именуется *politics*. Вот об этой второй политике и идет речь.

В памяти еще свежа избирательная кампания 1980 года — марафонское представление с «забегами» кандидатов в ходе первичных выборов, с хорошо отрежиссированными спектаклями — партийными съездами, с поставленными и отрепетированными до последнего слова и жеста теледебатами претендентов на Белый дом... Все это было бы забавно, когда бы самым серьезным и часто непредсказуемым образом не влияло на жизнь и реальную политику. Вместо заботы о деле — телеозабоченность, грим и сотворение образа мастерами рекламы. Вместо борьбы идей или хотя бы конкуренции подходов к проблемам — соревнование в демагогии и жонглирование деньгами и властью. Вместо трезвости и разума — заискивание перед группами давления, апелляция к инстинктам толпы, спекуляция на предрассудках массового сознания, неразборчивая ловля голосов, которая сама по себе становится задачей номер один и мерилем политической мудрости. И все это длится больше года, создавая совершенно особый, какой-то сюрреалистический климат внутри страны и пагубно влияя на климат мировой.

Политический шоу-бизнес, однако, не так легкомыслен, как может показаться. Он увлекает, развлекает, отвлекает миллионы людей, умело направляя их недовольство и протест в русло симпатий или антипатий к личностям кандидатов. Демократическим иллюзионом он прикрывает истинную роль элиты и манипулящую властью. Он порождает видимость вы-

бора и перемен. Разочарование последует неизбежно, но острота его как бы снимается надеждами года выборов, а когда оно созреет вновь, на дворе уже будет новый високосный год, наступит новый тур обольстительного действия с новыми (или подновленными) персонажами, трюками и миражами. Так действует вечный двигатель американской демократии.

У американской литературы политические сюжеты в чести. И в самом деле раздолье для живописания нравов, социального анализа. В русле этой традиции трилогия Гора Видала была, безусловно, заметным явлением. Блестящая, остроумная, она вызвала немало споров. Насколько реалистично выписаны исторические фигуры, не окарикатурено ли прошлое в угоду настоящему? Однозначно не ответить. Сами по себе шокирующие подробности правдивы либо правдоподобны. В подтверждение можно сослаться на респектабельного хроникера многих избирательных кампаний в США Теодора Уайта (это он застал в политической журналистике формулу «как делается президент»). Грязные трюки, пишет он, распространение лжи и слухов корнями своими уходят еще в практику Древнего Рима. (Чью там отцы-основатели или двухсотлетняя история США!) Раскопки Помпеи дали тому монументальное доказательство. Извержение Везувия, оказывается, застигло город в разгар другого вулканического события — местной избирательной кампании. Под грудой пепла на стенах домов археологи обнаружили лозунги: «Голосуйте за Ваттиуса! Все владельцы публичных девок голосуют за него...», «Голосуйте за Ваттиуса! Все пьяницы и бандиты голосуют за него...», «Голосуйте за Ваттиуса! Все мужья, бьющие своих жен, голосуют за него...». Что и говорить, не лучшая надгробная надпись для рода, но такова политика, ее вечная суета.

Вряд ли стоит удивляться, что зрелище раздевания американских исторических фигур получилось у Гора Видала не шибко привлекательное. И все же претензии к писателю не лишены основания. Что может быть менее плодотворным, чем циклевка исторических паркетов и лакировка фигур! Но и низвержение с пьедесталов еще не означает установления истины и справедливости. Реализм предполагает понимание историчности времени, диалектики намерений и последствий поступков, субъективного и объективного.

— Знаете, что сближает американскую и Французскую революции?

Мы ходили по Дому Морриса на Гарлемских холмах в Нью-Йорке. Исторический этот дом описан в романе «Бэрр», как и его хозяин — одаренная и предприимчивая куртизанка Элиза Боуэн, на чьем боевом счету

немало громких побед; уже в преклонных годах свою жизненную карьеру она увенчала замужеством с бывшим вице-президентом США Аароном Бэрром. Под крышей этого дома одно время размещалась резиденция президента Вашингтона, отсюда он не слишком удачно руководил обороной Нью-Йорка от англичан.

— Вернее, не что, а кто сближает? — повторил гид, таинственно улыбаясь и явно нажимая на слово «сближает». — Хозяйка этого дома. (Мы как раз поравнялись с ее портретом.) Она единственная женщина, которая была близка сразу с двумя самыми великими людьми своей эпохи — Наполеоном Бонапартом и Джорджем Вашингтоном.

На самом деле пути Наполеона и шустрой дамы могли пересечься, лишь когда она оказалась у берегов Франции в 1813 году, о чем упоминается и у Видала. Но, как видите, покровы с истории можно срывать и весьма анекдотическим способом.

Нет сомнений, отцы-основатели в реальной жизни мало походили на свои хрестоматийные изображения. Автор Декларации независимости, открывающейся прекрасными словами: «Мы считаем эти истины самоочевидными: что все люди созданы равными, что они наделены своим создателем некоторыми неотъемлемыми правами...» — был рабовладельцем. Но ведь верно и другое: виргинский рабовладелец Томас Джефферсон был автором Декларации независимости. И самое главное, что была эта Декларация. И был великий старт у этой страны, вдохновлявший своих современников в разных частях света. Плохо, когда задним числом улучшают историю, но нет надобности и ухудшать ее, переписывать под финал. Такая подгонка под современность, под настроение послеутрагетской поры свойственна почерку Гора Видала.

А своих рабов Джефферсон в конце концов отпустил на волю. Подобно тому как Лев Толстой отпустил своих крепостных, добавляет Курт Воннегут.

«Разгребание грязи» — среди лучших традиций американской журналистики, и оно приносит успех у читателей. Политический роман питается современной журналистикой и драматической хроникой текущих событий. Все это естественно, но я в данном случае о другом. Даже у хорошей моды есть свои издержки. Слишком чуткое слежение за читательским спросом может быть опасно, тем более завороченность идеей успеха, столь свойственная многим, в том числе и хорошим, писателям. Потолок возможностей пишущего она не поднимает.

«Неудача для меня выше всего. Пытаться

сделать что-то, что невозможно сделать, потому что это слишком трудно, чтобы надеяться на выполнение, и все-таки пытаться, терпеть поражение и пытаться вновь. Вот это для меня успех». Мне очень нравятся эти фолкнеровские слова. И еще: «Я исходил в своих оценках из такой категории, как прекрасность неудачи, а не успех. Это отвага попытки, которая терпит неудачу. На мой взгляд, все мои работы являются неудачами, они недостаточно хороши, и это служит единственной причиной, заставляющей писать новую книгу».

Американскую жар-птицу звать Успех. Теннесси Уильямс написал о «катастрофе по имени Успех». Нелегко «выйти целым и невредимым из катастрофы, имя которой — Успех»...

Но не слишком ли строго по отношению к Гору Видалу? Быть может. Универсальных человековедческих или исторических задач он перед собой не ставит, а яд его письма разъедает окалину официальной мифологии, удовлетворяя общественную погрешность в освобождении от иллюзий. Скепсис и даже подчеркнутый цинизм Гора Видала — зеркало настроений в Америке 70-х, и в этом смысле его политические исторические романы — очень точная хроника своего времени.

«История человеческой глупости»
по Курту Воннегуту

Свой роман «Завтрак для чемпионов» Курт Воннегут начинает со странной исповеди: оказывается, ему нравится, когда «говорят в непочтительном тоне об американской истории и всяких знаменитых героях». И даже делает еще более обескураживающее признание: «Теперь я зарабатываю на жизнь всякими непочтительными высказываниями обо всем на свете». У него репутация человека, который сочиняет фантазмагории, не упуская при этом возможности эпатировать читателя, или, наоборот, эпатирует читателей, походя развлекая их фантастическими сюжетами. И он спешит подтвердить эту репутацию.

Нет ничего более далекого от истины.

В романах его действительно творится черт знает что. Герои путешествуют во времени, как в метро, за углом может встретиться очаровательный инопланетянин, и странные порождения человеческого ума вроде «льда-9» грозят убить все живое. Но путешествия во времени — старая страсть и даже долг человеческий. Память — это урок и совесть. Фантазия — необязательно мечта, но и предостережение разума. Тому, кто рассчитывает на будущее, надо возвращаться в прошлое. Тот, кого истинно заботит сегодняшнее, обязан заглядывать в завтра.

И, между прочим, инопланетяне давно уже проникли в наш быт. Разве не помогают они газетам повысить свои тиражи в осенние месяцы подписки, а многим из нас коротать часы досуга в умной беседе о натуральности сверхъестественного? (Высказаться более решительно я опасуюсь, чтобы не дай бог не прослыть в глазах некоторых моих друзей ретроградом и не оказаться погребенным под обломками летающих тарелок, которыми справедливо забрасают Фому неверующего.) Что же касается «льда-9», то я тоже надеюсь, что он пока не выдуман. Очень надеюсь.

Несколько других фантастических сюжетов на выбор.

Ядерная американская боеголовка разносит близлежащий город. Самопроизвольный взрыв в обстановке антисоветского психоза принимают за атаку русских — в итоге...

Норовистый бомбардировщик из атомного патруля выбрасывает за борт собственного пилота и, превратившись в неуправляемый снаряд, устремляется на неведомую цель...

Или еще проще: третью мировую войну по собственной инициативе объявляет компьютер...

Это не Курт Воннегут и даже не Килгор Траут. Это вообще не выдумка, а хроника реальных событий осени 1980 года. И взрыв ракеты «Титан-2» в пусковой шахте неподалеку от города Дамаскуса, штат Арканзас. И компьютер, подключенный к американской системе предупреждения об атомном нападении, уже послал сигналы о том, что атака началась, и поднимал по тревоге самолеты в воздух... К счастью, до финала дело ни разу не дошло, но что за апокалиптические шутки?! Ведь финал может быть только один — конец! Каждый раз объявляли расследование и публиковали успокоительные отчеты о том, что виновата-де некая техническая промашка. (В случае с компьютером это была деталька стоимостью в несколько центов, вышедшая из строя. В случае с «Титаном-2» — гаечный ключ, который уронил в шахту разinia из команды обслуживания; ключ пробил топливный бак, что привело к самовозгоранию...) Будто смерть по ошибке более приемлема, чем по стратегическому замыслу, и все так и рвутся отдать жизнь ни за грош. А может, это ищет самовыражения инстинктивная бизнесменская логика: продать войну за несколько центов — чем не сделка?

За последние пять лет в США произошло 125 инцидентов с ракетами «Титан-2». Были убитые и раненые, в том числе и среди гражданского населения... Это статистика из американской прессы.

Жуткие факты должны будить тревогу. Но нет. В определенных слоях общественного мнe-

ния США, притом самых могущественных, преобладает какой-то странный каннибальский восторг. С каким неподдельным восхищением рекламировалась нейтронная бомба — идеальное оружие, которое убивает только живое, оставляя в живых все мертвое — материальные ценности! Без тени сомнения в неотразимости аргумента.

...В конце войны в фашистском концлагере группе ученых была поставлена задача — вычислить, как, в каком порядке лучше укладывать трупы задушенных газом людей, чтобы расход бензина при их сожжении был минимальным. Вокруг Германии сжималось кольцо возмездия, и потому... дефицитный бензин нужно было экономить. Опытным путем нацистские ученые нашли искомую формулу. У женщин, детей, стариков, мужчин разная жировая фактура тела. А жир тоже топливо, в том числе и человеческий... В пылающем уже «тысячелетнем рейхе» всерьез разрабатывали и неукоснительно соблюдали оптимальную комбинацию человеческого костра.

Подобная ассоциация может показаться слишком резкой. Но, видимо, сам Воннегут и его «Бойня номер пять» навели на нее. В рамках поставленной задачи ученые действовали в высшей степени рационально. Правда, задача была чудовищна, а обстоятельства безумны, но на это они дисциплинированно закрывали глаза.

Логика внутри безумия. Логика как составная часть, деталь, эффективно действующий механизм безумия... Подобный конфликт радици разных ступеней отнюдь не прошлое. Картер соблазнял американских избирателей и почему-то заодно западноевропейских союзников директивой № 59 и доктриной «ограниченной ядерной войны». По этой теории ядерная война обязательно уничтожит все живое на Земле, она может уничтожить только Европу. А натовские стратеги на своем профессиональном жаргоне давно уже именуют Европу просто ТВД (театром военных действий).

Третий ученых на Западе работает на военный костер — 400 тысяч человек в этой армии науки.

В пересчете уже накопленных ядерных арсеналов на тротиловый эквивалент на каждого жителя нашей планеты придется 5 килограммов взрывчатки. Каждая из сторон возможного термоядерного конфликта обладает потенциалом, способным многократно уничтожить все живое. Кажется, хватит, пора остановиться и, благословившись, двинуться в обратный путь. Ан нет, в топку гонки вооружений щедро подливается бензин новых астрономических ассигнований. В правых кругах Америки вновь выдвинута идея достижения военного превос-

ходства над СССР. Идея нереальная, ясно же, что соперник этого не допустит. Идея бессмысленная, как само понятие мегасмерти — многосмерти: и человеку и человечеству одной смерти более чем достаточно. Идея безумная, ибо она шаг в направлении этой никому не нужной смерти.

Но если сам финал никому не нужен, то движение к нему идет кое-кому на пользу, и чем стремительней, энергичней, тем лучше. Гонка вооружений, этот бег наперегонки к смерти, означает жизнь для военно-промышленного комплекса — деньги и власть. Не надо только думать, что ВПК — это какая-то кучка, даже и могучая, генералов, промышленников и политиканов. Нет, это сильнейшая и самая авантюрная фракция правящего класса, которой есть что терять, как, впрочем, и приобретать. Она прекрасно организована, подмяла под себя государство и пронизала собою все общество. Нетрудно представить, чего хотел, например, безумный мультимиллионер Говард Хьюз, личный поставщик ЦРУ и Пентагона (самолеты, ракеты, сверхсекретное оборудование), десятилетиями получавший царские дивиденды — промышленникам в мирных отраслях такое и не снилось. Но чего хотят люди, работавшие на его заводах? Точнее, что их заставляют хотеть самой логикой их существования, зарплатой, выплачиваемой в конце недели? «В разгар вьетнамской войны, — свидетельствует «Нью-Йорк таймс», — на некоторых оборонных предприятиях Западного побережья носили значки с надписью: „Не троньте войну, она вас кормит“». Война не только убивает. Кого-то она еще и кормит. Как тут не вспомнить притчу о Христе, который своими руками помогает сколотить крест для распятия возмутителя черни.

«Обстановка в мире выглядит не очень безопасной. И потому перспективы для нашей промышленности весьма хороши». Эти слова безымянного представителя концерна «Дженерал дайнэмикс» привел журнал «Ньюсуик». Военно-промышленный комплекс может быть поразительно откровенным.

Но я, кажется, не сказал, что производит «Дженерал дайнэмикс». Это не секрет. «В наши дни в Гротоне, штат Коннектикут, — пишет «Нью-Йорк таймс», — в городке, вся хозяйственная жизнь которого зависит от верфей одного из филиалов компании «Дженерал дайнэмикс», дети бегают в майках, на которых написано: «Мой папа строит „Трайден-ты“». («Трайден-ты» — это подводные лодки стоимостью в полтора миллиарда долларов за штуку, оснащенные ракетами, которыми можно стрелять в любом положении, из любой точки Мирового океана, по любой цели.)

«Лед-9», сковавший Мировой океан, не та-

кая уж и фантастика. И Курт Воннегут вовсе не Жюль Верн, ибо и сам Жюль Верн в наше время схватился бы за голову от ужаса, что его предсказания сбылись в куда большей степени, чем он наивно полагал. Воннегут вообще пишет не про технику. Фантастическая техника, способная вознести человека к другим планетам и разнести в клочья эту единственную, — данность нашего времени, и поэтому она присутствует в его романах, но они про другое. Про то, что движет обществом и человеком и куда эти разнонаправленные «что-то» могут нас занести. Они не про науку, а про грех науки. Про мораль, которая подверглась самым тяжелым испытаниям в век концлагерей и Хиросимы и которая стала тем более необходимой, условием спасения цивилизации. Без морали человек всегда был готов превратиться в животное, сегодня он может стать строчкой в Красной книге, пеллом термоядерного костра. Гримирюясь под научную фантастику — впрочем, не очень старательно, — книги Воннегута про человеческое и социальное. Он пишет «историю человеческой глупости», общественных безумий, диктуемых всеми видами предрассудков и интересов: националистических, классовых, корпоративных, групповых. По его мнению, это «сети, что липкой бессмыслицей опутывают человеческую жизнь», часто выдуманные сети, вроде старого обмана под названием «колыбель для кошки», в котором на самом деле нет ни колыбели, ни кошки. Эти пути он рвет яростно и безжалостно. Свое письмо он даже готов сопровождать примитивными рисунками, чтобы только возвратить человеку простейшие, первичные истины о нем самом.

У Воннегута есть свой эталон — вечный и неизменный, наподобие того идеального метра, что, как мы знаем со школьной скамьи, хранится в Севре близ Парижа. Это человечность и разум. И этот эталон он прикладывает к любым событиям и решениям, которые влияют на судьбы людей. При этом он не хочет слышать никаких соображений «высшего» порядка, всевозможных ссылок на политику, экономику или философию — мы же не растягиваем метр даже при очень уважительных обстоятельствах. Напротив, и политику, и экономику, и философию — все на свете он в конечном счете поверяет этим своим метром.

Любимый прием Воннегута — парадокс. Однако природа дерзких его парадоксов проста — к самым сложным ситуациям он применяет простую человеческую логику. Это логика простодушного Кандида или Гулливера, который остается самим собой и среди лилипутов и среди великанов, лапутян или йеху. Эффект получается убийственный. Нормальная логика мгновенно высвечивает любую ненор-

мальность, подо что бы та ни рядилась, и взрывает фальшь, эгоизм, бесчеловечность.

Мне хочется развеять еще один миф, или скорее недоразумение, связанное с этим писателем. Воннегута часто относят к школе черного юмора. Но давайте вчитаемся в его строки:

«Траут вышел на тротуар Сорок второй улицы. Место было опасное. Да и весь город был опасным — из-за всяких химикалий и неравномерного распределения богатств и так далее...

Люди шли на такой страшный риск, вводя всякие химикалии в свое тело, потому что им хотелось улучшить свою жизнь. Жили они в безобразных условиях, и от этого им приходилось делать всякие безобразия. Ни шиша у них не было, так что улучшить окружающие условия они никак не могли. Вот они и шли на что угодно, стараясь как-то украсить хотя бы свою внутреннюю жизнь.

Результаты были катастрофические: самоубийства, грабежи, разбой, безумие и так далее. Но на рынок выбрасывались все новые и новые химикалии. В двадцати шагах от того места, где проходил Траут, на пороге порнографической лавчонки лежал без сознания четырнадцатилетний белый мальчик. Он проглотил полпинты нового растворителя для краски, поступившего в продажу только накануне. Кроме того, он проглотил две пилюли, предназначенные для предотвращения выкидышей у рогатого скота от заразной болезни, так называемой «болезни Банга»...

Две молодые черные проститутки... были веселые, бесстрашные, потому что только полчаса назад съели целый тубик норвежской мази от геморроя...

Девочки были из деревни. Они родились на юге этой страны, где их предками пользовались как сельскохозяйственными машинами. Но теперь белые фермеры больше не употребляли сельскохозяйственного инвентаря, сделанного из плоти и крови, потому что машины из металла были и надежнее, и дешевле, и довольствовались еще более простым жильем.

Поэтому черным машинам пришлось сматываться отсюда или умирать с голоду».

Да где же здесь юмор, если понимать под юмором некую веселую условность? Это жесткий, бесприкрасный реализм, действительность, освобожденная от иллюзий. И если эта действительность часто черна, вины писателя в том нет.

Я вовсе не хочу этим сказать, что у писателя нет чувства юмора. Еще какое! Вот, например, «Плясун-дуралей», очередной рассказ Килгора Траута:

«Существо по имени Зог прибыло на летающем блюде на нашу Землю, чтобы объ-

яснить, как предотвращать войны и лечить рак. Принес он эту информацию с планеты Марго, где язык обитателей состоял из пу-канья и отбивания чечетки.

Зог приземлился ночью в штате Коннектикут. И только он вышел на землю, как увидел горящий дом. Он ворвался в дом, попукивая и отбивая чечетку, то есть предупреждая жильцов на своем языке о страшной опасности, грозившей им всем. И хозяин дома клюшкой от гольфа вышиб Зогу мозги».

Это действительно очень смешно. Прямотаки до слез. Автор ведь заранее предупредил, что рассказ будет «о трагической невозможности наладить общение между разными существами».

Письмо Воннегута — попытка улыбаться, когда рот кривит гримаса боли. Это смех стойка. Смех — защитная маска, последняя линия обороны, отчаянная контратака человечности. Смех сквозь слезы все же облегчает. Когда же человек смеется, чтобы не плакать, он посылает сигнал: «свой крест надо нести до конца. Какой уж тут черный юмор — чистая горечь».

Почерк пишущего — это очень важно. По жанру романы Воннегута — философские памфлеты. Образы идей автору важнее образов людей. Но школа, о которой стоит говорить применительно к Воннегугу, — это школа гуманизма. Да, он «не стесняется в выражениях» и «говорит откровенно», «называя все своими словами». Да, он выбрасывает через плечо «всю рухлядь и мусор», которые у него накопились, и призывает американцев «освободиться от трухи». Но во имя чего? Во имя «культуры, и человечности, и гармонии в мыслях». «Жить без культуры я больше не могу», — неожиданно вырывается у него признание. И сколько бы он ни утверждал, что «зарабатывает на жизнь всякими непочтительными высказываниями обо всем на свете», кое-что для него свято. Что? «День перемирия» — первый день мира после мировой войны. И еще «Ромео и Джульетта». «И вся музыка»... Он верит, что в сердце каждого человека — «неколебимый луч света», иначе конец света действительно неминуем.

Циник оказался идеалистом. Так оно нередко бывает.

«Если уж человек стал писателем — значит, он взял на себя священную обязанность: что есть силы творить красоту, нести свет и утешение людям». Да, это Курт Воннегут. Впрочем, он не был бы самим собой, если бы не высказал то же кредо иначе: «Надо отравлять мозги людей человечностью, отравлять, пока люди молоды».

Видимо, он чего-то добился. Признание пришло с неожиданной стороны. Реакционный

журналист Норман Подгорец, один из тех, кого можно назвать голосом (или подголоском) американского военно-промышленного комплекса, только что выпустил книгу «Существующая опасность». Тезисы ее, увы, вполне традиционны для последнего времени: «советская угроза» столь страшна, а американская мощь так ничтожна, что катастрофа неминуема... если, конечно, немедленно не бросить все ресурсы нации на гонку вооружений. Но кто довел американского колосса до унижения? Вот тут-то и начинается самое интересное. Оказывается, два человека своими писаниями разложили целое поколение американцев, вселив в них преступное презрение к военной машине и посеяв пацифизм. Это Курт Воннегут и автор «Уловки 22», блистательной антивоенной сатиры, временами заставляющей вспомнить гашековского «Швейка», — Джозеф Хеллер. Невольный и тем более прекрасный комплимент писателям и литературе.

Не говорит ли он притчи, этот
Джон Чивер?

Наркоман, гомосексуалист и братоубийца. Таков положительный герой романа американского писателя Джона Чивера «Фолконер».

Но что такое «Фолконер»?

Falcon по-английски — сокол. Falconer — сокольник. «Фолконер» с большой буквы и в кавычках — это, если воспользоваться пушкинской записью в «Материалах о соколиной охоте», «светлица для выдерживания птиц». То есть темница.

Фолконер — американская тюрьма.

Впрочем, стоп! Может быть, вы еще не знаете, но тюрем в Америке нет, с некоторых пор они перевелись в том смысле, что само слово это перевели на благозвучный лад. Как остроумно заметила американская коммунистка Беттина Аптекер, на словах в США нет политических узников, есть только террористы и те, кто «осуществляет уголовное насилие». В Америке нет даже заключенных (prisoners), а есть только inmates (что-то вроде «людей на содержании»). Естественно тогда, что в Америке нет и тюрем, а есть исправительный департамент и есть «исправительные заведения», можно сказать «удобства» (correctional facilities), оснащенные «образовательными программами», «добровольным обучением» и необходимой «психиатрической терапией».

Саркастичный Чивер вносит свои штрихи в летопись исторической кампании по перелцовке грубой действительности с помощью благонамеренных словес: «Острог Фолконер, 1871. Реформаторий Фолконер. Федеральное

место наказаний Фолконер. Штатная тюрьма Фолконер. Исправительное заведение Фолконер. И наконец, название, которое так и не привилось, — Дом новой зарии.

Что ни время, то имя. Смена вывесок на неизменной стене символизировала меру прогресса. Впрочем, не только она. Где-то к концу книги в соседней тюрьме — ее так и называли Стена — вспыхнет бунт, и заключенные, захватив заложников, наведут шороху на весь штат, точь-в-точь как в Аттике в 1971 году. И точь-в-точь как в Аттике, бунт расстреляют, раздавят железной пятой. Зато потом эхом прошлого взрыва (или страха перед будущим взрывом) на узников Фолконера снизойдет благодать в виде новой тюремной формы. Чивер опишет это историческое событие так: «Новая форма была не погребально серого, а скорее зеленого цвета. Не цвета зелени, подумал Фэррегут, не цвета Троицы или длинных летних месяцев, и все же на какой-то тон, оттенок она отличалась от мертвенной серости живых трупов». И за эту зеленоватую революцию будет заплачено кровью — сарказм автора стреножит лишь его скорбь.

Тема тюрьмы волнует Чивера. Пытаясь постичь мироощущение «заживо погребенных», писатель специально погружался в быт знаменитой нью-йоркской тюрьмы Синг-Синг.

Приметы места (и времени) точны. К кандалам — старорежимное железо и поныне в ходу, подмечает писатель, — примешиваются новейшие веяния в виде психоаналитических анкет, взятых на вооружение администрацией, и инъекций мелкой благотворительности. Расизм похуже, чем на воле. Невидимая и такая очевидная черта оседлости по цвету кожи пролегла и через тюремные решетки — ее блюдут и сверху и снизу как бы добровольно и потому куда строже, чем правила внутреннего распорядка. До белого каления дошла взаимная ненависть тюремщиков и заключенных, в любую секунду она грозит вспышкой ярости, размах и последствия которой непредсказуемы. К ненависти примешивается страх. Ограждая заключенных от мира непроницаемой стеной, охранники пытаются огородить себя от гнева и отчаяния ее обитателей — они сами словно в осажденной крепости.

Место действия для Чивера и впрямь необычное. Его излюбленная территория — пригороды, эти ухоженные, приглаженные, подстриженные места обитания тех, кого американские социологи называют средним классом и даже делят на подвиды — высший средний класс, низший средний класс и, конечно же, средний средний класс. Это действительно нечто среднее между труженниками и собственниками, служащими и рантье, противоречивая амальгама из люмпен-интеллиген-

ции, недобуржуазии и послепролетариата. Объединенное лишь ненасытным фетишем материального довольства, новое межуточное сословие, похоже, унаследовало пороки всех классов без их достоинств (меркантилизм, бездуховность, высокомерие) и в силу крайней неустойчивости своего положения приобрею лишь одну черту — страх. И ту приходится скрывать. Во избежание реального краха. Неуправляемые стихии жизни и в самом деле способны испепелить столь дорогое благополучие в одно мгновение и таким множеством разных способов. Все герои Чивера из этой среды.

В одном из его рассказов появилось название Буллет-парк. Потом оно замескало на страницах других новелл. Затем вышел роман, так и названный «Буллет-парк». Пуля-парк, или Парк пули, — это и есть пригород, городок при большом городе. Он зелен, покоен и тих и весь состоит из уютных особнячков стоимостью в тридцать, пятьдесят, семьдесят и т. д. тысяч долларов, с двумя, четырьмя, шестью и т. д. спальнями — в прямой пропорции к доходам. Город-спальня. Работа, дела, бизнес — все это там, в большом городе, в часе пути на электричке. Здесь же заслуженный отдых, сон и мечты. Здесь убежище от реальностей жизни. Только жизнь экстерриториальна. Она напоминает о себе смрадом пожара с того берега, где теснятся и наступают на реку-границу кварталы гетто, а эхоночных выстрелов ворвется и в сон. Это тоже пир во время чумы, и он не может продолжаться бесконечно. Очаги болезни разрознены и до поры скрыты — каждый ведь живет особняком. Однако едва ли не каждый из этих цветущих молодцов, жителей Буллет-парка, носит в себе бациллы реальных проблем, борясь с ними в одиночку и пряча от близких и соседей симптомы надвигающейся катастрофы. Просто в один прекрасный день глаз резанет объявление «Продается» на некогда оживленном доме. Или вдруг тихоня сосед — кто бы мог подумать? — пускает себе пулю в лоб, подобно герою из «Буллет-парка», которого автор наделил единственной ремаркой: «Нет, я больше не могу...» (в пересказе вдовы эпизод крушения выглядит так: «Он красил столовую и бормотал себе что-то под нос. Я прислушалась. «Нет, я больше не могу...» — говорил он. Я и сейчас, хоть убей, не понимаю, о чем это он. А потом вдруг вышел в сад и застрелился»).

В американской сабурбии — пригороде — проживают десятки миллионов человек. Она разбросана по разным географическим и климатическим зонам, по всей стране, но ее социально-психологические стандарты одинаковы. Буллет-парк — ее фото и марка. И пото-

му он заслуживает того, чтобы познакомиться с ним поближе.

Собственно, роман и начинается с весьма энергичного описания Буллет-парка:

«Вдоль склона Пороховой горы поблескивают фонари, из труб поднимается в небо дымок, а на веревке развевается нежно-малиновый плюшевый чехол для стульчака. Если бы исполненный праведного гнева подросток ухитрился издала, со своего гольфого поля, разглядеть эту розовую тряпку, он не преминул бы назвать ее символом Пороховой горы, ее почетной грамотой, знаменем, за которым в своих остроносых английских туфлях выступает легион духовных банкротов, отбивающих друг у друга жен, травящих евреев и ведущих ежечасную и бесплодную борьбу с собственным алкоголизмом. «К черту, — бормочет подросток, — к черту их всех! К черту яркие лампы, при которых никто не читает книг, нескончаемую музыку, которую никто не слушает, рояли, на которых никто не умеет играть!.. К черту их пустующие полки для книг, на которых покоится один лишь телефонный справочник, переплетенный в розовую парчу!.. Будь они прокляты за то, что сбросили со счетов безбрежность человеческого духа, выщелочили все краски, запахи, все неистовство жизни! К черту, к черту, к черту!»...»

Подросток, разумеется, символический, впрямь он больше не появится перед нами. И потому приходится догадываться: он, кажется, сбежал из сэлинджеровских рассказов. А может, его умыкнули оттуда или заманили в чиверовскую прозу, польстившись на горячность и прямоту. Похоже, что чувства настолько распирали романиста, что он не мог не излить душу сразу, еще до того, как страница за страницей действие и характеры убеждают читателя в его правоте. Цитата из не написанного Сэлинджером стала своеобразным эпиграфом к роману.

И дальше Чивер частенько не сможет сдержаться и будет высказываться начистоту: порой от лица рассказчика, чаще — вкладывая свои речи в уста оказавшегося под рукой персонажа. Вот врач-психиатр, вызванный к постели неведомо чем занедужившего сына Нейлзов. То ли шарлатан, то ли ясновидец, он изрекает: «В социальной прослойке, к которой вы принадлежите, наблюдается тенденция подменять нравственные и духовные ценности материальными». Больному его советы бесполезны, медицина тут вообще бессильна, но в его словах неожиданно серьезный диагноз общественной болезни.

Нейлз — один из полюсов романа. Второй полюс — Хэммер. По-русски первое имя означает гвозди. Второе — молоток. «Почти

одного роста, веса и возраста, и оба носили один и тот же номер обуви». Одинаковые антитипы.

Здравомыслящий, доброжелательный, положительный во всех смыслах. Идеальный семьянин, которому и в голову не приходит, что можно изменить жене... Таким, как Нейлз, кажется, на роду написано быть счастливыми. В романе, однако, его ждет крах. Он не может помочь собственному сыну. Он не может его даже понять, из-за этого в припадке ярости он готов убить его — самое дорогое и близкое существо на свете. В итоге полный разлад — с сыном, с собой, с миром, от которого спасают лишь добытые из-под полы наркотические инъекции.

А Хэммер?.. Ни дома, ни семьи — лишь суррогаты того и другого и вечная погоня за их миражами. Ни дела — одна туманная склонность к поэтическим переводам. Нервен до патологии и алкоголизма. Перекачено во всем. Правда, он тонок и душу его смущают видения прекрасного, томит тоска по гармонии. Тем хуже для него и окружающих. Тоска неутолима. Идеал недостижим. Реальность так разорвана и страшна, что Хэммер в отчаянии приходит к идее фикс — он должен распять этого совершенного Нейлза на кресте, как некогда распяли Христа. Потом безумный его взгляд остановится на сыне Нейлза. Бедный юноша, бывший сэлинджеровский подросток. Родной отец его чуть не убил, враг отца пытается распять его на кресте местной церкви.

Хэммер и Нейлз — дьявол и ангел, черное и белое Буллет-парка. Две его ипостаси и два пути: один ведет в мещанство, другой — в маниакальный бред. И каждый приводит к катастрофе.

Удивительно, как это совпадает с прозрениями другого писателя. В социально-историческом очерке «Катилина» Александр Блок писал о «страшной болезни, которая есть лучший показатель дряхлости цивилизации». «Большинство — тупеет и звереет, меньшинство — хиреет, опустошается, сходит с ума». Это «болезнь вырождения», заключал Блок.

Если вдуматься в это странное единство противоположностей по имени Хэммер и Нейлз — разве лишены они добрых начал? «Я хотел, чтобы жизнь моя была не просто благопристойной, но образцовой». Это говорит не кто иной, как Хэммер. Искренне, истово говорит. «Я хотел быть полезным членом общества, непьющим и гармоничным». О господи, какое простое и естественное желание! Но нет гармонии в обществе, где живут хэммеры и нейлзы, и простое оказывается безумно сложным, наивное — фантастическим и смехотворным, а естественное вырождается. У

дроздов в Буллет-парке и у тех извратились инстинкты. Из-за многочисленных кормушек они перестали понимать, когда на дворе весна, а когда осень, и забыли о законе природы. Что уж тут говорить о людях...

В самом деле, чем они занимаются? Коммивояжеры, маклеры, биржевые агенты, специалисты по рекламе всякого вздора, посредники по перепродаже подержанных автомобилей и перекупленных домов... Призрачные занятия, реальность которых удостоверяют лишь денежные знаки и иные знаки материального довольства. «Общество потребления» создало целую систему кормушек для своего среднего класса, поставив разного рода спекулятивную деятельность выше производительной и истинно необходимой и позволяя тем, кто ловчее и бойчее, наживаться на дымах отечества. Но оно же превратило этих людей в рабов вещей, в идолопоклонников условностей, бессмысленных традиций, противоречивых ритуалов.

В Буллет-парке законы общества вошли в противоречие с законами природы. И подавили их. Вот откуда этот горький сарказм у человека, чья фантазия породила Буллет-парк, у романтика и реалиста, семидесятилетнего писателя-подростка Джона Чивера.

Но что за птица Фэррегут? Редкостный букет пороков и поражений, главный герой «Фолконера» тоже несет на себе крест Буллет-парка — через душевную суму и реальную тюрьму, через испитания духа и тела.

«Ну почему же ты наркоман?» Сколько боли в этом вопросе сокамерника Фэррегута. Это чиверовская боль и наша с вами скорбь за человека, наделенного от природы ясностью ума и талантами и гибнущего на глазах из-за того, что в определенный час суток его организм не получил пилюли размером с бусянку. Почему?

Но разве мы уже не знаем, отчего стал фактически наркоманом такой положительный Нейлз? Без контрабандной пилюльки он теперь не может сесть в электричку — так разыгрываются нервы. Реальное и надреальное, как это постоянно у Чивера, переплетаются. Поезд — единственная связь между пригородом и городом, между существованием и средствами к существованию, между убежищем от жизни и самой жизнью. Без этой связи — смерть. И эту нитку — жизнь — разрывает страх, с которым, кажется, может совладать только та самая пилюлька.

Начав с простых объяснений падения Фэррегута — юношей война затащила его в гиблые топи джунглей, на тихоокеанские острова, под японские пули, и там им для бодрости что-то давали, — Чивер кончает развернутым по все-му фронту обвинением обществу. В семье и

школе, в экономике, науке и администрации, в самом воздухе городов и общественной атмосфере разлиты миазмы угрозы, тень унижения и уничтожения. «Его (Фэррегута.— А. П.) поколение было поколением наркомании. Это была его школа, его институт, флаг, под которым он шел в бой. Объявления о наркомании были в каждой газете, журнале, в головах радио- и теледикторов... Сливки прослефрейдовского поколения были наркоманы». Здесь нет эстетизации порока. Искусство говорит о социальной беде, достигшей поразительных масштабов, своими словами, плачет о ней, заклинает от нее. Оно сражается с ней тем, что тащит нас в самые затаенные очаги этой новой чумы. Оно ставит диагноз. Страх за себя и других, за ближних и дальних. Страх перед бомбой и взрывом насилия, перед голодом и городом, перед будущим и настоящим, перед иным цветом кожи и чужими взглядами, перед жестокостью людей и дикостью обстоятельств... Все виды страха держат акции в этом гигантском предприятии под названием наркомания.

Семейный климат, ответственность и вина семьи — одна из постоянно звучащих струн болящей совести писателя. Дефицит родительской любви, который не восполнить никогда и ничем, — вечная рана в душе человека и самый первый ключ к сундуку несчастий. Универсальный идиотизм брака, основанного на непонимании, какофония семейной жизни с ее сором ссор, ритуальной руганью и выматывающей душу холодной войной двух человеческих существ, чреватой атомным взрывом, всемирным потопом и апокалипсисом сегодня...

Чивер — очень человеческий писатель. И очень социальный, может быть, именно поэтому. В жестоком обществе семья тем более должна служить прибежищем и защитой, а не разоружать перед ударами судьбы и не наносить удары в спину.

Американские конфликты бесчисленны и накалены. Расовые, социальные, политические бури порознь или разом обрушиваются на человека. Научно-техническая революция штурмует небо — за счет человека. Экономический прогресс сплывается о критические спады и знает рывки, но и за то и другое платит человек, расплачиваются человеческим. Таков изначальный принцип американского рационализма. Железная логика исторического развития отработала для Америки такую модель, для гуманизма в ней места не предусмотрено.

Человек не цель, но средство — это вообще закон капитализма. Ни в одной капиталистической стране, однако, он не осуществляется с такой жестокой откровенностью, как в США. Простое наблюдение: в своих публичных выступлениях американские политики упирают

обычно на то, что пользуется особым спросом. Предвыборные картеровские речи, словно бисером, были расшиты словом «сострадание». Бедные, цветные, престарелые, молодые... — целые слои американского общества действительно нуждаются в сострадании и помощи. Моральные обещания, однако, лишь слегка припудривали тот факт, что и демократы и тем более республиканцы намерены сокращать минимумы социальной благотворительности.

Может ли это не влиять на психологическое и даже психическое состояние общества? Уже десятилетие сладковатый дымок марихуаны вьется над студенческими кампусами и даже над школьными дворами — это уже мало кого удивляет. И никого не убивает дикая статистика: треть американцев нуждается в услугах психиатров. Поистине больное общество.

Мог ли Фэррегут не быть наркоманом?

...Фэррегут убил своего брата. Но кого убил Фэррегут?

В пьесе Дэвида Рейба «Как брат брату» молодой, здоровый, добропорядочный брат — типичное дитя Буллет-парка, если хотите, — своею рукой подает брату, физически и душевно искалеченному вьетнамской войной, чашку с ядом. Надоел он, этот несчастный вьетнамский ветеран, всей семье мешает своими трагедиями и потусторонней отрешенностью — туда ему и дорога... Братоубийственные гражданские войны, как видим, неслышно бушуют и под мирными американскими крышами, разделяют и самые благополучные дома.

Лишь в конце романа мы узнаем, что за создание брат Фэррегута. Это гнида, гнилое, смердящее смертью существо. Жену, детей — всех он довел до ручки (до больницы, до могилы, до тюрьмы) своей гнусной садистской правильностью. Каждый раз он ухитряется найти у человека самое незащищенное место и ударить именно туда, пока однажды не получил в ответ от Фэррегута кочергой по голове.

Каин убил Авеля, и этого уже не изменить. А если бы Авель убил Каина, может быть, вся человеческая история пошла по-иному? Да нет, конечно, ибо на Авеле, убившем Каина, остался бы след каиновой печати.

И все же когда в ту предроковую минуту Фэррегут бросает: «Я не хочу быть твоим братом. Не дай бог, если кто-нибудь на улице, кто-то на всем свете скажет, что я похож на тебя. Пусть уж лучше я буду самым последним извращенцем или наркоманом, только чтобы не спутали с тобой...» — когда Фэррегут швыряет ему эти слова в лицо, разве не становится все на свои места? Фэррегут убил не брата. Он убил убийцу.

В течение всего романа писатель играл с

нами в прятки, испытывая на истинность наш гуманизм. Сначала ошеломил нас непомерной тяжестью пороков и преступлений, которые он подобно веригам навесил на своего героя. Потом ошарашил нас скопищем грязи и мрака — картинами американской тюрьмы — и, как сквозь круги ада, провел через них своего героя и нас вместе с ним. Поверим ли мы в то, что и на самом дне человеческого общежития может быть свет и любовь, какие бы искореженные формы она ни принимала, и вера, и надежда? Или никто, кроме бесплотного ангела, не может умиротворить наш привередливый нравственный вкус? И когда романист убеждается, что мы поверили, он заставляет своего героя окончательно прозреть, понять, как низко он пал. мобилизовать все силы и всю человечность против деградации. Восстав против тюрьмы в себе, новый Фэррегут преодолевает и стены Фолконева. Как?

Его друг спасается вознесением. Самым натуральным. Переодевшись в сутану, он после рождественской службы — по такому случаю в тюрьму прибыл сам кардинал — садится в его вертолет и возносится к свободе... Вполне приличное чудо, ничего не скажешь. Фэррегуту, однако, Чивер дарует еще более безукоризненный путь на волю. В камере у него на руках умирает старик заключенный — нет, не аббат, но по воле божьей тоже обладатель несметного сокровища — фальшивого брильянта. Тюремщики зашивают труп в саван-мешок и...

Вы догадались, что было дальше? Да, конечно. Вот уже двести лет мы знаем, что было дальше. И знаем, что за остров сокровищ человек, перед ним бледнеют и клады Монте-Кристо. И что секрет власти над жизненными обстоятельствами прекрасен и прост: нужно быть честным и верным самым светлым идеалам на свете — идеалам своей юности. Чего бы это ни стоило. И до конца.

Но неужели это Чивер — современный американский реалист, критик нового мещанства и язв Буллет-парка? Он самый. Какой уж тут элинджеровский подросток, похоже, автор пытается пробудить в нас иных мальчишек — тех, для кого нет бога выше Дюма и героев желанней д'Артаньяна и графа Монте-Кристо. Да, это именно тот писатель. Ибо самый дотошный, глубокий и критический реализм не мешает ему в глубине души оставаться романтиком и поэтом, каким, в сущности, является каждый настоящий писатель. Нравственные ценности мировой культуры универсальны, а этот писатель любит ассоциации. Так что за беда, если в финале страшно, переполненного натуралистическими подробностями романа о сегодняшней американской тюрьме он напомнил о том, что проис-

ходило в классической крепости Иф, связав тем самым свою мысль о человеке с традициями старого доброго вечного гуманизма.

«И сказал я: о, Господи Боже! они говорят обо мне: „не говорит ли он притчи?“»

В самом деле. Фамилия Фэррегут дальним эхом рифмуется с Фариа — платоническим обладателем несметных сокровищ аббатом Фариа. А может, и имя героя нам что-то скажет о намерениях автора?

«И увидел я, и вот, рука простерта ко мне, и вот, в ней книжный свиток. И Он развернул его передо мною, и вот, список исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: «плач, и стон, и горе».

И сказал мне: сын человеческий! съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори...»

Библия не нуждается в представлении. Разве что в уточнении. Это книга пророка Иезекииля. Прежде чем родится способность к пророчеству, должно съесть сполна тяжкий список.

«И было ко мне слово Господне: и ты, сын человеческий, хочешь ли судить, судить город кровей? выскажи ему все мерзости его. И скажи: так говорит Господь Бог: о, город, проливающий кровь среди себя, чтобы наступило время твое, и делающий у себя идолов, чтобы осквернять себя! Кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и идолами, каких ты наделал, ты осквернил себя, и приблизил дни твои, и достиг години твоей».

Так гласит рассказ пророка Иезекииля. Своему герою Чивер дал библейское имя Иезекииль. Или короче, по-американски — Зик Фэррегут. По его путям он судит территорию, стольным градом которой стал Буллет-парк.

«И будет для вас Иезекииль знамением...»

Классические мастера, родоначальники культуры, обнаружили неисчерпаемость человеческого духа. Великие географические открытия литературы XIX века: человеческое достоинство обретается не только у подножья олимпов, в италийских дворцах, датских замках или салонах парижской знати. Благородство не классовая привилегия, среди плебеев крови тоже могут быть аристократы духа. Боль и любовь беспредельны... Многообразный реализм XX века продолжает расширять наши представления о человеке. Фолкнеровских фермеров и горожан терзают шекспировские страсти. «Чудики» Шукшина вызывают улыбку. И слезы. Ибо их мучают в конечном счете те же устойчивые вопросы бытия. Герои Айтматова и Распутина принадлежат тому же человечеству, что и герои греческих трагедий.

Раздвигать границы человечества и человечности — не в этом ли величие писателя? Горький нашел человека на дне. Кането Син-

до — на Голом острове. Чивер — в американской тюрьме.

«Богач, вспомни бедняка; свободный, вспомни узника; воскресший, вспомни мертвеца». Не из этой ли фразы графа Монте-Кристо родился роман?

«Фолконер» развивает идеи предыдущего романа, но в ином направлении.

Хэммер и Нейлз — двуединое порождение Буллет-парка. Фэррегут тоже родом оттуда, но из тюрьмы он в него уже не вернется — в этом и смысл бегства. Хэммер и Нейлз — жертвы Буллет-парка и орудия его преступления: молоток и гвозди. Они доказательство и иллюстрация его давящей силы и всеислия. Таков был замысел, он исполнен прекрасно. Но не могут быть люди только жертвами обстоятельств, под любым социальным прессом должен в человеке, если он человек, открыться ресурс человечности — сопротивления и стоицизма.

Автор чувствовал, что в самом замысле есть слабина — невольный налет публицистичности, — отсюда прямые филиппики, которые так легко цитировать, в том числе и в адрес героев. «Но отчего они кажутся не живыми людьми, существующими в трех измерениях, а какими-то плоскими персонажами журнальной карикатуры?» — вопрошает он читателя о чете Нейлзов, и, боюсь, есть в этом сардоническом вопросе и доля неудовлетворенности собой.

Да, образами своих героев он разжег в нас страсть неприятия Буллет-парка, но, кажется, он хотел чего-то большего — чтобы мы обливались над ними слезами. И тогда он написал другой роман, где появился герой, достойный наших слез. Но это уже роман не только о месте унижения человека, но и о самом человеке.

Попытка распятия вылилась в происшествие для местной хроники. «Буллет-парк», однако, роман о Голгофе. «Фолконер» — роман о воскрешении человека, распятого сегодняшней американской цивилизацией.

...В соседней тюрьме, что зовут Стеной, полыхает бунт. И потому радиоприемники изъяты, все контакты прерваны. Но Фэррегут должен знать, что происходит там, за Стеной, он уже не может жить вне связи с миром. И тогда из слухового аппарата товарища по несчастью и каких-то проводков он сочиняет простенькое принимающее устройство. Не хватает лишь кристаллического диода. Брильянт! — осеняет его. Он начинает выпрашивать у соседа его драгоценность. Но как!

«Единственное, почему я продолжаю тебя умолять, — это моя вера в бесчисленные богатства человеческой природы, — безошибочно обрацается он не к своему сомневающемуся

соседу, но к нам.— Мне нужен твой брильянт, чтобы спасти человечество».

Впрочем, ведь и в «Буллет-парке» было нечто похожее. Хэммер не просто сошел с ума. Стуком своего молотка он хотел «разбудить человечество».

И снова Курт Воннегут:

«— Скажите, сэр, от чего умрет человек, если его лишит радости и утешения, которые дает литература?»

— Не от одного, так от другого,— сказал он.— Либо от окаменения сердца, либо от атрофии нервной системы».

Разбудить, спасти человечество — не в этом ли миссия литературы, покуда пробудет она сама и покуда есть человечество?

Уильям Фолкнер: «Я отказываюсь
принять конец человека...»

Нет, время не относительно, оно абсолютно. Это расстояния относительны.

«„Я пришла из Алабамы; путь далекий. Пешком из самой Алабамы. Путь далекий“. Думает *меньше месяца в пути, а уже в Миссисипи, так далеко от дома еще не бывала...*»

И в конце романа героиня не перестает удивляться: «Ну и ну. Носит же человека по свету. Двух месяцев нет, как мы из Алабамы вышли, а уже — Теннесси». И действительно, где Алабама, а где Теннесси! Это сейчас рядом, если машиной, тем более самолетом — просто рукой подать, а тогда пешком, если повезет — на телеге, да еще одинокой молодой женщине, которая дальше родной околицы не бывала.

За это время она ушла из дома, ибо дома нельзя было больше находиться ни часу — по животу ее уже все стало ясно, — и обрела свой собственный дом. Оставила семью и нашла новую. для которой приспела. За это время она стала матерью.

Время измеряется не расстоянием, скорее наоборот. Мера времени — напряженность человеческого существования.

За это время она нашла отца своего ребенка, чтобы тут же без сожаления потерять его. За это время она нашла человека, который стал отцом ее ребенку. За это время случились пожар, и убийство, и погоня, и скорый суд Линча. За это время люди теряли и обретали все, что только можно потерять или обрести, — от жизни до смысла.

За это время человек родился и человек умер.

Есть только одна мера времени и эта мера — жизнь и смерть человеческая.

Действие романа происходит в начале века — приметы времени переданы тонко и точно. Но это и наше время, а каждое следующее поколение читателей найдет в нем свое. Ибо

это время по Фолкнеру — густое, напряженное, полное извечных страстей человеческих. Мы погружаемся в трудную и прекрасную фолкнеровскую прозу, в фолкнеровский мир — эпический и яростный. Мир, где каждый герой — человек во плоти и крови и каждый несет на своем челе печать предназначения, где все точно с позиции житейских подробностей и все на уровне общечеловеческой символики. Снова американский Юг, маленький городок Джефферсон.

Итак, «Свет в августе». В центре повествования изгой. «Лицо у него было худое, ужасающе ровного пергаментного тона. Не кожа — само лицо, насквозь, словно голова была отформована с холодной, страшной правильностью и потом обожжена в раскаленной печи... бездомность у него так и вело, словно не было у него ни города, ни городка родного, ни улицы, ни камня, ни клочка земли».

В каждой фразе у Фолкнера — уже весь роман. Судьба изгоя прослежена пристально и подробно — от зачатия и до смерти. Ибо зачатие определило смерть, в нем уже были ее семена. Ребенок еще не родился, а они уже проросли ненавистью, которая отравит все. Жизни у него не будет, будут только шаги к гибели, ступени по лестнице отвержения: сиротство, неприкаянность, отчаяние и ответная ненависть ко всему свету, в котором для него нет места. Эта ненависть страшна для окружающих, но прежде она выжжет все внутри. Последняя вспышка самосожжения лишь поставит точку в этой трагедии, высветит ее неизбывность и неизбежность.

И все из-за нескольких капель черной крови в его жилах, которые то ли были, то ли нет. Из-за этого сумасшедший дед подкинет его в приют и будет преследовать всю жизнь в злобном фанатическом исступлении. Из-за этого он будет всегда один — не в силах примкнуть ни к белым, ни к черным. Вельгй негр. К черту окружающее, его внутренний мир расколется надвое, превратится в змеинный клубок. Белый, ненавидящий в себе негра. Негр, ненавидящий в себе белого. Негроненавистник — негр. Ненавидящий белое — белый... И все это в одном лице и все это он. Только смерть может разрубить этот клубок.

Его мыканье начнется в рождественскую ночь. Сестры, в чьи руки попадет подкидывш, так и назовут его смехом — Кристмас (рождество), Джо Кристмас, с намеком на библейского Иосифа. Его бег оборвется в тридцать три года, когда толпа линчевателей распнет его после короткой жестокой погони или после долгого жестокого преследования — смотря что считать распятием: последний миг или всю жизнь с первого крика на этой земле. Аллегория с Иисусом Христом очевидна. Только ка-

кой грех должно было искупить распятием белого негра? И чей грех?

Почему герои Фолкнера (особенно более ранних его произведений) так несвободны? Они словно задавлены чем-то надличным. Хотят они или не хотят, они прежде всего должны. У добрых и злых, у сильных и слабых — все у них вроде бы предсказано наперед. Вспомните, как часто юные герои фолкнеровских романов вылезают в окно, через окно бегут из переспевшего отчуждения навстречу то ли жизни, то ли гибели. Спускают веревку. Слезают по дереву. Прыгают с высоты... Никакие преграды не в силах их остановить. Ибо то, что внутри, сильнее любых преград. Природа берет свое? Да, конечно. Только под природу рядится страсть, предназначение. Страсть предназначения. Это она говорит голосом природы. Предназначение исполняется с неотвратимостью приговора и яростью вулканического извержения. Счастье и гибель у фолкнеровских героев в крови. А часто — единое неразрывное, переливающееся из одного в другое: счастье — гибель...

Герои Фолкнера не однозначны, они одностранны. Каждый из них выражает одну идею, с фолкнеровским темпераментом, исчерпывая ее до конца. Каждый герой Фолкнера словно бьется в силках судьбы, силится и не может порвать неведомые и невидимые пути. И над всеми ними довлеет единый и грозный рок.

Вот мисс Берден глазами джефферсонцев. «Но и поныне что-то тяготеет над ней и именем — что-то темное, нездешнее, грозное...» Мистика? Да нет, реализм! Если есть Создатель в фолкнеровском царстве, то это сам автор, его воля все определяет, воля — не произвол. Это его прозрениями видят его герои. Это он освободил их от власти случайного. Остался один закон, доведенный до абсолютности рока. Вот когда гениальность формулы о свободе как осознанной необходимости очевидна до наглядного. Несвободность героев Фолкнера не заданность, она отражение несвободы, в которой живут реальные люди, закономерностей, царящих в обществе.

Сам же автор свободен, абсолютно свободен, ибо он осознал, познал необходимость — дух и законы человеческого общества и существа. И имя року, что довлеет над всем и вся в обществе, которое он пишет, ему открыто. Проклятие и приговор американского Юга — рабство. Расизм — его первородный грех.

Мисс Берден обречена в этом краю. Но рок тяготеет не над ней, во всяком случае не над ней одной — это только джефферсонцам так кажется, — он над всей этой землей. Видимость противоположна сути. Рок сбудется, и мисс Берден будет убита. Джефферсонцы уга-

дают — ее убьет негр. И это будет чудовищное преступление.

Если бы Крестмас убил своего деда, помешавшегося на чистоте белой крови, или местного фашиста Перси Гримма, или любого из тех, кто преследовал его и травил, кажется, это было бы понятно. Но он убил единственного человека, который не отталкивал его, зная, что он белый негр, единственного, кто его не ненавидел — любил. Увы, так и должно было случиться. К ненависти Крестмас привык, но не к любви. С ненавистью он встречался всю жизнь, с ней он породнился, хотя так и не научился ее сносить, потому и погиб; с любовью же столкнулся впервые и тут же почувствовал ее опасность — смертельную для себя такого, каким он стал, для своей ненависти. Женщина протянула ему руку, в ответ он ударил. Увы, это так свойственно людям — бить тех, кто тебя любит, ненавидеть того, кто протягивает тебе руку. Нет, не в сочувствии нуждался Джо Крестмас, сочувствие может и унижить униженного, — гордый нуждается в равенстве. Лучше отчуждение в равенстве, чем унижение в близости. Для Крестмаса равенство было недостижимо. Тогда пусть будет презрение, свет его по крайней мере честней, он не бросает обманчивых теней, в которых так быстро плодятся иллюзии. Но ведь женщина искренно протягивала руку, она не хотела обмануть или унижить, у нее просто болело сердце. Личная трагедия мужчины и женщины двумя, однако, не замыкается, неличный у нее исход. Бесчеловечность заложена генетически, она в крови этого общества, из века разделенного и проклятого. На гибель обречены оба — и тот, кто протягивает руку, и тот, кому она протянута.

И все же до чего несправедливо! Но от кого вы ждали справедливости — от рабства? Несправедливость, дикость этой жертвы проявила зловещую несправедливость строя и порядков, воцарившихся на этой земле.

Джефферсонцы ошибутся: мисс Берден убьет белый негр. Ее убьет та же сила, что шестьдесят лет назад убила ее деда и брата — наследие белого рабства. Но в тот раз оно выступило с открытым забралом, а сейчас нанесло предательский удар из-за угла руками главной своей жертвы.

Смысл и предназначение человека — человечность, считает Фолкнер. Однако до чего необычен гуманизм фолкнеровских героев. Будто нежеланный. Будто мешает он и скывывает героев, виснет тяжкими веригами.

Вот в самом начале двухмесячного пути из Алабамы в Теннесси, на котором происходит столько разных событий, Лине Гроув встречается странная пара — мистер и миссис Армстид. Он подвезет ее на телеге и, преодолевая

страх перед суровой женой, привезет на ночь в собственный дом. Та же наутро отдаст ей все свои сбережения. Но как она это делает! Говорит она «грубо, в сердцах». «Лицо у нее сердитое, злое». «Остервенело» роется в ящике, потом «внезапно она срывает с ноги туфлю и одним ударом разносит копилку». «С яростной решимостью» завязывает мешок с добровольным своим даром и «перевязывает — узлом, тремя, четырьмя». От себя самой. Чтоб не одуматься. Эти деньги она копила всю жизнь, они нелегко ей дались, а отдает первой встречной. Миссис Армстид разрывается. Она понимает, что поступает глупо, и ничего не может с собой поделаться, доброта оказывается сильнее здравого смысла. И потому эти «остервенелость» и «яростная решимость». Добро она творит со злостью.

Фолкнеровским героям незнакомо самоуничижение. Их человечность не очевидна, она как бы прорывается через преодоление себя. Человек загоняет ее внутрь, заталкивает, а она рвется наружу и когда прорывается с кровью и болью — наступает облегчение. У нас, читателей.

Что, человек изначально добр или зол? Наивный вопрос. Человеку трудно быть добрым на этой земле — вот что утверждает Фолкнер. Вот откуда прорывы «яростной решимости» у его героев. Это человеческое рвется сквозь социальное. Гуманизм фолкнеровских героев трудный, потому что выстраданный. Но разве бывает легкий гуманизм? И чего может стоить легкий гуманизм?..

И снова город Джефферсон. И снова та же фабула и тот же конфликт в основе романа, написанного в 1948 году, то есть шестнадцать лет спустя. Это «Осквернитель праха».

Средь бела дня убивают человека — белого человека. Нет сомнения, что это сделал старый негр Лукас Бичем: он был пойман на месте преступления с пистолетом в руке. К тому же он давно славился строптивым нравом и независимостью поведения, что весьма подозрительно для негра. Родичи убитого собираются отомстить за него, и весь город живет предвкушением скорого суда Линча...

По мнению известного литературоведа Ж. Дональда Адамса, «Свет в августе» и «Осквернитель праха» — две высшие точки в творчестве Уильяма Фолкнера. Но я о другом. Эти два романа словно перевертыши. В обоих случаях в центре действия одно и то же преступление: убили белого человека. В обоих случаях пойман негр-полукровка. В обоих случаях город, все тот же город собирается его линчевать. Но это не одно и то же. Это ситуация и ее антивариант, зеркальное отражение. Не случайно Лукас Бичем в отличие от Джо Кристмаса не совершал преступления.

Лукас Бичем не Джо Кристмас, он его антипод, хотя и тому и другому суждено родиться и умереть, стиснув зубы. Джо Кристмас — белый негр, капля черной крови превратила его в парию. Лукас Бичем — черный белый, капля белой крови, что течет в его жилах, сделала его в собственных глазах равным любому белому. И тот и другой поставлены за черту, но одного сопротивление уничтожает как человека, другого поднимает до уровня человека. Одна и та же посылка в одних и тех же обстоятельствах развивается в совершенно разные выводы.

Конечно, художник ставил перед собой разные задачи. В первом романе Фолкнер хотел показать всеислие обстоятельств. Во втором — всеислие человека. Но не только в этом дело. Мы снова возвращаемся к «странной» форме фолкнеровского гуманизма, к не менее «странному» фолкнеровскому фатализму. Да, каждый его герой несет на своем челе знак судьбы, но рок не над ним, рок в нем самом. Каждый человек беременен собственным будущим, обрекает себя на собственное будущее, получает то будущее, которое он заслуживает. Даже если он его не заслуживает. Даже если он заслуживает куда лучшего. Писатель ведь судит не по признакам успеха — карьеры или материальных обретений. У него внутренний, то есть нравственный счет.

И все же — обстоятельства или человек? Какой ответ ближе к истине, какой из двух романов более правдив? Оба. Ибо нет простых ответов на вопросы бытия. Оба вместе — так, пожалуй, будет верней. Все творчество писателя в целом, вся сага о Йокнапатофе — это самое верное. Особенность этого писателя такова, что каждый следующий роман содержит в себе все предыдущие и все последующие тоже, те, что еще должны были быть написаны. Пусть в виде зародыша будущих мыслей — им еще предстоит развиться во что-то более зрелое, — но они уже тут, уже воздействуют на все окружающее. Ибо «память верит раньше, чем вспоминает знание. Верит дольше, чем помнит, дольше, чем знание спрашивает».

...На мой звонок дверь в доме Фолкнера в Оксфорде, университетском городе штата Миссисипи и родном городе писателя, долго не открывается. Потом наконец слышатся не очень уверенные шаги, и на пороге появляется человек со следами не возраста даже, а скорее жизненной усталости на лице. Это зять писателя. Свою миссию хранителя великой тени он выполняет безропотно. Но много ли дает экскурсия? Глаз притягивают блестящие ботфорты и ярко-красный костюм для верховой езды... В кабинете конторка, сделанная его руками, на ней коробка с табаком,

бутылка с какой-то жидкостью для лошадей... А вот уже нечто замечательное. На стене кабинета аршинными письменами запечатлен план романа «Притча». Известно, что с этим романом Фолкнер связывал свои самые амбициозные расчеты — в центре его современное распятие человека, распятие войной. Роман пока считается самой большой неудачей писателя...

Под Оксфордом, где Фолкнер родился, прожил почти всю жизнь и умер, у него была ферма. Ферма как ферма. Две семьи издолщиков выращивали на ней хлопок и кукурузу, держали мулов и свиней. Дохода ферма не давала, она и не предназначалась для дохода. Зато у Фолкнера было основание говорить, что он не писатель, а фермер. Да, он любит писать истории, говорил он, но главным образом он фермер. Эта бездоходная ферма под Оксфордом принесла американской литературе самую высокую прибыль в XX веке. Не будь Фолкнер так близок к земле, к своей земле, он, возможно, не стал бы тем писателем, каким стал.

Действие почти всех его романов и рассказов происходит в округе Йокнапатофа, который он выдумал до такой степени подробностей, что даже чертил его карты. Одну из карт (роман «Авессалом, Авессалом!») он подписал: «Уильям Фолкнер, единственный владелец и предприниматель». Известно, что территория Йокнапатофы 2400 квадратных миль, а население — 15 611 человек. Маленький клочок американской земли. Маленький? Но этот клочок оказался равным всей американской земле — таков был замах художника. «Я создал собственный космос...» — писал Фолкнер, и это была не бравада, а констатация факта.

Характеры и судьбы собственных героев для Фолкнера словно объективная данность, существующая пусть даже и в нем, но как бы сама по себе, реальность реальней настоящей. Он словно ничего не придумывает, он исследует. Раз за разом идет он на приступ уже знакомого, чтобы исчерпать все до конца. Вот почему «Свет в августе» и «Осквернитель праха» — словно две стороны медали, противоположные проекции одной модели. И вот почему читателям нужен весь Фолкнер. Каждый его роман — звезда. Но только вместе они космос.

Фолкнер на редкость сложный писатель.

Но вопреки расхожей поговорке, что все гениальное просто, его гениальное — это очень сложно. Нет гармонии в том разорванном мире, который писал Фолкнер. Конечно, можно сказать, что в титаническом разгуле страстей, бушующих в его романах, виноват сам автор. Разве не несет он ответственности за своих героев? Ведь как бы конкретны и реальны они ни были, все герои одухотворены Фолкнером — это факт. А сила духа у него действительно титаническая... Но можно сказать и по-другому. Только титанический дух мог отразить эпический масштаб социальных страстей, разрывающих на части эту великую страну. Фолкнер ответствен не столько за своих героев, сколько перед ними. Они ведут его за собой, он служит им голосом. Страсти по Фолкнеру суть отражение реальных общественных страстей художником, чей талант оказался созвучен национальному характеру и соразмерен национальной драме.

И он гуманист той высокой и чистой пробы, которая отличает истинно мировых писателей.

«Я отказываюсь принять конец человека, — говорил Фолкнер в знаменитой речи при вручении ему Нобелевской премии. — Легко сказать, что человек бессмертен просто потому, что он выстоит: что, когда с последней ненужной твердыни, одиноко возвышающейся в лучах последнего багрового и умирающего вечера, прозвучит последний затахающий звук проклятия, что даже и тогда останется еще одно колебание — колебание его слабого избыточного голоса. Я отказываюсь это принять. Я верю в то, что человек не только выстоит: он победит. Он бессмертен не потому, что только он один среди живых существ обладает избыточным голосом, но потому, что обладает душой, духом, способным к состраданию, жертвенности и терпению. Долг поэта, писателя и состоит в том, чтобы писать об этом. Его привилегия состоит в том, чтобы, возвышая человеческие сердца, возрождая в них мужество, и честь, и надежду, и гордость, и сострадание, и жалость, и жертвенность, которые составляли славу человека в прошлом, помочь ему выстоять. Поэт должен не просто создавать летопись человеческой жизни; его произведение может стать фундаментом, столпом, поддерживающим человека, помогающим ему выстоять и победить».

СЕРГЕЙ БОНДАРЧУК: ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

Ленинград и Мехико. Что объединяет в сознании кинорежиссера эти два города на разных континентах? Сергей Бондарчук приступает к съемкам фильмов по двум книгам Джона Рида — «Восставшая Мексика» и «Десять дней, которые потрясли мир».

Наш разговор (диалог, так его назову) начался в самый разгар подготовительного периода: выбор съемочных объектов и натуры, кинопробы, последние поправки в сценарии, поиски режиссерского решения. Поэтому нелегко было застать Бондарчука дома: он большую часть времени проводил то в Мехико (где ему даже довелось отпраздновать свой шестидесятилетний юбилей и где он узнал о присуждении ему высокого звания — Герой Социалистического Труда), то в Питере — Ленинграде.

...Уже в коридоре слышны финальные аккорды знаменитой бетховенской сонаты. Бетховена сменяет второй концерт Брамса. Сергей Федорович отбирает музыку к будущим фильмам. На рабочем столе разложены книги Джона Рида, том Ленина, страницы сценариев.

— Я должен снять фильм по двум книгам Джона Рида — «Восставшая Мексика» и «Десять дней, которые потрясли мир» (последний сценарий мы писали совместно с Валентином Ежовым). Мексиканцы просят сделать один двухсерийный фильм. Согласился я на это с трудом. Придется специально для Мексики смонтировать такой вариант, где за два часа двадцать пять минут будут воссозданы события двух революций. Через оба фильма проходят три героя: Джон Рид, его жена и соратница — американская писательница Луиза Брайант и Мейбл Додж — богатая женщина, поклонница Джона Рида, страстно сочувствующая его общественной деятельности. Сценарий по «Восставшей Мексике» мы делаем в содружестве с мексиканцами,

он уже готов. Работа предстоит интересная. Мексиканцы — народ темпераментный, увлеченный и очень трепетно относятся к своему революционному прошлому. И герои этой книги, конечно, поразительные: Панчо Вилья, Эмилиано Сапата... А народные сцены! Произведение Джона Рида написано в романтическом ключе, с бесконечной влюбленностью в мексиканский народ.

О том, как работал Джон Рид над этой книгой, очень точно рассказал в своих воспоминаниях его друг — Альберт Рис Вильямс: «В Мексике закабаленные крестьяне (пеоны) подняли знамя бунта и под начальством Виллы двинулись на Капитолий — и Джон Рид верхом на коне шел рядом с ними... Он описывает, как они сгоняют свои стада с горных лугов, стремясь присоединиться к освободительным армиям, как они поют свои песни у лагерных костров по вечерам и, несмотря на голод и холод, в лохмотьях, босые, великолепно дерутся за землю и волю»... В Мехико мне показали документальные кинокадры, относящиеся к мексиканской революции, — поразительный документ! Там и Вилья, и Сапата, и президенты. Конечно же, подобные архивные киноматериалы — незаменимое подспорье в работе. Я уже полностью окунулся в атмосферу фильма. Вот эти две большие гравюры из истории Мексики — подлинные гравюры Сикейроса. Я очень дорожу ими — мне их подарил сам художник. У Сикейроса главный герой — народ, вы видите, с какой эмоциональной насыщенностью они выполнены: в этом ключе и надо работать. Я тоже хотел бы, чтобы главная роль в будущем фильме принадлежала широчайшим народным массам Мексики... Над Джоном Ридом я работаю в общей сложности больше семи лет. Вначале предполагалась американско-советская постановка, но американцы повели себя в этом случае не лучшим образом. Тем не менее мы будем

делать все, чтобы Джона Рида играл американский актер.

— Сергей Федорович, как можно понять, эта ваша работа будет создаваться интернациональными актерскими силами — русские, мексиканцы, итальянцы, американцы... Возможно ли совместить в одной работе столько различных традиций, различных школ актерской игры, не разрушится ли от этого ее стилевое единство?

— Для меня приемлема только одна актерская школа — школа переживания.

— Но существует мнение, что в мировой практике период всеобщего увлечения системой Станиславского, утвердившей школу переживания, уходит в прошлое?

— Вот уж с чем никак не могу согласиться: эта школа объединяет лучших актеров мира. Конечно, порой за школу переживания (в том числе и в нашей отечественной актерской практике) выдается некая устаревшая и малодаровитая манера «игры на котурнах», но ведь именно Станиславский, исповедовавший школу переживания, первым повел с этой «каратыгинской» манерой игры самую ожесточенную борьбу. Поэтому, говоря о преимуществах актерской школы переживания, я вовсе не призываю к возрождению старых, архаичных методов актерской поры. Напротив, убежден — современная актерская школа, особенно наша отечественная, требует серьезнейшего научного исследования. Станиславский никогда не пришел бы к своему величайшему открытию в нашей профессии: как сознательными средствами достигается включение процессов подсознания, — если бы он не обращался к научному опыту сильнейших ученых-психологов мира. Диалектически осмысляя опыт ученых разных стран, он использовал в своей теории и практике эти новейшие достижения. За прошедшие десятилетия с момента создания системы Станиславского ученые-психологи достигли очень многого. Но если в современной медицине мы осваиваем и используем этот опыт, то в сфере искусства, и, в частности, в актерской и режиссерской практике, мы опираемся на научный опыт пятидесятилетней давности, тогда как давно назрела необходимость включить в программы вузов, воспитывающих актеров и режиссеров, особую дисциплину, посвященную проблемам современной психологии. И преподавание ее вести систематически, а не так, как сейчас, — набегам, для особо любознательных.

Что же касается суждений, будто в мировой практике школа переживания устарела и адрес ее ограничивается только традициями старого русского театра, то на это вот вам, пожалуй-ста, прекрасный пример: Джон Гилгуд, великий современный английский актер, в роли

Юлия Цезаря. Я видел эту его работу в Англии, в Национальном театре. Вроде бы актер ничего особого не делает на сцене, совершенно отбрасывает любую заботу о фактуре, осанке, царственных руках. Простой проход — и неповторимо. Самоограничение? Нет, полное творческое самоуглубление, когда нет никакой хлопотливости, желания тут же понравиться, вызвать восторг. Все настолько по существу, настолько слито с персонажем, что даже страшно: нет артиста, нет исполнителя — есть Цезарь. Высочайшее мастерство! Что это как не пример классической школы переживания? Для меня неприемлема только та манера игры, когда актер требует от зрителя при первом же своем появлении обязательной восхищенной реакции его мастерством — немедленной и безотлагательной: а дальше, посмотрите, что я буду дальше делать! А как я все это завершаю! Ну что же, где же ваша реакция? — би-ис! Бра-во!.. Нет, я отдаю предпочтение искусству переживания. Да, это сложное искусство. Неброское и незаметное, оно не рассчитано на аплодисменты. Но подлинное искусство и должно воздействовать незаметно. Оно настолько западает в душу, что человек даже может не сознавать, какими средствами на него воздействовали.

— Но Чаплин! Вы же обожаете Чаплина. А у него все построено на том, как им решен образ, и мы именно этим и наслаждаемся.

— Ничего подобного! Чаплин создал такой тип, характер, что за этим человечком и Чаплина не видно. Вот такой нескладный, уникальный человек — и потому гениально. Чаплин этим образом непременно исповедует какие-то свои большие человеческие принципы, а не просто мастерит, демонстрируя перед нами приемы. Актером не восторгаются, а заражаются его радостью творчества. Вот я Чапаева смотрю. Разве я Вабочкиным восторгаюсь? Я самым этим характером восторгаюсь! Чапаевым!

— Но когда мы видим, как актер делает свою роль, это не может не доставлять наслаждения.

— А я вот не вижу, как Вабочкин делает Чапаева. Вабочкина там нет. По-моему, если актер присутствует в роли, значит, он что-то такое там пропустил, пошел на поводу у зрителя, мечтая получить мгновенную оценку... Во второй части нашей диалогии по Джону Риду, в «Десяти днях, которые потрясли мир», самой сложной актерской работой, конечно, будет решение образа Владимира Ильича Ленина. Но как можно создать образ Ленина, если в результате у зрителя не будет веры: да, это Ленин, — и вместо того, чтобы жить Лениным, мы будем следить, какими путями

актер достигает того, чтобы быть похожим на Ленина?

— А вы уже видите будущих героев, какими они должны быть? Представляете фильм зримо? Или все это пока литературный образ, ограниченный сценарием, книгой? Возможно ли вообще режиссеру заранее представить зримый образ будущей работы как нечто единое целое во всем этом калейдоскопе живых лиц, обилии мест, где будут развиваться события, съемочных объектов, документов, мемуаров, монографий, уже изученных и которые только предстоит изучить? Реально ли это?

— У актера существует такое качество — внутреннее видение. По Станиславскому — лента воображения. Я это качество культивирую в себе всю жизнь. Оно есть у каждого человека, только у одного оно более яркое, у другого менее. Был такой актер, очень большой актер — Орленев. Его мемуары я еще мальчиком прочитал. Мне и сейчас кажется, что это самое интересное из того, что написано о нашей профессии. Так вот Орленев был изумительно одарен способностью яркого видения: вот он входит на сцену, вот начинает действовать... И так, внутренним видением, просматривал первый акт, второй, третий — всю роль. Кинорежиссер тоже должен обязательно выработать в себе эту способность увидеть свою картину еще до начала съемок. И не просто вольно пофантазировать на тему будущего фильма, но увидеть его в кадрах, воочию. Так, по кадрам, каждый из которых я всегда имею обыкновение закреплять зарисовками, чтобы не упустить увиденное, передо мной возникла вся «Война и мир» — все четыре фильма. Может быть, поэтому я был готов к тому, чтобы начать съемки фильма с эпизода «Расстрел поджигателей» из четвертой серии. Я вам не показывал эти разработки своих фильмов? Вот здесь, в шкафу, хранятся материалы к уже отснятым картинам и те, которые никогда не будут сняты, и то, что предстоит сделать вот-вот. Не показывал?

Одна за другой на свет появляются папки с названиями фильмов, узкие длинные альбомы-сценарии. В этой папке уже отснял «Степь». Вот сценарий «Тараса Бульбы», вернее два сценария: один из них, сценарий Довженко, Юлия Солнцева подарила Бондарчуку, другой — самого Бондарчука, тот, по которому когда-то будет снят фильм. Сценарий Шпаликова и Бондарчука «Декабристы». В огромном черном пакете поместился «Борис Годунов» — самая заветная мечта режиссера... На стол ложатся предельно аккуратные, словно выполненные профессиональным графиком отдельные листы писчей бумаги, рядом — твердые чертежные листы, а то и просто вырванные из обычной ученической тетради. На каж-

дом печать предельно бережного отношения — ни один лист не затрепан, не помят, даже не верится, что все материалы той же «Степи» уже были в работе, что именно по ним уже отснят фильм, что многие из этих рисунков-кадров набрасывались перед очередными съемками, порой ночью. где-то в гостинице, поезде, самолете... Эскиз за эскизом рассматриваем кадры «Степи», исполненные то в цвете, то слабо различимыми карандашными штрихами.

— В «Степи» я добивался чеховской гармонии и, пожалуй, не достиг ее. Да, наверное, и невозможно достичь такого совершенства. Тогда эту картину нужно было делать года три, а я мог бы и пять лет, если бы мне разрешили. В этом отношении идеально творчество писателя, имеющего возможность работать над своим произведением столько, сколько считает нужным: отложить рукопись и вернуться к ней тогда, когда замысел будет проверен, посмотреть на него новыми глазами.

— Вот это что такое?

— Коршун, который видит степь с высоты, хозяин степи. Нарисовано его перемещение — как он то одно видит, то другое, как бы преследуя движение Егорушки, отца Христофора. В фильме это есть, но не так, как хотелось бы. Это интересное решение, но воплотить мне его не удалось. И с тенью от мельницы — эпизод отдыха у ручья — не получилось. По расстоянию я думал приблизить мельницу к ручью, чтобы ее крылья все время напоминали крылья птицы — соединение макромира и микромира. Эпизод отдыха у ручья у меня был решен до съемок, когда я не знал еще ни конкретного места, ни актеров. А конкретная ситуация всегда корректирует решение. Я делаю зарисовки следующего съемочного дня даже ночью, смертельно уставший... Сейчас модны споры о том, что такое сценарий — литература или не литература, почему не печатают сценарии, и прочие бесплодные разговоры. Как правило, литературные сценарии никакого отношения к кинематографу не имеют: пишут в расчете на то, что потом режиссер возьмет и переведет все на язык кинематографа, только редкие сценаристы в своей работе имеют в виду прежде всего то, что происходит в кадре. Кино — это отдельные кадры, картинки. Из них слагается и плохой, и посредственный, и большой кинематограф. Когда я читаю литературное произведение, я прежде всего вижу, как можно его перевести в литературно-режиссерскую запись. Так у меня сделан «Тихий Дон» — две картины. Есть целиком режиссерский сценарий к «Тарасу Бульбе»... Если выработать в себе эту привычку — мыслить кадрами, — сценарий действительно можно писать, как Чаплин, — на манжете... Мы забы-

ваем происхождение этого слова — ки-не-ма-то-граф. Движение в рисунке. Я это понял деревенским мальчиком, когда в первый раз посмотрел кино. Настолько оно меня потрясло, что я заболел мечтой сделать кино сам. Смастерил проекционный аппарат, сделал почти все, только «мальтийский крест» не удался.

И Сергей Федорович рисует этот злосчастный «мальтийский крест».

— Здесь вот такая штука, по ней бьет шпунтик — создается необходимое движение. Не получилось. Ну, думаю, надо же мне все-таки как-то добиться движущегося изображения. И я стал отрывать поля у газет и рисовал на них каждый кадр, как постепенно меняющийся сюжет, потом наматывал все это на катушку (на фильм две катушки), наливал в четверть — раньше были такие трехлитровые бутылки — воду, она у меня заменяла линзу, зритель подходил к специальному окошечку, и я прокручивал ему весь сюжет. Потом я стал рисовать фильмы на стеклах и через лампу — источник света — отбрасывал изображение на экран: это у меня уже был цветной кинематограф. Таким вот способом примитивным исподволь я постигал тайны кинорежиссуры (как выстраивается фильм графически, как происходит смена кадров, секреты монтажа — словом, что такое внутреннее видение) еще задолго до того, как узнал, что есть вообще профессия такая — режиссер.

— Сергей Федорович, вроде бы чеховская повесть совсем не событийное произведение. Не было ли у вас опасений, что фильм, лишенный острой фабульной основы, не будет «читаться»?

— Наоборот. Это, пожалуй, наиболее зримое кинематографичное произведение Чехова. Горький говорил, что Чехов в «Степи» «рисует словами». Подчеркивал эту поразительную особенность чеховского творчества Лев Толстой: «У Чехова все правдиво до иллюзии, его вещи производят впечатление какого-то стереоскопа. Он кидает как будто беспорядочно словами и, как художник-импрессионист, достигает своими мазками удивительных результатов». И действительно, когда мы читаем «Степь», мы видим ее зримо, до иллюзии, а кажущаяся беспорядочность строго подчинена законам достижения наиболее яркого и точного впечатления, необходимого писателю. В этом «беспорядочном» набрасывании мазков — точная и гениальная логика художника. Нет, Толстой удивительно это разгадал у Чехова, когда говорил: «Он странный писатель: бросает слова, как будто нектати, а между тем все у него живет. И сколько ума! Никогда у него нет лишних подробностей, всякая или нужна, или прекрасна». Как сказано! Хотелось мне этого достичь! Это бесконечно близко кинематогра-

фу — мышление образами, у нас это мышление кадрами в гармоническом переплетении разных планов. Что же касается фабулы, я всей своей работой всю жизнь веду этот спор. Большой кинематограф, так же как и большая литература, строится не на фабульной основе... Я готов был начать снимать «Степь» еще до «Войны и мира», и в «Степи» меня прежде всего увлекло, как я справлюсь с этим отсутствием традиционной фабулы. В «Войне и мире» подтверждение этой моей позиции я получил в самой эстетике толстовского творчества. Ведь именно в этом романе Лев Николаевич решил отказаться от романа «с завязкой, постоянно усложняющимся интересом и счастливой или несчастливой развязкой, с которой уничтожается интерес повествования». Вот видите, какое образуется интереснейшее единство творческих связей — как Толстой переключается с Чеховым. В этом же ключе, с таким же отношением к тому, что есть главное, я решал и Шолохова. А теперь и Джона Рида.

— Сергей Федорович, сейчас вы показывали разработки изобразительного решения «Степи». Но наверняка параллельно с этим изобразительным рядом существует и некий другой ряд, определяющий самую режиссерскую концепцию произведения?

— Конечно. Вот смотрите, в «Борисе Годунове» у меня разработано все до мельчайших подробностей. По моим планам я сейчас должен был бы уже снимать фильм.

На стол ложатся один за другим листы с историческим описанием героев пушкинской трагедии. Тут же фотокопии икон, картин, гравюр, иллюстраций. Зарисовки самого Бондарчука — целых сцен, как всегда кадрами. На больших широких листах кадры расположены слева, а справа идет запись режиссерской концепции этих сцен.

— Борис Годунов умер пятидесяти четырех лет от роду. Скоро настанет время, когда я уже не смогу сыграть Бориса. Сейчас бы еще мог... Борис — большой человек. Поэтому его сомнения, брать власть или нет, сопряжены и с его болезнью. Волочил ногу. Рост средний. Слезлив. Набожен. Суверен. Постоянное предчувствие смерти. Много врачей. Выписывал их из-за границы, буквально отовсюду. Изверился во врачах. Даже столыпики смеются над юродствующим царем:

«Первый
Где государь?»

Второй
В своей опочивальне
Он заперся с каким-то колдуном.

Первый
Так, вот его любимая беседа:
Кудесники, гадалки, колдуньи.
Все ворожит. Что красная невеста».

Хотел сделать такую сцену. Собрались в царских палатах знахари, колдуны, трясуны со всей Руси. Ждут Годунова. От народа скрывают смерть Ивана Грозного, говорят — дело рук Годунова. Шуйского удушили угарным газом, говорят — Годунов. Убийство Дмитрия — Годунов. Да еще отменил Юрьев день. И народ отворачивается от Бориса. Климат тоже не сопутствовал его царствованию. В начале семнадцатого века страшные бедствия были в природе; народ верил в такие предзнаменования... Марина Мнишек — жена Лжедмитрия. Через неделю после ее свадьбы с ним последний был убит. Тщетные попытки вернуть московский престол, заставляющие ее соединить свою судьбу сперва со вторым самозванцем — тушинским вором, потом с казачьим атаманом Заруцким. Марина в 1614 году была утоплена в Москве. Пушкина очень занимал характер Марины. «Конечно, — пишет Пушкин, — это была самая странная из хороших женщин. У нее была только одна страсть — честолюбие, но до такой степени сильная, бешеная, что трудно себе и представить»... Отрепьев — огромная челюсть, без бороды и усов. Одна рука короче другой. Нет шеи. Нет талии — совсем квадратный. Очень сильный. Необыкновенно талантлив. Лицедей. Дар перевоплощения. Огромная сила убеждения.

— Это исторически достоверный портрет?

— Конечно. Все это не просто вымыслы. У меня великолепный консультант — ленинградский ученый Скрынников. Он мне очень помог в поисках исторического материала, с редкостной заразительностью и увлеченностью вводил меня в эпоху, описываемую Пушкиным... Современник этих событий оказался художником. Он написал огромное полотно — семь метров на три с половиной. Его недавно обнаружили во Львове и сейчас реставрируют. Так я узнал, какое зная было у Самозванца, как была одета его армия — об этом мало кто знает. Посмотрите, какое интересное решение «Бориса Годунова» у Кибрика. По-моему, это единственный из современных художников, максимально приблизившийся к «Борису». Я познакомился со всем его архивом, меня интересовал сам путь, по которому художник приходил к результату. Какой Самозванец — точный! А Марина! Действительно странная красавица и во взгляде честолюбие бешеное — истинно пушкинский образ. А это фотография Шалыпина в роли Бориса. Но я с шалыпинским решением не согласен: смесь Бориса Годунова и Ивана Грозного. Борис был не такой, в нем угодливость какая-то была, совсем не монумент. Вот это пошли кадры — Новодевичий монастырь, кремлевские палаты. А вот сцена двух заговорщиков — Шуйского и Пушкина. А это вот Гришкина лестница, которая сжи-

вается, — как он с нее падает. А вот такой я вижу коронацию Бориса.

...Горящая свеча. Звуки. Последний звук колокола—до-он!—слился с пространством. Неуверенная поступь. Видны только ноги Бориса. Красный, бесконечный, выстланный путь под ногами Бориса. Тишину разрывают пушечные залпы, колокольные звоны. голоса. Коронация... Все звуки слились и достигли оглушительности морской бури. Символы власти: скипетр, держава, шапка Мономаха. Лики святых. Грандиозность Успенского собора. И царь в исподней рубашке, внизу — у алтаря. Маленький, мокрый от пота, жалкий. Он обращается к богу.

...Пролог фильма. Черно-белое изображение. Хроникальные кадры на основе исторических документов времен Ивана Грозного, Федора Иоанновича. Их немного. Но каждый из них уникален. В звуке — молитва православных. Затемнение. Пламя свечи. Широкий формат. Цветное изображение. На уровне горящей свечи медленно протаивает стекло, образуя черный глазок. Слышна детская незатейливая песенка. Детская ручонка на гриве лошади-игрушки, запряженной в сани. Мы попадаем в угличские палаты к царевичу Дмитрию. По мере приближения камеры беззаботность ребенка сменяется тревогой, недоумением, ужасом. Стоп-кадр. На фонограмме продолжает звучать смертельный крик ребенка, возня, тяжелое дыхание. Одинокий колокол и вопль толпы. Окно и горящая свеча.

...Келья Чудова монастыря. Пимен пишет. В звуке — одинокий колокол и вопли толпы. Голос за кадром:

Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя,
Исполнен долг, завещанный от бога
Мне, грешному.

Возникает заглавная надпись — Александр Пушкин, «Борис Годунов». Надписи продолжают на фоне старинных рукописей, гравюр, рисунков истории государства Российского. Черно-белое изображение. Голос за кадром:

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья,
Спасителя смиренно умоляют.

...Красная площадь. Зима 1598 года. Горят костры, смоляные бочки. В морозном мареве — силуэты людей. Тревожное говорливое ожиданье. Все взоры собравшихся обращены к Кремлю. Девичье поле. Серые заиндевшие холмы людей:

- Что слышно?
- Все еще
- Упрямятся; однако есть надежда.

Монастырь. В окне Борис с сестрой—царицей Ириной. Потом это окно в финале будет обыгрываться. Московские улицы безлюдны. Еле прослушивается отдаленный гул толпы Кремль. Ветер. Холод. Воротынский и Шуйский, их лица. Закатные блики солнца ложатся на их лица. Рука Воротынского сжимает рукоять меча. Голос Воротынского за кадром:

Москва пуста; вослед за патриархом
К монастырю пошел и весь народ.

К монологу Бориса я все время возвращаюсь. Своим студентам, каждому выпуску, на третьем — четвертом курсе, я обязательно даю задание обратиться к какому-нибудь монологу Бориса. И себя исподволь готовлю. Чтобы освоить один монолог «Достиг я высшей власти», добиться в стихе прозрачности, звучности, нужны годы, с ходу его не возьмешь. Борис — самая трудная роль в мировом репертуаре, так и не разгаданная.

— Сергей Федорович, а у вас не возникает опасения, что вот вы откладываете-откладываете работу над Борисом, а потом ее осуществит кто-то другой? В конце концов «Братьев Карамазовых» снял Иван Пырьев, а «Декабристов» — Владимир Мотыль.

— Ну что на это ответить? Козьма Прутков в таких случаях говорил: «Нельзя объять необъятное». А я себе в таких случаях говорю — надо работать быстрее. Борис уже исчезает для меня (в смысле возраста). А это самая моя большая мечта, даже не поставить — сыграть. Очень хочу сыграть Тараса Бульбу. Нет, я все-таки прав, когда говорю, что работать надо быстрее. Не торопясь, но быстро. Тогда есть надежда, что какие-то наши мечты воплотятся. Видите, как у меня получается: был уверен, что буду снимать «Степь», даже постановочная группа была уже запущена в работу, но съемки «Степи» отодвинула «Война и мир»; готов был приступить к «Борису Годунову» — снимаю Джона Рида. Но когда оборачиваешься назад, понимаешь, что в подобных вроде бы случайных отсрочках есть своя мудрая логика: толстовское начало помогло мне по-иному, более точно и емко разобратся в чеховской теме, а «Бориса Годунова» не поставишь вне точного знания, как должно решать тему народа. Книга Джона Рида — великая школа в освоении этой темы.

— Через сколько лет выйдут оба фильма по Джону Риду?

- В восемьдесят втором году.
- Это быстро или медленно?
- Космическая скорость для фильмов такой

сложности. Если все будет организационно подкреплено, думаю, что это реально. Перед ноябрьскими праздниками мы со съемочной группой ездили в Ленинград выбирать места, где будут разворачиваться события Октября. Зимний дворец. Мариинский дворец. Петропавловская крепость. Смольный. Все это мощный образ Петрограда... Многое, конечно, придется воссоздать заново. Известно, что в Зимнем дворце было тысяча десять комнат. Теперь весь Зимний отдан под Эрмитаж, и мы уже не можем снять то, что еще в двадцать седьмом году в подлинных условиях мог запечатлеть Эйзенштейн в фильме «Октябрь». Сейчас природы уже просто не существует в подлинном, первоначальном виде — так, как это было в семнадцатом году. Малахитовую комнату, где находилось Временное правительство, и ту, в которой их потом арестовали, обязательно снимем. Будем снимать в Эрмитаже и сцены взятия Зимнего дворца.

— А снимать в Эрмитаже можно?

— Не везде, конечно, — только там, где операторский свет не повредит картинам... Изменил свой облик и теперешний Смольный, поэтому многое придется воссоздавать в павильонах. Никогда еще не были показаны в полную мощь знаменитые длинные сводчатые двухсотметровые коридоры Смольного — не было таких павильонов, придется их строить. Будем строить и знаменитую трапезную Смольного, вмещавшую тысячи людей, о которой пишет Джон Рид: «В обширной и низкой трапезной в нижнем этаже... я вместе с тысячей других стал в очередь, ведущую к длинным столам, за которыми двадцать мужчин и женщин раздавали обедающим щи из огромных котлов, куски мяса, груды каши и ломти черного хлеба». В Мариинском дворце меня заинтересовала одна деталь — винтовая лестница. Насколько помню, эта лестница никогда и нигде не обыгрывалась. Джон Рид пишет, что, выступая в Мариинском дворце в канун революции, Керенский дважды расплакался. И потом, когда «бледный и задыхающийся председатель» покинет дворец, я хочу, чтобы он унижительно долго — а не демонстративно-стремительно — уходил по этой винтовой лестнице без ступенек. Такой уход поможет подчеркнуть жалкую смехотворность напыщенно-истерического характера премьерера.

Воссоздавать историю в зримых картинах очень сложно: должна быть правдивой любая, даже самая, казалось бы, незначительная деталь. В этом нам очень помогают консультанты из Института марксизма-ленинизма. Они предоставили в наше распоряжение огромное количество документов и воспоминаний участников революции. Ну и, конечно, помогает сам Джон Рид. Книга «Десять дней, которые по-

трясли мир» поразительно кинематографична и тогда, когда Джон Рид описывает документальный факт, и когда поднимается до больших социальных обобщений. Вот как, например, он описывает похороны жертв революции на Красной площади: «Мы поднялись еще до восхода солнца... Во всем огромном городе не было видно ни души. Но со всех сторон издалека и вблизи был слышен тихий и глухой шум движения, словно начинался вихрь... Светало... Доносившийся издали приглушенный движущийся шум крепчал, становился все громче, переходя в рокот. Город поднимался на ноги». Здесь каждое слово ложится в кадр. Есть все — и звуковой и изобразительный ряд, общий план огромного, еще спящего города, образ притаившихся в страхе у своих окон буржуев-обывателей. Раннее утро. Пошли первые траурные колонны к Красной площади. А как решен образ православной церкви, лишившей своего благословения Москву! Колонны проходят мимо часовни Иверской божьей матери: двери заперты, свечи потушены. «Церкви были погружены в мрак, безмолвие и холод». Все зримо, все видишь. Общий план пятидесятитысячной толпы. Знамена. На плечах рабочих — пятьсот красных гробов. Большой эмоциональной силы достигает соединение двух планов — общего и крупного, двух образов: тысяч и тысяч пролетариев, что пришли проводить своих героев в последний путь, и образ женщин — вдов и матерей погибших.

И опять у Джона Рида грандиозный общий план: «Поток красных знамен, на которых были написаны слова надежды и братства, ошеломляющие пророчества. И эти знамена развевались на фоне пятидесятитысячной толпы, а смотрели на них все трудящиеся мира и их потомки отныне и навеки...» Такой обобщенный образ можно создать только в литературе и кинематографе... Джон Рид похоронен в Москве, на Красной площади, у кремлевской стены. «Тот, кто описал похороны жертв революции, как Джон Рид, достоин этой чести», — писала Надежда Константиновна Крупская. И действительно, сцена эта, занимающая в его книге всего три страницы, поднимается к вершинам мировой литературы по страсти человеческого сердца, правде жизни и высоте художественного образа.

Виктор Борисович Шкловский в монографии о Толстом пишет: «Он ищет исторической развязки события, поэтому историческая часть и есть событийная». Льва Толстого увлекала «идея потока, захватывающего судьбы людей». Я абсолютно убежден, что творчество Толстого оказало огромное влияние и на Джона Рида. Он тоже понимал,

что историческая часть и есть событийная. Он тоже был увлечен идеей потока, захватывающего судьбы людей. Режиссер, выбирая литературное произведение, должен очень точно себе ответить, может ли оно быть переложено на язык кино. Я убежден, что не фабульная острота тут играет главенствующую роль. Литература должна быть зримой. Как чеховская «Степь». Книга Джона Рида в этом отношении удивительна. Вы можете открыть любую страницу — и возникнет полная иллюзия, что вы видите описываемые события, более того, что вы сами являетесь участником этих событий. Джон Рид стоит в ряду очень больших писателей. Своими двумя великими книгами, в которых дышит история, он, по сути, открыл новый жанр: эпос-документ. Первой определила жанр этой книги Надежда Константиновна Крупская: «Книжка Рида дает общую картину настоящей народной массовой революции, и потому она будет иметь особо большое значение для молодежи, для будущих поколений — для тех, для кого Октябрьская революция будет уже историей. Книжка Рида — своего рода эпос». И еще: «Это — не простой перечень фактов, сборник документов, это — ряд живых сцен, настолько типичных, что каждому из участников революции должны вспомниться аналогичные сцены, свидетелем которых он был». А вот как обозначить жанр будущего фильма? Думаю, тоже эпос, где основой художественного начала будут подлинные документы истории.

— Сергей Федорович, не кажется ли вам, что для кинематографа, тяготеющего к конкретности, эпос — понятие несколько абстрактно-расплывчатое?

— Для меня это не расплывчатое понятие. Используя законы этого жанра, я не ограничиваю себя, как это делают драматурги театра, какими-то тремя, четырьмя, десятью эпизодами. Кинематограф в этом смысле совершенно раскован и свободен, ему подвластно все: и выбор места действия, и время действия, и количество действующих лиц. Фильм будет сниматься не только по книге Джона Рида. Не потому, что у Рида были неверные оценки событий: он обладал уникальным историческим чутьем и умением в потоке событий увидеть главное, но чувствовал себя вправе писать только о том, что видел воочию. Поэтому мы и хотим назвать наш будущий фильм «Я видел рождение нового мира». И тем не менее, несмотря на всю историческую емкость книги «Десять дней, которые потрясли мир», ряд исторических событий, имеющих огромное значение для успешного исхода революции, в ней не показан. Например, Джон Рид не был

десятого октября на квартире Суханова, где проходило историческое совещание ЦК партии, на котором было решено начать вооруженное восстание. Мы не имеем права не показать это. Он не был на расширенном заседании, которое состоялось в помещении Лесновско-Удельнинской районной думы. Председателем думы, где выбрали центр по непосредственному руководству восстанием, был Калинин. Джон Рид не был на том заседании ЦК РСДРП, где Свердлов читал письмо Ленина из подполья. А мы должны это показать. Просто обязаны. Мы должны показать Ленина раньше, чем его увидел впервые Джон Рид. Кинематограф этой возможностью обладает. Чтобы досконально изучить образ Ленина, мы стали собирать документальный и изобразительный материал, естественно, стремясь это делать по возможности наиболее полно. Так к нам в группу попала совершенно уникальная книга — факсимильное издание альбома, собственноручно сделанного Надеждой Константиновной Крупской, подлинник которого хранится в музее «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле». Такая самодельная книжечка-раскладушечка, как для детей делают, в ней Надежда Константиновна собрала самые любимые свои фотографии Владимира Ильича. Ей цены нет, этой книжке. Но составить по ней какой-то качественно новый внешний облик Ильича мы не рассчитывали. И тем не менее книга эта нам очень помогла. Еще и еще раз перечитывая образ Ленина, данный Джоном Ридом, и сравнивая этот образ с фотографиями Владимира Ильича, мы обратили внимание на одну деталь: в дни революции Ленин не был внешне таким, каким мы привыкли его обычно себе представлять. Существует известная фотография Ленина, сделанная в Разливе в августе семнадцатого года для нелегального удостоверения на имя рабочего Иванова. Владимир Ильич там в гриме и парике. Чтобы перевоплотиться в образ рабочего и быть неузнаваемым, он вынужден был сбрить усы и бороду. А вот портрет Ленина ноябрьских дней, данный Джоном Ридом. Вот что он пишет: «Невысокая коренастая фигура с большой лысой и выпуклой, крепко посаженной головой. Маленькие глаза, крупный нос, широкий благородный рот, массивный подбородок, бритый, но с уже проступавшей бородкой, столь известной в прошлом и будущем». И кинематографисты и художники, показывая в дни революции внешний облик Ленина, грешат против истины. Можно ли считать эту деталь малозначащей? Документальная направленность нашего фильма, стремление к максимальной достоверности, будут подчеркнуты в нашем филь-

ме самим Джоном Ридом: «Только суровые документальные факты: репортажи, интервью, газетные сообщения и вот это. Все это», — Джон Рид укажет на стены, залепленные плакатами. И еще раз повторит: «Нет, это будет самая документальная и суровая правда действительности». Эти слова дают определенный камертон картине: нет нужды прибегать к конструированию фабульного напряжения и прочим многочисленным драматургическим приемам, здесь сами события настолько сложны и интересны, что любой вымысел на их фоне будет фальшивым и надуманным.

Однако в иных фильмах о революции наряду с реальными персонажами действуют персонажи вымышленные, тогда как на самом деле за ними тоже стоят вполне конкретные люди, которые, к слову сказать, были еще живы, когда эти фильмы вышли в свет. Как быть с нашей картиной в этом смысле? Ясно, что вымысел бывает во всяком художественном произведении: мы снимаем не документальный, а именно художественный фильм. Но вымышленных персонажей все-таки не будет. Возьмем классический пример. Человека, который руководил арестом Временного правительства, в известном фильме играл Ванин. Этот персонаж не имеет никакого отношения к реальному человеку, который арестовал Временное правительство и участвовал в осуществлении Октябрьского восстания. Это был Антонов-Овсеенко. Кстати, и его портрет описан Джоном Ридом очень точно. Худой, тонколицый, длинноволосый человек в толстых очках, «математик и шахматист, когда-то офицер царской армии, а потом революционер и ссыльный... Математик и шахматист, он был поглощен разработкой планов захвата столицы». Какой необычный, нетрадиционный образ для воплощения в художественном произведении о революции! И это не выдуманный образ — сама жизнь!

Конечно же, фильмы прошлых лет о революции внесли свой важный вклад в развитие темы. И все же во многих из них слишком большое место уделяется фабульно обостренным приемам, программирующим зрительское внимание. В них есть все — и драматургия и характеры, — но мало о главном для меня герое: о народных массах. Невозможно сделать фильм об Октябре, когда бурлила Россия, не только Питер — вся Россия, замкнув его в четырех стенах. Революцию делали не безликие многотысячные массы — народ! И этот образ нужно уметь воплотить, коли мы беремся за такую тему. Когда кронштадтцы появились в Питере, как там все забурило! «Кронштадт идет!» — сказано о них у Джона

Рида. — Эти слова значили то же самое, что значили в Париже 1792 г. слова «Марсельцы идут!». Ибо в Кронштадте было двадцать пять тысяч матросов, и все они были убежденные большевики, готовые идти на смерть. Тут самый верный путь — эйзенштейновский. И «Октябрь» и «Броненосец «Потемкин» стоят в первом ряду мировых шедевров именно потому, что главное действующее лицо этих картин — народное движение, образ восставшего народа. А мы потом взяли и, как будто этого эйзенштейновского опыта не было, пошли по другому пути — театральному: по линии разговора, детективной линии, замыкая действие в основном в четырех стенах. Да, я хочу насытить кадры огромным количеством народа, тут я буду придерживаться только советов Эйзенштейна — он это сделал в своей картине «Октябрь» совсем не ради того, чтобы говорили: «Ого, какая массовка!» Ему нужно было воссоздать образ революции. Образ Великой Октябрьской социалистической революции.

Эйзенштейновский «Октябрь» — великая картина. Эйзенштейн снимал этот фильм к десятилетию Великой Октябрьской революции. И чем дальше уходит время, тем больше эта картина воспринимается как документ. Поверить, что все это было инсценировано, а потом разыграно, что это художественный фильм, а не самая подлинная хроника событий, просто невозможно. Кстати, столь часто ссылаясь на этот эйзенштейновский шедевр, я тем не менее совершенно не убежден, что все, кто будет читать наш с вами диалог, имели возможность посмотреть фильм «Октябрь». Наш зритель из тех, кто следит за выступлениями в печати деятелей киноискусства, уже привык к тому, что, открывая газету, журнал, книгу, он неизменно сталкивается с перечнем великих имен наших киноклассиков — Довженко, Пудовкина, Эйзенштейна. Но спросите массового зрителя, хорошо ли он их знает. По книгам — да. А сами фильмы? Как правило, нет. Чтобы сложилось какое-то представление о великой русской театральной школе прошлого, действительно нужно порыться в специальной литературе — увидеть, как все это было, воочию невозможно. Но кино?! Показывайте, смотрите! А часто ли мы все это показываем народу, хорошо пропагандируем? Хорошая у нас память?..

Можно ли себе представить нашу жизнь вне постоянного общения с Пушкиным, Гоголем, Толстым, Чеховым? Нет. Бери книгу и читай. А вот к шедеврам отечественного кинематографа массовый зритель по своему желанию вернуться еще и еще раз не может:

это целиком и полностью зависит от тех, кто составляет программу кинопроката и телевидения. Так почему же мы не доносим в полной мере наше богатейшее кинематографическое наследие? А возможности для этого есть все, и тут огромную роль могло бы сыграть телевидение, когда за один вечер фильм может посмотреть вся страна. Замечательно, конечно, что в последние ноябрьские праздники показали наконец эйзенштейновский «Октябрь», но, по-моему, нельзя это делать столь эпизодически. Правда, учебная программа в этом направлении какие-то поиски ведет. А нужно бы подобные фильмы прокручивать систематически, в самое удобное для широкого зрителя время, заведомо его известив, что на такой-то месяц запланирован такой-то цикл кинолент прошлого. И не бояться чаще повторять фильмы, вошедшие в нашу киносекретишницу, — фильмы Эйзенштейна, Довженко, Пудовкина. Тут повторы только на пользу — чем чаще, тем лучше. Может быть, тогда и не будет возникать такая ситуация, когда приходится доказывать неоспоримость и правоту каких-то главных, основополагающих истин в кинематографе в силу того, что они уже крупно подзабылись не только зрителем, а уже даже нашим братом-профессионалом. Например, почему я хочу начать будущий фильм с эйзенштейновских кадров, почему в нем главным героем будет не отдельная личность, даже не сам Джон Рид, а народные массы.

Самое интересное, что и у Эйзенштейна были при обсуждении его сценария такие же замечания, как и у нас: не разработаны характеры, нет драматургии. Но он и не ставил перед собой такую цель. Я сознательно продолжаю традиции Эйзенштейна, и в фильме эта переключка с его «Октябрем» будет зримо показана. Наш фильм начнется с эйзенштейновских кадров. Вот смотрите по сценарию: здесь цифры — первый, второй, третий, это перечисление кадров «Октября». А вот это я вчера начертил. Большой квадрат и поменьше: больший как бы вбирает в себя тот, что поменьше. Вначале экран будет маленьким — черно-белое изображение — и пойдут эйзенштейновские кадры. Вот в сценарии видно, как это будет: «Царская корона, скипетр. Океанскими волнами колоссальных демонстраций колыхалось волнение рабочих масс. На вершине кипящего всеобщего водоема живой рабочий маленький человек встал на большую царскую корону. На чугунную корону памятника Александру III. Накидывается петля, натягивается канат». И когда статуя будет заваливаться, черно-белое изображение как бы двойной экспозицией перейдет в широкий формат. Какое-то время дей-

стве будет развиваться на двух экранах, а потом рамки уничтожатся, и наш фильм будет продолжаться уже в большом формате и в цвете.

Меня в Джоне Рида интересует образ поступательного движения масс на разных континентах — где-то в далекой Мексике и в Питере. И герой, равный по мощи гения движению этих масс, — Владимир Ильич Ленин. Еще раз повторю: кинематографическое решение книг Джона Рида я вижу прежде всего в раскрытии поступательного движения народных масс. Все, что происходит сегодня в мире, — страстная борьба народов всех континентов за свободу и социальную справедливость, когда каждый человек, где бы он ни жил, должен точно ответить себе, с кем он, каким он видит свой завтрашний день, день своей страны, ибо от этого сегодня зависит и жизнь всей планеты. Истоки всех этих космических по масштабам социальных процессов мы найдем у Джона Рида в его книгах.

Мне дорог суровый аскетизм требований к искусству Льва Толстого. Он словно предвидел современную болезнь западного искусства и своими суровыми, беспощадными к некоторым представителям «искусства для искусства» тезисами оберегал и предостерегал двадцатый век от возможных ошибок. У творческих деятелей Запада сейчас в моде тема апокалипсиса. Ею жонглируют, ее варьируют и так и сяк: «У нас нет ничего святого, нам нечего беречь, все равно впереди только конец». За искусство выдается прежде всего то, что способствует разобщению людей, нивелировке идеалов, распаду сознания и духовных

нравственных основ. Эта глубоко вредная по своей реакционной сущности направленность творчества некоторых наших западных коллег по искусству тем более обязывает нас, советских художников, нести и отстаивать в своих произведениях нравственную точность позиций отечественного искусства. Время требует от нас такой же страстности и социальной определенности, каким было наше искусство по энергии поисков и внятности позиций в первые десятилетия советской власти.

Блок. Маяковский. Мейерхольд. Станиславский. Эйзенштейн. Шостакович... На Западе пытаются разгадать, в чем же заключался секрет удивительного взлета этих художников, и эпигонски повторить их творческую манеру, не понимая наивной безнадежности таких попыток: нельзя пытаться уловить форму, оторвав ее от конкретного содержания, а значит, и совершенно определенной нравственной сущности. Мейерхольд и Станиславский, Маяковский и Блок — какие они разные по форме выявления, а нравственная сущность одна: вера в дело нового мира, верность новому миру.

Найти свою тему, уметь оставаться ей верным, пронести ее через всю жизнь — в этом для меня счастье художника. Счастье в таком простом старом понятии, как любовь к родине. Вне главного — вне чувства родины как огромной ответственности перед народом своим, перед землей своей, ее прошлым, ее настоящим, ее великой и прекрасной культурой — нет сегодня большой творческой судьбы.

Беседу вела ЕЛЕНА ДАНГУЛОВА.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Виталий Дончи. Духовность созидания.— И. Меттер. Наука расставанья.— Ирина Винокурова. Ладья на стремнине.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Эрнст Генри. Учиться полемике.— Р. Баландин. Наука, открытая молодежи.— А. Нуйнин. К абсолютам бесчеловечности.

Литература и искусство

ДУХОВНОСТЬ СОЗИДАНИЯ

Павло Загребельный. Разгін. Роман. Киев. «Радянський письменник». 1976. 672 стр.

Павло Загребельный. Разгон. Роман. Авторизованный перевод с украинского И. Новосельцевой. М. «Роман-газета», 1980, №№ 14—15.

Присуждение Павлу Загребельному Государственной премии СССР 1980 года за роман «Разгон», очевидно, не было неожиданностью, в частности, для украинского читателя — произведение широко обсуждалось в печати, получило известность и одобрительную оценку критики и читателей. Следует отметить, что 70-е годы, весьма плодотворные для писателя, были годами успешного завоевания им читателя. Можно долгое время работать в литературе, быть автором книг с огромным тиражом и все-таки не достигнуть того уровня контактов с читательской аудиторией, когда писатель радостно ощущает, что книги его знают, ждут, может быть, любят, во всяком случае — широко читают. Павло Загребельный создавал себе читателя: выпуская отдельные книги, публикуясь в толстых и тонких журналах, в украинской «Роман-газете», в сборниках, обращаясь к читателю с многочисленными выступлениями, интервью, статьями и, наконец, подписным изданием-шеститомником, оказавшимся «тесным», не вместившим еще значительную часть творчества писателя. Как видим, читательская публика завоевывалась уже самим «количественным наступле-

нием» на нее. Книги П. Загребельного постоянно есть, и в то же время их нет, они быстро (а исторические романы просто моментально) расходятся.

Думаю, сегодня достаточно широко знаком с творчеством П. Загребельного и всесоюзный читатель — достаточно сказать, что все его романы переводятся на русский язык, а «Разгон» печатался отдельными главами в «Огоньке», был опубликован в журнале «Молодая гвардия», затем вышел в Профиздате и вот сейчас в «Роман-газете».

Обо всем этом в журнальной рецензии можно было бы и не говорить, но в данном случае за несколько внешними факторами открываются и наиболее существенные черты художественного мировоззрения Павла Загребельного, находящие выражение в самой его поэтике и стилистике. И прежде всего это творческая и гражданская активность, страстность, беспокойство, темпераментность... Отсюда характерное для его прозы энергичное авторское, личностное начало. Отсюда открыто провозглашаемая писателем и его героями нетерпимость ко всяческой безликости, вялости чувств, усредненности мышления, инертно-

сти позиции. Бездушные исполнители, духовно дремлющие «никакие» — объекты критики во всех произведениях П. Загребельного. «Никакие люди самое страшное, что только можно себе представить», — бросает одну из своих полемически заостренных реплик главный герой «Разгона» академик-кибернетик Петр Карналь.

О романе «Разгон» и его герое написано очень много, высказывались согласие и несогласие, было «два мнения» (Б. Анашенкова и В. Оскоцкого) в «Литературной газете», и ныне пишущему невольно приходится избегать того, о чем, естественно, не раз говорилось, и останавливаться на моментах, не вызвавших единодушия и потому, может быть, особо интересных, вступать в полемику с отдельными оценками и суждениями.

В частности, некоторые неточности в анализе романа возникали, на мой взгляд, там, где не учитывалась особая, своего рода будирующая сверхзадача художественных поисков писателя. Начиная с середины 60-х годов П. Загребельный со свойственной ему бурной энергией работал и экспериментировал, пытался расшатать устоявшиеся в повествовательном жанре каноны, и при неизбежных здесь издержках в целом это не прошло бесследно для украинской прозы. Открытая проблемность, смелые композиционные новации, нарочитая субъективность повествования, использование условности, свободное преодоление жанрово-тематических перегородок (скажем, легкий переход от романа современного к историческому) — дорогу для этих обретений нашей прозы в немалой мере прокладывал именно П. Загребельный. Его стиливая манера определена украинскими критиками как эксцентрическая, такая, где акцент делается на умении живо и остроумно рассказывать, где органично уживаются, скажем, психология и публицистика, различные стиливые слои и приемы.

Публицистичность — естество прозы Загребельного, а это, по-моему, не всегда учитывалось рецензентами. Равно как и то, например, что по отношению к романтической, романтической дымке писатель выступает в основном с позиций антагониста. В принципе произведения П. Загребельного всегда имеют определенную точку отталкивания, содержат в большей или меньше мере проглядываемую, более или менее удачно реализованную полемику, а то и пародирование закостенелых, традиционных форм, приемов, стереотипов (и в первую очередь сентиментально-романтических опистальных тенденций).

И как следствие этого стиливой окраской прозы П. Загребельного нередко выступает ирония; не принимая во внимание ее раз-

рушающе-созидательную роль в романах, можно, мне кажется, многое недоосмотреть и недооценить в них. Вероятно, неизбежная при переводе с одного языка на другой потеря каких-то тончайших языковых нюансов мешает донести внутреннюю изменяющуюся по «тембру» ироничность авторской интонации, особенно в длинных, нарочито нагроможденных каскадах-периодах. Во всяком случае, постоянно звучащее в работах украинской критики о П. Загребельном слово «ирония» почти отсутствовало, скажем, при обсуждении романа «Разгон» «Литературной газетой». А между тем она ощущается и в этом, одном из самых серьезных романов писателя, посвященном ученым-кибернетикам, науке, ее роли в обществе и ответственности перед миром. Ирония угадывается в разных сценах и эпизодах — в частности, и в разговорах героев на самые важные и значительные темы, и в воспоминаниях о весьма трагических событиях.

Одна из главок начинается: «Приглашали, звали, требовали...» Речь идет о времени академика Карналя — личном и необходимом для сосредоточения, научного мышления. «Какой ученый, какое мышление, какое назначение?» — восклицает автор и разворачивает один из своих длинных перечней: «Директор научно-производственного объединения, член президиума двух академий, член коллегий трех министерств, консультант пятнадцати министерств, член редколлегии нескольких академических издательств... комитеты по премиям, жюри, Общества охраны памятников, природы, совет молодых ученых, Дом технического образования, комсомол, красные следопыты, радио, телевидение, газеты, встречи с трудящимися... Все хотят слышать, знать про кибернетику... все имеют право, все заслужили...»

Заканчивается этот иронически-патетический вал открыто проблемной эскападой и смягчающей ее улыбчивой концовкой: «Столкновение мыслей? Но ведь для того, чтобы мысли сталкивались, их надо иметь. Нужно время, время и время, нужны часы одиночества, нужна личная жизнь. А по телевизору мальчики в шелковых сорочках, покачивая электрогитарами, поют: «Сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня». Музыка Тухманова, слова Ножкина».

Можно привести немало примеров тонкой иронии в развертываемых автором параллельных характеристиках двух студентов: скромного, прошедшего фронт, плен, концлагерь, «не умеющего делать» биографию Карналя и «умеющего жить» бывшего интенданта Кучмиенко — в орденах и медалях, с неизменным «загадочным», предназначенным для внешнего эффекта томяком в руках...

Автор, то совпадающий с героем, то нарочито отстоящий со своим постоянно пристрастным, взволнованным или злым, ехидным комментированием, — еще одна специфическая черта прозы П. Загребельного, без которой трудно постичь особенности содержания и формы романа «Разгон», особенно те, что не лежат на поверхности. Но это все к слову. А между тем пора, очевидно, перейти и к более конкретному разговору о романе «Разгон».

Отвечая своим читателям и критикам в «Литературной газете», П. Загребельный писал: «Работая над романом «Разгон», я видел свою задачу в том, чтобы сказать о роли науки в современном мире, о месте ученого, способного преобразовать и улучшить этот мир... Не технология научного поиска, а поэзия поиска истины занимает писателя. Надо стремиться, конечно, показать быт в его подробностях и деталях... наполнить произведение живыми реалиями, но как бы не забыть при этом о философском смысле человеческого бытия».

Таким образом, автор прямо заявляет о своем стремлении постичь, осмыслить не только проблемы повседневные, бранные, но и прежде всего большие философские вопросы, характерные для нашего XX века, эпохи научно-технической революции. В духе современных тенденций «Разгон» многослоен, в нем пересекаются разные временные плоскости и плоскости пространственные, географические. Прежде всего в произведении раскрывается сегодняшний день, современность с ее стремительным ритмом, научно-техническими достижениями и тревогами. Вместе с тем яркими, запоминающимися эпизодами представлена война. Выразительные штрихи дают весьма впечатляюще почувствовать и атмосферу трудного послевоенного времени.

На переднем плане в «Разгоне» — город, городская жизнь, Киев, Одесса, Приднепровск, но есть и далекий конезавод в туркменской степи, предстающий в сочных, проникновенных воспоминаниях Карналя, есть и украинские Озера с их глубоко прочувствованными предметными и духовными реалиями — родное село Карналя, в котором он редко бывает, но которое так много значит в его жизни и, надо сказать, играет важную роль в романе, способствуя его большей емкости, стереоскопичности, что ли (к сожалению, в русском варианте не все сохранилось, особенно жаль подпавшие под сокращение колоритные и трогательные письма отца Карналя). Есть в романе Париж, куда Карналь прибывает для участия в международном «круглом столе», посвященной теме «Человек в стихии научно-технической революции». Карналь произносит там публицистически страстную, острую речь. П. Загребельный, верный себе, вводит ее как

есть — пространную, насыщенную информацией, с цитатами и ссылками, — отстаивая созидательно-гуманистическую точку зрения советского ученого на проблему развития человека в век НТР. Карналь не вступает в прямой спор со своими противниками, но избранная автором форма (речь героя), на мой взгляд, ничуть не ослабила идеологической наступательности, и объекты спора, опровержений Карналя обозначены весьма точно и резко. Вот так, скажем: «Нет науки всемирной, науки вообще. Она имеет все черты, противоречия, достоинства того общества, в котором развивается, и тех людей, которые в ней работают. И когда раздаются голоса о кризисе науки, то следует прежде всего говорить о кризисе общества, которое не умеет пользоваться достижениями науки и техники».

Так или иначе, а в конечном итоге в роман достаточно полно различными своими гранями вошли и наука, и политика, и мораль, и философия, и производство, и любовь, и быт, и семейные отношения, как, впрочем, и должно быть в романе, призванном в силу своей жанровой природы к широкому и многослойному охвату жизни общества.

Петр Андреевич Карналь не просто главный герой романа; в своеобразной современной трактовке он генератор всех образующих произведение проблемно-тематических слоев и сфер. Он и центр, объединяющий их. Я бы сказал, он своеобразная «обогащительная фабрика», ибо он не только вносит в роман высшие материи и категории, важную философско-нравственную проблематику, но и задает определенный интеллектуальный уровень, проявляющийся и тогда, когда речь идет, казалось бы, о простых житейских вещах. Помните, например, герой подумал о первом годе жизни без жены, о нестерпимой боли памяти, о своем состоянии отключенности, и вот уже мысль ученого переходит в свойственное ей русло: «Разве кибернетик в действительности не пребывает, так сказать, в духовном отъединении от реального мира с его жасающей хаотичностью и разве не вынужден всякий раз возвращаться в его неупорядоченность, которая не имеет ничего общего с деятельностью кибернетика, с его мечтами и амбициями? Это словно поражения после побед. Не успеваешь насладиться победами своего ума, и вновь поражения ежедневной жизни отбрасывают тебя на исходные позиции...» Обрываю на этом размышления героя. Согласитесь, приведенная цитата дает представление об одной из многочисленных в романе попыток ученого пробиться к истине, о его осознании огромных возможностей науки и вместе с тем... непостижимости действительности, природы, человека.

Это последнее (восхищение «неупорядочен-

ным» богатством жизни) является индивидуальной чертой Карналя — ученого и человека. Главный герой предстает — и на сей счет почти ни у кого из писавших о романе не возникло сомнений — как личность внутренне богатая, живущая интенсивной духовной жизнью. Активность мировосприятия, определенность и страстность отношения к жизни — главные для П. Загребельного человеческие качества. И, естественно, его герой наделен ими сполна. Нетрудно проследить в романе, как на каждом шагу проявляется общественно-социальная, гражданская энергия Карналя, его непримиримость к недостаткам, имеющая при этом конструктивный, созидательный характер.

Все убыстряющийся темп эпохи НТР, напряженность и нервность сегодняшнего мира Карналь чувствует близко и непосредственно. Но реакции героя на мир отличаются подлинной человечностью и духовностью. Коммунист Карналь не может замкнуться в себе, спрятаться в «своего рода современный монастырь», отрезать все контакты. Он всегда открыт жизни и людям; ни удары судьбы, ни уникальность его профессии не сделали его ни анакоретом, ни технократом, ни чиновным вельможей, в нем нет и следа душевного зачерствения, которое будто бы свойственно человеку нашего времени.

Творец, созидатель — мы часто употребляем эти слова, говоря о советском характере; в применении к академику Петру Карналю они звучат во всей полноте своего высокого смысла («Сумма духовности и героики», — определяет П. Загребельный антипод потребительского сознания).

Очевидно, мы далеко не все поняли бы в характере главного героя «Разгона», если бы писатель не рассказал нам о его военной судьбе. Жестокие испытания, через которые пришлось пройти Карналю, в частности пытки фашистского концлагеря, где остервенело затапывались понятия о достоинстве и человеческих ценностях и где все-таки не умирал святой, спасительный дух дружбы, мужественного самопожертвования и солидарности среди советских военнопленных, научили его многому. Он и сейчас часто слышит голоса друзей того тяжелого времени — Профессора и Капитана, — голоса его совести.

Важную роль для углубления образа героя играют вносящие в произведение, я бы сказал, интонацию высокой одухотворенной государственности встречи и доверительные беседы академика Карналя с секретарем ЦК Пронченко. «Все-таки я пугаюсь суеты и тривальной будничности... Иногда мне кажется, что это бездушный и даже бессмысленный мир. Вырабатывать сегодня больше, чем вчера,

чтобы завтра производить еще больше? А где межа, где конец, где успокоение?» — говорит в одной из таких бесед Карналь. Умно возражает ему Пронченко. Это тоже диспуты, глубокие и серьезные, но диспуты единомышленников.

Образ Карналя в «Разгоне» раскрывается многомерно. Похоже, автор боится, как бы его герой не показался читателю голубым, и он щедро наделяет его всяческими причудами, слабостями; герой бывает и вспыльчив, и неприветлив, не всегда умеет выбрать удачный момент для шутки или иронии; он часто мучается тем, что от него ждут «чего-то мудрого, уникального, единственного», словно бы он «своеобразное устройство», выдающее истины; нрав его сочетается упрямство и несмелость, особенно когда дело касается чего-то личного; он часто бывает жесток со своими сотрудниками, не обременяет себя пониманием их естественных человеческих потребностей. Автор обнаруживает множество различных граней, раскрывая характер Карналя, и если в одном из читательских откликов мелькнула мысль о распылении образа, то, возможно, причиной тому явилось некое недисциплинированное, чрезмерное обилие этих граней, самого материала, из которого вырастает образ.

Большое место в спорах о романе уделялось характеру Кучмиенко, проблеме, толкуемой многими как дьяволиада («дух зла», «Мефистофель при Фаусте» и т. д.). Сам автор присоединился к читателю, назвавшему нахрапистого проходимца и подлеца Кучмиенко чем-то наподобие... второго «я» Карналя, усматривающему в них единство противоположностей. Проблема эта станет, наверное, понятней, если взять ее в контексте всего творчества П. Загребельного. Вспомним, что весьма похожие типы, нарисованные столь же выразительно, встречались нам и в других романах — «Дне для грядущего» (Кукулик с заготовленным на все случаи жизни жупелом «есть такое мнение...»), «С точки зрения вечности» (Токовой с призывом: «Нам нужны обыкновенные средние специалисты, без фантазий и выкрутасов»), «Львином сердце» (лжепередовик Самусь с равнодушным принципом «все правильно»). В «Разгоне» Кучмиенко и его окружение с циничным девизом «не выпендриваться» («Тому, кто высказывает, оторвем голову, сиди и молчи») есть, наверное, более сложный вариант того же явления.

Кое-что объясняют и слова самого П. Загребельного, который в докладе на недавней Всесоюзной творческой конференции в Харькове (май 1980 года) призывал своих коллег и читателей задуматься над тем, как и чем следует объяснить те или иные отрицательные явления. Частнособственническими пережитка-

ми? Но если к ним еще можно отнести жадность, скупость, своекорыстие, религиозность, ханжество, то как объяснить лицемерие, рвачество, беспринципность, карьеризм, интриганство и, «наконец, бездарность, посредственность, сопровождающуюся завистью и подлостью, этот сальеризм, ставший поистине демоном двадцатого столетия»?.. Словом, изображая Кучмиенко, писатель, видимо, думает об отрицательных явлениях, находящихся где-то рядом с положительными, иногда и в них самих. Эти явления нельзя назвать единичными, они социально детерминированы, но в то же время принадлежат к общечеловеческим, искоренение их — дело не одного дня. Тем это важнее.

Образ Кучмиенко, хотя сюжетно не все действия его оправданы, хотя, как большинство отрицательных персонажей П. Загребельного, он исчерпывающе обрисован в своей социально-психологической типологии и менее выразительно — в психологии индивидуальной, весьма важен в романе. Коллизия Карналь — Кучмиенко отражает постоянно исследуемую П. Загребельным и тем более органичную в этом романе проблему — конфликт таланта и посредственности, агрессивного и никакого, людей духовно одаренных и духовно убогих.

Всем сказанным, безусловно, не исчерпываются ни проблематика, ни художественно-стилевые особенности «Разгона». Можно было бы

подробнее остановиться на непринужденной насыщенности романа информацией, на пристрастии автора к самовозникающим в ходе повествования большим и меньшим проблемам — писатель тем самым как бы поощряет интерес читателя не к сюжету, а к тексту как таковому.

Можно было бы отметить точность и изобразительную выразительность многих деталей в романе (например, маленькие мальчики-туркмены в огромных мохнатых шапках, танцующие нечто дико-артистическое) и щедрую наполненность повествования афоризмами, юмором, парадоксами...

Можно, или, вернее, следовало бы, не ограничиться общей фразой о точности, высоком уровне перевода, а показать, скажем, как умеет известный и опытный переводчик И. Новосельцева оставаться незаметной, как тактично может в напряженном эпизоде сохранить украинское «батьку», где все иное просто губило бы органичную эмоциональность и интонацию.

Можно было бы поразмышлять и над тем, что менее удалось писателю... Но здесь представлялось целесообразным затронуть некоторые общие вопросы творческой манеры Павла Загребельного в связи с романом «Разгон» и раздумьями, им порожденными.

Виталий ДОНЧИК.

Киев.



НАУКА РАССТАВАНЬЯ

Маргарита Алигер. Тропинка во ржи. О поэзии и поэтах. М. «Советский писатель». 1980. 399 стр.

Сейчас уже не припомнить, с чьей легкой руки повелось комплиментарный отзыв о прозаической книге, написанной поэтом, возвышать словами проза поэта. Критик, впервые употребивший это словосочетание, возможно, полагал, что стихотворец, вступивший на земную стезю прозаика, словно бы приподымает ее над грешным земным уровнем. А между прочим, никому не приходило в голову, скажем, «Повести Белкина» пышно обозначать прозой поэта — повести эти именуются гораздо скромнее и проще: гениальной прозой. Однако пренебрежем, быть может, бестактной иронией. Разумеется, это прекрасно, если поэт всегда остается поэтом и стилистика его прозаического произведения рождена иной, поэтической оптикой, вроде бы хрусталик его глаза фиксирует то, что далеко не всегда присуще зрению прозаика.

А вот книга Маргариты Алигер «Тропинка во ржи», хотя и имеющая подзаголовок «О

поэзии и поэтах» (более того, само название книги — это обрывок цитаты из стихотворения Алигер), написана намеренно самым прозаическим стилем. Помимо того, я думаю, намеренно, что тяжкая задача, поставленная перед собой автором, под силу именно прозаику, да еще не всякому.

Воспоминание, мемуары — пожалуй, самый вольный, неуправляемый род литературы, почти не подчиняющийся определенным законам жанра, если подобные законы вообще существуют. Помимо того, что мемуарист способен что-то забыть или напутать, он еще может припомнить то, что следует забыть. Обычно мы особо ценим те мемуары, где автор присутствует в малой степени, — нас ведь интересует и волнует все, даже мелочь, характеризующая ту выдающуюся личность, которую автор знал и рассказывает нам о ней. Самому автору положено быть все-таки в тени.

Однако в этом смысле книга Маргариты

Алигер парадоксальна и уж во всяком случае необычна. Меня, читателя, совершенно естественно, интересуют и глубоко волнуют великолепные поэты, ярчайшие личности, о которых она пишет, но, пожалуй, в соизмеримой степени и сама Маргарита Иосифовна. Для того чтобы у читателя возникла подобная заинтересованность, автору воспоминаний необходимо обладать особым даром и завоевать особое право. Из чего же, мне кажется, из каких душевных и духовных ценностей состоят и этот дар и это право автора «Тропинки во ржи»?

Алигер не соблюдает в своих воспоминаниях бесстрастие историка, она ни капельки и не стремится к этому. Да по правде сказать, читателю было бы если не подозрительно, то уж во всяком случае нежелательно и неприятно это бесстрастие: события, психология, судьба людей давних лет — в общем-то, не столь уж и давних — настолько прихотливо смещены и чреваты всяческими зигзагами, что перед честным и мужественным мемуаристом неизменно стоит как бы двойная задача: следует достоверно поведать, как было, как ощущали себя люди того времени, в том числе и сам мемуарист, однако не менее важно, что он думает нынче о том времени и опять-таки о себе того времени. Мужество мемуариста и его правдивость заключаются для нас, нынешних, в том, чтобы, вспоминая минувшие годы, он не опрокидывал себя сегодняшнего в те времена, не вооружал себя тогдашнего нынешней прозорливостью задним числом.

Память человека избирательна. Разные люди, наблюдающие одно и то же явление, запоминают вовсе не одинаковые черты этого явления. И тут дело не в крепости, не в стойкости памяти, а в нравственном облике человека, причисляющего то, чему он был свидетелем. Наблюдая жизнь, мы прежде всего видим то, что нам хочется увидеть, то, что соответствует нашему душевному и духовному складу. Кстати, опытные юристы знают эти свойства свидетельских показаний и относят к ним с выборочной осторожностью.

Субъективность показаний Маргариты Алигер, субъективность, которую она не только не скрывает, но даже настаивает на ней, завоевана глубиной и богатством ее мысли, душевной тревогой и болью, с которыми она прикасается к самым острым периодам прожитой жизни. Алигер хорошо знает, что восклицание «не сыпать соль на раны!» исходит не от раненых, а от здоровых.

Да и, вообще говоря, почему уж это так зазорно — мыслить субъективно? Все дело, я полагаю, в том, как о в с у б ъ е к т. Изречь объективные соображения способен по-

рой, между прочим, и совершенно ничтожный человек. Его и не видно будет за этими или, если хотите, под этими соображениями. Не говоря уж о том, что те мысли, что представлялись нам в свое время субъективными, случалось, оказывались потом вполне объективными.

Я упоминал, что в подзаголовке книги «Тропинка во ржи» обозначено: «О поэзии и поэтах». Это верно в той степени, что Маргарита Алигер выстраивает перед нами блистательную гвардию русских советских поэтов — их имена врублены в историю нашей литературы. Личное же, близкое знакомство автора с ними сообщает их портретам некую стереоскопичность. Однако «Тропинка во ржи» — книга не только о поэзии и поэтах. Она о времени. Об огромном по нашим масштабам отрезке эпохи, истории.

Применительно к прошлому веку мы привыкли оперировать такими понятиями, как шестидесятники, то есть люди 60-х годов, семидесятники и так далее, вкладывая в эти понятия совершенно отчетливый, просеянный сквозь железное сито истории смысл. Но ведь и применительно к нашей убыстренной эпохе, мысля подобными же категориями, нарезая время ломтями десятилетий, можно, пожалуй, говорить о людях 20-х, 30-х, 40-х военных, 50-х, 60-х годов. Разумеется, это некое весьма условное деление, тем паче что, скажем, 50-е годы достаточно рельефно делятся на первую половину и вторую. Живя, если можно так сказать, внутри десятилетия, мы не всегда разбираемся в характерных его особенностях, но отойдя от него на достаточное расстояние, начинаем различать и это десятилетие и себя, свою судьбу в нем. Ярче, отчетливее становятся высоты и горестней заблуждения.

Судьбы людей, о которых пишет Алигер, их сложнейшая жизнь, титаническая работа, созидавшая славу нашей литературы, прошли сквозь несколько десятилетий, обожженных не только пламенем войн, но и теми битвами мирного времени, от которых остаются рубцы на сердце. В истории литературы случается и так, что смерть подлинного поэта, хоть и настигла его дома, в постели, равносильна гибели на поле сражения.

Даже от одного лишь перечня тех великодушных писателей, которых знала и вспоминает Маргарита Алигер (Ахматова, Эренбург, Чуковский, Твардовский, Маршак, Заболоцкий, Мартынов, Светлов), от возможности узнать их и нам, пускай посмертно, но поближе, крупнее и в то же время «домашнее», — от одной этой возможности у самого широкого читателя, любящего литературу, захватывает дух. Нигде, ни в единой строчке сво-

их воспоминаний Алигер не опускается до того, чтобы сообщить читателям так называемые интимные подробности жизни всех этих замечательных людей,—боже, как охоч до таких подробностей мещанин! Именно об этой отвратительной страсти черни брезгливо и гневно писал Пушкин в своем многократно цитированном письме Вяземскому.

Быть лишь современником любимого писателя — уже счастье. Ощущать же его присутствие поблизости с твоей душой, с твоими мыслями о жизни, поверять свои поступки не только судьбами его литературных героев, но и высокой мерой его личного общественного поведения — этим огромным счастьем была многократно одарена Маргарита Алигер. И столь же многократно ей приходилось расставаться... Науку расставанья, горчайшую из наук, она изучила до конца. А эта горестная наука прежде всего воздействует на совесть: мы всегда чувствуем себя виноватыми, когда близкий нам человек уходит из жизни. Мы виноваты даже тогда, когда ни в чем нет нашей вины.

Совестливостью и душевной тревогой из-за того, что судьба порой бывала жестоко сурова к людям, о которых вспоминает автор, пронизана ее «Тропинка во ржи». Сколько бы мы ни твердили, что подлинный талант непременно в полный рост встанет при жизни, на самом-то деле, увы, это далеко не всегда так. Несравненно легче пробивается бездарность, она растет, как трава, взламывая на своем пути и булыжники, и асфальт, и бетон. И размножается она самосевом — ветер охотно разносит ее семена на все четыре стороны света.

При всем своем глубоком уважении, а порой даже восхищении и почтительности, испытываемых Маргаритой Алигер к всемирно известным писателям, которых она вспоминает, книга ее вовсе не апологетична: когда этого требует правда жизни и совесть Алигер, она не скрывает ни своего несогласия, ни прямого неодобрения, если ей казалось или даже кажется нынче, что поступок или суждения знаменитой личности были ошибочны либо капризно несправедливы.

Чем крупней и неповторимей человек, тем меньше возможностей у одного мемуариста дать исчерпывающий портрет этого человека. И, естественно, единственная возможность составить о нем более или менее широкое представление — это вслушаться в воспоминания разных людей, знавших его. Пусть при этом неизбежно возникнут некие противоречия — они, кстати, далеко не всегда результат ошибок или пристрастий мемуариста,

а дело тут в противоречивости самого объекта воспоминаний, ибо крупность личности вовсе не равнозначна последовательности и прямолинейности ее жизненного и творческого пути. Будь даже человек семи пядей во лбу, он изменяется на протяжении своей долгой жизни, в особенности же если и сама жизнь, случается, утрачивает вождеденную прямолинейность. Я к тому это говорю, что среди мемуаристов попадают авторы, полагающие, что лишь они одни обладают каким-то монопольным, чуть ли не священным правом на доподлинное знание человека, о котором пишут.

Мне посчастливилось на протяжении более чем двух десятилетий начиная с 40-х роковых годов быть достаточно близко знакомым с великим поэтом Анной Андреевной Ахматовой. Я пишу — поэтом, ибо Анна Андреевна терпеть не могла слова «поэтесса». И если мое свидетельство хоть чего-нибудь да стоит, то могу подтвердить, что воспоминания Маргариты Иосифовны Алигер помимо того, что они отлично написаны, еще и удивительно достоверны. Достоверны в главном — в передаче интонаций Анны Андреевны, в изображении ее несломленно-гордой, царственной природы и трагедийной судьбы.

Особенность «Тропинки во ржи» еще и в том, что автор не только делится с читателем воспоминаниями — это, разумеется, свойственно всякой мемуаристике, — но несравненно реже встречаются такие воспоминания, в которых автор умно и тонко, с предельной искренностью и доверием к читателю анализирует минувшее время, хотим мы этого или не хотим, ставшее историческим.

Нынче понятие поколение приобрело иные скорости. Пятнадцать — двадцать лет, срок, казался бы молекулярный для истории человечества, но эпоха наша столь расточительно щедра на такие перемены в жизни, что всякое новое поколение рискует не узнать, что же было до его сознательного существования. И не потому ли мы нередко наблюдаем огорчительную историческую беспомощность иных молодых людей, их невооруженность жизненным опытом, ибо жизненный опыт человека складывается не только из его личных наблюдений и впечатлений, но и из опыта предыдущих поколений.

«Тропинка во ржи» Маргариты Алигер действительно, как указано в подзаголовке, рассказывает о поэзии и поэтах, но тропинка эта еще и выводит читателя на дорогу, ведущую к познанию действительности.

И. МЕТТЕР.

Ленинград.



ЛАДЬЯ НА СРЕМНИНЕ

Арсений Тарковский. Зимний день. Стихотворения. М. «Советский писатель». 1980. 96 стр.

В новой своей книге Арсений Тарковский, скажем сразу, новый, мало похожий на себя прежнего.

Но что значит прежний Тарковский? С этого, по-видимому, и должно начинать. Слово «традиционный» и даже «традиционнейший» прочно прикреплено к его имени. Так писали о нем десять лет назад, так пишут и сегодня. Но если вдуматься, то трудно было бы назвать поэта оригинальнее, чем он. Оригинальнее прежде всего в силу необычности традиции, питающей его стихи.

Но где же традиция Тарковского, поэта подчеркнута философского плана, со всей определенностью заявившего когда-то: «Я не живописец, мне детали ни к чему, я лучше соль возьму»? В поэзии Баратынского? Едва ли. Психологическая изощренность Баратынского, скрупулезность его духовного самоанализа в целом не свойственна Тарковскому. Он как раз старается умолчать о болях своих и радостях, оторваться, воспарить над конкретным, живым своим человеческим «я». Тогда, может быть, в поэзии Тютчева? Тоже вряд ли. Принцип философской лирики, открытый Тютчевым, — движение мысли от единичного, конкретного (например, позы, жеста) — не нашел в Тарковском своего продолжателя (как, скажем, в Заболоцком с его «Некрасивой девочкой»). В этом смысле Тарковский еще «до Тютчева», повседневность обычно не входит в его стихи даже в качестве отправной точки лирического движения. Словом, если искать истоки его поэзии, то ближе всего, пожалуй, окажется традиция поэтов-любомудров (Веневитинова, Хомякова, Шевырева и других), традиция, что и говорить, необычная для современной лирики. Ведь это именно они, любомудры, ввели в историю литературы характерный образ поэта, поэта-философа, чуждого лично, погруженного в поиски объективных законов бытия.

Считается даже, что знаменитое пушкинское утверждение двойственной природы поэта («Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...») полемически направлено против максимализма любомудров, отрицавших значение индивидуального, «человеческого» опыта в искусстве.

И не с Пушкиным ли в свой черед полемизирует Тарковский, предлагая такую формулу поэта: «Не человек, а череп века, его чело, язык и медь»?

«Не человек»? А отсюда и бросающийся в глаза парадокс лирической биографии Тарковского. Необычайно подробная, яркая вначале

(как живо представляем мы себе детство поэта: и этот город, пыльный, провинциальный, пропахший ванилью; и отчий дом, небогатый, веселый, интеллигентный дом с отцовским кабинетом, где «плед Гарибальди и Герцен под локтем», с маминной спальней, где «пахло спиртовкой, фиалкой...»), эта биография вдруг неожиданно и резко обрывается. И тщетно мы будем искать в других стихотворениях Тарковского конкретные биографические приметы — детское, подробное бытие так никогда и не сменится в его поэзии взрослым, пусть и не столь благополучным, но столь же фактурным, житейски обстоятельным бытием.

Одно из новых стихотворений Тарковского объясняет нам эту странность: муза, совсем как в старину явившаяся отроку, лишила его конкретной, по-своему драматичной человеческой судьбы, вручив вместо нее судьбу п о э т а:

Я — Нестор, летописец мезозоя,
Времен грядущих я Иеремия...

А отсюда и присущая Тарковскому способность видеть, судить и осмысливать мир не с позиции частного человека, а с точки зрения века и вечности. Вот одно из самых характерных для Тарковского стихотворений — «Песня под пулями»:

Мы крепко связаны разладом,
Столетия нас не развели,
Я волхв, ты воля, мы где-то рядом
В текущем словаре земли.

Ну кто бы мог сказать, не зная названия, что это стихотворение о... войне?! Кто еще из современных поэтов сумел бы так увидеть, так осмыслить, причем не потом, а немедленно, конкретную ситуацию боя? Кто еще из поэтов в минуту смертельной опасности, под вражеским обстрелом смог бы ощутить себя не бойцом, не человеком (вспомним хотя бы знаменитое гудзенковское: «Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины»), а неким созидающим, одухотворяющим началом, противостоящим началу дикому, хищническому, разрушительному? Кто, наконец, решился бы столь безоговорочно пожертвовать своим жгучим, непосредственным человеческим опытом, не посчитать именно этот опыт преодоления себя, своего страха жизненно важным, крайне существенным для других?..

А отсюда и отношения Тарковского с читателем, отношения совершенно особые, в свою очередь не похожие на то, к чему мы привыкли... Он не воспитывает, не наставляет читателя, как это делает, к примеру, в своей

поэзии Б. Слуцкий, по-прежнему ощущающий себя учителем «школы для взрослых». Он и не исповедуется, не изливает перед читателем душу, как это делает, к примеру, А. Межиров, ищущий в читателе «случайного попутчика». В своих стихотворениях Тарковский вообще не обращается к читателю прямо. Кажется, лишь однажды он шутливо спросил его:

Кто, Державину докука,
Хлебникову брат и друг...?

Этот вопрос — определенного рода тест, тест на выявление своего читателя, читателя, способного незамедлительно понять, что речь идет о «кузнечике». И если Слуцкий рассчитывает на читателя прежде всего «внимающего», если Межиров ждет читателя в первую очередь «участливого», то Тарковский не может существовать без читателя образованного, свободно ориентирующегося в русской поэзии. Ведь именно русские поэты от Державина до Хлебникова, Ахматовой и Заболоцкого — любимые собеседники поэта. Эпиграф или имя, цитата или одно лишь характерное слово, а иногда и парафраза его — знаки напряженного, как иногда говорится, цехового разговора. Этот разговор во всем его объеме и должен уметь восстановить читатель Тарковского. Вот, к примеру, стихотворение «Ласточки»:

Летайте, ласточки, но в клювы не берите
Ни пилки, ни сверла, ие делайте открытий,
Не подражайте нам...

В этих таинственных на первый взгляд строках зашифрован, думается, намек на державинскую «Ласточку», как известно, начинающуюся словами «О, домовитая ласточка...». А если вспомнить, что речь в стихотворении Державина идет о самом поэте (ласточка ведь традиционный символ души), то смысл протеста Тарковского — «но в клювы не берите ни пилки, ни сверла» — станет очевидным. Он полемизирует с Державиным — певцом домашности, с Державиным — автором «Жизни Званской», умеющим так упиваться плотскими радостями. Вслед за любомудрами, в свое время с укором писавшими: «...русская муза расхаживает по комнатам и рассказывает о домашних мелочах, не поднимаясь от земли к небу, истинному своему жилищу!» — Тарковский не хочет, чтобы душа поэта была домовитой, хозяйственной, чтобы кружила, вилась над собственным гнездом.

Не случайно из всех дорогих его сердцу поэтов, мыслителей, ученых (а список их весьма обширен — «...от Алигьери до Скиапарелли...») в качестве некоего эталона Тарковский выбрал себе строгую фигуру Сквороды: «Не искал ни жилища, ни лица в споре с кривдой и с миром не в мире, самый косноязыч-

ный и нищий изо всех государей Псалтыри». «Самый нищий» — вот что нужно, вот что важно Тарковскому. Это слово сохраняет в его поэзии свой библейский, торжественный пафос, означает подлинное величие духа. В своих стихах поэт хотел бы быть таким же странствующим философом, таким же нищим, лишь небо да звезды имеющим над головой.

Как это близко на первый взгляд к программному заявлению Мандельштама: «И, если подлинно поется и полной грудью, наконец, все исчезает — остается пространство, звезды и певец». Но это только на первый взгляд. Ведь если в поэзии Мандельштама звезды становятся символом жестокости, холода, равнодушия, ибо им решительно противостоит такой же вечный мир домашности, обжитости, человеческого тепла, то в поэзии Тарковского они сохраняют свою исконную поэтичность, свой исконный положительный пафос. Ибо этот горный мир и есть единственный и настоящий мир его поэзии. Не случайно в минуту вдохновенья, в минуту экстатического напряженья, как это явствует из стихотворения «До стихов», окрестный мир предстает ему не в своем конкретном, «закономном» обличье, а в предельно обобщенном ракурсе, как бы увиденный из космоса:

Окрестный мир стоял в короне
своих морей и городов.

С такого расстояния все оттенки, подробности, детали реального пейзажа — летнего или зимнего, грустного или веселого — естественно, не видны, попросту неразличимы глазом. Видна лишь кипучая непрерывность жизни биологической, вечный круговорот природы. А отсюда и характерное для Тарковского ощущение:

...На свете смерти нет.
Бессмертны все. Бессмертно все. Не надо
Бояться смерти ни в семнадцать лет,
Ни в семьдесят. Есть только явь и свет,
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.

Таков Тарковский прежний, автор «Перед снегом», «Земле — земное», «Вестника». Однако в его последнем сборнике — «Зимнем дне» — ракурс зрения существенно меняется. Поэт уже не стремится объять взглядом всю вселенную, весь мир с его прошлым и будущим, ему хочется «поближе» рассмотреть лицо природы, сосредоточиться на одном-единственном дне — «зимнем». Стихотворение «Зима в лесу» представляется ключевым:

Свободы нет в природе,
Ее соблазн исчез,
Не надо на свободе
Смущать ноябрьский лес.

Застыли в смертном сраме
Над собственной листвою
Осины вверх ногами
И в землю головой.

Уже первая строка, полемически обращенная к программному тютчевскому «Не то, что мните вы, природа...», в частности, к словам: «В ней есть душа, в ней есть свобода», — выявляет для внимательного читателя скрытый драматизм стихотворения, расширяя контекст его до контекста тютчевской лирики. Ведь если Тютчев видит в осеннем лесу естественную легкость временного умирания (вспомним хотя бы «Обвеян вещею дремотой...»), умирания, облегченного веющим знанием о грядущей весне, а потому изящного, грациозного («Как увядающее мило! Какая прелесть в нем для нас...»), то для Тарковского картина ноябрьского леса являет собою всю грубую наготу смерти жестокой, насильственной. Отсюда и следующие одна за другой метафоры к а з н и:

В рубашке погорельца
Идет Мороз-Кошей,
Прищелкивая телца
Опавших желудей.

А дуб в нафтани рваном
Стоит, на смерть готов,
Как перед Иоанном
Последний Колычев.

Теперь Тарковский уже не скажет, как некогда, столь же уверенно и победно: «Не надо бояться смерти ни в семнадцать лет, ни в семьдесят». Оказалось, что бесконечность живой жизни никак не отменяет реальную трагедию индивидуального существования. Ощущением этой трагедии и проникнуто стихотворение «Зима в лесу».

Пафос этого рода, думается, принципиально нов для Тарковского. Здесь как бы впервые он вспомнил о тленной, земной своей ипостаси, впервые ощутил себя не счастливым избранником муз, пьющим прочное, надежное бессмертье в слове («Есть высоты властительная тяга, и потому бессмертен я, пока течет по жилам — боль моя и благо — ключей подземных ледяная влага, все эР и эЛЬ святого языка», — писал он когда-то), а просто «братом листвы и трав», просто человеком.

Не случайно так мощно разросся и вглубь и ширишь цикл стихотворений о детстве. Теперь мы можем во всех подробностях представить себе не только город, не только дом, но и самого героя — мальчика. Более того, стихотворение о дне его рождения играет в книге особую, символическую роль:

Дождь по саду прошел нанануне,
И просохнуть земля не успела:
Столько было сирени в июне,
Что сияние мира синело.

И в июле, и в августе было
Столько света в трех окнах, и цвета
Столько в небо фонтанами било
До конца первозданного лета,
Что судьба моя и за могилой
Днем творенья, как почва, прогрета.

Поэт так подчеркивает, казалось бы, вполне случайный факт, что этот день пришелся на июнь, на сирень, на теплынь, что поневоле напрашивается ряд противопоставлений: буйства сирени — отрепьям зимнего леса, тепла — стуже, дня летнего — дню зимнему. Словом, в таком контексте тема зимнего дня начинает звучать особенно лично, горько, пронзительно. Это печаль не просто о человеке, но и о себе том, родившемся в июне мальчике.

Естественно, что возникновение этой новой, «частной» точки зрения привело к переосмыслению в лирике Тарковского традиционных поэтических образов, в частности центрального в книге образа зимы. Вопреки классической традиции ярко-снежная, ослепительная зима в новой книге Тарковского становится символом опасности, жестокости, гибели:

В снежном, полном веселости мире,
Где алмазная светится высь,
Прямо в грудь мне стреляли, как в тире,
За душой, как за призом, гнались.

Отсюда и характерное значение слова «ледяной», что в контексте книги означает смертельный. Вот почему в стихотворении «Засуха» Тарковский пишет: «Навечно осталась от зноя в крови ледяная игла».

Истоки этой символики, нам кажется, можно найти в давнем стихотворении Тарковского «Беженец». Там впервые возник образ снежного, ледяного и равнодушного вельможепия:

Я ноги отморожу на ветру,
Я — беженец, я никому не нужен,
Тебе-то все равно, а я умру.

Что делать мне среди твоих жемчужин
И кованного стужей серебра
На черной Каме, ночью, без костра?

С тех пор, по-видимому, любая зима, любой роскошный зимний день неразрывно связаны в памяти Тарковского со страшной военной зимой на Каме, с гибелью, как можно предположить, близкого человека. Однако прорваться этому своему субъективному ощущению, своеобразно окрасить сияющие выси в траурный цвет поэт позволил лишь в этой книге.

В прежних сборниках Тарковского боль от потери друга-поэта компенсировалась в какой-то степени сознанием его поэтического бессмертия — таково, к примеру, развитие темы в цикле «Могила поэта», посвященного памяти Н. Заболоцкого. Однако для цикла, посвященного памяти Анны Ахматовой (во-

шедшего в новую книгу), характерно обратное движение: от рациональной убежденности во власти поэта над временем («...в твоём грядущем, как в раю») Тарковский идет к сердечной, ничем не утолимой тоске («Что, если память вне земных условий бессильна день восстановить в ночи? Что, если тень, покинув землю, в слове не пьет бессмертья? Сердце, замолчи...»).

Однако сердце поэта в этой книге впервые отказалось подчиняться голосу разума, внять чисто умозрительным, логическим доводам. Поэт как бы впервые ощутил всю важность, всю значительность своего личного, человеческого опыта, впервые признал за ним право на существование в стихах. Не на любомудров, пожалуй, ориентируется в этой книге Тарковский, а на другую, во многом противоположную им традицию.

Не случайно имя Пушкина так часто встречается в «Зимнем дне». В частности, цикл из четырех больших стихотворений назван «Пушкинские эпитафии»; под явным влиянием «Домика в Коломне» написана и повесть «Чудо со щеглом», повесть немислимая у прежнего Тарковского и вполне естественная для нового. Герой ее — обыкновенный человек, живущий не в веках, а на конкретной подмосковной станции («Снимал я комнату когда-то в холодном доме на Двадцатой версте...»), среди густого, подробно описанного быта («Жизнь повернуло на поправку; я сам ходил за хлебом в лавку, на постном масле по утрам яичницу я жарил сам, сам сыпал чай по горсти в кружку...»). С этих же подчеркнута «земных» позиций здесь трактуется и главная тема книги — тема рокового зимнего дня. Тарковский не предлагает положительного решения этого вопроса, ничего не обещает, ничего не сулит... Он просто призывает читателя радоваться на-

стоящему: солнцу, весне... Поэт впервые дает читателю конкретный ж и з н е н н ы й совет, впервые сообщает, пусть полусутоливо, собственный рецепт счастья. Не удивительно, что именно в этой книге Тарковский как бы впервые задумался о своем будущем читателе, с тревогой и надеждой ожидая встречи:

И это не книга моя,
А в дальней дороге без весел
Идет по стремнине лады,
Что сам я у пристани бросил.

А в самом деле, как встретит читатель, знающий и любящий поэзию Тарковского, новую его книгу? Ведь нет в ней резкой необычности, гармонической цельности его прежних книг. Горний мир уже оставлен поэтом, а новый, дольний, не совсем еще обжит, не окончательно освоен им лирически. Так, слабый голос «малых сих», и, в частности, квартирной хозяйки из «Чуда со щеглом», услышанный Тарковским (раньше он чаще слышал «стоны» гениев: «Пускай меня простит Винсент Ван Гог за то, что я помочь ему не мог...»), в сущности, остался без ответа, а «повесть», соответственно, без убедительного, соразмерного конца.

И все же читатель, нам кажется, встретит сочувственно эту столь важную для Тарковского книгу. От несколько холодноватого интеллектуализма поэт идет в ней к обнаженной сердечности, от сложности идет к простоте. К той простоте, о которой в свое время говорил Пастернак:

Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.

Видимо, этот путь закономерен для поистине серьезного художника.

Ирина ВИНУКUROVA.



Политика и наука

УЧИТЬСЯ ПОЛЕМИКЕ

Об искусстве полемики. М. Политиздат. 1980. 303 стр.

Полемика всегда была и всегда будет в обиходе людей. В наш век драматических классовых столкновений и стремительной научно-технической революции, ставящей перед обществом все новые вопросы, мы слышим звучание полемики день за днем: в области политики, в сфере науки, техники, культуры, искусства — повсюду. Так или иначе она затрагивает каждого из нас. Poleмика — один из важнейших двигателей исторического процесса, она убеждает или переубеждает. И уметь полемизировать необходимо отнюдь не только специалистам.

Прежде всего полемика ведется на фоне идейной борьбы двух существующих в нашу эпоху социальных систем. Борьба эта становится все более острой и всеобъемлющей. Вот почему выход книги «Об искусстве полемики» можно считать вполне своевременным. Она будет нужна многим.

Исходя из постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы», авторы пишут о том, как повысить эффективность и качество полемики против идейных противников социа-

лизма. Прочитав книгу, приходишь к выводу, что это им в значительной степени удалось. Она действительно может помочь журналистам, пропагандистам, лекторам, литераторам приблизиться к овладению искусством полемики. Ибо речь идет именно об искусстве, а не о технике.

В книге ставится целый ряд вопросов: марксистско-ленинские принципы критики буржуазной идеологии и пропаганды, стратегия и тактика полемической борьбы, логика и аргументация в полемике, социально-психологические аспекты полемического искусства. Говорится также о языке и стиле полемики и об особенностях критики буржуазной идеологии и пропаганды в современных условиях. Коснуться каждого из этих вопросов в краткой рецензии, разумеется, невозможно. Но читателей литературно-художественного и общественно-политического журнала, вероятно, особенно заинтересует глава «Язык и стиль полемики».

Это удачная глава написанная смелым пером опытного журналиста, противника трескотни и канцелярского языка. И то и другое для хорошего полемиста абсолютно неприемлемо. Автор главы понимает, что иметь правильные убеждения еще не дает кому-либо права наводить на читателя скуку. Полемика умирает, когда она неинтересна.

Автор опирается на высказывания В. И. Ленина. Основатель Советского государства был целиком и полностью за живой, звучный язык, за боевую, увлекательную, наступательную полемику, хотя ни в коем случае не крикливую, второе не имеет никакого отношения к первому. Ленин требовал от партийных литераторов, чтобы они писали «не канцелярским, а революционным языком», в «рельефной, лаконической, красивой форме», «в форме ясной и захватывающей». Ему, отмечается в книге, «были органически чужды в полемике бесстрастный и скучный объективизм, холодная рассудочность, «профессорский», сухой, деревянный тон ученой статьи. Он говорил, что всякий убежденный в своем мнении человек, думающий, что он дает нечто новое, пишет «с задором». Только у людей, привыкших сидеть между двух стульев, нет никакого задора».

Все изложение у Ленина, подчеркивается далее, проникнуто наступательным порывом. Речь у него развергивается стремительно, бурно, с нарастающей силой. Это какая-то неудержимая политическая лавина, обрушивающаяся на противника и не оставляющая камня на камне от его взглядов и рассуждений. Здесь отточено, заострено и направлено прямо в цель каждое слово. Обращает на себя внимание блестящее использование коротких,

ударных, однородно построенных фраз — они подчеркивают, усиливают, обостряют иронию и сарказм.

Приводя в пример ленинский памфлет «Пролетарская революция и ренегат Каутский», автор продолжает: памфлет этот «отличается поразительным художественным единством, огромной силой внутреннего сцепления всех средств сатирического осмеяния. И секрет этой цельности — в глубоко эмоциональной окраске, полемической страстности речи, в ее интонации». Это именно так. Политические и теоретические труды Ленина отличаются глубочайшей научной, можно сказать, математической точностью. Но когда он напал на противника с оружием полемического памфлета, он не пренебрегал эмоциональностью. И то, что об этом говорится в данной книге, прямо касается не только профессионального идеологического работника, но и любого писателя, мастера художественного слова.

Возникает ряд связанных с этим вопросов. Например: допустим ли в важной политической полемике смех? Да, вне всякого сомнения допустим. Сплошь и рядом даже очень нужен: смех, сатира разоблачают противника иной раз беспощаднее, чем сухие теоретические рассуждения. Автор и тут ссылается на Ленина, который, когда требовалось, умел высмеивать противника так, как это сделал бы Щедрин. Смех, конечно, не самоцель. Это средство идейной борьбы, не имеющее ничего общего с развязным зубоскальством. Тут необходимо соблюдать строгое чувство меры, проявлять большой подлинно художественный вкус. В книге цитируется Писарев: «Когда смех, игривость и юмор служат средством, тогда все обстоит благополучно. Когда они делаются целью — тогда начинается умственное распутство. Для художника, для ученого, для публициста, для фельетониста, для кого угодно, для всех существует одно великое и общее правило: и д е я р е ж д е в с е г о».

Да, высмеивать противника, когда он этого заслуживает и представляет собой удобную мишень можно и нужно. Но и здесь нельзя перебарщивать. Смех и ругань не одно и то же в полемике, так же как в быту. Нисходить до брани — а это бывает! — недостойно социалистического полемиста, тогда он ударяет по себе и противник может с пренебрежением отстраниться. Вот почему обращаться с оружием смеха нужно бережно.

Другое требование к полемистам, выдвигаемое в книге, — рельефность языка. Это опять-таки относится к политическим полемистам никак не меньше, чем к мастерам прозы и поэзии. Писать рельефно, говорится в книге, значит писать без лишних слов, предельно лаконично, когда смысловая наполненность, емкость слова максимальны. Длинноты, тягучий

стиль утомляют читателя, не запечатлеваются в его сознании, а значит, терпят действительность. В крупном произведении многословие еще не столь заметно. В публицистике оно на виду и режет глаз. Критикуя проект программы германской социал-демократии за многословие, Энгельс указывал: «...краткая, выразительная фраза, раз понятая, запечатлется в памяти, станет лозунгом, чего никогда не бывает с многословными рассуждениями». В этом случае книга опять советует брать пример с Ленина, учившего управлять словом, писать ясно и точно, сжато и смело, остро и образно, беспощадно очищая речь от словесного сора, загромождающего суть дела.

Писать — или говорить — ясно, сжато смело! Действительно, пока идеологический работник не научится этому закону публицистики (если научится!), ему лучше не полемизировать. При этом смелость никак не менее важна, чем ясность. Одно должно быть слито с другим. Бюрократический слог может погубить идеологически вполне образованного полемиста. Если к тому же он боится самого себя, ему вообще лучше не писать. Все жанры хороши, кроме скучного, говорил еще Вольтер.

Важно учесть, что и многие современные идеологи буржуазии научились искусству языка и стиля. Недоценивать их в этом отношении не приходится. Оружие смеха и сатиры им также знакомо. Они умеют писать и немедленно пользуются слабостями и погрешностями их социалистического противника.

Еще один полезный прием в боевой полемике называется в книге искусством типизации. Речь идет о том, чтобы возвести основные, решающие черты врага, его коренные свойства в тип, обнажив его нутро, и тем самым дискредитировать его в глазах народа. Усвоив его типичные приметы, массы могут безошибочно узнавать врага, в какие бы облачения он ни рядился. В качестве примера такого искусства типизации книга называет ленинскую работу «Памяти графа Гейдена», в которой Ленин нарисовал портрет типичного контрреволюционного помещика.

Маяковский писал:

Понаобещает либерал
 для эсэрик прыткий,
 сам охочив до рабочих щей,—
 Ленин
 фразочки
 с него
 пооборвет до нитки,
 чтоб из книг
 сиял
 в дворянском нагише.

Бажное значение в наши дни имеет и последняя глава книги — «Особенности критики буржуазной идеологии и пропаганды в совре-

менных условиях». Здесь речь идет о спорах с противниками по острым вопросам международной политики. Любая полемика по этим вопросам сводится прежде всего к борьбе двух тенденций: сил, которые стоят за полное исключение войн из жизни человечества, и сил, которые пытаются торпедировать мирное существование. Мы все знаем, что более важного вопроса в мире сегодня нет. «Нельзя забывать, — указывается в рецензируемой книге, — что империализм хотя и не может рассчитывать на победу в мировой войне, но еще может ее развязать». Тем самым роль социалистического идеолога-международника, сталкивающегося с антикоммунистической и антисоветской пропагандой, приобретает поистине первостепенное значение в интересах всего общества. Такой исторической значимости, как теперь, его тематика не имела еще никогда.

В аргументации для него недостатка нет; доводов горы, и они растут день за днем. До какого идеологического бешенства в борьбе против политики мира доходят, например, маоисты, общеизвестно. В книге упоминается, что один из западных специалистов по Китаю, Э. Фридман, говоря о готовности пекинских политиков пойти на уничтожение в мировой войне подавляющего большинства человечества, называет это оптимизмом сумасшедшего. Делец американского военного бизнеса Томас Бэрнс в книге «Тайная война за океанские глубины» в главе «Стратегическое оружие — хранитель мира» заявляет дословно: «Возрастание смертельной опасности создает лучшую возможность для мирного сосуществования двух сверхдержав. Парадокс? Нет — утверждение, что безопаснее всего жить на пороховой бочке, сооруженной военно-промышленным комплексом.

Несомненно, подобные «теории» — а их множество, одна сменяет другую — представляют идеальную мишень для атакующего социалистического полемиста. Если он делает свое дело как надо, люди не могут его не понять и с ним не согласиться. Аргументация для атаки дана самим противником с самого начала, его можно бить его же оружием и надо только не размазывать, а говорить тем ясным, сжатым, неканцелярским языком, о котором шла речь выше.

«Мирное сосуществование государств с различным общественно-политическим строем, — напоминают авторы, — нельзя распространять на сферу идеологии. Было бы напрасным ожидать от коммунистов отказа от их воззрений в качестве какой-то «платы» за мирное сосуществование. Но в то же время неверно отождествлять идеологическую борьбу с психологической войной». Как 5 мая 1978 года заявил Л. И. Брежнев, «мирное, честное соревнование идей и общественной практики — вот наш

принцип». То же относится к полемике о правах человека и к нападкам западной пропаганды на советский строй.

Есть еще одна исключительно интересная тема споров. Полемизируют все те же две школы. На этот раз западной школе исторического пессимизма противостоит социалистическая школа исторического оптимизма.

Куда идет человек? Что произойдет с его обществом? Фатальный прыжок в первобытное варварство или восхождение на небывалую высоту? Это не философская тема, а вопрос конкретных исследований текущей действительности. В книге приводится несколько высказываний видных идеологов современной буржуазии, которые, по существу разуверились во всем, может быть и в самих себе, не видят для человечества в настоящем почти никаких шансов и даже как будто кокетничают такими взглядами.

Ведущий деятель английской консервативной партии лорд Хэйлшем следующим образом характеризует кризис английского общества: «Мы живем во Граде разрушения, в умирающей стране с погибающей цивилизацией. Хотя я и не считаю обстановку безнадежной, но если все будет продолжаться так же, как и раньше, то впереди у нас не останется ничего, кроме катастрофы, которая не знаю как и когда, но сломит нас».

Американский социолог Д. Белл, автор концепции «постиндустриального общества» (якобы идущего на смену капитализму), пишет о климактерической критической перемене в американской жизни, означающей, что ее экономика уже пережила расцвет и наступил необратимый процесс старения.

Авторы рецензируемой книги могли бы добавить к этому высказывания известного американского деятеля, бывшего посла США в Москве Дж. Кеннана, давшего не так давно следующую характеристику положения в своей стране:

«У нас большая и серьезная проблема разложения ряда наших крупных городов, особенно самого большого — Нью-Йорка... У нас ужасная проблема преступлений с примени-

ем насилия во многих районах страны... У нас проблема инфляции... У нас проблема безработицы... У нас хаотичная и безобразно недостаточная система общественного транспорта... У нас проблема падения качества образования... Коррупция печати и телевидения, отданных на милость рекламодателям... Постыдное явление повсеместного распространения, подобно лесному пожару, порнографии... Сохраняющаяся проблема ухудшения окружающей среды... Если мы хотим предстать перед другими нациями как нечто большее, чем запугивающая военная держава, нам следует задуматься о том, какой же облик являет внешнему миру наше общество... Мы не можем быть источником надежды и вдохновения для других на фоне упадка, безволия и ухудшения жизни у нас дома».

Упадок, безволие, ухудшение жизни... Да, служить источником надежды современный капитализм не может. Вот почему некоторые из его идеологов склоняются к тому, чтобы отождествлять историческое умирание капитализма с умиранием человечества. И вот почему на Западе кое у кого все еще имеет хождение лозунг: «Лучше не существовать, чем сосуществовать».

Совершенно ясно, что социалистические полемисты могут только выиграть, если умел, со знанием дела противопоставят таким откровениям исторического пессимизма знамя исторического оптимизма. У них есть на что опереться. Подавляющее большинство здравомыслящих людей, рассчитывающих на жизнь и прогресс, а не на катастрофы, рано или поздно пойдут за ними.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что эта книга представляет интерес не только для журналистов и пропагандистов, но и для писателей. Конечно, в каждом случае требуется широкий политический кругозор и серьезное знакомство с фактами. «Искусство полемики,— говорится в заключительных строках книги,— трудное искусство, но им может и должен овладеть каждый пропагандист и лектор, каждый работник идеологического фронта».

Эрнст ГЕНРИ.



НАУКА, ОТКРЫТАЯ МОЛОДЕЖИ

Библиотечка Детской энциклопедии «Ученые — школьнику».
Вып. 1—20. М. «Педагогика». 1974—1980.

Характеристика современной науки была бы неполной без учета одного ее качества: наука превратилась в очень важный компонент культуры. И не только культуры для избранных, но и всеобщей, народной. Об этом свидетельствуют, в частности,

огромные тиражи научно-популярных журналов — сотни тысяч, миллионы экземпляров. Среди читателей их преобладает молодежь.

Для молодых людей, вступающих в самостоятельную жизнь, научные знания особенно привлекательны и полезны. В первую очередь

как средство осмыслить окружающий мир во всем его многообразии и себя в этом мире. Существенна и практическая сторона дела: знакомство с различными областями знания и профессиями помогает определить круг интересов личности, искать свое призвание.

Утолять жажду знаний предназначена научно-популярная (а также научно-художественная) литература. У этого литературного жанра множество разновидностей; он смыкается иодчас и с художественной прозой, и с научной фантастикой, и с философией. Лучшие из этих книг и статей не только читаются с захватывающим интересом, но и отличаются научной глубиной, постановкой серьезных нравственных проблем.

Вместе с тем научно-популярные произведения, как мне кажется, не всегда дают читателю верное представление о характере и методах научных исследований, о труде ученого, о его поисках, заблуждениях, сомнениях, открытиях. Для писателя-популяризатора всегда имеется искушение выхватывать наиболее броские эпизоды научной работы, излагать наиболее эффектные, ошеломляющие факты, теории, гипотезы. Встав на такой путь, популяризатор стремится прежде всего заинтересовать или даже развлечь читателя, делая упор на необычайном, сенсационном. Тогда приводимые сведения, чаще всего полученные из вторых или третьих рук, используются некритически и нередко бывают сомнительными, неточными. Научные идеи при этом невольно выглядят как разгаданные головоломки или парадоксальные гипотезы, поражающие более противоречием здравому смыслу, чем основательностью. Читателю демонстрируют ослепительные фейерверки, которые, быть может, и хороши и необходимы, но не заменят розного и яркого света. Стремление к сенсации нелегко совместить с поисками истины — сверхзадачей научного познания.

Сказанное вовсе не означает, будто научная популяризация должна идти след в след за большой наукой, занимаясь добросовестным и по возможности красочным пересказом признанных научных достижений. Но в то же время это направление научной популяризации не только имеет право на существование, но и особенно важно именно для тех, кто желает побольше узнать о современной науке в ее, как бы сказать, обывательском, а не праздничном обличье, в ее стремлении раздвинуть горизонты познания, вторгнуться в неведомое... Впрочем, подобная обывательность всеобъемлетна. Однако раскрыть ее суть очень непросто. Для этого требуется не только талант популяризатора, но, главное, глубокое знание той научной области, о которой идет речь.

В этом отношении серия книг «Ученые — школьнику» уникальна и по замыслу и в зна-

чительной мере по исполнению. Открывая серию, академики Н. Семенов и И. Петрянов писали: «В отличие от страниц школьного учебника, рассказывающих о том, что уже незыблемо установлено наукой и что обязан знать каждый, в этих книжках настолько просто и понятно, насколько это возможно, авторы — большие специалисты, каждый в своей области, — не только расскажут о состоянии научного вопроса в настоящее время, но и поделятся с читателем своими сомнениями, ошибками, поисками, потому что наука начинается там, где кончается то, что мы уже знаем, и начинается неизвестное». Удачно предваряло серию и название этой первой книжки: «Неведомое на вашу долю». Верный был найден тон — очень важная, деликатная, ответственная задача авторов, — манера обращения признанных современных ученых к юным читателям, будущим специалистам, академикам XXI века. Обращение простое, доверительное, деловое, а временами взволнованное.

Вот описание лаборатории, в которой работали полвека назад Н. Семенов и его коллеги: «Вспоминаю стены, обросшие мохнатым ииеем. Ни отопления, ни водопровода. Воду носили ведрами из колонки. Кололи дрова сами, толкали щепки в гудящую «буржуйку». Лаборанты были из числа студентов, приходили работать после лекций. Но подобрал я удачно: из десяти человек восемь стали академиками. Будущие академики после занятий таскали воду, кололи дрова, ставили опыты, потом еще до полуночи спорили о физике, химии, науке вообще, перспективах жизни и человечества, потом я еще садился готовить очередную лекцию, они — учить эту лекцию, и наконец все засыпали где-нибудь на сундуке или на стульях или шли домой по скрипучему снегу, завернувшись в немислимую хламиду. И осталось от тех лет, представьте себе, ощущение морозной бодрости, этакого радостного утра, когда мир открывается и все впереди».

Ученым удалось передать это ощущение читателю, открыть ему романтическую сущность научных исканий. И не как назидание, а как убедительный вывод звучат слова: «Вот и не упускайте вы этого ощущения молодости в молодом мире, когда никакие трудности не страшны. За золотым руном открытий надо отплывать в бодром настроении, когда ты преисполнен надежд и в своих силах не сомневаешься нисколько».

Следующая книга серии (И. Петрянов, «Самое необыкновенное вещество в мире») очень удачно продолжила рассказ о современной науке, о ее замечательной способности открывать неведомое в самом, казалось бы, заурядном. Главным героем этой книги стала вода — совершенно необыкновенная обыкновенная во-

да. Впрочем, автор очень убедительно доказал, что «нигде нет обыкновенной воды». Именно доказал, раскрыв суть этой, казалось бы, парадоксальной идеи.

Обычно писатели-популяризаторы пользуются парадоксальными мыслями и ситуациями для усиления воздействия на читателя, стремясь его удивить, заинтриговать. В данном случае вряд ли можно говорить о каком-то нарочитом литературном приеме. Автор без обиняков сообщает читателю о том, «сколько существует различных водородов» и «сколько на свете кислородов», а затем подсчитывает общее количество возможных различных соединений с формулой H_2O . Получается 135! Подобные сведения приводятся по-деловому, без многословных комментариев, просто. И эта простота воздействует на читателя, пожалуй, сильнее, чем вполне возможные в данном случае красивые фразы.

Такого рода бесхитрость, возможно, кто-то сочтет отсутствием художественности. Хотелось бы оспорить такое мнение. Умение просто рассказать о сложном — прекрасный дар. Проникнуть мыслью в глубинную сущность природных явлений столь же трудно, как и постигать глубины человеческой души. И если автору удалось раскрыть перед читателем, не искушенным в науке, потаенную жизнь природы, воздействуя не только на ум, но и на чувства читателя, пробуждая в нем жажду познания, то в этом проявляется высокая художественность произведения. Во всяком случае, произведения научно-популярного.

И еще одно обстоятельство. В первых двух книгах серии как бы исподволь вырастает величественный образ неведомого. В этом, пожалуй, одна из главных особенностей этой серии. Существуют, например, циклы брошюр издательства «Знание», рассказывающие о важнейших новых достижениях науки и техники. Подобные просветительские задачи вообще характерны для научно-популярных произведений. Но то, что уже открыто — пусть только вчера или сегодня, — становится достоянием истории науки. Истинная наука — это постоянная устремленность в неведомое, а не повторение пройденного. Вот эта живая, растущая наука и открывается читателю в первых книжках серии «Ученые — школьнику». Авторы нацелены на неоткрытое, раскрывают перспективы научных поисков. И не случайно, например, после описаний опытов с водой делается вывод: «Таинственная связь воды и событий, происходящих во Вселенной, пока необъяснима».

Образ неведомого приобретает почти осязаемую, наглядную форму в книге, посвященной поискам новых химических элементов (Г. Флеров, А. Ильинов, «На пути к сверхэлемен-

там»). Здесь даже приведена карта, где обозначен гористый материк Изотопов, преимущественно стабильных, пролив Радиоактивности, остров Тяжелых ядер с Урановой вершиной и вдали за проливом Нестабильности — загадочный остров Стабильности, неведомая, неоткрытая земля физиков, занятых поисками сверхтяжелых химических элементов. Авторы активно участвуют в этих поисках, что придает их рассказу достоверность, убедительность.

Вслед за учеными-первопроходцами в науке движутся практики, претворяющие в жизнь теоретические открытия, реализующие информационные богатства. Об этой практичности научных теорий в книжках серии рассказывается постоянно, на конкретных примерах. Особенно показательна в этом отношении работа Б. Патона и А. Корниенко «Огонь сшивает металл». Один из самых распространенных технологических процессов — сварка — показан одновременно и как отрасль народного хозяйства и как область науки. Конечно, очень немногие из юных читателей этой книги станут теоретиками сварочной науки. Однако можно не сомневаться, что, прочтя ее, они проникнутся уважением к данному виду человеческой деятельности, почувствуют его непростую творческую сущность. То же самое в полной мере относится к работе В. Шимко и А. Попова «Польза, прочность, красота (Рассказы о строительной науке)».

И все-таки до сих пор у нас речь идет об отдельных книгах серии, но не обо всей серии целиком. А ведь она включает выпуски, посвященные различным областям знания, а среди авторов мы встречаем таких известных ученых, как В. Глушков, А. Несмеянов, А. Леонов, И. Герасимов, В. Янин, А. Банников и другие.

Известно, что реализация любого достаточно сложного замысла сопряжена с неизбежными отклонениями от идеала. Тем более когда в работу вовлечены многочисленные специалисты, представители различных научных дисциплин, люди разного склада ума, характера. При этом наиболее сложная задача — суметь не потерять свое лицо, сохранять индивидуальность. И вот в этом отношении серия «Ученые — школьнику», возможно, вступает в полосу трудностей. Дело тут не в качестве или количестве научной информации. И литературная форма не имеет решающего значения: авторы могут привлечь для литературной обработки материалов профессиональных писателей. В этом отношении очень удачным, на мой взгляд, оказалось сотрудничество ученых А. Несмеянова и В. Беликова с писателем Г. Гуревичем («Пища будущего»), где легкость, непринужденность стиля авторы сумели совместить с научной глубиной, точ-

ностью. Следует заметить, что литературной обработке подвергались немногие выпуски рецензируемой серии. В этом попросту не было нужды. Маститые ученые оказались хорошими, а то и прекрасными популяризаторами. И это неудивительно. Настоящий специалист, как верно заметил еще А. Эйнштейн, должен уметь рассказать о своей работе ребенку.

Итак, для научной популяризации очень существенно определить, о чем рассказывать, кому, как и зачем. В серии «Ученые—школьнику» выбор тем, казалось бы, не имеет принципиального значения: каждый крупный специалист в тех или иных областях науки и техники способен поделиться с юным читателем своими знаниями, рассказать о своих поисках, заблуждениях, открытиях. Тем более когда ему в этом могут помочь коллеги-ученые или писатели...

Нет, пожалуй, дело обстоит не так просто. Некоторые книги серии посвящены очень важным проблемам, рассказывают о них не только профессионально с научной точки зрения, но и интересно. Они очень разные по содержанию и в то же время насыщены полезной научной информацией. Но несмотря на это, они в той или иной степени отстают от направления, намеченного у истоков серии. Работы А. Банникова «Мир животных и его охрана», Ю. Полякова «Революция защищает», Ю. Колесникова и Ю. Глазкова «На орбите космический корабль», Б. Дерягина и Д. Федосеева «Алмазы делают химики» и некоторые другие отвечают, в сущности, всем требованиям, предъявляемым к научно-популярным произведениям. Они могли бы украсить научно-популярные серии, выпускаемые издательствами «Знание», «Наука», сообщающие любознательному читателю о многих научно-технических достижениях, но...

Вот тут-то и сказывается посыл основателей, открывателей серии «Ученые — школьнику» И. Петрянова и Н. Семенова. Речь шла о научных исканиях, о специфике научных исследований — не только об информации о том, что открыто наукой, но и о том, как происходили открытия, над чем сейчас работают ученые, какие горизонты неведомого открываются с нынешних вершин научного познания, которые остаются только временными рубежами. Иначе говоря, ученые должны рассказать прежде всего о своей работе, о научном творчестве, о том, как добывается научное знание и для чего, что еще предстоит искать и находить в будущем. Для юного читателя такая устремленность в будущее очень важна. Ведь речь идет не об учебных или справочных пособиях,

Когда авторы упускают это из виду, серия начинает терять индивидуальность, становится

более или менее подобна другим научно-популярным сериям (если, конечно, не учитывать особенности оформления, к стати сказать, чаще всего очень удачного). Возьмем, к примеру, две книжки, посвященные истории нашей страны. Одна, В. Янина, повествует о средневековом Новгороде, другая, Ю. Полякова, — об эпизодах гражданской войны. В первой, помимо всего прочего, говорится о том, как были открыты знаменитейшие берестяные грамоты Новгорода (учтем, что «все прочее» включает в себя исключительно важные и в значительной степени новые представления о высокой культуре, грамотности средневековых русских горожан). А вторая служит интересным, квалифицированным дополнением к учебнику истории СССР и соответствующим страницам Детской энциклопедии. Такие издания безусловно нужны, однако неповторимое лицо данной серии отчасти теряется.

И еще одно направление, обозначенное в первых книжках серии, со временем как бы сходит на задний план. Я имею в виду экологическое воспитание. Формирование современного научного мировоззрения неизбежно включает в себя экологическую составляющую. Мы познаем окружающий мир не только из любознательности. Область жизни, биосфера — необходимейшая среда существования человечества. Мы преобразуем ее, частично разрушая и загрязняя. Еще недавно гигантская мощь техники была направлена на то, чтобы как можно скорее и полнее использовать ее богатства. Теперь, когда со всей очевидностью выявилась опасность такого подхода, вырабатывается новая стратегия взаимодействия человека и природы — как партнеров, а не как властелина и рабы.

Наука и техника перестраиваются таким образом, чтобы эксплуатация природных ресурсов велась рационально, с минимальным ущербом для биосферы. Об этом писалось, в частности, в первой книге серии: «...наука беспокоится, как бы не замусорить атмосферу, воды рек и целые страны, у инженеров — забота, как бы не замусорить свой завод, цех, заботы рабочего — об отходах машины, заботы хозяйки — об отходах кухни, квартиры... Если о чистоте будет заботиться каждый, вся планета будет чистой». О том же, но уже в глобальном масштабе и в географическом аспекте написал И. Герасимов («Биосфера Земли»), а в биологическом — А. Банников («Мир животных и его охрана»). Несколько непривычный, но исключительно плодотворный аспект рационального природопользования раскрыт А. Несмеяновым и В. Беликовым («Пища будущего», посвященная химическому синтезу пищевых продуктов).

В сущности, почти все области научно-технической деятельности прямо или косвенно

связаны с эксплуатацией природных богатств, а значит, и с охраной природы. Как известно, и космические исследования вносят свою немалую лепту в дело сохранения биосферы. Однако об этом почти не сказано в книге серии, посвященной космонавтике. Судя по плану выпуска на этот год, экологическим проблемам в ближайшее время вовсе не будет уделено внимания. Значит, научное мировоззрение юных читателей может получить одностороннее развитие и одна из главнейших задач серии не будет решена.

Возможно, причина подобного положения связана не столько с упущением организаторов серии, сколько с объективными обстоятельствами, которые определяются особенностями развития науки и специализации ученых. Экологизация современной науки и производства только начинается. Но ведь серия «Ученые — школьнику» ориентирована в будущее. Она призвана открывать перед читателем наиболее перспективные направления научных исследований. Следовательно, в ней должны найти отражение важнейшие современные идеи о взаимодействии человека и биосферы, о месте и роли человека в природе.

Может показаться, будто данная серия заведомо и необходимо предполагает общение в форме монолога: ученый говорит, ученик слушает, набирается знаний. Однако это первое впечатление обманчиво. В неявной форме

осуществляется диалог. Ученый, обращаясь к непривычной для себя аудитории и стремясь просто и интересно рассказать о своих достижениях, мыслях, переживаниях, ошибках, вынужден по-новому осмысливать известные для себя проблемы, идеи, понятия. Он смотрит на свою специальность как бы со стороны, выходя за ее пределы, выясняя ее связи с другими областями науки и техники, с деятельностью человечества, преобразующего и охраняющего биосферу, с познанием природы. Вообще научная популяризация — одна из наиболее эффективных форм синтеза знаний в наш век высочайшей и в то же время очень узкой специализации в науке и технике. Не случайно крупнейшие ученые нашего века — А. Эйнштейн, В. Вернадский, Н. Винер и многие другие — охотно и талантливо писали популярные произведения.

Итак, серия «Ученые — школьнику», младшая сестра Детской энциклопедии, безусловно очень своевременное, разумное и плодотворное начинание. Эти прекрасно оформленные, интересные и умные книжки знакомы миллионам школьников, приобщают их к новейшим достижениям отечественной науки и техники. Очень хотелось бы, чтобы книги этой серии сохранили свою индивидуальность, а вместе с тем любовь и доверие юных читателей.

Р. БАЛАНДИН.



К АБСОЛЮТАМ БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Ю. Каграманов. Без знамени. Взаимоотношения искусства и науки в современном буржуазном обществе. М. «Искусство». 1979. 127 стр.

«Современный мир сравнительно с прошлым стал меньше; развитие средств информации и передвижения привело к сжатию планетарного пространства; в результате происходит немислимая прежде культурная диффузия...» — справедливо замечает в своей книге Ю. Каграманов. Диффузия же, известно, процесс хаотичный, стихийный, непредсказуемый во многих конкретных проявлениях. И потому, делаясь человеку ближе, мир в то же время может становиться и непонятнее. Здесь необычайно важно, чтобы автор, пытающийся ввести нас в непростой круг вопросов кризиса современного буржуазного искусства и науки, умел за хаосом фактов и явлений (а в сфере культуры они особенно трудно раскладываются по систематизаторским полочкам) уловить процесс, движение, закономерность. Чтобы, кроме жажды просветительства, он обладал способностью увлекательно и просто рассказывать о самых сложных явлениях, а также полемическим тем-

пераментом и отсутствием суетной готовности отречься от старых истин во имя очередных новомодных концепций-поденок. Думается, все эти качества в полной мере присущи автору рецензируемой книги.

В буржуазном искусстве в наш век появилось немало эффектно-неожиданного, не раскладываемого по четким системам былых классификаций. Что касается научной информации, то за нею едва успевают следить сами ее творцы (даже в пределах той сферы знания, где они специалисты!). Новая небывалая техника демонстрирует нам ежедневные чудеса. Все это порождает иллюзию стремительного, мощного наступления по широкому фронту культуры. Разобраться, где культура движется по восходящей, где топчется на месте, а где зашла в тупик, не всегда бывает легко. Нужны ориентиры, критерии, векторы. Ю. Каграманов как раз и предлагает некоторые из них.

Векторы эти связаны в книге прежде всего

с понятием буржуазности. То есть автор не ставит целью охватить все направления развития науки и искусства современного капиталистического общества, а рассматривает только те из них, которые мечены клеймом буржуазности. Книга заставляет всерьез задуматься над многими актуальными вопросами современности прежде всего потому, что автор не голословно «отчитывает» капитализм за его пороки, а убедительно раскрывает то, с какими огромными невосполнимыми духовными, интеллектуальными и даже материальными потерями связано его «стремительное наступление по всему фронту культуры».

В разговоре о кризисе искусства Ю. Кагранов сосредоточивает основное внимание на понятии модернизм. При этом критический свой пафос автор расходует не на то, чтобы поразить читателя всякого рода пикантными деталями и чудачествами из быта художников вроде обезьян-живописцев, скажем. Анализ направлен на выявление места модернизма в общечеловеческом духовном развитии, отношения его к эстетическим богатствам, накопленным в прошлом, к принципам нравственности, идеалам... Вот как, к примеру, характеризуются в книге разные школы модернизма по их восприятию течения исторического времени. В целом модернисты оценивают его как переходное, быстротекущее, устремившееся неведомо куда. При этом декаденты ощущают органическую связь со всей отжившей, омертвевшей культурой прошлого, болезненно считают себя последними ее могиканами. Авангардисты же, не более их верящие в прочность настоящего, видят себя первыми в ряду будущей, желанной им культуры (отсюда и лозунг Маринетти — ревущий автомобиль прекраснее Ники Самофракийской). Для наглядности автор вспоминает при этом романтиков. Многие из них тоже в свое время были «устремлены в будущее». Но в отличие от модернистов они никогда не отрекались во имя ревущих автомобилей от «старых» гуманистических идеалов и проверенных жизнью духовных ценностей. Такого рода нетривиальных аналитических обобщений в книге немало, они, бесспорно, помогут широкому читателю разобраться в сущности совсем непростых, хотя и часто употребляемых понятий — модернизм, декаданс, авангард, «массовая культура», контркультура, поп-культура, — осознать, что яд буржуазной идеологии, как не раз подчеркивали классики марксизма, действительно пагубен для художественного творчества.

Куда сложнее выявить губительность буржуазности для научного творчества, где бесспорные, очевидные каждому достижения в частных сферах маскируют противоестествен-

ность общего развития, безнадежное отставание отдельных (притом жизненно важных) разделов знания. И в самом деле, деградация идеалов, кризис идей с неизбежностью и напрямую деформируют искусство, лишают его четких нравственных ориентиров, заводят в лабиринты формального трюкачества, оживляют поиски «абсолютных» (то есть оторванных от человеческих интересов и пристрастий) канонов красоты. В итоге поэтизация безобразного, скажем, становится столь же равноправным в искусстве явлением, ибо в отрыве от человека все теряет цену. Тут причины и следствия выступают четко и наглядно. Ну а в науке?

Вопрос о влиянии общекультурных факторов (в том числе и идеологических) на направленность и содержание естественнонаучного знания изучен еще совершенно недостаточно, и автор книги справедливо привлекает к нему внимание читателей. Влияние это огромно. Даже сама научная непредвзятость ученого или, допустим, непримиримость к попыткам идеологов, философов как-то повлиять на открываемую им истину по иронии судьбы сплошь и рядом могут оказаться формами проявления идеологического воздействия на характер и итог научного исследования.

Только полная бездумность может позволить согласиться, что множество исторических фактов, когда какое-то великое открытие игнорировалось десятилетиями, осталось непонятым, неоцененным, превратно истолкованным, оклеветанным собратьями по науке, есть следствие лишь случайных недоразумений. «Преднаучные соображения, — справедливо подчеркивается в книге, — могут подсказать, какие именно научные истины следует предпочесть и какие игнорировать, как одни научные истины сообразовывать с другими, в каких системах исчисления и знаковых формах их выразить, какое им давать истолкование и т. д.». Так было всегда, даже в периоды относительного взлета демократизма в научных учреждениях, отмечавшихся в первые десятилетия XX века. Понятно, что в эпоху общего кризиса капиталистической системы, до предела обострившего идеологическое противоборство, влияние общекультурных и идеологических факторов не могло ослабнуть.

В книге верно подчеркивается, что нынешнее весьма преувеличенное представление о роли науки в западном мире в значительной степени возникло под воздействием ее военных успехов. Военным исследованиям не только отдавалось предпочтение перед всеми прочими — они признавались образцовыми для гражданских. Именно здесь были разработаны прогрессивные методики, включающие такие новшества, как системный анализ, моде-

лирование и т. д., которые потом стали широко использоваться в решении экономических, социальных и просто житейских задач. Хвала военным ведомствам? С тем же успехом можно славить саркому, «подающую пример» развития прочим тканям. Дело даже не в том, что военизированная наука развивалась за счет мирных сфер знания. Экспансия тут куда более тотальна. Почтение, вызванное всемогуществом творцов водородных бомб и космических ракет, граничило со своего рода шоком. Методики исследований, обеспечившие взлет физики, химии, кибернетики, стали признаваться единственно научными и механически переноситься на все сферы человеческой жизни. Мутный вал сциентизма, профанирующий знание, тем более мудрость, в самых трудных, самых важных для человека (социальной и духовно-нравственной) сферах бытия, тоже во многом порожден военизацией буржуазной науки. Давно ли ученые ловили сетями ветер только на страницах сатирических романов? А вот уже группа высокооплачиваемых американских исследователей в реальной жизни, окруженная почтением обывателей и коллег, произведя «глубоконаучное» социологическое исследование в Пуэрто-Рико на тему «Демография счастья», обнародывает выводы, суть которых в том, что «богатые, как правило, более счастливы, чем бедные, а здоровые почти всегда счастливее, чем больные».

Факты жизни не могли не подточить иллюзию, будто на войну работают только отдельные области знаний, другие же честно служат миру и прогрессу. Теперь, как резонно говорится в книге, злокачественный рост милитаризма в западных странах делает очень реальными опасения: «...а не может ли вполне мирная и по видимости альтруистическая наука таких наломать дров, что впору будет уподобить ее смертоносной инженерии атомщиков (помимо экологии предметом особых опасений становится вмешательство науки в биологическую природу человека)?»

В этом отношении такие качества современной буржуазной науки, как сверхузкая специализация, тяга вырваться из пут философского знания, прагматизм, рационализм, объективизм, не просто симптомы детской болезни, которой неизбежно полагается переболеть на определенном этапе развития, а нечто прямо несущее в себе идеологические установки. Ученому лучше не понимать своего реального места в обществе, не осознавать ясно, кому и чему он служит и на какой суммарный итог работает, лучше не быть специалистом в тех сферах, которые дали бы ему понимание, лучше поверить в полную фатальность тех законов, которые направляют ход событий. А раз

они объективно все предопределяют, то каждый отдельный ученый ни за что не в ответе...

Принципиально важными представляются рассуждения автора о вспышке почтения у науки к индетерминистским, так называемым статистическим законам, отождествляющим вероятностный характер явлений микромира не с неполнотой наших знаний, а с исчезновением причинно-следственных отношений. В подобном способе интерпретации объективных фактов автор видит «отдаленное, многократно преломленное эхо нового, позднебуржуазного психологического мотива неуверенности, самоощущения индивида как „игрушки судьбы“». И чего тут ждать иного, если даже природа, оказывается, увлекается «игрой в кости»!

С позиций оценки отдельных конкретных фактов, наверное, подобные обобщения могут показаться несколько натянутыми. Но если вдуматься, куда и как движется современная буржуазная наука в целом, то можно оценить их и как своего рода прозрение. Из массы «случайных» странностей при этом могут проглянуть некие общие закономерности с четко обозначенными «старомодными» причинами и следствиями.

Не случайно основное внимание в рецензии уделено кризису науки, хотя и кризису искусства в книге места отпущено ничуть не меньше, — о науке, мне показалось, Ю. Каграманов пишет и интереснее и убедительнее. Дело здесь, думается, вот в чем. Анализируя те или иные явления науки капиталистических стран, автор не вычленяет в ней какие-то замкнутые ареалы буржуазности. Речь идет о тенденциях, чертах. Но искусство, нередко напрямую выражающее буржуазную идеологию, порождает соблазн провести в нем четкие границы в соответствии с этим, увы, текучим критерием. Отказавшись от задач исследования искусства демократического и социалистического (ибо действительно непосильно одному автору охватить вниманием все стороны современной художественной культуры), Ю. Каграманов, видимо, решил, что он упрощает себе задачу. Но буржуазность не только многолика, но порой и трудноуловима. «Измь», обозначающие направления и течения в современном искусстве, отнюдь не способны механически четко развести художников по две стороны баррикад. Порой эти баррикады проходят внутри сердца художника! В одном произведении, случается, с буржуазностью могут соседствовать демократические и даже социалистические начала.

Попытки вычлнить буржуазность, оперируя целыми направлениями и течениями, чреваты серьезными накладками. Непроизвольными, разумеется. Маленькая иллюстрация. Проанализировав многие отрицательные сущностные

черты модернистского искусства и совершенно справедливо отвергнув их как проявление кризисности и распада культуры, автор делает обобщающий вывод: «Искусство будущего не столь уж многое возьмет у модернизма, если вообще что-нибудь возьмет...»

Действительно, модернист — художник, имеющий целый ряд качеств, которые искусство должно со временем преодолеть, ибо они мешают искусству полноценно выполнять свою великую миссию. Эти качества бесспорно искусство будущего отринет, но... Разве художник-модернист (речь идет, разумеется, о серьезных художниках) «состоит» из одного только модернизма? Кто фигурирует в книге конкретно как представитель того или иного модернистского искусства? Рильке, Аполлинер, Шёнберг, Стравинский, Джойс, Кафка, Пикассо, Гоген, Бодлер, Хлебников, Сёра... Это что же, так никто из них и не оставит следа в искусстве, не проклюнется ростком в художественной культуре будущего? Думаю, и сам Ю. Каграманов вовсе не хотел бы сказать такое...

И вообще, кризис культуры не есть статичное состояние. Перечисление черт кризисности без хотя бы схематичного раскрытия той отчаянной, упорной, многоплановой борьбы, которую ведет с разлагающейся буржуазной культурой культура демократическая и социа-

листическая, картину кризиса невольно исказит. И ссылки на эссеистский или выборочный характер исследования компенсировать этого недостатка не могут.

Еще одно замечание, которое, впрочем, легко снять простым изменением подзаголовка книги. Как нельзя судить о человеке по тому, что он сам о себе думает, так, видимо, нельзя судить и о взаимоотношениях науки и искусства по тому, что ученые говорят об искусстве, а художники о науке. В книге наука и искусство присутствуют все-таки сами по себе, параллельно. Путь отдельных модернистов «научно» отражать мир, как и претензии кого-то из ученых художнически, чутьем прозревать высшие истины (и те и другие верно критикуются автором) ни в коей мере не отражают реальной картины взаимоотношений искусства и науки в обществе. Они характеризуют лишь меру непонимания указанными людьми смысла и социальной функции этих двух сфер духовной жизни. Наверное, подзаголовок «Кризис науки и искусства в современном буржуазном обществе» был бы для книги Ю. Каграманова самым точным.

В целом же издательство «Искусство» выпустило интересную и, бесспорно, нужную широкому читателю книгу.

А. НУЙКИН.



КОРОТКО О КНИГАХ



АЛЕКСАНДР ПИСЬМЕННЫЙ. Фарт. Дневник, из записных книжек, письма, рассказы. М. «Современник». 1980. 208 стр.

Это необычная книга, и необычностью своей она прежде всего и интересна. Материалы из писательского архива дополняются рассказами — именно так, не наоборот. Дневниковые записи, наброски, письма представляют облик писателя, характер привязанностей и интересов. А шесть рассказов, относящихся к последним годам его жизни, должны служить как бы иллюстрацией воплощения творческих принципов.

Александр Письменный принадлежал к плеяде прозаиков, очеркистов, начинавших путь в литературе с плодотворной школы горьковских «Наших достижений». Участие в этом журнале навсегда определило социальный заряд художественных поисков, научило зоркому вниманию к многообразным проявлениям действительности. Сейчас, знакомясь с высказываниями писателя, сопровождавшими его повседневные труды и заботы, не предзнаменовавшими для печати, сполна осознаешь, сколь органично было в нем чувство приобщенности ко времени, к общественным свершениям. Хорошо видишь и другое: индивидуальность, интимность выражения этих качеств; перед нами живой человек со своей силой и слабостью.

Александром Письменным были созданы произведения разные по своему качеству, с иными из них не без оснований спорила критика. Однако же, думается, в любом случае писателю не откажешь в искренности, стремлении быть самим собой. Совсем недаром в его прозе явствен интерес к людям своеобразным, наделенным живой нерегламентированностью. В дневниках мы находим немало подтверждений этим пристрастиям — прямых и косвенных. Вот записи об Иване Катаеве, о «ясности, точности, гармоничности» его прозы. И тут же без всякого перехода не менее восхищенное: «Или вспомнить то, как он играл в волейбол...» Столь близкое соседство высокого и обыденного — правомерно ли оно? Вполне. Для автора дневника равно серьезно и живо все, связанное с ярким обликом интересующего его человека (И. Катаев — один из многих реальных героев книги). И дальше в итоге разнохарактерных воспоминаний, размышлений об этом писателе столь же естественно возникают самые главные слова о нем: его личность была «примечательна... святым партийным идеализмом, нравственной чистотой, своей исключительной интеллигентностью, верой в высокие принципы революции...».

Искренность суждений, неизбежность интереса к движению жизни и искусства освещают каждую страницу дневниковой части книги. Здесь находишь немало свежего, своеобразно высказанного — к примеру, о гениальной толстовской способности убеждать или об изощренной простоте Хемингуэя. Нередко видишь, как записи спорят между собой, конкретизируются, уточняются: вот говорится вдруг, что литература «не должна быть тенденциозной» — как вызов схематизму, к которому приводит

голая тенденция; но чуть далее справедливо возникают слова о незаменимости для пишущего главной, руководящей идеи... Правда, встречаются подчас и такие суждения, которые явно не стоило включать в книгу: они не столько спорны, субъективны, сколько попросту легковесны и неверны (запальчивые «опровержения» иных категорий эстетики, например). Кстати, и в прозаическом разделе есть свои сбои: рядом с точными, зрелыми рассказами «Фарт», «Ничего особенного не случилось» — откровенно баечный рассказ «По себестоимости».

Особое, вернее сказать, особо уважительное отношение к себе вызывают публикации, посвященные годам войны, передающие святое чувство причастности отдельной человеческой судьбы к народным судьбам.

В заключение возвращусь к мысли о необычности этого издания. Дело не только и не столько в составе, расположении материалов. В издательской практике обнародование архивов писателей — явление довольно редкое и избирательное. Между тем выход сборника «Фарт» показывает, какие интересные возможности тут сокрыты. Прав Михаил Рощей, автор емкого предисловия к «Фарту»: необходимо «столь же пристальное внимание к другим нашим ценностям». Книга А. Письменного многое говорит читателю о характере литературного труда, цене исканий. Говорит об историческом оптимизме советского искусства, активно способствующего осуществлению благородной цели: «...сделать жизнь такой хорошей, какой она должна быть».

Михаил Синельников.



ВЛ. САНИН. Одержимый. Повесть. «Знамя», 1979, №№ 9, 10.

Владимир Санин известен всесоюзному читателю произведениями о людях Арктики и Антарктики — «У Земли на макушке», «Ювочка в Антарктиде», «Семьдесят два градуса ниже нуля» и другими.

Герой повести об «одержимом» — Алексей Чернышев, капитан небольшого рыболовецкого судна «Семен Дежнев». Славится он своими уловами, смелостью и отнюдь не идиллическим характером. Этот мастер рыболовецкого дела по собственной охоте проводит опаснейший научный эксперимент — проверяет на своем судне все перипетии процесса обледенения. Эксперимент может стоить ему жизни, но и сам Чернышев, и его команда, и участники экспедиции — все знают, на что идут. И знает об этом корреспондент местной газеты Павел Крюков, от имени которого и ведется рассказ. По отведенной ему автором роли Павел Крюков — классический комментатор, сообщающий минимум информации, без которой чтение было бы весьма затруднительно, но при этом Крюков — характер, человек пылкий, умный, с несомненным чувством юмора. Чернышев и он — два персонажа, ко-

торые держат на своих плечах конструкцию этой вещи, сочетающей подлинный документализм с цветными линиями романтики, цепкие и точные жизненные детали и юмор, пронизывающий все произведение.

У меня нет сомнения, что все или почти все герои здесь списаны с натуры. Только одни по ходу рассказа выписаны с реалистическим многоцветьем, другие пририсованы к сюжетной коллизии несколькими штрихами.

Писатель подчеркивает хроникальность повествования — телеграммы, докладные, выписки из протоколов и приказов естественно входят в произведение, и все это способствует воссозданию точной и динамичной картины экспедиционного быта.

Вместе с тем повесть «Одержимый» можно было бы принять за приключенческую, тем более сам автор подчеркивает ее «приключенчеством» контрастом неторопливого рассказа и стремительностью действия, он прерывает рассказ «на самом интересном месте» и стремится соединить бытовое и гротесковое почти в каждом эпизоде.

Но, конечно, произведение это не приключенческая повесть. По открытости характеристик, социальной позиции рассказчика, а главное, по тональности повесть В. Санина связана с вошедшими как новаторские в нашу литературу повестями начала 30-х годов. Есть в ней нечто от катаевского «Время, вперед!», от стремительных произведений тех славных лет.

Правда, умение строить повествование порой здесь слишком уж ощутимо как сумма приемов — очевидна конструктивность вступительной части, слишком линейны гротесковые детали некоторых характеров. Да и беспрепятственные герои иногда начинают утомлять. Но мы понимаем и то, как трудно соединить в одной небольшой повести все, что хотел вложить в нее автор. Мы ценим в ней и подлинный документализм и продолжение славной традиции. Ведь и кончается эта вещь совсем в манере 30-х годов — посвящение вынесено в самый конец и строки, открывающие подлинные фамилии героев, подтверждают правдивость написанного: «Тем, кто шел на обледенение, — Николаю Буянову, Владимиру Панову, Александру Тюрину и Александру Шарипову посвящается эта повесть».

К изложенному выше могу добавить, что В. Санин сам совершил поездку на экспедиционном судне «Академик Бэр» в 1978 году и был участником многого из того, о чем рассказал в своей интересной повести.

Дм. Молдавский.

Ленинград.



НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ. Избранные стихи. М. «Художественная литература». 1979. 301 стр.

Читая «Избранные стихи» Николая Глазкова, вышедшие буквально сорок дней спустя после смерти поэта, как бы страница за страницей перелистываешь жизнь: в сборнике стихи 1936—1977 годов и это дает возможность увидеть Глазкова в полный рост, его открытое лицо, светлую душу и ясный ум.

Диапазон его поэзии широк: от эпиграммы до баллады, от лаконичного четверостишия до исторического рассказа в стихах («Афанасий Никитин играет в шахматы», «Начало Руси»), и в любой вещи видишь печать истинного та-

ланта, неповторимую интонацию, простодушную усмешку, неожиданное поэтическое сравнение.

Поэзия Глазкова по сути своей демократична. Очень характерны для него такие строки:

Я к сложным отношениям не привык.
Одна особа, кончившая вуз,
Сказала мне, что я простой мужик.
Да, это так, и этим я горжусь.
Мужик велик. Как богатырь был ин,
Он идолиць порванных разгромил,
И покори́л Сибирь, и взял Берлин,
И написал роман «Войну и мир».

(«Мужик»)

В магнитное поле этих строк попадают такие стихи, как «Волгино-Верхнее», «Российское дерево», большой цикл якутских стихотворений. Становится понятен даже столь неожиданный факт из биографии поэта, как исполнение им эпизодической роли летающего мужика в известном кинофильме «Андрей Рублев».

Кстати, многие стихотворения Глазкова удивительно кинематографичны. Такие полупуштливые его стихи, как «Тапочки», «Поэт и милиционер», «Это было на озере Селигер», «Два пассажира», представляются мне как бы небольшими киноновеллами. Они сюжетны, в них много юмора, лукавства. Многое из созданного Глазковым перекликается с поэзией Даниила Хармса, обериутов, отчасти с Хлебниковым, отражает время бескорыстных чудачков и романтиков, утверждая вместе с тем чувство человеческого достоинства, возвышения над мелочами быта. Касаясь негативных сторон действительности, Глазков не боится быть открыто публицистичным. В стихотворении «Философский разговор» он мастерски обыгрывает два значения слова «материя» — как философское понятие и материя в вещественном смысле, — а дух сталкивает с парфюмерными духами. Только отличное владение оружием иронии позволяет осуществлять такие замыслы.

Юмор Глазкова одновременно и легок и серьезен. Шутка «В защиту кваса», где поэт восхваляет ценные качества этого напитка, вдруг оборачивается далеко не шуточным вопросом: «И почему ура-патриотизм квасным зовется, просто непонятно?!» На основе примелькавшего фразеологизма «куда Макар телят не гонял» Глазков строит рассказ (или сказочку) о всамделишном Макаре, который «живет — не стонет в том краю, который глух, и телят успешно гонит, потому что он пастух»; кроме того, этот Макар учится в вечерней школе и имеет второй разряд по шахматам... Есть у Глазкова «сказки», за которыми стоит сама история. Вот великолепное стихотворение «Эпилог», помеченное сорок пятым победным годом:

Рур линовал,
Наступал на Урал,
Грыз наш металл,
Как бур.
Прошла та пора,
Грохочет «ура»,
Урал помалал
Рур!

Какая инструментовка! — через все строки проходит рокошущим мотором танков и самоходных орудий звук «ур», искусная звукопись раскрывает борьбу непримиримых сил. Здесь мастерство, которому можно позавидовать.

Борис Слуцкий в стихотворении, названном «Юля Глазков», писал:

Он остался на перевале.
Обогнали? Нет, обогнули.
Сколько мы у него воровали,
А всего мы не утянули.

Скинемся, товарищи, что ли?
Каждый пусть по камешку выдаст!
И поставим памятник Коле.
Пусть его при жизни увидят.

Стихи написаны еще при жизни. Но слова о памятнике могут оказаться пророческими. У поэзии Глазкова большое будущее, потому что с его перевала была хорошо видна даль.

Лев Фрухтман.

★

МИХАИЛ МОРОЗОВ. Избранное. М. «Искусство». 1979. 669 стр.

В книге Михаила Михайловича Морозова «Избранное» под одной обложкой объединены статьи о Шекспире, Марло, Китсе, Шоу и работы об Иванове-Козельском, Писареве, Андрееве-Бурлаке — русских актерах конца прошлого столетия. Это соседство не кажется странным. Оно свидетельствует столько же о разносторонности интересов Морозова-исследователя, сколько и об их внутреннем единстве.

Другое свойство, сообщающее всем книгам ученого, включая и эту, обаяние цельности, — его страстное увлечение театром. Оно-то и продиктовало ему выбор главного дела жизни — занятия Шекспиром, человеком театра. Таким Шекспир предстает в биографическом очерке, написанном М. Морозовым для серии «ЖЗЛ» и введенном в настоящей сборник, — театральным мастером, творившим не в тиши кабинета и не для потомков-филологов, а для актеров своей труппы и зрителей «Глобуса». Морозов умеет передать цвет, запах, шум далекой эпохи, поэзию и дух старого театра. Он умеет ощутить и то в пьесах Шекспира, благодаря чему он «принадлежит не одному своему веку, но всем векам». Это вечное в Шекспире способно в полной мере раскрыть лишь театр — таково глубокое убеждение ученого.

М. М. Морозов много писал о современных постановках Шекспира — от большой статьи «Шекспир на советской сцене» (вошедшей в «Избранное») до множества рецензий, разбросанных по газетам 30—40-х годов. Роль ученого в рождении шекспировских спектаклей тех лет, составивших эпоху в советской театральной шекспириане, огромна: об этом с благодарностью говорили Вл. И. Немирович-Данченко, А. Д. Попов.

Творческая жизнь М. М. Морозова была краткой. Он начал писать поздно, его первые статьи вышли в конце 30-х годов, а умер он в 1952 году. За эти немногие годы он успел сделать на удивление много. Написанное Морозовым при всей научной ценности и литературном блеске — лишь часть того, чем он обогатил отечественную культуру. Остальное, незримое, как незримо прошлое театра, хранится в памяти учеников, сотрудников, близких Морозова. Поэтому правы составители сборника, вслед за работами М. М. Морозова поместившие воспоминания о нем, принадлежащие перу тех, кто близко его знал. Среди них С. Я. Маршак, который называл Морозова полномочным представителем Шекспира на земле, и М. И. Кнебель, написавшая прекрасные страницы о том, как Морозов помогал родиться одному из самых светлых

созданий советского шекспировского театра — «Как вам это понравится» в студии Н. П. Хмелева.

Автор вступительной статьи к сборнику М. В. Урнов признается, что ему до сих пор слышится голос Морозова, вдохновенно рассуждающего о «мощной строке Марло». Книга заставляет и нас, не знавших Михаила Михайловича, услышать живой голос этого крупного и страстного человека — ученого, критика, поэта театра.

А. Бартошевич.

★

РУССКИЙ ЯЗЫК. Энциклопедия. М. «Советская энциклопедия». 1979. 431 стр.

Такого издания еще не было в истории отечественной энциклопедической литературы. Энциклопедия в более чем 600 словарных статьях раскрывает содержание понятий, заключенных в терминах русского и общего языкознания (то есть дает дефиниции), объясняет (описывает) сами языковые явления и факты, отражаемые в этих понятиях, кратко излагает историю русского языка и историю русского литературного языка, рассказывает о письменных памятниках русского языка, о крупных языковедах-русистах (о тех, кто творил в прошлом, и о тех, кто были еще нашими современниками), а также о ныне здравствующих академиках и членах-корреспондентах АН и АПН СССР, знакомит с основными языковедческими журналами и научно-исследовательскими институтами. Русский язык представлен в энциклопедии в его устной (звуковой) и письменной форме: например, есть статьи о гласных и согласных фонемах и звуках, об интонации, акценте, оканье, иканье, еканье и т. п., есть статьи о всех буквах и знаках препинания, о правописании и его реформах. Большинство словарных статей снабжено краткой библиографией. Среди авторов книги видные советские языковеды.

Как и во всякой науке, в лингвистике существуют разные точки зрения, разное понимание сущности и причины того либо другого языкового явления, факта. Во многих случаях энциклопедия сообщает читателю о таких расхождениях во взглядах, например, в статьях «Гласные», «Гипербола», «Паронимы», «Единицы языка», «Синонимия» и других. Это очень важно. Ведь, чего греха таить, читателю-неспециалисту, отождествляющему знание о языке с владением им, кажется, что достаточно свободно говорить и писать на каком-либо языке, чтобы все стало ясным и понятным в нем. Энциклопедия в какой-то мере способствует освобождению от этого ракового заблуждения. Маркс говорил, что «если бы форма проявления и сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишня...».

Приходится слышать и такое мнение об этой книге: как это так, русский язык — и всего немногим более 600 словарных статей? В русском языке сотни и сотни тысяч слов. Десятки приставок и суффиксов. Но ведь перед нами энциклопедия (в основном содержащая языковедческие термины), а не толковый словарь, не словарь аффиксов и не грамматика. Словарная статья энциклопедии, посвященная термину «имя существительное», одна, а существительных в русском языке (как и в других высококоразвитых языках) — сотни тысяч. Число лингвистических терминов

никак не зависит от числа слов и аффиксов. Думать иначе — это все равно, что, скажем, требовать от составителей энциклопедии по архивному делу такого количества терминов, которое зависело бы от числа архивных документов...

Будучи первым опытом такого рода, энциклопедия имеет немало недочетов и на уровне словника и на уровне словарных статей. Вот лишь несколько. В энциклопедии не нашлось места известным русским лингвистам прошлого Р. Ф. Брандту, Е. Ф. Будде, С. К. Буличу, И. И. Давыдову, Г. П. Павскому, сделавшим в исследовании русского языка уж никак не меньше некоторых современных ученых, удостоившихся энциклопедической персоналии... Нет статей и о выдающихся зарубежных лингвистах-русистах, например о покойном профессоре М. Фасмере — авторе четырехтомного, самого полного из всех когда-либо опубликованных этимологических словарей русского языка. Словарь этот переведен и издан у нас в 60-е годы. Нет персоналий А. А. Реформатского и В. Н. Сидорова — покойных советских лингвистов-русистов, фонетические и морфологические концепции которых и сегодня актуальны. В ряде статей присутствует то, что в логике называется кругом в определении (например, статьи «Алфавит» и «Буква»). В статьях «Арго», «Жаргон», «Тайные языки», как, впрочем, и в нескольких других, использующих эти термины, нет убедительного разграничения заключенных в них понятий. Некоторые статьи лишены необходимой увязки друг с другом: отдельные положения одной из них не согласуются со сказанным в другой и это никак не оговорено (сравните, к примеру, статьи «Аббревиация» и «Контаминация», «Вид» и «Грамматикализация»).

Несомненно, энциклопедия «обречена» на второе издание. Хочется видеть его более полным, строгим и точным, чем первое.

Эр. Ханпира,
кандидат филологических наук.



ГЕРБЕРТ ШИЛЛЕР. Манипуляторы сознания. М. «Мысль». 1980. 326 стр.

«Моя голова — моя крепость» — такое «словцо», перефразирующее известную английскую поговорку (оно принадлежит герою романа Дж. Хеллера «Что-то случилось», недавно переведенного на русский язык), вероятно, могло появиться на свет только в условиях современного Запада, где весьма непросто защититься от всепроникающего воздействия буржуазного информационно-пропагандистского комплекса. Манипуляция умами и чувствами, мощное средство управления на службе правящего класса, — многоликое зло, о котором на разные лады говорят и пишут в капиталистическом мире.

Книга американского специалиста Г. Шиллера рассматривает на материале США ряд конкретных аспектов этого явления; ее отличает острокритический характер, хотя в целом она написана с либеральных позиций. Шиллер сосредоточивает внимание, в частности, на тех мифах, под прикрытием которых осуществляется практика манипуляции: это миф о беспристрастности,

сти, будто бы присущей средствам массовой информации; о плюрализме, то есть о том, что информационно-развлекательные программы будто бы отражают множественность идейных позиций, вкусов и т. д.; о свободе индивидуального выбора для потребителей информации и некоторые другие. В действительности, как показывает автор, вся информация и зрелища, передаваемые по многочисленным коммуникационным каналам, выбираются из одной и той же кладовой, ни о какой беспристрастности здесь не может быть речи, все передачи имеют целью «укрепление статус-кво»; нет также никакого «избытка информации», напротив, зачастую американцы знают гораздо меньше, чем остальной мир.

Шиллер анализирует некоторые приемы манипуляции, такие, как дробление и замедленность передачи информации. Основным средством дробления является реклама: она способна перебить, рассеять и снизить впечатление от чего угодно. Немедленность, оперативность сообщения придает ложную важность вещам малозначительным, которые уже завтра будут преданы забвению; то, что на самом деле важно, остается в тени.

Как осуществляется манипуляция на практике, видно на примере даже такого «нейтрального» на первый взгляд издания, как журнал «Нэшнл джиографик». Для большинства американцев знакомство с географией начинается и кончается с этим журналом, между тем он дает им «такое же представление об окружающем мире, какое имела Мария Антуанетта в своих апартаментах в Версале», иначе говоря, представляет мир таким, как если бы в нем было только занимательное и приятное; те факты, что не устраивают хозяев Америки, не попадают на страницы журнала. Другой пример, приводимый в книге, еще более «невинный»: продукция корпорации «Уолт Дисней». Покойный Дисней, своеобразная смесь Ханса Кристиана Андерсена с Генри Фордом, создал целую империю развлечений (мультфильмы, журналы, парки и т. д.), помимо чисто развлекательных задач имеющих еще и сверхзадачу — уточненную пропаганду американизма.

Особый интерес представляет та часть книги, где речь идет о внешней культурно-информационной экспансии Соединенных Штатов. Поток американских фильмов, периодических и рекламных изданий и т. п. затопляет капиталистический мир и многие страны «третьего мира». Вся эта продукция, порою, казалось бы, далекая от идеологии, неизменно служит целям пропаганды американского образа жизни, создания культурного климата, благоприятного для политической, экономической и военной экспансии США. Американское культурно-информационное наступление проводится под флагом «свободы информации» и официально объясняется желанием содействовать «модернизации» остального мира, разумеется на американский манер; на службу ему поставлена самая современная техника, начиная со спутников связи.

Как показывает Шиллер, «культурный империализм» США встречает растущее сопротивление, особенно в развивающихся странах. В этих странах все яснее отдаются

себе отчет в том, что свобода на коммуникационных путях в настоящих условиях есть не что иное, как «свобода для сильных», то есть в первую очередь для информационных служб США. Отсюда участвовавшие попытки в той или иной степени ограничить их деятельность.

Ю. Михайлов.



Л. И. СЕДОВ. Размышления о науке и об ученых. М. «Наука». 1980. 440 стр.

Книга академика Л. Седова привлечет к себе внимание читателей прежде всего тем, что в ней даны творческие портреты таких корифеев европейской науки, как Коперник, Галилей, Ломоносов, написанные рукой признанного мастера, а также очерки жизни и творчества ряда выдающихся представителей советской науки — М. Лаврентьева, Л. Лейбензона, А. Некрасова. Публикуются и работы автора по вопросам механики и освоения космического пространства. Но, быть может, самое интересное и главное в этой книге то, что в ней собраны публицистические выступления известного ученого по актуальным проблемам науки, в которых раскрывается вся сила его гражданского темперамента, глубокое понимание им сложных проблем, связанных со взаимодействием института современной науки и общества.

Индустриальная фаза развития науки в XX веке необычайно остро поставила проблемы социальной ответственности и этики ученых. Это в первую очередь явилось следствием возрастающей зависимости общества от качества научной продукции, а также опасности использования научных открытий империалистическими кругами в военных целях.

Науковеды Запада сегодня не случайно бьют тревогу по поводу обмана и фальсификаций, процветающих в научных лабораториях, по поводу упадка научной морали, которая неизбежно ведет к упадку интеллектуальных сил самой европейской науки.

От некоторых из этих отрицательных явлений несвободна и наука в социалистических странах. Со всей силой своего гражданского темперамента автор ставит вопросы, о которых ученые не всегда решаются открыто говорить. «И вот иногда появляются дутые специалисты, которые, не зная сути дела... могут даже идти на прямой обман... Обман в научных трактовках, рассчитанный на неинформированность читателя или слушателя, — явное проявление аморальности», — подчеркивается в книге. Нельзя не согласиться с автором, когда он пишет: «...ужасно, что даже тогда, когда сознательная научная недобросовестность установлена неоспоримо, все проходит безнаказанно для участников таких действий».

Другая проблема, которая волнует автора, это проблема псевдоученых, то есть таких

деятели науки, которые, усвоив каноническую научно-техническую фразеологию, сумели получить высокие научные звания. «Псевдоученые паразитируют на теле общества и нередко мешают плодотворной работе здоровых творческих коллективов». На деле это ведет к тому, что «на нездоровой почве возникает сплоченная клика, которая захватывает командные и руководящие посты, однако ее общий низкий уровень приводит к снижению научного уровня целой отрасли науки...». Социальный портрет псевдоученого пока что туманен, распознать его порой бывает трудно или вообще невозможно.

Дело в том, что в настоящее время усложнился сам процесс получения научной истины, возросла опасность появления туликовских направлений, поиска ложных эффектов, фантомов в самом процессе научного творчества и использования научных истин, добытых фундаментальной наукой, в прикладных целях. Теперь уже ясно, что само по себе использование науки еще не гарантирует получения практически значимых, ценных для общества результатов. Все дело в компетентности специалистов, в самом уровне, на котором проводится то или иное научное исследование.

С болью в сердце автор пишет: «В нашей жизни, к сожалению, еще встречаются отрицательные примеры псевдоученых, добывающихся большой известностью и признания их мнимых достижений. Понимающие ученые и руководители, умалчивающие об этом и злящиеся с таким положением, совершают, по моему мнению, государственное, научное и моральное преступление». Да, к сожалению, ученые нередко еще в оценке труда своих коллег руководствуются евангельской притчей: «Не судите, да не судимы будете». Но такая этика в условиях НТР лишь только придает смелость халтурщикам и некомпетентным специалистам. «Надо создать обстановку, — настаивает академик Л. Седов, — при которой фиксирование ошибок в научных работах и искоренение различного рода халтуры встречало бы всемерную общественную поддержку и рассматривалось бы как дело чести, как дело государственной важности, как забота о повышении производительности труда в науке».

Но для того чтобы создать нужную атмосферу, необходимо, и автор об этом говорит, поднять роль критики в науке, так как процесс научного исследования и применения научных достижений, как и процесс художественного творчества, немыслим без развитого института научной критики; процесс научного поиска немыслим теперь лишь в одномерной плоскости позитивного научного исследования.

Наука недалекого будущего — это не только смелые гипотезы и новые результаты, но и критическое осмысление ошибок и поражений, это борьба с научным мифотворчеством, это борьба за этику и социальную ответственность ученых.

Ю. Орфеев,
кандидат философских наук.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Письма из далека. 64 стр. Цена 10 к.

В. Афанасьев. Системность и общество. 368 стр. Цена 1 р. 50 к.

Против буржуазных фальсификаторов истории и политики КПСС. 286 стр. Цена 1 р. 20 к.

Философский словарь. 445 стр. Цена 3 р.
Н. Эйдельман. Апостол Сергей. Повесть о С. Муравьеве-Апостоле. («Пламенные революционеры») 365 стр. Цена 1 р. 40 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»
С. Залыгин. Фестиваль. Рассказы. 296 стр. Цена 1 р. 10 к.

В. Кожевников. Лилась река. Повести. 384 стр. Цена 1 р. 60 к.

Л. Кривенко. Незаконченное путешествие. Рассказы и повести. Послесловие Ю. Трифонова. 392 стр. Цена 1 р. 40 к.

А. Родин. Летний зной. Рассказы. 238 стр. Цена 75 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
А. Алексин. А тем временем где-то... Повесть. 575 стр. Цена 1 р. 20 к.

Н. Виеру. Ветер и свет. Повести и рассказы. Перевод с молдавского. 223 стр. Цена 70 к.

В. Колыхалов. Июльские заморозки. Повести. Дневник путешествий. 351 стр. Цена 1 р. 30 к.

В. Пронин. Ошибка в объекте. Повесть. 191 стр. Цена 85 к.

М. Саат. Лесная перепелка. Роман. Перевод с эстонского. 191 стр. Цена 55 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Вьетнамские повести и рассказы до 1960 г. Перевод с вьетнамского. 366 стр. Цена 2 р. 60 к.

Г. Гейне. Собрание сочинений в 6-ти тт. Перевод с немецкого. Т. 1. Стихотворения.— Из статей 20-х годов. 518 стр. Цена 2 р. 10 к.

Я. Кохановский. Стихотворения Перевод с польского. 191 стр. Цена 1 р. 20 к.

И. Мележ. Дыхание грозы.— Метели, декабрь. Романы из «Полесской хроники». Перевод с белорусского. 733 стр. Цена 3 р.

Ф. Петрарка. Лирика. Перевод с итальянского. («Классики и современники») 381 стр. Цена 1 р. 10 к.

М. Садовяну. Избранное. Перевод с румынского. 398 стр. Цена 2 р. 60 к.

Ч. Сиярич. Цареву войско. Исторический роман. Перевод с сербскохорватского. 277 стр. Цена 1 р. 50 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
А. Блок. Поэмы. Послесловие В. Коровина. 190 стр. Цена 1 р. 50 к.

И. Вайнберг. Страницы большой жизни. М. Горький в документах, письмах, воспо-

минаниях современников 1868—1907. 240 стр. Цена 65 к.

М. Гафури. Из прошлого. Рассказы. Предисловие Г. Рамазанова. 112 стр. Цена 60 к.

Т. Джатиев. Кем ты будешь, лаппу? Повесть о Коста Хетагурове.— **Хетагуров К.** Стихотворения. Поэмы. 254 стр. Цена 55 к.

В. Захарченко. Искусство жить. Художественно-публицистические очерки. 153 стр. Цена 70 к.

Ю. Коринец. Старый дом. Повесть, стихи, переводы. 303 стр. Цена 75 к.

Ф. Кривин. Откуда пришла улица? Познавательные истории. 88 стр. Цена 1 р. 60 к.

ВСЕНИЗДАТ
Л. Бока. Покорнейше докладываю... Роман. Перевод с венгерского. 415 стр. Цена 2 р. 50 к.

В. Жуков. Хроника парохода «Гюго». Роман. 350 стр. Цена 1 р. 60 к.

И. Чигринов. Плач перепелки.— Оправдание крови. Романы. Перевод с белорусского. 463 стр. Цена 2 р. 30 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
В. Дементьев. Мир поэта. Личность. Творчество. Эпоха. 477 стр. Цена 1 р. 10 к.

М. Дудин. Все вместе. Переводы, послания, посвящения. 272 стр. Цена 1 р. 30 к.

К. Кулиев. Краса земная. Избранная лирика. Перевод с балкарского. 416 стр. Цена 1 р. 40 к.

А. Майнов. Стихотворения. Вступительная статья В. И. Коровина. Составитель В. И. Ивашева. 223 стр. Цена 85 к.

Д. Сергеев. Демкина тропа. Повести и рассказы. Предисловие В. Тендрякова. 315 стр. Цена 1 р.

Я. Ухсай. Стихи и поэмы. Перевод с чувашского. 224 стр. Цена 1 р. 50 к.

«ИСКУССТВО»
А. Григорьев. Эстетика и критика. Вступительная статья и составление А. И. Журавлевой. 496 стр. Цена 2 р. 40 к.

А. Зись. Конфронтация в эстетике. Очерки о природе искусства. 239 стр. Цена 1 р. 20 к.

Кэте Кольвиц. Дневники, письма и воспоминания современников. Введение и составление В. В. Туровой. Перевод с немецкого. («Мир художника») 318 стр. Цена 1 р. 80 к.

Песня о птице Те-Рао. Стихи поэтов Вьетнама. Сборник переводов. Составитель В. Д. Прохорова. 45 стр. Цена 10 к.

К. Чуковский. Сказки. 167 стр. Цена 1 р. 80 к.

К. Ярматов. Возвращение. Книга воспоминаний. Предисловие С. Герасимова. («Междуары кинематографистов») 367 стр. Цена 1 р. 40 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрапку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 29/ХІІ 1980 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 19/ІІ 1981 г.
Формат бумаги 70x108/16. 27,13 уч.-изд. л. 8,5 бум. л. (23,8 усл.-печ. л.)
А 10612. Тираж 352,500 экз. Зак. 4298.

Избрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна». Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 0501.

Цена 70 коп.

70636